

ЮРИЙ ТЕШКИН

АНАТОЛИЙ

И ДРУГИЕ



ЮРИЙ ТЕШКИН
АНДРОПОВ
И ДРУГИЕ

**РОМАН
В ДВУХ ЧАСТЯХ**

Ярославль
«Верхняя Волга»
1998

ББК 63.3
Т 38

Тёшкин Ю. В.
Т 38 **Андропов и другие: Документ.-худож. роман.**
В 2 ч. — Ярославль: Верхняя Волга, 1998. — 448 с.
ISBN 5-7415-0484-1

Роман Ю. А. Тёшкина «Андропов и другие» — это документально-художественное произведение, в котором предпринята попытка по-своему взглянуть на Ю. В. Андропова — личность неординарную, трагическую и одновременно мистическую, потому что на ней не только оборвалась яркая плеяда вождей, на ней закончилась одна эпоха и началась другая — весьма тяжкая для всякого русского.

Т $\frac{0503020800}{M139(03)-98}$

ББК 63.3(2)73

© Ю. В. Тёшкин, 1998

© В. Х. Янаев, оформление, 1998

*Мы бренны в этом мире под луной,
Жизнь — только миг, небытие — навеки,
Кружится во Вселенной шар земной...*

Ю. Андропов

Часть I

В ФАРВАТЕРЕ
РАЗВИТОГО
СОЦИАЛИЗМА

Непостижимы качели человеческих судеб. Только-только успокоился, что уцелел, не пошел по Ленинградскому делу, которое затеял Сталин. А взяли многих, в том числе и непосредственное начальство. Только-только решил, что теперь уж, по всему, закрепится в Карелии окончательно. Планы уже намечал на ближайшую пятилетку: овладеть финским, закончить Петрозаводский университет... короче, уже примеривался оставшуюся жизнь посвятить Карелии. Как тут же последовал неожиданный перевод в Москву, в ЦК.

И вот уже вместо тюрьмы, ледяной ветер которой пронесся так близко над головой, заставил волосы пошевелиться, вместо карельской провинции — приоткрываться стала такая замечательная во всех отношениях московская перспектива. И хотя жизнь вокруг таит непостижимые опасности — жив еще титан Сталин и Ленинградское дело, по всему судя, не последнее в его жизни, — но уже догадываться стал, что лично с ним, Андроповым Ю. В. , все обойдется. Что он, скорее всего, везучий или даже замечен самим провидением, приберегаем для чего-то более важного, чем партруководство не очень значимой, а в общем-то второстепенной, республикой. Его назначают инспектором, потом заведующим подотделом ЦК... первые ступеньки бесконечной лестницы. Но умирает Сталин, приходит Хрущев, устраивает кадровую чистку. И вот уже человек, едва начавший постигать азы функционирования цэковских аппаратчиков, оказывается за тысячи километров от главной политической сцены, где вершатся судьбы доброй половины человечества. Андропов уже посол в Венгрии. Внешне невозмутимый, словно ничего и не про-

изошло, обживается в Будапеште на улице Байза, в советском посольстве.

И как будто бы так и надо, как будто только об этом и мечтал всю жизнь — доброжелательный, подтянутый. Смокинг, белые перчатки, дипломатический этикет, банкеты. И для всех — располагающая всепонимающая улыбка. Для всех он — либерал, чуть ли не западник. Стол на банкетах сервирован в модном “континентальном” стиле, вино — только французское, коньяк — армянский, остроумные шутки с мужчинами, для каждой дамы — тонкий комплимент. Ну, а когда начинаются танцы — никакой прошлой казенщины — новый посол первым открывает танцы, приглашая дам с позабытой в двадцатом веке галантностью. В этот момент — внушительно-дородный, слегка чопорный, в хорошо сидящем костюме, поблескивающий золотыми дужками очков — напоминает он Пьера Безухова. Нет, это денди, настоящий советский денди! Дамы в восторге. У мужчин полная уверенность, что новый посол за радикальные реформы, идеи которых все ошутимее кружат головы. Ну, а непроницаемое молчание нового посла при этих разговорах объясняется официальным статусом. И только.

Да, новый посол, в отличие от прежних наместников Москвы, голоса никогда не повысит. Он вообще предпочитает больше слушать. А если что и скажет, то всегда доброжелательно, всегда в форме совета. И, разумеется, всегда при этом улыбка. Кажется, что она никогда не сходит с его приветливого лица.

Несомненно, эти три года — с 53-го по 56-й — послом в европейской стране очень много дали Андропову. После Венгрии он сильно изменился. Появилась не просто выдержка, а какая-то загадочная непроницаемость, благовоспитанность появилась, лоск, манеры, еще что-то неуловимо-странное, ускользающее.

Понятно, что Андропов и до этого удивительно быстро осваивался в любых условиях. Официально не имея никакого образования — ни военного, ни политического, — он всю жизнь самообразовывался на ходу, мгновенно принаравливаясь к обстановке. И

хотя любил, посмеиваясь, повторять: <<Мы диалектику учили не по Гегелю>> — учил ее именно по Гегелю. Да он всю жизнь учился. В Карелии — финскому, в Венгрии — венгерскому... Но это как бы по службе. Тут же — послом в Венгрии — было нечто не совсем похожее на обычную учебу. Тут, наряду с учебной манерой, учебной дипломатической этикетой, внешне проявилась, выпирала прямо-таки стала какая-то затаенная своя собственная аристократичность, своя собственная высокопородность. И как-то уж совсем естественно все чаще стала возникать на холерном лице, на губах, по-женски полноватых, эта легкая брезгливость.

Да, здесь уже было не просто талантливое овладение всем, за что бы ни брался этот одаренный от природы человек: музыка и пение, стихи и языки, эпос «Калевала» или секретная шифровка партизанского подполья, статья в журнал <<Смена>> или выступление перед моряками. Здесь было что-то совсем другое.

После простоватой комсомольской юности, суровых военных будней, после трудного послевоенного восстановления Карелии дипломатическая служба — это словно бы разудалый гопак сменить вдруг на чинный менуэт. От тщательно вычищенных ногтей до вальяжного молчания это неожиданное проявление его породистой сущности теперь все сильнее просилось наружу. Просилось в виде какой-то естественной нутряной брезгливости ко всему, что вокруг не обладает этой самой породистостью. Догадывался, что все это, полузадушенное, идет от родителей, которые так рано умерли. И от родителей его родителей, которых почти не помнит. И от их родителей, которые уж совсем теряются во времени. И чем глубже заглядывал в себя, в свою родословную, которую практически не знал, не знал до того, что в одной из анкет написал о себе: <<Сирота>>, — так вот теперь, чем больше заглядывал в эти глубины, тем более сладко посасывало под ложечкой, хотелось осанисто подтянуться, руки сложить за спиной, пройтись внушительно по толстому посольскому ковру.

В сущности, человек никогда до конца не знает самого себя. Ну, зачем он здесь? Неужели судьба так долго оберегала его от всех невзгод лишь для того, чтобы отправить в безвозвратную ссылку? Перспективы? Да никаких. За что? За что он — такой талантливый, такой самообучающийся на ходу, схватывающий все буквально на лету, легко перескакивающий ступеньки служебной лестницы... с таким огромным комсомольским, партийным, военным опытом — за что ж его теперь послом?! Да еще в соцстрану! В лучшем случае его ждет посольство в капстране. И это вместо Москвы, вместо ЦК! Вместо захватывающей дух перспективы.

За что? Без конца прокручивал один и тот же вопрос. Искал в своем поведении, в своих действиях, словах какого-то прокола. Искал и не находил.

Да, в Кремле после смерти Сталина не на шутку схватились сталинисты и антисталинисты. На какое-то время и тех и других объединил расстрел Берии. Но лишь для того, чтобы схватка разгорелась еще сильнее.

Антисталинистов возглавляет Никита Хрущев — 1-й секретарь ЦК.

Сталинисты явного лидера не имеют, потому что каждый из них сам по себе уже лидер, что Молотов, что Каганович. Про Маленкова и говорить нечего — Председатель Совета Министров. Понятно, что сегодня Хрущев правит бал. Но исход борьбы далеко не ясен. И сейчас, человеку положения Андропова, новичку в столичных аппаратных играх, было бы верхом опрометчивости определять свою позицию. К сорока годам Андропов уже зрелый политик, подловить его на какой-то словесной подставке — шутке, анекдоте, реплике — дело безнадежное... и все-таки...

Неужели все-таки Хрущев разглядел в нем что-то, почуял... и вот теперь потихоньку убирает со сцены просталинские кадры. Пока второстепенных убирает, третьестепенных — ранга Андропова. Чтобы потом понадежнее схватиться с главными силами.

Да, по-видимому, все же разглядел он в Андропове это, что с большой натяжкой можно назвать ста-

линской тенью. И решил, перед тем как резко повернуть руль государственного корабля, по возможности освободиться от ненужного балласта.

Но почему, почему Хрущев решил, что Андропов не его человек?

Юрий Владимирович — корректный, импозантный в безукоризненно сидящем костюме — на очередном банкете обходит гостей с бокалом ярко-красного бордо, улыбка то разгорается на гладком лице, то тускнеет, и тогда через нее пробивается скупающий налет, глаза сильнее прищуриваются, в них исчезает цвет и настроение, они окончательно становятся непроницаемыми. И все-таки — за что?..

За что его так Хрущев? За Сталина? За вполне безобидную всего-то тень его... А ведь он готов так же верно служить теперь и Никите. Это ж так откровенно написано на его полноватом лице, в ясном взгляде... честно служить... Если б только Хрущев победил окончательно. Но ведь он не победил еще. А если даже и победит, то это будет ложная победа. Потому что... потому что за Сталиным не только культ, жестокости, репрессии — это все понятно, — но и много того, от чего нельзя никак отказываться. Да, Берия расстрелян. Это хорошо. Но Берия — это половина Сталина. Плохая половина Сталина. А Хрущев и все остальное сейчас отшвыривает от себя подальше... вот и Андропова за тысячи километров отшвырнул, в Венгрию, послом, без всяких перспектив... Ну, что за перспектива от умения расщаркиваться на паркете, дамам комплименты отпускать...

Но как же все-таки Хрущев разглядел? Ведь ни словом, ни полусловом... никому, ничего... даже жене...

А впрочем, чего гадать — достаточно лишь бегло глянуть послужной его список, как двигался Юрий Владимирович наверх, — и все ясно.

Год 37-й — освобожденный комсорг техникума в Рыбинске, страстно разоблачает троцкистов, замечен 1-м секретарем Ярославского обкома партии Зиминным. И вот уже в 38-м Андропов — 1-й секретарь Ярославского обкома комсомола. Причем без всякого

партстажа, положенного в этом случае по Уставу. В партию он вступит лишь в следующем году. Прыжок. А через год он уже 1-й секретарь ЦК комсомола Карельской республики. И опять прыжок. Потому что без пятилетнего партийного стажа, положенного для первого секретаря республики. Опять прыжок, да еще какой! Через две, через три ступеньки... А перевод в Москву, в ЦК... опять же при Сталине, наверняка с одобрения, если не личного указания вождя... К тому же непонятно, почему уцелел во время Ленинградского дела, когда всех вокруг взяли... Так что выводы Хрущев сделал правильные — чего уж...

И все-таки обидно. Потому что Юрий Владимирович и сам в душе против много негативного, что, несомненно, было в Сталине. Против грубости, подозрительности, жестокости. И, разумеется, против <<железного занавеса>>. Какой еще <<занавес>> — живем совсем в другое время, можно много полезного позаимствовать за границей, да в той же Франции, к примеру, — прекрасные вина, прекрасные манеры... или тот же Монтень, “Опыты” которого пробует на досуге Юрий Владимирович в подлиннике читать. С трудом, конечно, Монтень поддается, но Юрий Владимирович поставил задачу — одолеть.

Да что там Франция, когда даже здесь, в Венгрии, хоть и соцстрана, но явно Европа уже, и не мешает взглянуть на весьма разумные экономические реформы, что быстро набирают здесь силу.

Так что <<занавес>> — анахронизм. Много, много было в Сталине того, что надо зачеркнуть навсегда. Но ведь Хрущев недальновидно зачеркнул и то, что всегда было, есть и будет во всех царях-вождях, без чего и государство — не государство, и народ — не народ. Он отбросил само ядро, саму идею первопорядка, на чем все только и может держаться.

Тем более когда речь идет не только об СССР, а об ответственности за весь лагерь социализма. Должен, обязательно должен быть персональный центр. Иначе же все рано или поздно поползет, начнет разваливаться, разбегаться.

И ведь как в воду глядел. В Москве еще выясняли отношения: прав Сталин или не прав, а если прав, то в чем и насколько. А на окраинах огромной империи уже почувствовали слабость, пустоту в самом главном центре, быстро стали крепнуть центробежные силы. И Андропов был первым, кто заметил это.

Заметил и, еще не веря в это окончательно, внутренне ощутил странную, тугую, как густой сироп, дрожь. Он не то чтобы как-то явно обрадовался, нет, — но как-то весь сразу подобрался, как перед сигналом походной трубы. Кажется, судьба вновь стала натягивать свои крепкие стремительные поводья. А так... чему бы радоваться — тому, что здесь, в Венгрии, где он посол, а по существу — наместник из Москвы, полностью отвечающий за порядок вверенной ему соцстраны, день ото дня крепнут антисталинские настроения? Которые давно уже не антисталинские — антикоммунистические, антисоветские давно... Еще шаг — и они обязательно перерастут в антирусские... А самое главное — эти настроения возглавляет глава венгерского правительства Имре Надь.

Разумеется, нечто подобное происходит и в Польше, и в Германии, а про Румынию и говорить нечего. Но Юрию Владимировичу дела нет ни до Польши, ни до Германии. Он за Венгрию головой отвечает.

И вот уже летят в Москву депеши, в которых Имре Надь — смутьян, пострашнее Чаушеску, вот-вот заявит о выходе Венгрии из Варшавского Договора. Посол Андропов предлагал незамедлительно поменять ревизиониста Имре Надя на стойкого сталиниста Матиаса Ракоши.

Да, на прямой вопрос Москвы после его депеш, кем же все-таки можно в крайнем случае заменить Имре Надя, Андропов отвечал — Ракоши.

Разумеется, понимал, чем рискует. Матиас Ракоши — ярый сталинист, и это всем хорошо известно. За сталинизм, больше похожий на слабую тень вождя, Андропов уже пострадал, но, как говорится, битье неуместно, — идут в Москву депеши, одна другой

тревожнее: менять Имре Надя на Матиаса Ракоши, менять, пока не поздно!

С трудом Москва раскачивалась. И только 7 января 1955 года Имре Надь был вызван в Москву, где ему устроили такой разнос, что по возвращении в Венгрию он слег с сердечным приступом. А вскоре был выведен из состава Политбюро, из ЦК, снят с поста премьер-министра. К нему в больницу приезжал главный идеолог всего соцлагеря — Михаил Суслов. По-хорошему уговаривал покаяться. Но, поскольку Имре Надь покаяться не захотел, пришлось исключить из партии, пришлось с корнем рвать злостную крамолу. Так в Москве считали.

Но Андропов и его ставленник Матиас Ракоши думали по-другому. Им на месте было виднее. Они считали, что для наведения в Венгрии окончательного порядка необходимо арестовать всех, кто поддерживал Имре Надя. Вот тогда крамола будет действительно вырвана с корнем. И составили список, в который набралось сотни три-четыре. Понятно, что первым номером шел главный смутьян — Имре Надь. Арестовать!

Но тут — осечка. Хрущев всюду раздувал костер демократических преобразований, собирался войти в историю чем-то вроде папы римского... Впрочем, в том политическом раскладе накануне XX съезда ему ничего другого и не оставалось, отступить было поздно. Короче, Москва на арест санкций не дала.

Аресты не последовали, и от этого в Венгрии на какое-то время установилась неопределенность, пасмурная смута и день ото дня нарастающее напряжение. Непокаявшийся Имре Надь пребывал в низверженных героях, быстро росла его популярность в низах, на свободе оставались сотни его сторонников. И вот уже на заборах, на стенах домов запестрели лозунги: <<Имре Надя — в правительство!>>, <<Матиаса Ракоши — в Дунай!>>. Андропов продолжал слать в Москву депеши, ставил на Матиаса Ракоши, предлагал для укрепления его позиций немедленно арестовать Имре Надя и остальных смутьянов.

Москва выжидала. В Москве назревали события, которым суждено было стать переломными. В конце февраля 1956 года на закрытом заседании XX съезда Хрущев прочел секретный доклад о преступлениях Сталина. Это произвело на слушателей эффект разорвавшейся бомбы.

Уже на другой день доклад был у Андропова. Его привез председатель КГБ генерал Серов. Передавая доклад, Серов произнес: <<Да-а...>> Юрий Владимирович залпом прочитал большой доклад и тоже сказал лишь: <<Да-а...>> Они с Серовым переглянулись. А что тут еще скажешь. Он в принципе-то ко всему был готов: Хрущев есть Хрущев. Но чтоб вот так резко, так неприглядно дать Сталину оценку... так неприлично, в конце-то концов... Уж, казалось бы, за все эти годы привык ничему не удивляться, а тут... Нет, такого он ожидать не мог даже от Никиты.

А главное — никто не возразил Хрущеву. Вот что непонятно. Ну, не могли же с такой оценкой согласиться Молотов, Каганович... Ворошилов наверняка не согласен, он же со Сталиным под Царицыном воевал... а промолчали. Да-а... Ситуация складывалась не в его пользу. Но отступить ведь было некуда. Юрий Владимирович, как за последнюю соломинку, продолжал цепляться за сталиниста Матиаса Ракоши, что после такого доклада выглядело не просто политической ошибкой, но явным вызовом Москве. Каганович, Ворошилов... все за доклад проголосовали, а он все депеши шлет, на сталинисте настаивает.

А Хрущев — тот, наоборот, даже с Тито помирился, в Москву пригласил. И летом 56-го Тито торжественно прибыл в Москву. И, естественно, ярый антисталинист Тито был против Ракоши, убеждал Хрущева снимать его поскорее, возвращать опять Имре Надя.

И опять был запрос из Москвы - на кого же все-таки опереться в Венгрии. И опять был твердый ответ нашего посла — только на Матиаса Ракоши. А иначе будет поздно, иначе Венгрию захлестнет кровавая анархия, явные признаки которой набирают силу. Посол Андропов настаивал на срочных дополнитель-

ных полномочиях для Матиаса Ракоши. Критический момент вот-вот настанет, и, если вовремя не подкрутить гайки, будет поздно. Венгрия — это не Польша.

А Москва выжидала. И от этого собственный личный риск нарастал. Был момент, когда казалось, что вот-вот отзовут, окончательно скинут вниз, отнимут жалкое посольское прозябание, которое при желании еще можно спасти.

Но отступить ведь, действительно, было некуда. Так целеустремленно настаивал он на Матиасе Ракоши, так расставлял все точки над *и* ... да нет - в глазах Хрущева определился он окончательно, теперь — пан, или пропал. Он отлично понимал, что ждет его в случае успеха, понимал и что ждет при поражении, от которого он так близок.

А между тем похожая ситуация была и в Польше. Октябрьский Пленум Польской компартии в экстренном порядке восстанавливает в партии только что вышедшего из тюрьмы Гомулку, срочно вводит его в ЦК и почти единогласно избирает Первым Секретарем.

И Москва ничего не может поделать с этой вопиющей самодеятельностью. Потому что Хрущев только что осудил сталинские методы, только что провозгласил курс на демократию. Польша тут же и продемонстрировала перед всем миром: а как это все будет на самом деле. Ну, а дальше — цепная реакция. Уже через неделю после этого Имре Надь был возвращен к обязанностям премьер-министра, Матиасом Ракоши срочно пришлось пожертвовать.

Но это было лишь началом. Теперь приходилось сдавать одну позицию за другой. Имре Надя не просто восстановили. Из Москвы пришло распоряжение — официально пригласить его в посольство, поздравить, пожелать успеха, то есть выразить по всей форме посольского этикета несколько запоздалое согласие Москвы. Пора было признаться, что Андропов проиграл.

Да, на этот раз ему крупно не повезло, проигрался в пух и прах. Вопрос с отзывом решится в рабочем порядке, посадить, наверное, не посадят, бро-

сят на <<низовку>>, на область, на район... Можно только представить, какие бури бушевали в душе Андропова, когда принимал он у себя в посольстве этого счастливчика Имре Надя.

При поздравлении коренастый венгр, крепыш, стоял внешне невозмутимо, но так крепко, так торжественно стоял он перед Андроповым, такое ликование было в его сверкающих глазах и так превосходно и лихо топорщились его усы, что какое-то перемирие просто исключалось. На венгерской земле им двоим отныне будет тесно.

24 октября утром Будапештское радио радостно сообщило о назначении Имре Надя премьер-министром Венгрии. Но остановить беспорядки, которые из-за нерешительности Москвы приняли совсем неуправляемый характер, новый премьер и сам уже был не в состоянии.

Имре Надь буквально через полчаса после своего назначения объявляет о введении военного положения. Но беспорядки от этого лишь усилились. Заборы пестрят лозунгами, требующими вывода советских войск. И Москва сдает очередную позицию — войска выводит.

Это лишь подливает масла. Это вызывает неслыханное ликование в стане контрреволюции. Теперь бояться некого, руки у мятежников развязаны, пора открывать тюрьмы, выпускать уголовников. Все идет по обычному сценарию. Хотя есть и чисто венгерские моменты — вылезают из щелей недобитые фашисты-хортисты. Эти долго ждали своего часа. Все-таки Венгрия не Польша. Час ножей настал. Запахло кровью и пожаром. А Хрущев и тут выжидает чего-то, все еще надеется либеральными методами предотвратить надвигающуюся вакханалию.

В конце октября стараниями Сулова неплохо была сработана Декларация Советского правительства о равенстве и невмешательстве в отношении между социалистическими странами. Этакая добротная пиявка для отсасывания крови из излишне горячих голов. Сулов и Микоян торжественно везут Декларацию в Венгрию. Но она там практически не

нужна, эвакуация советских войск идет полным ходом, открыты тюрьмы... ликует чернь. Для начала взялись за осквернение памятников советским солдатам-освободителям.

Вернее, для начала толпа погромщиков сбросила с пьедестала памятник ненавистного Сталина. Накинули стальной трос, прицепили к машине, рванули раз, другой рванули — закачался, рухнул памятник, с грохотом покатила бронзовая голова тирана. Тут уж экстаз толпы дошел до предела. Искаженные в крике рты, обезумевшие, побелевшие глаза... все больше открывалась пьянящая воронка в человеческих душах, куда так сладко засасывает всю гниль, всю грязь, что до поры до времени прятался почти что в каждом. С бронзовыми памятниками быстро покончили, пора за живых было браться.

Андропов слал отчаянные депеши.

Если вначале он явно сгушал краски, блефовал, не мог не блефовать, как настоящий карточный игрок, то теперь действительность превзошла все мыслимые и немыслимые прогнозы. Действительность становилась все более похожей на дурной сон. А Хрущев все никак не мог определиться, шарахался то в одну, то в другую крайность. Вызвал маршала Конева и спросил, сколько понадобится дней, чтобы навести в Венгрии порядок. <<Три дня, - отвечал Конев, - и в Венгрии будет порядок>>. Но, вместо того чтобы Коневу отдать приказ, зачем-то приглашает на дачу китайских коммунистов. И те всю ночь уговаривают Хрущева не применять силу.

А между тем депеши Андропова одна другой страшнее. В Венгрию вернулись фашисты-хортисты, профессионально принялись за дело — то там, то здесь людей уже линчуют.

Контрреволюция набирала размах.

Как-то возвращался после очередной встречи с Имре Надем. Машина застряла между двумя баррикадами, которыми теперь перегорожены все улицы. Прекрасный Будапешт, твои мосты и парки, площади и мостовые, залитые кровью в эти дни, будут долго помнить обезумевшие толпы, которые сладострастно

охотились, вылавливали людей и тут же под свист и похабные слова казнили их лютой смертью. Позади, с ближайшей баррикады, как спелые гроздья, посыпались ломкие фигурки, с нервическими возгласами стали собираться в нечто угрюмое, уже начинали к его машине свое страшное движение. Побледневший шофер вцепился в баранку, пригнулся пониже. И вот, вместо того чтобы сидеть в машине, — хоть ненадежное, но укрытие, — Андропов решительно стал выбираться из нее: <<Ну, что ж, — брезгливо кривя посиневшие губы, бормотал он при этом, — сейчас посмотрим, сейчас все и узнаем...>>

В чем хотела удостовериться его ненасытная любознательность, он и сам вряд ли понимал в этот отчаянный момент. Но уже выбрался из машины, сбившуюся набок пряжку пояса серого габардинового плаща аккуратно вернул на место, легким движением очки поправил, вздохнул... пошел. Прогулочным шагом пошел толпе навстречу, рассеянно скользил взглядом по стенам домов. Дома оскаливались страшно: <<Русские — домой!>>, <<Коммунисты — на виселицу!>> Чтобы унять внутреннюю болтанку, пришлось сцепить посильнее руки за спиною. Так и шел — руки за спиною, в непонятной насупленности, отстраненности... не спеша вышагивал по мостовой, заваленной стеклами, проволокой, камнями. Очками поблескивал. Что-то несворотимо-слоновье было во всем этом, несомненно. И толпа перед ним нехотя расступилась. Жене ничего не рассказал, но она все равно узнала от шофера, который добрался до по-сольства только к вечеру.

По Гегелю или не по Гегелю, но неизбежно приходит день, когда любая контрреволюция, впрочем как и революция, проявляет себя во всем своем зверином облики. После той встречи с толпой, которую запомнит на всю оставшуюся жизнь, он уже не сомневался, ждал. И этот день наступил. На площади Революции мятежники устроили настоящий кровавый погром, где погибли десятки и сотни только что приведенных к присяге, ни в чем не повинных новобранцев, совсем еще юных, ничего в жизни не изведав-

ших. Вместе с ними погибли старые партийные товарищи, попытавшиеся защитить невинных юнцов от озверевшей толпы. Погиб Имре Мезо — партсекретарь Будапешта, ветеран Гражданской войны в Испании, отважный участник Французского сопротивления. Венгерские фашисты давно мечтали расправиться с товарищем Имре Мезо. И этот день для них настал.

Мир содрогнулся от гнусности, которую устроили мятежники на площади Революции. Какая-то ритуальная заданность была уже в самом выборе места казни; несомненно, присутствовала она и в том глумлении над трупами, от которого содрогнулся весь мир. Нет, это была, конечно, не Польша... Вот тут только дошло до Хрущева, что поторопился он все же со своим красивым либерализмом, что, резко меняя курс государственного корабля, слишком уж накренил и сам корабль, затрещал тот по швам, разваливаться стал на глазах. Только тогда отдал приказ о введении войск.

1 ноября к вечеру войска деловито и без единого выстрела перешли границу, стали продвигаться в глубь страны.

Послать войска — всего-то и надо было Хрущеву, чтобы остановить эту страшную резню, в которой погибли такие прекрасные люди, как Имре Мезо, как сотни таких же, преданных делу социализма и коммунизма.

Утром второго ноября Имре Надь срочно пригласил к себе советского посла. Имре Надь в эти дни не покидал парламента. Он уже знал о переходе войск через границу, знал и о том, что куда-то исчез Янош Кадар. Но он не знал, что эту ночь с первого на второе ноября Янош Кадар провел в советском посольстве. У Андропова. Андропов был в эту ночь с Яношем Кадаром откровенен. Москва отдала приказ, войска переходят в эти минуты границу, Имре Надь обречен, считанные часы остались до полного подавления контрреволюции, и пора создавать новое рабоче-крестьянское правительство. Москва предлагает Яношу Кадару возглавить это правительство.

Разговор был непростой, достаточно жесткий. Яноша Кадара никто силой не заставляет, он может отказаться, замена, разумеется, найдется. Но тогда он, естественно, будет считаться сторонником Имре Надя... ну, и все прочее, что из этого следует... Только к утру удалось Кадара убедить окончательно.

— Я от всей души поздравляю Вас, товарищ Кадар, с новым назначением, уверен, что мы сработаемся. — В шестом часу утра Юрий Владимирович с усталой улыбкой пожал руку новому премьеру. — Отдыхайте, здесь вы в полной безопасности... впрочем, я понимаю, вам сейчас не до отдыха; по-видимому начнете, не откладывая формировать новое правительство? Ну, что ж — в добрый час... начинайте, а я — в парламент...

— В парламент?!

Янош Кадар поперхнулся кофе. На какое-то время забыл о себе, о том, что сам балансирует на смертельной проволоке. Он весь был захвачен непонятной притягательностью этого странного человека, который уже как-то сразу потерял к нему интерес — уже отрешенно натягивал пиджак, собирался ехать в самое логово контрреволюции.

— Я бы вам не советовал, товарищ Андропов, честно — не советовал бы... везде ж стреляют, насилюют, чернь разбушевалась... совсем опьянела от крови и оргий... тем более, вы говорите, что танки все ближе, если узнают, что вы — посол... растерзают же на месте!

— Риск есть, конечно... могут баки набить, как говаривал Остап Бендер...

Андропов зевнул и, стоя, уже в пиджаке, допил холодный кофе. Воспаленные после ночи глаза его сверкали ледяным блеском, очки усиливали этот блеск до пламени. У Яноша Кадара на долгие годы потом сохранится физическое ощущение ледяной, вот-вот готовой разорваться бомбы.

Да, эти несколько дней сверх напряжения в начале ноября превратили Андропова в тугой комок воли, брезгливого цинизма, беспощадности. В первую очередь беспощадности к самому себе, а потом уж и

ко всем остальным. Он ведь отдавал себе отчет, что, отправляясь второго ноября к Имре Надю в парламент, подвергает себя смертельному риску, советские танки оккупируют Венгрию, а он — полномочный представитель Москвы, — словно бы действительно ничего страшного не происходит, прибыл по первому вызову Имре Надя, прибыл безо всякой охраны, сидит тут перед ним, законным премьером, да, да — пока еще законным!.. закинул ногу на ногу, невозмутимо-внушительно привалился к спинке стула. Как будто действительно вокруг ничего не происходит!

— Да как же так, товарищ Андропов? Советские танки перешли границу суверенного государства! Что вообще происходит?! А Декларация? А невмешательство!

— О-о... ничего страшного... уверяю вас... просто одни войска заменяются другими... да, да... просто одни — другими... но уверяю вас, что скоро, очень скоро будут выведены все...

Имре Надь бегал по большому кабинету, метался от отчаянья к призрачным надеждам... так, может, действительно, ничего страшного не происходит, может, и нет никакой оккупации... Он пристально вглядывался в усталое посеревшее лицо человека, безмятежно сидящего перед ним. Он пытается хоть что-то разглядеть в этой непроницаемой маске... да, да — на сей раз выбрит не так тщательно, как всегда... пиджак помят... и вон — пуговка на рубашке растегнута... но ведь по-прежнему внушительно невозмутим, по-прежнему нет-нет да и улыбнется такой знакомой, такой всепонимающей улыбкой... так, может, простая замена войск? ... или все же идет самая наглая оккупация... по праву силы... но тогда зачем этот человек у него в кабинете? тогда ведь он и есть самый главный провокатор... предатель, преступник! Открыть дверь, кликнуть, крикнуть, на весь Будапешт заорать: <<Вот он! Главный виновник оккупации! Вот он — главный виновник нашего поражения!>> И тут же за милую душу схватят, тут же вздернут, сожгут, растерзают, как растерзали уже сотни и сотни... Или, действительно, ничего не боится... а ведь есть семья,

дети... положение... перспективы... Или это уже абсолютный цинизм?.. Да нет, цинизм хотя бы чем-то, но должен быть оправдан, а здесь... здесь какое-то непонятное иезуитство... средневековое какое-то, романтизм, или, может, начитался каких-нибудь розенкрейцеров... этих рыцарей плаща и кинжала?.. А ведь Андропову за сорок, седовласый... семья... Нет, ничего нельзя понять в этих русских, ничего...

Да, разумеется, Андропов мог бы и не являться в парламент, отсидеться в посольстве. Янош Кадар прав — через несколько часов в Будапеште будут советские войска. Но уж очень хотелось поехать в парламент. И, несомненно, какая-то доля цинизма или легкомысленного позерства присутствовала в этой последней встрече двух таких разных людей, на которой Имре Надь на правах премьера бросал ему в лицо жестокие обвинения. Андропов понимал, что сейчас полностью в руках у этого маленького венгра, который бегаёт перед ним по большому кабинету. Но он почти не боялся его. Ведь этот человек, бросающий ему в лицо сумбурные обвинения, в сущности уже обречен. Обречен вместе с обреченной контрреволюцией. А прислушайся Хрущев к советам Андропова год тому назад — и не было бы никакой контрреволюции, не было бы крови. Да и этот, что бегаёт сейчас по кабинету с печально повисшими усами, этот тоже бы жив остался, в тюрьме бы, конечно, посидел, но жив бы остался, а так... слишком уж много крови пролито... а в принципе-то крови одного Имре Мезо хватило бы... Имре Мезо не простится ему никогда.

Да, его правота восторжествовала. Но какой ценой. Пролиты реки крови. И теперь, хочешь не хочешь, в ответ прольются реки. А этот ... туда-сюда... как мышь в мышеловке... что-то все говорит, говорит, гневается... зачем?.. Все ведь уже бессмысленно... Он может еще расправиться с Андроповым... что ж, Юрий Владимирович и к этому готов... Знать, такая уж судьба.

Да, осознанно уже хотелось собственную долгоданную правоту в глазах Хрущева закрепить еще и

этим — если уж не буквально собственной кровью, то, по крайней мере, леденящей близостью ее. Хотелось правоту свою вывести на какой-то другой уровень, не на фактический, не на юридический... на какой-то другой, балансирующий над бездной.

Имре Надя арестовали, казнили. Янош Кадар надолго возглавил Венгрию. И в дальнейшем не просто подружился с Андроповым, но стал вместе с Живковым, Фиделем Кастро, вместе с Хонеккером тем человеком, на которого Андропов мог вполне положиться, решая все вопросы по укреплению соцлагеря. Но главное — Хрущев хоть что-то понял. Хрущев осознал, что для сохранения собственного привлекательного статуса реформатора нужны такие люди, как Андропов. Без таких цельных, решительных, фанатично преданных идее, сколь бы неосуществимой она ни казалась, не обойтись. Ну, а в Венгрии тогда висело все на волоске. Ведь Имре Надь успел вручить послу заявление о выходе страны из Варшавского Договора, по радио на весь мир объявил об этом. Многие, очень многие считали, что Венгрия уже потеряна, как Румыния, как Югославия. Многие уже не верили, что можно Венгрию вернуть. Андропов верил. И в этом убедил в конце концов Хрущева.

Так что его триумфальное возвращение на московскую политическую арену после венгерской ссылки было вполне заслуженным.

В 57-м Анастас Микоян ему вручает орден Ленина, его утверждают зав. отделом ЦК, в 61-м он становится членом ЦК, минуя кандидатскую ступеньку. Все круче он забирает после Венгрии. Но ведь, как говорится, живи, живи, да и не ухни. Тут опять в один момент могло все сорваться, полететь под откос. А, главное, ведь стрелочника, который путь твой перекроет, никогда не видно, никогда заранее за руку его не схватишь.

Был обычный вечер в конце октября, конец рабочего дня, один из многих... в журнал <<Коммунист>> отправлена статья, еще раз вычитан материал для Хрущева, собирался уже составлять

план на завтра. Звонок. Нина звонит — первая жена. Из Ярославля специально приехала, телефон где-то отыскала. В чем дело? Сын Володя попал в нехорошую историю. А что такое? Оказывается, в Москве в компании таких же подростков снял с прохожего часы. Собираются теперь судить. Хоть и малолетки, а, как ни верти, групповой грабеж. А может — и разбой. Нина точно не знает. Да и следователь, который ведет дело, ничего толком не говорит. Хорошо, если бы Юрий Владимирович поехал бы к следователю, поговорил... в нехорошую историю сын попал... <<В нехорошую... — жене Нине, бывшей конечно, отвечал тогда, — чего уж тут... очень, очень нехорошая история...>> И не совсем понятно было, к чему это больше относится — к сыну Володе или к нему самому... Нине обещал поехать, поговорить. Обещал встретиться с Ниной у следователя завтра утром... часов в десять, в одиннадцать...

Татьяне Филипповне, конечно, ничего не рассказал, жена после Венгрии, после того, как стреляли по посольству, еще не совсем пришла в себя, вообще прихварывать стала. Сам не уснул, разумеется. И чего только за ночь не передумаешь, чего не вспомнишь... Вспомнил, как шестнадцать лет тому назад они с Ниной выбирали имя для сына... решили в честь отца Юрия Владимировича Володей назвать... мечтали, что станет сын отважным полярником вроде Папанина... знать, не судьба...

На следующий день к следователю не поехал. Ни в десять, ни в одиннадцать. Перешагнул в себе через что-то болезненное, сделал еще один шаг судьбе навстречу. И судьба чутко отреагировала. Вскоре он назначен уже секретарем ЦК. Курирует свой собственный Отдел по работе с соцстранами. Еще ступенька, вернее — прыжок! Да еще какой. После Карибского кризиса мир неимоверно усложнился. Все очевиднее укрепление социалистической системы становится главной задачей. И он, Андропов, отныне в центре этой сверхзадачи. И, словно впервые, с головокружительной высоты окинул единым взглядом эту странную систему — от Кубы и до Монголии, от

Болгарии и до Вьетнама, от Венгрии... все ведь на волоске тогда висело... И вот впервые по-настоящему это странное слово с и с т е м а стало примеряться к нему самому, раскручиваться стали какие-то заповедные извивы собственной души, такие лабиринты впервые там раскрываться стали, такие тупики и безнадежные штопоры душевных полетов, о которых мало кто и представление имеет. Но если есть все это в самой с и с т е м е, то в человеке ведь тем более.

Глава 2

— Боже, как не хочется стареть! — этими словами начинает день профорг сектора статистики НИИ геологии Светлана Николаевна Кузнецова. — Старость, немощь - это так противно... б-р-р...

Ей — сорок пять, ни детей, ни семьи, по утрам — мигрень. Никто не связывается с ней по утрам.

— Надо к шефу идти, — говорит Бутолина - руководитель сектора (у нее расстегнута лишняя пуговица на блузке), — опять дочка заболела. Как у него с утра настроение? — Она смотрит на мэнээса Шишкина, тот пожимает плечами. — Идти или не идти?

Шишкин пожимает плечами.

— Ну и дети теперь пошли, — говорит Кузнецова за спиной у Шишкина, — хилые, чуть что — болеют...

Тихо открывается дверь, и на цыпочках входит с виноватой улыбкой Наташа — машинистка.

— Ну, ты, мать, даешь! — шепотом говорит Бутолина. — А если б проверка? Уже пятнадцать минут.

— Ты что! — шепотом же отвечает Наташа. — Проверки же по понедельникам и пятницам обычно бывают.

— Мой-то дурачок что отмочил... — рассказывает Наташа, снимая шубку, разматывая японский мохеровый шарф, ловким движением поправляя перед зеркалом золотые серьги...

Кузнецова внимательно смотрит. Рабочий день начался. Заглянул мэнээс Блендер. Шишкин идет с ним курить на лестничную площадку. Потом под разговоры, которые не прекращаются ни на минуту, он переписывает из старых отчетов три или четыре страницы, оставляет место для цифр, которые возьмет в отделе статистики. За это Шишкин в НИИ получает сто шестьдесят рублей.

Графин пуст. Шишкин спускается вниз, в туалет, набирает хлорную воду. Пока закипает чайник, он глядит в окно на автостраду, по ней уже с утра непрерывный поток легковых автомашин. Трудятся как пчелки — туда-обратно, туда-обратно. За город, на дачу, везут все, что можно увезти на машине: краску, доски-горбыль, старое кресло, газовые баллоны. С дачи — корзины редиски, лука, клубники.

Шишкин поливает цветы, все, кроме кактуса, и выходит на балкон, садится, смотрит на солнце. Солнце уже обошло высотное здание. Яркое, теплое. Жильцы вывели погулять собак. Одна небольшая удлиненная собачка в вязаном костюме сердится и лает на ворону, сидящую на дереве. Ворона смотрит вниз и не отвечает. Другая — награжденная медалями, высокая, поджарая, похожая на запятую — резвится.

Они пьют чай со Светланой Николаевной. Им нравится крепкий.

— Отъездил ты свое, — сообщает она Шишкину (он раньше был геологом), — да, отъездил. — Со вкусом причмокивая, Светлана Николаевна потягивает чай с блюдечка. — Бери варенье-то, бери.

— Спасибо, я — так.

— Ну, как? К городской жизни привыкаешь помаленьку?

— Привыкаю.

— А может, еще и поедешь куда?

— Может, и поеду.

— Да вряд ли уж теперь — семья, дети, куда-а...

Да ты бери варенье-то, бери.

— Спасибо, я — так.

— Ну, хозяин — барин.

— А я уже заранее ненавижу своего зятя, — дергает плечиком руководитель сектора Бутолина. — Я ревнива ужасно, как же так: моя дочь будет любить не меня — кого-то другого! Ну, умом-то я все понимаю, а вот чувством — ничего не могу поделать. Как-то придется скрывать, не показывать.

— Когда это еще будет, — говорит профорг Светлана Николаевна, — через десять лет, а она сейчас мучается. Противно все — ужас!

К обеду настроение у всех поднимается.

— Я так думаю, — Бутолина нагнулась, застегивает молнию на венгерском сапоге, — сейчас нужна будет интеллектуальная разминочка, поэтому пробежимся до Щербаковки в магазин.

— Пуськ, а Пуськ, — звонит мужу по телефону машинистка Наташа, — я сейчас выхожу, зайду только корейки возьму. Да? Ну и ладненько. Минут через пятнадцать буду дома. Ну, через двадцать, если очередь.

— Ну, как так жить, — вздыхает Светлана Николаевна, — чтобы за каждую минуту отчет давать, не понимаю.

— И не поймете, — Наташа заправляет перед зеркалом волосы под шапочку. — О господи, шоколадку захотелось! К чему бы это? И не поймете... Вот так... Егор Александрович, — поворачивается к Шишкину, — если шефу в обед будут звонить, запишите — кто и что. Ладненько?

Заглянул Блендер, идут курить.

— Представляешь, старик, — вяло разгоняя дым перед собою, рассказывает Блендер, — вчера у памятника Маяковского собрались стихи читать... подкапывает "воронок", хватать стали... меня потом, правда, отпустили, а троих из наших увезли. Сегодня идем пикет организовывать, чтоб выпустили... еще чего! Нет, ломать, ломать надо все...

Вечером Шишкина спрашивает жена:

— Ну, и как там на работе?

— Ничего, — отвечает Шишкин, — пишем да считаем. Как там Марина?

— Пятерку по арифметике получила.

— А Оля?

— Хорошо, — отвечает жена, — в садике сегодня выступала.

— Ну, ну...

— Только спать сегодня долго не ложились, плакала. Кошку дохлую или убитую за сараем обнаружила. Ты что?!

— Ничего!

— Что же тарелку отшвырнул?

— Сыт!

— Тоже мне — йог!

Шишкин молчит.

— Может, уедем, а? Обратно в Якутию... и за свет в этом месяце что-то много принесли...

Шишкин молчит.

— Сегодня Олю посадила на солнышко нос согреть, — говорит жена, — ты бы только, Егор, посмотрел! Нет, об этом не расскажешь, что она с солнцем вытворяла... надо самому видеть... а Якутия, что ж... опять дети авитаминозом болеть будут...

Утром Шишкин пораньше сходил за сарай, закопал кошку, которую сожгли заживо. Круг выгоревшей земли. Запах бензина. Обрывок проволоки, которой связывали. Три окурка... сигареты с фильтром. Шишкин нагнулся, на одном, показалось, следы помады. За сараем, вдоль глухого забора, уже несколько кругов выгоревшей земли. Некоторые уже стерлись от времени. Другие еще светились живой болью.

— Боже, как не хочется стареть, — говорит Светлана Николаевна, глядя на солнце, огибающее высотное здание. — Старость, немощь — это так противно!

— Что делать, — говорит Бутолина, — пудрой намазаться или методику считать?

Достает из сумочки зеркальце, пудреницу, щеточки, пилочки.

— Ну, что ты смотришь на меня, как на раскрытую могилу!

Это она Шишкину, сидящему напротив, у нее, как всегда, расстегнута лишняя пуговица на блузке.

— Переписывай-ка отчет лучше. К шефу идти надо. Как у него с утра настроение?

Шишкин смотрит на автостраду.

Заглядывает Блендер, идут курить.

— Представляешь, — смеется Блендер беззвучным смехом, — машинистка запятую не там поставила, экономический эффект наших разработок подскочил в сто раз! В Госплане обрадовались, шефу премию хотят... а он струхнул, естественно, и теперь не знает, что делать... А наших-то, ну, тех троих, — выпустили... вернее, двоих выпустили, а третьего — в психушку. Сегодня идем пикет организовывать. Да бывал я в этих психушках — ничего хорошего... Сам Сахаров тогда вмешался. Ей-богу. Выпустили, конечно... Слышал анекдот: армянскому радио задают вопрос...

После курилки Шишкин сидит, старые отчеты переписывает...

Сизое, стремительное небо над соснами. Взбодраженное, вздыбленное, клочкастое. Топорщится, всё в дырах, всё в заплатках. Не небо — цыганское одеяло. Внезапно откуда-то снизу, из молодняка, рванул свежий ветер, пробил густую хвойную дремь, приподнял ветки — посветлело над головою.

Шишкин на санках везет Олю и Марину. Марине уже семь, она рассказывает про свои школьные пятерочки. А Оле всего четыре. В руках у нее супербложка с книги о художнике Ван Гогге. Возле речки, где остановились посмотреть на воду, спросила Оля:

— Папа, тебе какой сон больше всего нравится? Посмотри.

— Почему же сон, Оля? Это ведь картинки. Вот эта называется <<Кафе>>, эта — <<Ночь>>.

— Нет. Это всё сны. Какой тебе сон больше нравится?

Шишкину приятно поправить Оле шарф, проверить — не потеряла ли она галошу, приятно слушать, как называет она снами картины Ван Гога. Ему нра-

вится, что старшая дочь Марина не собирается в школе останавливаться на пятерках, хочет получать шестерки, семерки, восьмерки... Снег быстро и косо летит, и на том месте, где то и дело обнаруживается тревожная пустота, вот уже опять появилась в Шишкине приятная безмятежность смысла. Оглядываясь, он видит дочек, ему до того легко везти их, что приходится все время назад оглядываться — тут ли они. <<Главное — их вырастить хорошими людьми>>, — думает Шишкин.

Шишкин подошел к карте, висящей на стене, Якутск отыскал.

— Слыхали, — говорит он, — генерала избили подростки. Сегодня очерк в газете. До полусмерти.

— Дожили, — говорит Светлана Николаевна, — все так противно!

— Генерала избили, — говорит Шишкин в пятой комнате.

— Подумаешь, — ему отвечают, — у нас вон в “Сосновке” девочку — пяти лет — украли. Прямо с катка. Отец с матерью в больницу попали. Лежат. Соседи деньги собирают — остальных-то детей кормить как-то надо!

— Генерала избили, — говорит Шишкин виновато в двадцатой комнате.

— Живой?

— Кто?

— Ну, генерал твой.

— Живой, в больнице. Но ведь в центре города, почти днем.

— Да сейчас убивать будут — никто пальцем не пошевелинет.

— Почему?

— Ты что — больной! Кому ж охота, чтоб и тебя избили?

— Генерала избили, — говорит Шишкин в десятой комнате.

— Избили — это что. У нас вон соседу руки отрубили, в колодец сбросили... к утру кончился.

— Генерала избили, — говорит Шишкин, — ну... подростки...

— А им все равно кого бить.

— Но он же их в войну защищал.

— И-и-и... что вспомнил. Да что они о войне-то знают.

— Генерала избили.

— Сплетня, наверное, очередная.

— Да вот же, в газете, сегодня.

— А-а... тогда так и есть, раз в газете.

— Генерала избили.

— Ага! До генералов уже добрались! Все верно, мой друг, все нормально: с отставанием, но повторяем известный путь цивилизации насквозь прогнившего буржуазного общества — хулиганство, наркомания, проституция, бандитизм, коррупция...

— Генерала избили.

— Дядя?

— Какой дядя?

— Ну, генерал твой. Родня?

— Да нет, просто генерал.

— А-а-а...

— Генерала избили.

— Не велика беда. Живой ведь.

— Кошек заживо сжигают.

— Сравнил: кошек и генерала. Ты что, Шишкин, больной!

— Генерала избили.

— Генерала избили!

— Генерала избили!!

— Ну и что?

— Ничего...

— Ну вот и порядок.

Шишкин после работы стоит, глядит под ноги, озабоченный каким-то парадоксом. «А-а... — догадался наконец, — собачка была до того маленькая, что все ее звали: кис-кис-кис...»

Здесь не Якутск, здесь даже дожди и те торопливы. Словно взмах веера, ненадолго освежают. Уже дымком потянуло. За городом начались пожары.

На углу то и дело открывалась дверь чайной. Шишкин зашел. Там было дымно, шумно. Чего-нибудь выпить ему не хотелось. Он прислонился к стене, никому не мешая. Но мужчина в берете остановился напротив и показал один палец. И Шишкин спросил, не противясь: <<Сколько?>> <<Рубль двадцать >>, — мужчина пожал слегка плечами. Его товарищ уже нес от стойки три стакана, энергично стряхивал с них воду, хмуро разглядывал каждый, прежде чем поставить на стол. И ставил не сразу, всё сдувал что-то невидимое со стола, словно бы сосредоточенно все оттягивал момент истины. А в глазах уже было напряжение еще будущего страдания. А так глаза были добрыми, в многочисленных морщинах. А тот, что в берете, деловито доставал сырок, дул на него, быстро делил на три части. <<Ну!>> — с облегчением произнес тот, что в берете.

Граненый, до краев наполненный стакан водки ударил в голову. Стало тепло, потом хорошо. Облокотившись на стол, Шишкин двигал по темному мрамору пустой стакан и почти не слушал, что говорили его новые знакомые. Был невнимателен, когда сбрасывались на вторую бутылку. Он поразился тому, что вдруг открылось, — чему-то нерасчлененному, но такому понятному. И тут же домой заспешил.

Когда пришел, жена спала. Через неприкрытую дверь он слышал ее дыхание. Была в нем естественность тепла, тишины и порядка. Шишкин присел в коридоре на ящик из-под обуви, нагнулся, стал снимать ботинки. В заднем кармане брюк сложенный вчетверо конверт напомнил о своем существовании. Шишкин достал письмо десятиклассника Кости Залеского (Костя посещал геологический кружок, который вел Шишкин одно время в якутском Доме пионеров):

<<... Вы нам как-то рассказывали, что, когда человек начинает заниматься йогой, он принимает определенные обеты, и в частности: он должен любить людей, не причинить им боль, быть правдивым и т. д. Но занятия йогой несовместимы для меня с целью самосовершенствования и исповедования человеколюбия, так как я знаю, что если бы я отдал всю свою

энергию и силы на какое-нибудь глобальное дело, например на продвижение дела коммунизма вперед, в форме внесения своей лепты инженера, ученого, рабочего, военного в дело укрепления нашей страны, то это принесло бы людям больше пользы, чем если бы я просто занимался для себя йогой и был бы идеальным, хорошим человеком по отношению к близким и просто встречающимся мне на жизненном пути людям. И я думаю, разница этих двух линий настолько велика, что исчисляется человеческими жизнями. Как же поступить конкретно в моей дальнейшей судьбе?>>

Шишкин потянулся снять второй ботинок. Он думал о том, как же, действительно, поступить Косте Залесскому в его дальнейшей судьбе. За дверью, на лестничной площадке, он услышал осторожные шаги, в возбуждении произнесенные тихие слова. Слов он не разобрал. Но, словно еще стакан водки, ему ударило в голову опять это, потягивающее на тошноту, — то, что разворачивалось прямо за его дверью. Шишкин выскочил на площадку, они заканчивали уже пролет. У последнего под мышкой была канистра. Первый, который Шишкину было плохо виден, что-то прятал под плащом живое и просящееся на волю, обеими руками прижимал к животу. А тот, что шел между ними, жестикулировал и торопливо что-то говорил.

— Эй, — сказал негромко Шишкин и протянул им вдогонку руку.

Сохраняя порядок, они побежали: четвертый, третий... второй этаж, как в лифте... Весна сорок пятого. Развалины Киева. Хлебные карточки. Кошка, пережившая вместе с ними войну, ползет за солнцем, медленно обходящим двор. Шишкин с сестрой ловят редких мух, чтоб накормить кошку. Вместо детских игр... Шишкин медленно догонял. За углом дома он настиг последнего и вырвал канистру. Все шло, не смотря на скорость, как при замедленной съемке. Когда видишь, как медленно-медленно переворачивается твой автомобиль — и скован, не можешь остановить это переворачивание. Так и он, словно бы по инерции, вырвав канистру, стукнул ею подростка по

голове. Ой! — что-то вскрикнуло или оторвалось в Шишкине навсегда, после того как стукнул он подростка по голове и тот, полуобернувшись к Шишкину, стал оседать, превращаться в маленького мальчика, ломаясь стал укладываться у Шишкина в ногах. Усики под носом мелькнули Шишкину на память. Понарошку, наверное. Сперва горизонтально усики мелькнули. Это потом голова его легла на плечо — усы перед Шишкиным вдруг вертикально встали.

— Дяденька, не надо! — задергалось у Шишкина в руке, почувствовал он левую руку. Оторвал взгляд от усатенького, глядит: а это, оказывается, он крепко держит за плащ второго! А третий — теперь Шишкин видит и его — с той стороны клумбы, в безопасности, приплясывает, кривляется, колченогий... вооруженный половинкой кирпича.

— Скорей, скорей! — кричит кому-то.

Тут набежали, навалились, дали Шишкину по уху. Кричат, кто — милицию, кто врача, кто — мальчика убили. <<Гад! — кричат, — дайте ему еще!>> Дали еще — все равно не больно. Только тоскливо Шишкину, тяжело, не хватает чего-то. Что-то объясняет он — не слушают. Еще дали раз — совсем не больно. Попробовал вырваться — ку-уда... Хоть плачь! Но закипело уже, чувствует, что меняется весь и сразу — всеми фибрами. Уже не Шишкин, уже другим становится. Это внутри. А снаружи — весь тут пока, как невидимка, — у них в руках еще... Хотел сдержаться — какое там! Чувствует, что разорвет его сейчас, он как крикнет: <<У меня отец живьем... в танке!>> — как рванется... освободился... сам или отпустили? Смотрит — бородатенький перед ним, ну, тот, который пару раз по уху заехал, пока Шишкина держали. Между прочим, по-деловому так заехал, словно страницу-другую перелистнул. Вот он весь тут перед Шишкиным. Когда бил, Шишкин его и не заметил. А вот сейчас сразу и узнал... и еще обнаружил, посмотрев на свои ноги, что без ботинок он, в одних носках. Тогда Шишкин решительно пошел на бородатенького. Хотя точно и сам не знал, что будет делать, когда подойдет. Тот — задом от Шишкина.

— Папа! — взвизгнул где-то сбоку усатенький (ага, живой, значит!) — Папа, беги скорее — это сумасшедший!

Но бородатенький еще шаг или два сделал, задом пятясь, и упал в клумбу. Живо перевернулся и пополз, вихляясь, словно потерял позвоночник. Смешно! Шишкин и догонять его не стал. Ведь для мальчишки нет ничего позорнее, когда вот так отец ползет, потеряв позвоночник. А с другой стороны клумбы уже и милиционер выходит из цветов, весь в ремнях, весь в пуговицах золотых:

— Пройдемте. Это я к вам обращаюсь. К вам, к вам, гражданин в синих носках. Пройдемте.

— Да пожалуйста.

Шишкин совсем успокоился. Скучно так стало, тоскливо, спать захотелось смертельно.

Очнулся он в КПЗ, на нарах. Рядом - несколько человек захлебываются от храпа. В верхнем углу камеры под самым потолком мутно-желтая лампочка в проволочной сетке. Под ней параша. Правее дверь, обитая железом. В двери глазок полумесяцем.

— Так, — шевелит он сухим языком, — интересно: товарищеский суд или строгачом отделаюсь, а-а... — Шишкин поворачивается на другой бок и громко зевает, — ладно, там разберемся, что к чему.

За решеткой окна уже сереет. Утром старшина ведет его через сквер, через площадь в нарсуд. Тошно Шишкину, жить не хочется.

— Слышь, старшина, — он говорит через силу. - Ведут преступника на казнь. Вдруг он останавливается и хлопает себя по лбу: <<Сегодня же понедельник, говорит, ну и неделка начинается!>>

— Ну, ты, без этих... — старшина поправляет пустую кобуру.

— Да это ж анекдот такой.

— Все равно — я при исполнении.

— Ладно, не буду.

Идут молча. Только Шишкин иногда что-то бормочет почти что про себя.

Женщина-судья с жалостливыми голубыми глазами, вздохнув, дает Шишкину всего десять суток. Он

было протестует, но слышит твердое: «Можно и пятнадцать.» И тогда затихает, как голубь, и молчит до самой камеры. Захлопывается дверь, гремит засов. «Клетка и клетка, — морщится Шишкин, — и пахнет к тому же зверинцем.»

Первый день он грузит песок в машины. Грузит, не поднимая головы. Рядом сержант с белыми глазами, в форме и при оружии. Спешат мимо прохожие по своим делам, школьники с портфелями. И кажется Шишкину, что все смотрят только на него, и каждый знает, что вот он, Егор Шишкин, мэнэс НИИ, вместо командировки в Свердловск грузит песок вместе с пьяницами и хулиганами.

Скоро он стал уставать. И, хотя брал на лопату все меньше и меньше, к обеду выбился из сил совсем. Дрожала ложка с молочным супом, и спина вдруг покрывалась потом, как от испуга. «С похмелья что ли, — гадал он. — Или давно уж так не работал. А может, послать их всех подальше с этой работой. В самом-то деле, с какой стати?»

— Слышь, — обратился он к соседу, — а если от работы отказаться, а?

— На семь с половиной копеек в день тогда, — охотно тот объяснил, облизывая ложку, — а так, все же тридцать девять, не помрешь.

Эти полкопейки почему-то были убедительнее параши, нар и железной двери с глазком, полкопейки доконали Шишкина окончательно. После обеда он вышел со всеми на работу. До вечера нагрузили еще три машины и ужинали оставшимся после обеда хлебом. Шишкин вяло хлеб жевал, макая в соль, запивал кипятком и высчитывал: сколько еще сидеть осталось. Носом старался не дышать. «Выговор, скорее — строгий, — размышлял, поудобнее устраиваясь на нарах, — а может, и суд товарищеский». Он поморщился, его опять затрясло. Тело было тяжелое, чужое. Давно уж так не уставал. Но уснуть не удалось: мешали свет и храп на разные голоса. Мешали мысли одна другой хуже. «Вот влип так уж влип!» — в голове было только это.

Кроме него, <<указников>> — так называли здесь всех осужденных за мелкое хулиганство — было еще пять человек. Спали тяжело, беспокойно, чесались, кашляли, часто просыпались, пили воду или шли в вонючий угол под лампочкой, долго кашляли и снова валялись на нары.

И потянулись дни, медленные, скучные. По-осеннему дождливые. Просыпались рано, кашляли, рассказывали сны, жаловались на бессонницу или врали про женщин, ругали милицию: <<Собачья у них жизнь>> — и высчитывали — сколько кому осталось. Хором стонали: <<Эх, покурить бы сейчас!>>

Павел Терентьевич — пенсионер — уже у <<глазка>>. Следит, когда закурит дежурный. И голосом умирающего:

— Сынок, а сынок, оставь затынуться.

Шишкин ходит по камере. Три шага туда, три обратно. Щупает подбородок — зарос.

— Ну, курить запретили, бриться, читать газеты. Ну, это как-то понятно, — вслух рассуждает он. — Хотя элементарное уважение к человеку, если он даже и совершил мелкое хулиганство, иметь и здесь не мешало бы. Но вот ремень зачем отобрали? Это ж глупо...

— Так что ж ты, Егор, хочешь — милиция же.

Скоро вместо ремня Шишкин приспособил проволочку. Плащ обменял на ватник. Голова уже не мерзла. То ли волосы отросли, то ли пообвык. Зарос, похудел, конечно, но уставал меньше. О НИИ вспоминал все реже. <<Ну, строгий выговор, ну, суд товарищей... но впереди ведь еще вся жизнь>>. Научился просить у прохожих закурить или газету. Посмеивался при этом: <<Ну и ловкий же, однако, этот Шишкин!>> Только когда рассматривали в <<глазок>>, хотелось забиться и завывать, как тот волк, что видел однажды в зоопарке.

На пятый день была суббота. Они остались вдвоем лишь с Павлом Терентьевичем. До обеда подметали в парке, шел мелкий дождь. Заколочены киоски. Листья на скамейках. По аллеям мокрые собаки. Пусто в парке и светло.

В обед Павел Терентьевич ушел за молочным супом. А Шишкин сидел один на нарах в теплой вонючей камере. Ел хлеб с солью и читал газету. Прислушивался: не идет ли по коридору дежурный. Он был доволен. Есть хлеб, теплые нары и целых две газеты. Он читал <<Известия>>, а <<Комсомолку>> припрятал на вечер. Читал все, не пропуская даже призывов по случаю приближающихся праздников. За окном моросил дождь, а в камере тепло и уютно, скоро будет молочный суп, и газета сегодня интересная. Завтра воскресенье — на работу не погонят. А там всего четыре дня. Хорошо! Он огляделся: нары, решетка, глазок... Привык, привык за пять дней, как будто и не было никогда черного кофе по утрам, белой рубахи, цыпленка-табака в ресторане и шумных споров в курилке о Блайберге или Стрельцове.

— Ну и скотина же человек! — удивился вслух Шишкин. — Ко всему привыкает.

Последнюю ночь он долго не спал. Ходил по камере, насвистывал: <<Завтра, завтра, завтра...>> Читал надписи на стенах. Сам написал: <<Сидел десять суток — ничего хорошего>>. Павел Терентьевич лежал на нарах, покуривал.

— Вот так, Павел Терентьевич, — десять суток вычеркни из жизни.

— Десять дней, — засмеялся, закашлялся Павел Терентьевич, — десять дней — не десять лет, ох хо-хо... от звоночка до звоночка. Давай-ка спать, малый.

Шишкин только присвистнул и полез на нары. Павел Терентьевич стряхнул пепел с сигареты в бумажку и проглотил, как порошок.

— От изжоги, — объяснил он, — в Воркуте научили.

И, накрывшись ватником, к стене отвернулся. А Шишкин лежал на спине и беззвучно хохотал:

<<Десять лет — и какой-то там выговор...>>

Глава 3

После октябрьского Пленума 1964 года, на котором снимали Хрущева, Юрий Владимирович неожиданно попал в опалу.

А началось все с директив, которые его Отдел готовил для нового Первого секретаря. Приближалось заседание Политического консультативного комитета стран-участниц Варшавского Договора, где Брежнев должен был впервые выступить в роли первого лица страны и партии.

Проект директив обсуждался на Президиуме и был начисто забракован за недостатком классово-позиции. Авторов проекта обвинили в чрезмерной уступчивости в отношении империалистов, в пренебрежении мерами сплочения с братьями по классу. В виду имелись китайские товарищи.

Особенно активно выступал <<железный Шурик>> — Александр Николаевич Шелепин. Это понятно. Странно, что с ним заодно и Косыгин. Всегда рассудительно-спокойный, а тут — не узнать.

Сам Брежнев больше отмалчивался, приглядывался. Он ведь только что занял кресло Первого, как и положено — выжидал, определял расстановку сил в ближайшем окружении.

А Косыгин — тот наседавал, не по возрасту горячился, настаивал на том, чтобы Брежнев немедленно ехал в Китай, налаживал совсем развалившиеся при Хрущеве отношения. А как их наладишь! Если китайские товарищи на весь мир обвинили СССР в отступлении от марксизма-ленинизма. По сути же требуют отмены решений XX съезда. Нет, на это Брежнев пойти не может. По крайней мере, сейчас. Поэтому он недовольно хмурится, становится насупленным, совсем лохматым из-за бровей, головой вертит, хмыкает. Когда же Косыгин слишком поднасел, раздраженно говорит:

— Ну, если считаешь, что это до зарезу нужно, бери вон Андропова и поезжай сам.

До больницы Юрий Владимирович побывал с Косыгиным в Китае. Но, как он и предполагал, безрезультатно. Отношения, наоборот, обострились. Что позднее и вылилось уже в открытое столкновение на Даманском.

Мало того: когда делегация по пути в Китай залетела в дружеский Вьетнам, американцы начали бомбить Вьетнам. Вот тебе, Юрий Владимирович, истинное лицо империализма!

А всего год назад с Америкой был заключен договор о разоружении. Первый настоящий договор! Что-то в мире явно сдвигалось к лучшему после затянувшейся холодной войны. Юрий Владимирович был уверен, что отношения между двумя сверхдержавами выкручивают в нужном направлении. Как и положено между двумя великими державами. И вот надо же — они с Косыгиным прилетают во Вьетнам, а на другой день американцы начинают его бомбить. Вот тебе, Юрий Владимирович, и забвение классовых позиций, о которых постоянно напоминают классики марксизма-ленинизма!

Короче, в Москву вернувшись, слег с инфарктом. Всю весну провалялся в Кунцевской больнице. Думал, хоть на 14 июня, на день рождения, выйти. Не получилось. Консультанты-сослуживцы из его Отдела — Арбатов, Бовин, Шахназаров — прислали коллективное письмо. В стихах. Отвечал им тоже в стихах.

Товарищам: Г. А. Арбатову
Г. Х. Шахназарову
А. Е. Бовину

*Друзья мои, стихотворенье —
Ваш коллективный мадригал —
Я прочитал не без волненья
И после целый день вздыхал.*

*Увы! Всевышнего десницей
Начертан мне печальный старт
Пути, который здесь в больнице
Зовется коротко — инфаркт.*

*Пути, где каждый шаг неведом,
Где испытания сердцам*

*Ведут чрез тернии к победам.
... А в одночасье - к праотцам.*

*Среди больничной благодати
Сплю, ем да размышляю впрок,
О чем я кстати иль некстати
Подумать до сих пор не мог...*

Ю. Андропов

Отвечал в шутовском интеллектуально-самоироничном тоне, который давно установился у них в Отделе. Но на душе не легко. Пятьдесят один год прожит. Столько уж всего за спиною. Жизнь перевалила какой-то пик, вот уже и первый звонок — инфаркт. А где он, что с ним, что он вообще на сегодня такое... человек, подписывающийся — Ю. Андропов. Откуда взялся?.. Да оттуда же, откуда и все они — его одногодки — из той стихии, что пронеслась однажды над страной. А годы-то, если оглянуться, годы какие! И страшные, и бесстрашные. И по-своему красивые. Красота вперемешку с ужасом, как и во всякой могучей стихии. И-и... смешно теперь стихию в чем-то обвинять... Так думается Юрию Владимировичу.

Годы-то, годы какие!

Раскрой любую газету...

<<... Ожесточенные бои под Мадридом...>>

<<... Указ о присвоении звания Героя Советского Союза летчикам и танкистам рабоче-крестьянской Красной Армии>>.

“Перелет Чкалова через Северный Полюс!”

18 января 1937 года: <<Чрезвычайный 17 Всероссийский съезд Советов. В Президиуме товарищи Сталин, Орджоникидзе, Молотов, Каганович...>>

Газета <<Правда>> от 21 января 1937 года: <<Стереть с лица земли гнусных изменников Родины! Смерть троцкистским гадам! Кровавые псы фашизма!>>

27 января: <<Присвоить народному Комиссару Внутренних Дел Союза ССР Ежову Николаю Ивановичу звание Генерального Комиссара Государственной Безопасности.>>

<<Посланцев советского балета встречают в Англии цветами!>>

<<Слова тов. Вышинского - наши слова!>>

<<Мировые рекорды советских штангистов!>>

<<1 февраля приведен в исполнение приговор о расстреле осужденных Пятакова, Серебрякова...>>

<<Героическая эпопея челюскинцев...>>

Доклад товарища Сталина на мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) *<<О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских двурушников>>*.

По стране катится волна митингов. Молодежь дает клятву, не щадя сил, крепить революционную бдительность.

Ошеломляющие рекорды наших аэронавтов!

11 июля 1937 года Верховный суд приговаривает изменников и шпионов Тухачевского, Якира, Уборевича к расстрелу.

<<Собакам — собачья смерть!>>

Всесоюзная стройка - Волгострой...

Доклад 1-го секретаря Ярославского обкома комсомола тов. Павлова Б. И. от 3 марта 1937 года *<<О неблагополучии в Рыбинске и на Волгострое>>*.

Из Постановления бюро Ярославского обкома комсомола от 17 марта 1937 года:

<<... пользуясь покровительством секретаря комитета Вуколова, троцкистские выродки вели контрреволюционную работу в педагогическом институте. Зав. студенческой молодежью т. Скворцов А. П. слепо верил Вуколову...>>

Из записки Ярославского обкома комсомола в НКВД о ходе обсуждения материалов процесса над троцкистской группой. От 4 января 1937 года:

<<... Андропов Ю. В. работает зав. отделом учащейся и рабочей молодежи, взыскания не имеет, член комсомола с 1930 года...>>

Из стенограммы актива Ярославского обкома комсомола от 21 октября 1937 года. Из выступления Андропова Ю. В.:

<<... родился в 1914 году на станции Нагутинская Северо-Кавказской железной дороги. Отец —

служащий, умер в 1919 году. Мать — учительница музыки, умерла в 1929 году. Из родственников репрессантов нет. Я вступил в комсомол в 1930 году, выдвинут учиться на киномеханика, сдал и работал киномехаником при железнодорожном клубе. Начал работать в комсомоле, в культпросвете. В тридцать втором году по объявлению в "Комсомольской правде" подал заявление в рыбинский техникум, который закончил в 1936 году. С 33-го по 36-й работал секретарем комсомола. Потом Политотдел перебрал работу на судовой верфь Володарского. На городской конференции избрали в члены бюро и был утвержден зав. отделом пионеров, где проработал 16 дней. После этого взят в обком, где работаю 14 дней...>>

Вопрос: <<Ваше участие в деле Попковой?>>

Ответ: <<Шесть дней тому назад мне звонят из газеты "Северный Рабочий", говорят, что в техникуме СК есть бывшая комсомолка Попкова, которую исключили из комсомола за то, что муж репрессирован как враг народа. При этом ставится вопрос сейчас об исключении Попковой из техникума. Я навел справки, где надо. Там говорят, что в данном случае на комсомолку Попкову показаний нет, которые прямо бы ее уличали. После этого я выезжал в Ростов, не мог заниматься этим, и сейчас, в связи с конференцией, вопрос остался открытым. Но я вызвал секретаря комитета — говорил с ним. Секретарь и комактив настаивают, что исключение было правильным, так как у нее были антисоветские высказывания. Это нужно проверить. Сегодня же это сделаем...>>

Годы-то, годы какие!

Могучей поступью Страна Советов заявляла о себе на весь мир. Будила сонное Человечество, звала на борьбу за светлое будущее.

Газета <<Правда>> от 30 мая 1937 года печатает телеграмму товарищу Сталину от писателя Лиона Фейхтвангера: <<Нет такой силы, которая смогла бы уничтожить осуществленный в вашей стране социализм!>>

Тут же выступление 1-го секретаря ЦК ВЛКСМ тов. Косарева А. В. <<О необходимости развивать не только критику, но и самокритику>>.

По стране катится новая волна митингов. От Курил до самых западных наших границ молодежь клянется крепить революционную бдительность.

Так мог ли конкретный обком, горком, райком, любая низовая ячейка в техникуме, институте — остаться в стороне? Мог ли в стороне остаться отдельный комсомолец? А тем более если ты уже — инструктор, если ты уже зав. отделом... Твоего ведь непосредственного начальника Скворцова уже сняли — *слепо верил т. Скворцов контрреволюционеру Вуколову...* Нет, не мог ты остаться в стороне! Да и не хотел. Вот ведь в чем дело — не хотел! Подхваченный ураганом, не хотел, не имел права!

Разгоралась невиданная, неслыханная битва. Люди сгорали молниеносно. Как сухие, впрок заготовленные щепки. От маршала до девчонки-студентки. Сгорали с какой-то яростью, с какой-то серьезной предопределенностью своей собственной роли в этом великом костре, где сошлось, сцепилось намертво в последней схватке старое и новое.

Из докладной записки на имя 1-го секретаря ЦК ВЛКСМ тов. Косарева от 1-го секретаря Ярославского обкома комсомола тов. Павлова Б. И.:

<<... Ярославский обком ВЛКСМ просит утвердить решение обкома от 17. 06. 37 г. о снятии с работы секретаря Кировского Р. К. ВЛКСМ Козловой за продолжительную личную связь с врагом народа...>>

А подпись-то, подпись-то уже не Павлова! А Брусникина — нового 1-го секретаря.

Да и самому Косареву уже недолго оставаться в кресле первого секретаря ЦК ВЛКСМ. 7-й Пленум разоблачит вражеское руководство Косарева и с корнем вырвет зловонный сорняк.

И Брусникину не дадут развернуться как следует.

2 сентября 1937 года он еще ведет совещание секретарей райкомов и горкомов, он еще разоблачает врага народа Рощина...

Из стенограммы совещания от 2 сентября 1937 года:

Рощин: <<Мне здесь предъявляют серьезные политические обвинения, здесь говорят, что Рощин прикрывает врага народа. Я должен прямо сказать, на этом банкете я никогда не был. Правильно, на этом банкете был Щипцов, ныне разоблаченный враг народа. И он на вечере протаскивал контрреволюционные анекдоты. Здесь меня обвиняют в пьянке с врагом народа. Но как получилось с этой пьянкой - я выпил одну рюмку красного...>>

Брусникин: <<Нам не так важно, сладкое или горькое вино вы выпили. Вам предъявлено обвинение, что вы были связаны с разоблаченным врагом народа. Вот вы и скажите, насколько вы были с ним связаны, завербовал ли он вас в свою контрреволюционную организацию?..>>

Да, в сентябре еще Брусникин разоблачает врагов народа. А в Москве уже снят Косарев, уже спешит из Москвы в Ярославль представитель ЦК ВЛКСМ товарищ Мгеладзе...

Из стенограммы 2-й областной конференции комсомола, из речи Мгеладзе:

<<... я хочу доложить конференции о решении Бюро ЦК ВЛКСМ по вопросу работы Брусникина - ЦК принял решение: "За скрытие от ЦК ВЛКСМ своей связи с враждебными элементами и за попытку скрыть от ЦК факты засоренности враждебными элементами Ярославской областной организации комсомола - исключить Брусникина из состава ЦК. Второе - поручить товарищу Мгеладзе, то есть мне, выступить на областной конференции по поводу этого решения">>.

Из стенограммы 2-й конференции, из речи Брусникина А. М.:

<<... Павлов меня никуда не вербовал. Я, конечно, должен нести большую ответственность, я должен был разоблачить его и не разоблачил и до последнего дня считал его человеком честным.

Товарищи, я признаю критику совершенно правильной. Но, товарищи, полностью отрицаю имя

врага народа, которое мне пытаются навязать некоторые ораторы...>>

Андропов Ю. В.: *<<Я считаю, некоторые товарищи не хотят понимать данный вопрос... я считаю, надо Брусникину выразить политическое недоверие и удалить с конференции...>>*

И уже через полгода, на 3-й конференции, 6 февраля 1939 года в качестве 1-го секретаря выступает сам Андропов Ю. В.

Из стенограммы 3-й конференции, из речи Андропова Ю. В.:

<<...товарищи, могучей, несокрушимой гвардией приходит к своей 3-й конференции наша областная комсомольская организация, тесно сплотившаяся вокруг нашей Всесоюзной партии большевиков и вождя народов товарища Сталина...>>

Бурные аплодисменты, все встают.

Товарищ Воронов — очередной после Андропова кандидат на кресло 1-го секретаря:

— Да здравствует товарищ Сталин! Ура!

— Ура! Ура! Ура!

Люди возникали и исчезали, и это никого не удивляло. Все помнили слова товарища Сталина: *<<Здоровое недоверие — это хорошая основа для совместной работы!>>*

А впереди у нового секретаря много неотложных дел. И по Рыбинской организации. И по Ростовской. И по Ярославскому электромашиностроительному заводу, где свили вражеское гнездо концессионеры шведо-фашисты во главе с матерым троцкистом Сипером.

Но особенно много врагов засело на великой стройке — Волгострое, где комсорг Великанов.

Из стенограммы совещания секретарей райкомов и горкомов Ярославской областной организации ВЛКСМ от 2 сентября 1937 года. Из речи комсорга Великанова:

<<...теперь у нас вот такая характерная черта: враги народа, которые имеются на Волгострое, исключительно обрабатывают девушек-комсомолок, и мы уже пять человек исключили. Это

все идет по линии бытового разложения, как и указывает Пленум ЦК. Начинается с того, что устраивается пьянка. Они приглашают комсомолок в машину покататься. А потом и пошло, и пошло... Мы исключили Сихрову за связь с главным инженером строительства, который не из заключенных, но вместе с тем — антисоветский человек. Держится он на производстве только потому, что высокотехнический специалист. Но за ним надо следить. Вместе с тем, комсомольская организация слабо разоблачает врагов народа на нашем Волгострое...>>

Андропов Ю. В.: <<Я не знаю, насколько точно, но одно время стоял вопрос о том — да и комсомольцы поднимали этот вопрос, я тогда еще не работал в обкоме, — что ты лично ведешь себя пассивно в разоблачении врагов народа на Волгострое...>>

Исчез Великанов. Так же как и Брусникин. Как многие и многие.

Люди исчезали, не оставив и следа. <<Здоровое недоверие>> всех ко всем росло, расцветало.

И скорее всего — недолго бы и ему оставаться в кресле 1-го секретаря, но судьба берегла его для чего-то другого. Шел уже 1939 год, начался откат. Одно за другим выходят постановления о перегибах, пережимах. Особое постановление вышло по Ярославской областной организации. Где явно перестарались с выискиванием врагов народа.

И вот, вместо того чтобы сгнуть подобно многим и многим комсомольским вожакам той поры, он возглавляет делегацию к морякам Северного флота, с которыми завязалась самая настоящая дружба.

В делегацию тогда подобрались замечательные люди, о которых Юрий Владимирович с теплым чувством вспоминает до сих пор. Помнит он, разумеется, и певунью Катю Соколову, от которой неделю тому назад пришло письмо. Сейчас, в больнице, много свободного времени. И после полдника он устраивается в полюбившемся зеленом кресле у окна, пишет ответ Кате Соколовой. Вернее, Екатерине Ивановне...

Уважаемая Екатерина Ивановна!

Со страниц Вашего письма на меня так и пахнуло ветром нашей комсомольской юности, боевой, задорной, одухотворенной величием задач социалистического преобразования общества, которые решала партия и народ, сознанием своей активной роли в этом процессе всемирно-исторического значения. Эти мысли, чувства владели нами, определяли наши поступки и дела, с ними мы отправлялись и в поездку на Северный флот для установления шефской связи, о которой Вы пишете в своем письме и которая мне так же памятна, как, думаю, всем членам ярославской делегации.

Обо всем этом, конечно, нужно писать. Думаю, что и этот материал будет актуальным и полезным. Но у меня к Вам просьба, Вы спрашиваете, можно ли писать обо мне. Это делать как раз и не нужно. Будет хорошо, если Вы напишете о делах комсомольской организации того времени, больше скажете о рядовых комсомольцах, которые совершили много больших и нужных дел... надеюсь, что Вы выполните мою просьбу.

Ю. Андропов

Он пишет вполне искренне. Да он и на самом деле верит во все это. Потому что по большому счету — все так и было. Он имеет на это право. Потому что 37-й год — еще не вечер. Еще была проверка 37-го — война. Еще была контрреволюция в Венгрии. Еще было столько всего... И вот — очередная опала ... или это просто Брежнев его выдерживает?.. как бы в резерве. Что-то ждет после больницы...

Да, он пишет вполне искренно. Ибо если уверен в цели, то, разумеется, все оправдано. Вот надо только, чтобы цель была великой, общечеловеческой. А еще лучше — надчеловеческой; возможно, космической даже. А собственно, так ведь тогда в юности им и думалось, так тогда и пелось: <<Залезем мы на небо — разгоним всех богов!..>> Ни больше ни меньше.

Впрочем, все ведь сводится, как всегда, к одному: чем измерять бытие, что есть его мерило? Человек?.. куций, смертный, а главное — далекий от совершенства. Или все же нечто большее, вечное... Если только человек, то тогда... действительно... страшно позорно... преступно даже... все то, чем они занимались в двадцатые, тридцатые... в пятидесятые, да в той же самой Венгрии... Да, страшно... позорно... но и скучновато, пожалуй... если мерило смысла Бытия — всего лишь человечек смертный. Потому что тогда на первом плане жратва и шмотки. Ну, и дурная бесконечность по тиражированию себе подобных... скучно, девушки, как говорил Остап Бендер. Да, скучно, бессмысленно. Для чего тогда жить? Не для чего.

Да нет же, Юрий Владимирович уверен, что наверняка есть, есть вечная цель... сверкающий путь в бесконечность. Несомненно, шаг за шагом, улучшающий несовершенную человеческую природу. Что это? Бог? Коммунизм? Великая Идея?..

Собственно, до сегодняшнего дня, до больницы, у Юрия Владимировича не было времени (а может быть, и желания) серьезно об этом задуматься. Все это высшее, великое, ради чего, не задумываясь, можно отдать жизнь (да и отдавали, отдавали же! Годы-то, годы-то какие!), — так вот это вечное, сверкающее, как Эверест, до сих пор жило в нем в виде довольно рыхловатой, однако же и не требующей конкретизации Великой идеи! А впрочем, для Юрия Владимировича в принципе всегда было неважно, как назвать. Да назови хотя бы по Циолковскому — Светящимся Человечеством. Главное, что это великое всегда было, есть и будет.

И потому тогда вся их юность, и его и Кати Соколовой, которая — и это уж точно помнит Юрий Владимирович — жила не для жратвы и шмоток, да и всех тех тысяч и тысяч таких же, которые были рядом тогда, в те страшные и прекрасные 20-30-е, — всё, всё — и жизнь и смерть — всё тогда будет оправдано.

Итак, подводит итог Юрий Владимирович, цель, если она, действительно, Цель, а не чей-то интерес

своекорыстный, безусловно, что бы там ни говорили, ни думали, оправдывает средства. И она требует от человека верности, беззаветности. И кроме всего прочего — обыкновенной последовательности.

После больницы, в Отдел вернувшись, собрал сотрудников. Сказал: <<Хрущева сняли не за то, что разоблачал культ личности, и не за политику в отношении Китая, а за то, что и то, и другое он делал непоследовательно. Решения Двадцатого съезда — незыблемый ориентир нашей жизни. У нас же с вами конкретное задание — к седьмому ноября готовить доклад для Леонида Ильича >>.

Сориентировав подчиненных на незыблемость решений XX съезда, официально провозглашенную со всех трибун, сам же отнюдь не был в этом уверен. Да что там — не слепой же! — отлично видел признаки явного отката. Уже впервые за много лет в докладе Первого секретаря на День Победы прозвучали слова о позитивной роли Сталина в разгроме фашизма. Ну, а когда Брежнев ликвидировал комитет партгосконтроля, то есть поступил точно так же, как и Сталин, в свое время ликвидировавший ЦКК-РКИ, окончательно понял: шлагбаум открыт. Чего, собственно, давно и добиваются коммунисты Китая, укрепляя культ Мао. Уже ликуют, а вернее — сдержанно, но все более солидно ведут себя день ото дня набирающие силу сталинисты. Уже кое-кто из антисталинистов мосты готовит для перебежки.

Если прикинуть расклад — он в пользу сталинистов во главе с Шелепиным, <<железным Шуриком>>. Антисталинистов, несомненно, больше, но <<железный Шурик>>десятерых стоит.

Интеллектуалы-академики из Отдела Андропова — Бовин, Шахназаров, Арбатов — побаиваются группу Шелепина. Острые в их адрес, порою на грани приличия, <<младотурками>> называют. Но явно побаиваются. И страх этот, скорее всего не имеющий никакого основания — времена не те, — не совсем понятен Юрию Владимировичу, страх какой-то релик-

товый, инстинктивный какой-то. Скорее всего, это страх интеллигента по отношению к любой настоящей власти.

Если же взять конкретного Александра Николаевича Шелепина, то внешне он и сам выглядит вполне интеллигентно: высокий, чистый лоб, выразительные глаза, на актера Вячеслава Тихонова похож. Юрий Владимирович знаком с Александром Николаевичем еще с комсомольской юности, уважает, многому научился, почерпнул он многое в свое время у Шелепина. Да и сейчас ему многое нравится в Шелепине. Недавно Александр Николаевич отказался от охраны, один из всего Политбюро!

Разумеется, резковатый, грубоватый даже подчас, но открытый человек. Если по пути, всегда приглашает в свою машину, им есть что вспомнить, о чем поговорить. Нет в нем этой суловской изощренности. Хотя, понятно, с комсомольской юности обучен искусству аппаратных игр. Честолюбив, напорист, железная воля. И, конечно, удачлив. Удача сопутствовала Шелепину всю жизнь — был первым секретарем ЦК ВЛКСМ, Председателем КГБ. Сейчас на этом месте его лучший друг — Семичастный.

И во главе МВД у него свой человек — из бывших комсомольцев — Тикунов. Скорее всего, к <<младотуркам>> можно было бы отнести и Миронova, который заведовал отделом административных органов при ЦК КПСС, курировал КГБ, МВД, Суд, Прокуратуру, Армию. С Мироновым был близок маршал Бирюзов — начальник Генерального штаба. Оба буквально через несколько дней после XX съезда погибли в авиакатастрофе. Странно... при всем раскладе погибнуть вроде бы и не должны. Да, потери у <<младотурок>> здесь ощутительные.

А впрочем, как ни прикидывай — группа <<железного Шурика>> сильна. Везде свои люди, бывшие комсомольцы. Да они почти и не скрывают, что Брежнев — фигура проходящая. Поставленная лишь на время. Лишь для того, чтобы оглядеться, успокоить общественное мнение. И, в конце концов, определить на это место своего человека. Кого?..

Суслов, Подгорный... Шелепин... Суслов, как и положено <<серому кардиналу>>, предпочтет скорее всего остаться в тени. Умный, напористый Подгорный вполне мог бы претендовать на высший пост. Тем более что сыграл одну из главных ролей в снятии Хрущева. Так что Подгорный вполне бы мог претендовать... И все-таки Юрию Владимировичу кажется, что это будет Шелепин.

Скорее всего он. Уж очень профессионально, с энтузиазмом его команда готовила переворот. Сразу захватили газеты, радио, телевидение. Ленин учил когда-то — захватывайте в первую очередь почту, телеграф, телефон. Вот и они... да как четко, с размахом... Именно здесь принял посильное участие Отдел, возглавляемый Андроповым. Один из его замов — Месяцев — стал председателем Гостелерадио. Другой зам — Толкунов — стал редактором газеты <<Известия>>.

Разумеется, не все, как ни старается, в этом пасьянсе ясно ему самому. <<Младотурки>> сильны. Этого у них не отнимешь. Им бы еще сусловской дипломатичности, изворотливости, осторожности хотя бы элементарной. Суслов есть Суслов. Ни по одному вопросу никогда не примет сам решения, чуть что — сразу соберет комиссию. Это надо же — и при Сталине был, и при Маленкове, при Хрущеве и при Брежнев: педант и аскет. Интеллектуалы-академики из их Отдела зубоскалят по адресу Суслова, говорят — по нему часы сверять можно: на работу приходит без одной минуты девять, а уходит ровно без одной минуты шесть. Одно пальто, говорят, уже лет десять носит. Но разве ж это повод для насмешек? А если, действительно, человеку почти ничего не надо из мира вещей? Именно это и заслуживает уважения, именно это и говорит, что человек живет и работает не ради желудка. Юрий Владимирович многое перенял и у Суслова. Вернее — *перенял* — не то слово, просто общение с Сусловым с годами проявляло, оформляло все больше то неясное, что всегда присутствовало и в самом Андропове.

И опять Юрий Владимирович невольно возвращается к странной судьбе Бирюзова и Миронова. Оба ведь явные ставленники Хрущева...

А с другой стороны, вроде оба из шелепинских комсомольцев. Энергичные, пробивные, везучие с юности... Самому-то Юрию Владимировичу никогда так не везло. Бирюзов при Хрущеве возглавлял военный комитет. И полностью поддерживал Хрущева во всех его военных авантюрах... Бирюзов за широкой спиной Хрущева открыто конфликтовал со всей армейской элитой. Один против всей элиты! А там, во главе элиты, — уж такая яркая личность — генерал-полковник Штеменко! Хрущев и его верный маршал Бирюзов ориентировались всегда на Америку. Штеменко, а с ним и вся армейская верхушка всегда Китай предпочитали... Вьетнам, Корею... вообще Азию.

А какие высокие покровители всегда были у Штеменко! Жуков, Поскребышев, Сталин... Куда там Бирюзову... даже за широкой спиной Хрущева.

Да, при таком раскладе загадочна гибель Миронова и Бирюзова — кому она на руку?

Понятно, что Никита Хрущев — человек яркий. Но вот как стратег — тут Юрий Владимирович полностью уверен — как стратег он слабоват. Ярый анти-сталинист, конечно. И в то же время чисто по-диктаторски настаивал на межконтинентальном ядерном блицкриге... Какой-то явный нонсенс... Блефовал?.. Или действительно был слеп?..

Маршал Бирюзов здесь полностью поддерживал Хрущева. Да и Миронов, курирующий армию, поддерживал... И вот — обоих нет уже...

С континентальной же точки зрения, на которой давно и незыблемо стоит практически вся армейская элита во главе с Жуковым и Штеменко, такой блицкриг — стратегическая авантюра. Штеменко еще при Хрущеве писал в <<Красной звезде>>: <<Ни в коем случае нельзя основывать безопасность СССР только на баллистических ракетах>>. А после Хрущева та же <<Красная Звезда>> писала совсем уж откровенное:

<<стратегия, от которой мы в конце концов отказались, могла родиться только в больном мозгу>>.

Мозг у Никиты Хрущева был здоровым, конечно. Авантюристом он был от природы — вот в чем дело. А так-то Хрущев, несмотря на вспыльчивость и грубость, человек был справедливый. Вон и самого Юрия Владимировича с каким триумфом возвратил из венгерской ссылки... обласкал, наградил. Энергично, по-хозяйски приложил руку к андроповскому движению наверх. Юрий Владимирович за многое благодарен Хрущеву, многому и у него научился... да хотя бы тому, чтоб не разбрасывать себя так нерасчетливо на все стороны.

Так что же получается? Возвращается он опять к своему пасьянсу. А получается, что нелепая гибель Миронова и Бирюзова не ослабила, наоборот, усилила группу сталинистов. Вот ведь что получается.

Хотя во всем этом, во всех этих терминах, разумеется, большая приблизительность. Юрий Владимирович уверен, что сами термины на сегодня почти ничего не говорят. Жизнь настолько усложнилась. После Хиросимы, после Нагасаки, после успешного испытания нашей водородной бомбы — жизнь все больше обнажает подспудно истинное свое нутро. А поэтому и термины эти на сегодня лишь символы, за которыми приоткрывается нечто такое глубинное, что вот так сразу и не определишь.

За сталинистами, конечно же, сразу встает нечто угрюмое, бескрайне-неподвижное... и все-таки по-своему живое... да, да — по-сусловски, по-сталински нечто аскетическое, нечто каменное, но, несомненно, по-своему живое... от Чукотки и до Монголии оно, от Таймыра и до Китая ... до Индии... еще дальше... Это, в сущности-то, огромный материк — сталинизм-то. Да что там говорить, когда начало коммунистической идеологии напрямую с христианской общиной связывается, в первобытно-общинный строй опускается, в такую уж дремучесть, что в метафизическом плане это уже какая-то древнейшая Гондвана, вещий материк, омываемый четырьмя океанами.

За антисталинистами, понятно, скрывается нечто по-человечески более легкое, более привлекательное. Растекшееся по всей планете. А вернее, на сегодня группирующееся вокруг Америки. Это уже нечто интернациональное, надпочвенное, более цивилизованное, что ли... более комфортное, что ли... более похожее на интеллектуальную атмосферу, что установилась сейчас у них в Отделе.

Уже не первый раз задумываясь над этим, Юрий Владимирович ощущает все это как две совершенно разные сверхцивилизации. И деление тут происходит на каком-то малопонятном уровне, на каком-то нутряном, биологическом, что ли. Идеология, партийность, национальность тут не играют никакой роли... интеллектуальность и та не играет. А что ж тогда играет?

Юрий Владимирович не знает. Он ведь и сам пока не определился. До больницы все было как-то недосуг задуматься всерьез об этом. Да, он, хоть и достиг высот немалых, не определился с этим даже внутри самого себя. Понятно, что как всякий настоящий аппаратчик, он следует за желанием начальства. Это же как идти по компасу — никогда не собьешься. Только по компасу. Если хочешь чего-то достичь. Это <<младотурки>> могут вести себя так глуповато-откровенно, почти не скрывая намерений... Да неужели уж так сильны?.. Скорее, недооценивают Брежнева. Не так уж и прост Леонид Ильич, чтоб в поддавки сыграть. Далеко не так прост.

Вся беда в том, что не совсем понятно — чего же хочет сам Брежнев. Вот если бы узнать — чего хочет... куда стрелка клонится. Вот ведь в чем заговоздка-то...

Недавно, будучи с Косыгиным в Китае, во Вьетнаме, Юрий Владимирович со странно-волнующим ощущением поймал себя на мысли, что ему все-таки ближе какая-то совсем другая культура. <<Мой источник зарос плющом, пойду попрошу воды у соседа...>> — прекрасные стихи, разумеется. Но ведь смысл их настолько глубок, настолько уходит в неведомую глубину, в какую-то вечную мерзлоту... подобную той, что сковала невероятные сибирские простран-

ства, что все это уже и не смысл — а навеки замерзшая мифология какая-то. Да, да — подобная красивой гипотезе Вегенера о том, что был когда-то единый материк Гондвана. А потом этот материк-монолит раскололся на Америку и Евразию. Вот еще когда человечество расколосось на две части. И теперь все дальше уплывает от нас Америка. Оторвалась одна часть человечества от материнского начала, поплыла, закачалась на ненадежных океанских волнах. Другая же часть — ни с места. Так глыбой и стоим.

Одна часть — плывущая как бы, — естественно, обогащаться стала новыми впечатлениями, развиваться стала. В каком-то целенаправленном векторе развиваться стала — в цивилизованно-торговом, как всякая, открытая всем ветрам, морская держава.

Ну, а другая часть — в своем метафизическом закаменении — что-то другое развивала, что-то свое кондовое, подспудное. Ну, а если метафорически — то развивала, отстаивала все ту же идею Суши. В противовес американской идее Моря. И опять — борьба Стихий. И опять судьба отдельного человека — будь ты хоть семи пядей во лбу — определяется чем-то большим... Не всегда, правда, и понятно — чем...

Ну, а если честно, то лично Юрия Владимировича с детства всегда к воде тянуло. Оттого в свое время и в техникуме речном очутился. Плавал бы сейчас капитаном по морям и океанам... А между прочим, лихим матросом был курсант Андропов Юрий. Бесстрашно прыгал с багром по мокрым бревнам плотов, которые перегонял по Волге в первую свою навигацию. А какие песни пел после вахты! Капитан буксира Шипов кричал, ус крутил: <<Э-эх, хорошо-то как, мать честная! Спой еще, Юрка>>. Не судьба. Да и почки тогда застудил. Комсомольским вожаком стал, политиком, почти на самый верх выбрался... опять вот в опалу попал... Странно... и людей своих дал из Отдела, когда понадобилось... <<почту, телеграф, телефон захватывать>>... и сам никогда ничего... и консультантов-академиков из Отдела всегда оборвет вовремя, если услышит что-то в адрес Первого ... и в

адрес Второго, конечно... и все-таки в опале... странно... И так это все некстати. Хотел с женой в Кисловодск поехать, отдохнуть, здоровье поправить, Татьяна Филипповна после Венгрии себя неважно чувствует... теперь какой Кисловодск! Определяться надо. Ведь что такое опала — неустойчивость, подвешенность. Или ты переубедишь начальство — как тогда он Хрущева — или вниз покатишься. Время идет, а Брежнев все выжидает.

Понять-то можно и Брежнева. Он ведь и сам до конца не определился. Всю жизнь он знал, что самое лучшее — следовать за желанием начальства. А еще лучше — это желание на полшага предугадывать. Теперь сам наверху. Советников слушает, и слева они, и справа они. Слева — Пономарев, Цуканов, Андропов... вернее, Андропова уже не слушает. Справа — Черненко, Щелоков, Трапезников, Яковлев... Сам же Брежнев пока ни по одному принципиальному вопросу не определился, ни одного официального заявления не сделал. Если не считать, конечно, доклада на День Победы — Сталина за столько лет впервые так откровенно оценить позитивно. Тут уж явная победа группы Шелепина.

Да, <<железный Шурик>>наседает. И Брежнев это прекрасно понимает. Но, судя по всему, идти на поводу не собирается. А после того как заграничная пресса стала пророчить Шелепина в его преемники, начал свою контригру. Виду не подал, но игру начал. Игру острожную. Но ведь Брежнев всегда таким был.

А <<младотурки>> после зарубежной прессы, после <<голосов>> там всяческих наседают все сильнее, почти открыто требуют отмены решений XX съезда и восстановления Сталина. Конечно, все это под видом благих намерений борьбы за дисциплину, борьбы с коррупцией. Брежнев колеблется. С налету у <<младотурок>> ничего не вышло. Брежневское выступление на День Победы — вот, пожалуй, и всё, чего они достигли на сегодня. Брежнев оказался крепким орехом. Не по зубам.

К тому же Суслов неожиданно его поддержал. Они-то, <<младотурки>>, думали, что Суслов с ними

будет. Сулов ведь с самого начала не очень-то Брежнев хотел, других предлагал, а теперь вот поддержал... Поддержал и вконец запутал ситуацию.

Вот Брежнев, на Сулова опираясь, и начал контригру против <<железного Шурика>>. Не спеша, без особого шума, без всяких там разоблачений — убирает и убирает сейчас людей Шурика. Вон и председатель Гостелерадио Месяцев уже отправлен послом в Австралию. Уже и директор ТАСС Горюнов отправлен в Африку. Но самое главное — снят министр внутренних дел, друг Шурика, Тикунов. Послом в Румынию поехал Тикунов. Щелоков теперь министром, в том же доме живет, что и Брежнев, этажом лишь по ниже.

А совсем недавно взялся и за самого Шелепина. И так ловко провел на Секретариате решение — вывести из-под начала <<железного Шурика>> всю оргпарработку. Словно бы на повышение Шурика послали — торговлю курировать поручили. Так и сказали: <<На сегодня, товарищ Шелепин, самое важное — торговля!>> Ты, мол, хотел бороться с коррупцией — вот и получай... ответственный участок, махровым кустом где она процветает...

Да, Брежневу в рот пальца не клади. Хитер. Както сказал про себя, что у него самая сильная черта — психология и организация. А так оно и есть, конечно; без конфликтов, без всяких там нюансов расчищает и расчищает место вокруг себя. Одного — послом в Австралию, другого — на торговлю. И вот уже из второго человека партии и государства <<железный Шурик>> незаметно сполз до вполне рядовых членов Политбюро. Понятно, что силен до сих пор, негибаем, напорист, как же — в КГБ лучший друг Семичастный. Но уже не тот, далеко не тот... сутулится както, седые волосы на висках всё заметнее.

Несомненно, Брежнев определяется все больше. И тогда уж совсем непонятно, чего выжидает в отношении Андропова... Уж решал бы что-то, хотя бы послом в ту же Венгрию. А что — Янош Кадар будет только рад... Так что Юрий Владимирович хоть завтра готов ехать в Венгрию. Хуже всего эта неопределен-

ность, хуже всего это подчеркнутое невнимание. А ведь дошло до явного пренебрежения, до демонстрации. Не далее как сегодня утром появился взволнованный Арбатов. Он и всегда-то взволнованность излучает, нервозность даже, но тут уж явный был повод.

— Юрий Владимирович, Цуканов вызывал. Вот — дал речь, — Арбатов слегка оторвал красную папку от живота и вновь прижал покрепче, — речь, которую Леонид Ильич собирается произносить в Грузии. Ну, вы знаете — едет орден Грузии вручать, речь говорить будет. Но это ж кошмар какой-то! В ней, что ни фраза, то: <<Слава товарищу Сталину!>>

Арбатов вновь подвигал папочкой по животу, собирался не то дистанцироваться как-то от такой возмутительной речи, не то передать ее хотел Юрию Владимировичу, но не сделал ни того, ни другого. Прижал покрепче. Юрий Владимирович усмехнулся — как же, отдаст теперь кому-то: ведь это такое доверие сверху оказано, да еще вдобавок через голову непосредственного начальника, считай, чуть ли не аванс на высокое кресло. <<Ну, что ж... — безвольно-вяло подумалось при этом. — Вот и дождался ты, Юрий Владимирович, — уже через голову сверху передают задания твоим консультантам, тебя самого минуя... словно бы тебя и нет уже...>> — шевельнулось нехорошее чувство, но взял себя в руки, спокойно, почти по-доброму сказал:

— А кто готовил-то?

— Да всё те же, те же... Трапезников, Суслов, грузинские товарищи... Мжаванадзе... что делать, Юрий Владимирович?

— А-а... как, собственно, к вам-то все попало?

— Цуканов вызвал — передал. Видимо, Брежнев все-таки засомневался в самый последний момент... Грузия... Мжаванадзе... на одном фронте воевали — всё так, но чтоб так Сталина превозносить... это... — Арбатов развел руками и тут же опять сложился, папочкой плотно прикрылся. — Ну, вот и дал Цуканову на экспертизу. Цуканов — хозяйственник, ему до лампочки, но он же наш человек, меня вызвал, глянь,

говорит, Георгий... ну, а если будут веские возражения — завтра в десять Брежнев ждет. Короче, на разговор приглашает.

— Хорошо, вас приглашает, но согласитесь, Георгий Аркадьевич, я-то тут при чем?

— Ну я не знаю, Юрий Владимирович. — Арбатов с красной папочкой на круглом, вполне оформившемся животике подобрался весь, занял какую-то стойку. — Я ж не собираюсь, в конце концов, у вас за спиной что-то там предпринимать... вообще, откровенно говоря, рассчитывал на совет... на помощь... как бы вы поступили в такой нестандартной ситуации? Какие возражения можно привести? Понятно, что с точки зрения марксизма-ленинизма...

— Да при чем тут это, Георгий Аркадьевич! Вы же прекрасно понимаете суть — поменьше теории, побольше практических резонансов... во-первых... да ты садись, записывай... Во-первых... записывай... коль наш отдел занимается соцстранами, подобная речь, а это ведь явный откат к сталинизму, вызовет серьезные осложнения с соцстранами. Да ты сам посмотри — Янош Кадар при Сталине сидел? Сидел. Гомулка — сидел? Так? Так. Во-вторых... реакция компартий западных стран. Они только-только переварили двадцатый съезд, культ личности переварили, а теперь им что — поворот кругом? Ну, и третий аргумент — сугубо внутренний: не поленись, Аркадьич, полистай стенограммы двадцатого съезда, выпиши наиболее яркие выступления тех самых, кто речь эту готовил... да того же Мжаванадзе... Шелепина того же, Су-слова... Ты помнишь, как они его клеймили. Как требовали вынести прах из Мавзолея... И как же будут выглядеть эти люди после такой речи?.. Или, может быть, Брежнев специально хочет их дискредитировать... чтобы потом расстаться?

— Кое с кем, Юрий Владимирович, наверняка хочет. Вон уже Шелепина куда задвинул...

— Вполне возможно, вполне возможно... но ведь не так шумно, не на всю страну... Понимаешь, в конце концов, ведь и самому докладчику задать вопрос могут, а где же сам-то докладчик был?.. Почему сам

молчал?.. и на двадцатом съезде, и на остальных, где культ разоблачали... а?

— Понятно, Юрий Владимирович, спасибо... что ж, пойду готовиться к завтрашней встрече. Спасибо.

После ухода Арбатова пришел к окончательному выводу, что, судя по всему, Брежнев так до конца и не определился еще. Не знает, кому верить, кого слушать. Едет в Грузию, где правит Василий Мжаванадзе. Брежнева с Мжаванадзе связывает старая армейская дружба, воевали на одном фронте, оба были политкомиссарами. Дружат и жены. Обеих звать Викториями. <<Да, — неожиданно на ум пришло, — слишком много совпадений>>. Грузия давно не выполняет пятилетних планов, но числится в передовых, речь при вручении ордена должна быть соответствующей... Кого слушать?.. А Брежнев и сам не знает, сам еще не определился. А поэтому и Андропова не определяет. Все в это, к сожалению, упирается. Все в это.

А с другой стороны, если только это — тогда зачем же так демонстративно?.. через голову... Такого Юрий Владимирович не заслуживает... Впрочем, может быть, это и не сам Брежнев, а Цуканов. Цуканов — хороший хозяйственник, ему не до тонкостей...

Но, как бы там ни было, расстроился сильно. В расстроенных чувствах приехал домой. Татьяна Филипповна только глянула, догадалась: опять неприятности. Хотела мужа обрадовать:

— У Иры завтра в консерватории отчетный концерт. Вон пригласительные принесла. Очень хочет...

— Завтра никак не могу, ну, никак... С Игорем сходи, а я — никак.

— Понимаю, ужинать-то будешь?

— Только чаю... поработаю немного, почитаю...

И почему это так получается, иногда действительно хочешь что-то сделать для детей... и для тех, что здесь, в Москве, и для тех, что от первого брака, — для Володи, для Жени, которая в Ярославле медицинский заканчивает, и тоже отличница. Хочешь что-то сделать, не просто деньгами отделаться, а действительно что-то еще сделать, — а не получается,

прямо-таки какая-то предопределенность всю жизнь заниматься не детьми, не семьей, а чем-то другим, всегда более важным, более срочным... И Володе помочь не смог, и к Ирине завтра на концерт никак не попасть. Именно завтра, когда, может быть, в кабинете у Брежнева все и решится... никак не попасть на концерт, где дочь будет играть Брамса.

Когда Татьяна Филипповна принесла в кабинет чай, он уже читал. Взял с полки Золя, которого всегда любил, — оказалось, роман <<Земля>>, — стал пробегать страницу за страницей.

Татьяна Филипповна, в цветастом халате до пят, со стаканом в серебряном подстаканнике, который поддерживает двумя руками перед собою, неслышно сбоку подходит, наплывает теплым облачком. Над стаканом ароматный пар. Юрий Владимирович хмурится, пробегает страницы, он ощущает уютное присутствие жены... хорошая, добрая, всепонимающая, настоящий друг и помощник. Столько пережито вместе за эти годы... и в суровых карельских лесах, и в мятежной Венгрии... Он мог бы долго рассказывать ей, как любит, уважает, ценит ее, как совсем не представляет своей жизни без нее... но ведь не заговоришь же ни с того ни с сего... И тут дело не в скрытности, в которой частенько упрекают Юрия Владимировича, тут дело в какой-то особой чуткости, застенчивости даже, понимании того, что есть на свете вещи, которые не для обычных слов... тем более вслух произнесенных... В стихах — куда еще ни шло; в стихах — другое дело:

*Родная, близкая, с тобою
Мы шли по жизни столько лет.
И жребий, брошенный судьбою,
Для нас двоих был <<да>> и <<нет>>.
Обоим нам светило счастье,
Обоих нас трясла беда,
Мы были в ведро и в ненастье
Друзьями верными всегда...*

Хотя, если честно, то и в стихах никогда не удастся выразить и половины того, что испытывает он к жене... Он все больше хмурится, все быстрее пробе-

гает страницы, уже и похмыкивает недовольно. И Татьяна Филипповна, стакан поставив, тихонько уходит, головой покачивает, ей так жаль мужа: работает, работает...

Читал всегда много, книг пять-шесть постоянно в ежедневном чтении его. Хотелось успокоиться, хотелось... не совсем, правда, и понятно — чего хотелось, какой-то мысли, наверное, которая никак не определялась. А для этого, разумеется, нет ничего лучше классики. Проверено не раз. Полчаса, час читал, проглатывая страницы. И чем дальше читал на сей раз, тем все больше охватывало странное волнение. Отложил Золя, за Горького взялся. То же самое странное ощущение, что перед ним что угодно, но только не реализм.

В столь поздний час, один в кабинете, где окружают такие привычные вещи — стол, стул, книги, стакан с остывшим чаем... Тяжелые портьеры на окнах, за которыми жизнь, за которыми уже вторая половина двадцатого века. И до озноба вдруг охватило это комплексно-нерасчлененное ощущение второй половины XX века, качественно ни с чем не сравнимой, где столько уже было страшного, до того невероятного, не поддающегося человеческому осмыслению, что реализм Золя, реализм Горького воспринимался сейчас так удивительно, так нереально... примитивно, отталкивающе даже... Хотя Юрий Владимирович <<Мать>> Горького до сих пор наизусть помнит... отдельные страницы, конечно.

Взялся тогда перечитывать другую крайность — Рембо, Гёльдерлина... других, кого еще совсем недавно не без сарказма называл сумасшедшими поэтами.

Невероятно, сумасшедшие своим явным сумасшествием теперь успокаивали, почти сняли неприятный осадок после разговора с Арбатовым. В какую-то даже своеобразную норму все больше приводили. Если, конечно, это можно назвать было нормой. Ну, норма не норма, но в какое-то странное соответствие со всем тем, что его сейчас окружает, это чтение сумасшедших поэтов все больше и больше действи-

тельно приводило. Часа через три успокоился полностью.

Получалось, что реалисты Золя и Горький сегодня, во второй половине XX века, выглядят слепыми и безумными, в сравнении с Рембо и Гёльдерлином, в кажущемся безумии которых все больше открывается ему сейчас какая-то хрустальная интуиция вечных, сакральных истин. Тех самых истин, которые, по-видимому, только и образуют действительное основание всякой интеллектуальной и психологической нормы человека. Если он, разумеется, цивилизованная личность.

Вот что получалось-то. Юрий Владимирович даже встал, походил, в ознобе потирая руки. Он слегка возгордился от того, что впервые так ясно открылось. Энергично отхлебнул холодного чаю.

<<Ну, хорошо,— сказал он самому себе — тогда почему же это просветленное предощущение несколько странноватой нормы современного человека так тяготно?.. Тем более если претендуешь на личность... Почему же эти немые основы глубинной, нутряной какой-то нашей метафизики так тяжелы... так давят?>>

Глава 4

<<И откуда на меня так давит? — размышлял слесарь-сантехник Здравницы Коля Прутов, постукивая разводным ключом по трубам бойлерной. — Движку от котлов я перекрыл? Перекрыл. Откуда ж на меня так давит?>>

Ботинки давно промокли от подступавшей воды, и Прутов забирается с ногами на тепловатую трубу. <<Может, из скоростников так давит? Нет— там я тоже перекрыл... — А вода из трубы, на которой он сидит, бьет все сильнее. — Откуда ж на меня так давит?.. Может, автоматика в насосной не сработала?.. Может, нитка опять не выдержала?..>>

Тут надо сказать, что в автоматике, устроенной изобретательным Колей Прутовым, самой существенной деталью была капроновая нитка. Автоматика была проста до гениальности, но вот нитка порою подводила.

Затопив бойлерную и заполнив водоотводные колодцы, вода через высокий порог вытекает в коридор кочегарки и по нему через широкие ворота свободным потоком устремляется во двор, где возле угольной кучи давно уже томится зам. главного врача Здравницы — Семеныч. Увидев черную воду, надвигающуюся из дымных, теряющихся в переплетении различных труб загадочных недр кочегарки, Семеныч плаксиво вскрикивает: <<Ну, что ж ты там, Коля!>> Вскакивает, резво прыгает в меховых ботинках в сторону. <<Прутов! — зло кричит он. — Перекрыл ты эту воду или нет еще?!>> На его испуганный вскрик вода из кочегарки устремляется сильнее, пар кружится над нею, кочегарные недра туманятся, колышутся, колыхание это неостановимо надвигается, катится, шуршит невнятно, споро, опасно... <<Кипяток же!>> — обреченно мелькает в Семеныче, он бежит от кочегарки на бугорок, становится там под кудрявой березкой. Он сует озябшие руки под мышки и откашливается, чтоб разразиться ругательной речью по поводу этого пьяницы и бездельника Прутова, до сих пор не перекрывшего горячую воду, но лишь бормочет уныло: <<Ну, что ж, здесь ты ее остановишь, она в другом месте прорвется>>. И горестно опустившись на сосновые, крепко пахнущие доски, Семеныч плачет от бессилья...

— Нет, — решительно говорит он, в контору вернувшись, — вы как хотите Галина Дмитриевна, а надо из Управления вызывать специалиста — пусть все проверит, — разберется, так жить дальше невозможно! Ведь это ж не кочегарка, а ... а какое-то исчадие ада!

— Специалиста? — покусывая карандашик, Медяница — главврач Здравницы — секунду-другую разглядывает внимательно Семеныча, что-то прикидывает...

— Ну да, позвоните в отдел эксплуатации, пусть пришлют специалиста, а то ведь, действительно, с этой кочегаркой не разобраться. Сто раз перестраивалась — где, что, куда, откуда — никто ничего не понимает! Там столько труб понатыкано, я только найду — голова кругом идет. Куда-то идут все эти трубы, зачем идут... маленькие, большие ... разные... одни входят; другие выходят — и потом все в земле исчезают... а под землей там всякое бывает, нет, Галина Дмитриевна, без специалиста мы никак концов не отыщем.

— Ну хорошо. А что кочегары? Все недовольство выказывают?

— Выказывают.

— И о чем же?

— У них одни разговоры — о плохом угле, о котлах... об аптечке.

Галина Дмитриевна Медяница с утра не в духе. Сарцева — приятельница — портниху прислать обещала: кое-что сшить давно уже пора. И себе, и дочке Нинке. Вот к празднику и рассчитывала хотя бы на два платья. Так нет! Портниху перехватила Маша-из-деревни — так за глаза звали Марью Сергеевну, жену второго секретаря горкома, которая действительно была когда-то деревенской. И у мужа неприятности на работе. И дочь собирается расписываться, но будущий зять не нравится Галине Дмитриевне, потому что... ах, да все это так некстати! И тут вот в Здравнице — то здесь, то там — все постоянно что-то рвется, все из строя выходит, жалобы без конца. Да еще Люся — основная секретарша — так некстати запила. Люся за день сделает то, что эта клуша Наташа и за неделю не сделает. За Люсей Галина Дмитриевна как за каменной стеной, но вот запивает...

— Ну, что с Люсей? — выйдя из кабинета, спрашивает она Наташу, которую на такие случаи приходится брать из регистратуры. Уже с утра сидит, чай распивает, а ведь в контору отдыхающие заходят. — Ну, так что с Люсей, все пьет?

— Нет, — облизнув полные губы, Наташа отвечает, — с утра сегодня уже плакала.

— Плакала? Значит, скоро появится... а что это такое под глазом?

— Да ухажер все! — колышущимся смехом смеется Наташа. — Я к нему, Галина Дмитриевна, сзади подкралась, хотела потихоньку в макушку поцеловать, а он чего-то испугался, да как шарахнет головой назад, так мне глаз чуть не выбил...

Наташа со смехом рассказывает, но Галина Дмитриевна уже в кабинете, сидит, виски сжимает: <<Опять трубу где-то прорвало, опять процедуры сорваны, опять жалобы... ну, что мне делать, что?!>>

Невидящим взглядом она глядит на стену между окнами, где под стеклом уже много лет на самом видном месте висит Постановление Малого Совнаркома о создании на базе бывшего имения графа Веселовского Здравницы для трудящихся. С этого знаменательного Постановления она всякий раз начинает свое выступление перед отдыхающими, перед каждым новым заездом. Она знает его наизусть... сдержанный тон, сдержанные жесты при этом... для такого Постановления, чем сдержаннее, тем лучше. И конечно, вся Здравница, особенно ее первый старинный корпус, тенистые аллеи, цветник, даже допотопная кочегарка — все наполняется какой-то особой, слегка волнующей возвышенностью. И даже сама Галина Дмитриевна при этом становится не просто главврачом, а уже чем-то бóльшим. Нет, все это, несомненно, весьма приятно. Да и при разговоре с городскими властями Постановление до сих пор срабатывает надежно. Но сейчас Галина Дмитриевна глядит на застекленную рамочку с такой знакомой размашистой подписью — *Ленин (Ульянов)*. — с некоторым недоумением и только вздыхает: <<Ну, что, что мне делать?>>

Семеныч — человек неплохой, конечно, опытный, все капремонты на нем. Но вот нервный стал какой-то... то ли сахарный диабет обострился, то ли еще что... многого с него при всем желании теперь не спросишь. И всего боится... Главное — всего боится.

— Что, Наташа, ночью в первом корпусе у кого-то приступ был?

— Да вроде бы ... пенсионеры же, Галина Дмитриевна! Ну и сидели бы дома. Так нет же, едут и едут... за тыщу верст... киселя хлебать. А в корпусах колотун, тут и здоровый-то дуба даст, а они ведь все божьи одуванчики... инвалиды-ветераны...

— Ну, ладно, ладно — ты узнай всё же, как там Люся. Пока я пятиминутку проводить буду, хорошо?

— Ладно. Вот допью и схожу...

После обеда приятное событие. Всем, кроме кочегаров, конечно, дают премию по случаю занятия призового места в соревнованиях Здравниц Управления. И настроение у Семеныча, как, впрочем, и у всех, кто ее получает, заметно улучшается. По традиции премия слегка отмечается в столовой, а потом Семеныч как-то само собой оказывается у секретарши Люси. Это в том же доме, где и он живет, только подъезд другой. Люся очень радуется появлению Семеныча, они еще выпивают слегка, закусывают, включают проигрыватель, еще выпивают, куда-то уходят-приходят. И в конце концов двухкомнатная Люсина квартира начинает казаться Семенычу очень большой, какой-то весьма запутанной, интересной, наполненной какими-то неожиданными помещениями, ходами-переходами, тупичками разными. Все это безмерно веселит Семеныча, он совсем забывает о ненавистной кочегарке, о кочегарах-хамах, которым все чего-то надо... надо... Но тут вдруг включается цветной телевизор, и по какой-то странной ассоциации вспоминается сначала голодное детство, а потом опять-таки они — сегодняшние кочегарные болячки, и, словно вожжа под хвост попала, Семеныч начинает бить и крушить все, что под рукой окажется, — посуду, Люсю, цветной телевизор. Люся с разбитым носом и в порванном платье выскакивает на лестничную площадку и бросается звонить в квартиру напротив, где проживает парторг Здравницы Алешина. И, когда та открывает дверь, Люся гневно кричит:

— Посмотрите, что делают ваши коммунисты! Пришел, напился, цветной телевизор бьет!

Они бегут в соседний подъезд к жене Семеныча, Люся и там кричит на весь дом:

— Пришел, пьяный как свинья, цветной телевизор разбил!

Втроем они кое-как вытаскивают из Люсиной квартиры разбушевавшегося Семеныча. Стол, закуски, бутылки — все перевернуто, разбросано, разбито. Обезумевший Семеныч вдруг затихает, окидывает побоище странным взором, некая мысль зарождается в нем, пузырится, он и сам, как пузырь, напрягается, глаза таращит, вдруг вырывается и, снимая ремень на ходу, устремляется на чердак: <<Мне надо, надо!>> — заполошенно бормочет он, прыгая через три ступеньки.

— Повесится! — враз догадываются все три женщины.

Они бросаются за Семенычем, прыгая уже не через три, а через четыре ступеньки, настигают, стискивают нежными сильными руками и почти торжественно ведут рыдающего Семеныча домой, к законному очагу.

А утром, уже на работе, Люся, пуская в форточку колечки дыма и не обращая внимания на входящих-выходящих, громко рассуждала:

— Подать мне, что ли, на этого дерьмового коммуниста в суд или уж все простить ему?

— Дура! — прежде чем пройти к главврачу на пятиминутку, злым шепотом останавливала ее парторг Алешина. — Помолчала бы лучше, дура!

А между тем в Советском Союзе стоял декабрь. Холода такие, каких сто лет не было. В Италии три человека замерзло. В Норвегии — мороз до 50, движение перекрыто. В Испании — мороз до 26, перебой с топливом. В Голландии морозы до 15, прорваны водопроводы. Во Франции — морозы до 20, сильные заносы, многие селения отрезаны, связь вертолетная.

В Подмоскowie — сорок пять. Обстановка напряженная. Уже с утра Сычинский — инженер по котельной — ругается с двумя дедами — пенсионерами. Первый дед — зав. насосной — в ондатровой шапке. Другой — его зам. в теплом берете. Деды похожи друг на друга, высокие, худые, какие-то от мороза замедленные. Сычинский перед ними тычет пальцем в манометр над котлом, на котором вместо трех атмосфер всего полторы, и кричит:

— Полдня закачиваем воду по всей системе, а она опять ушла куда-то! Ты дай мне воду, дай!

— Это насос — эн четыре, — отвечает медленной, тихой речью первый дед — зав. насосной. — Он никак не может поднять воду на четвертый этаж.

— Да как же не может! — Сычинский выхватывает записную книжку из кармана. — Вот же, вот же — у вас списывал все насосы; эн четыре — высота водяного столба — двадцать шесть метров!

— А дом... — тихо говорит второй дед.

— А дом! — кричит Сычинский. — Давай, давай посчитаем: четыре этажа по два с половиной метра — это десять. Ну, перекрытие — пятнадцать будет, пусть с баком — двадцать, а столб — двадцать шесть!

— А почему же, — тихо говорит первый дед, поправляя двумя руками шапку, — почему же величина водяного столба всего восемнадцать метров? Я у крайнего насоса сейчас списывал, своими глазами...

— Да что вы мне голову морочите! — кричит Сычинский. — Какой такой крайний! Крайний же — циркуляционный!! Он же не поднимает воду, он же... — Сычинский кругообразно размахивает руками перед невозмутимыми лицами дедов, — он же по системе, по системе помогает циркулировать, он же на обратке стоит, он же обратку отсасывает!

— А водяной столб тогда кто поднимает? — в легком удивлении вскидывает жиденькие брови первый дед и смотрит ясными глазами на второго, а тот в ответ пожимает плечами. Сычинский видит все это.

— Да то пусть вас не волнует! — кричит он. — Вы мне только систему заполните как следует! Систему!

А уж дальше все пойдет как не может быть! Циркуляционный насос отсюда берет — туда качает и все! И все! Понятно?!

— Понятно-то понятно, — в раздумье говорит первый дед, — но... кто же все-таки создает водяной столб в восемнадцать и шесть десятых метра?

— Нет!! — в бессилье кричит тогда Сычинский. — Да зачем вам водяной столб?! Вы циркулируйте, вы мне циркулируйте нормально и все!! Вы добавьте мне давления! И все!

— Может трасса полететь. — Тихо говорит второй дед, — в ней и так уже семь атмосфер.

— Семь?! — саркастически хохочет Сычинский, — так почему же у меня подпитка водой до утра открыта, а на котлах полторы атмосферы?!

— Может, прорвало где систему? — чешет затылок первый дед.

— Тогда бы уже давно вода вышла на поверхность, — тихо говорит второй дед, — а так... тут, пожалуй, что-то другое... нет, надо все-таки врезаться большим диаметром.

— Но это же мне тогда всю воду из системы спускать! — кричит Сычинский. — А на улице мороз под пятьдесят!

— Ну, почему же — всю, — медленно и тихо тянет первый дед.

— Ну, почему же всю, — вторит ему так же нежно второй дед.

— Да потому что, потому что! — кричит Сычинский и тянет дедов в насосную, — Вот — задвижка! И вот! Вода отсюда идет на эту трубу, вот сюда, и питает кухню и лечебный корпус, так? Так! А вот задвижка питает жилфонд и жилые корпуса — как же я не должен спускать всю воду, если вы мне будете вот сюда врезаться?! Вот сюда, вот сюда!! — Сычинский зло пинает ногою трубу.

— Да-а... — вяло говорит первый дед и смотрит на второго, — ну, что ж... — И они пытаются потихоньку улизнуть из насосной, для чего извлекают из карманов манометры, термометры, деловито выделывают ими какие-то пассы перед лицом разъяренного

Сычинского и, подхватив друг друга под руку, в виде какой-то нелепо танцующей пары все же выскальзывают из кочегарки.

— Нет! — кричит Сычинский кочегару Шишкину... Тому самому, который до этого работал в одном НИИ. Но однажды по пьянке попал в нехорошую историю и был осужден за мелкое хулиганство. Ну, и оказался после этого в кочегарке. Теперь он вполне профессиональный кочегар, легко возникает в сумеречном кочегарном освещении с тачкою у крайнего котла. А Сычинский — инженер по котельной — и кричит ему:

— Нет! Кончится тем, что я этих дедов отколочу. Они же оба вольтанутые! — Сычинский бежит за дедами. — Полдня закачиваем воду, а система пуста! — И, обернувшись, Шишкину кричит он на ходу: — Жми подпитку на всю катушку! Чтоб две и две десятых атмосферы было мне железно!

— А где ж будет! — из бытовки выходит Шура, напарница Шишкина. — Где ж будет давление-то, когда наверняка прорвало где-то.

— Ну, ты даешь, Шура! Полтора месяца день и ночь котлы подпитываем холодной водой, а давление всего полторы атмосферы. Представляешь, какая дыра должна быть, если б где-то прорвало! Да она обязательно бы уже где-то вышла на поверхность.

— Да так-то оно так, — усмехается Шура, держа сигарету расслабленной рукой несколько в стороне, — так-то оно так... — И она усмехается...

Когда катишь перед собой тачку с горячим шлаком, тошнотворное, смрадное облако окутывает тебя со всех сторон — тут тебе и окись углерода, и двуокись, сернистый и прочие не очень приятные газы. Дышать, конечно, нет никакой возможности. Но что интересно: ведь где-то на далекой Венере целиком такая атмосфера. Вот ужас-то! И это на Венере — <<звезде любви, звезде печали>>! Шишкин, когда шлак везет, всегда об этом вспоминает. Да, там ему бы пришлось все время дышать этим голубоватым смрадом, делающим издали Венеру такой привлекательной, голубовато-дымчатой, романтической, томной, как голубовато-дымчатая кошечка... Понятно, что са-

мое лучшее - сейчас совсем бы не дышать. А набрать побольше воздуха, подхватить тачку, выбежать, громяхая на выбоинах в асфальте, из кочегарки, быстро пересечь двор, вывалить шлак, развернуться, отбежать хотя бы метра на три, на четыре и вновь попасть в нормальную атмосферу. Но, когда навалило столько снега, этот номер не проходит, и Шишкину пришлось таки изрядно хватануть и окиси, и двуокиси, и всякой прочей дряни. А короче, когда он весь шлак вывез, его шатало, ноги не держали, он даже присел у входа в кочегарку, к холодному косяку привалился и хотел было уже два пальца в рот и... но все же как-то перемогся, снежку пожевал, виски потер, потряс головою да и к котлам побрел.

Пятый котел они вместе с Шурой почистили. Она сгребла уголь к задней стенке, шлак освободила, а Шишкин длинным ломом стал от колосников его отрывать. Шлак не сильно <<прикипел>>, довольно легко отрывался. Шишкин даже оторвал его под горкой раскаленного угля у самой задней стенки котла. После этого к котлу опять Шура вернулась, длинной кочережкой оторванный шлак из топки ловко повыдергала, ухитрившись при этом ни одного куса угля не выбросить. Ну, а Шишкину осталось лишь горячий уголь по колосникам разровнять, дутье включить и забросать сразу вспыхнувший в топке уголь свежим мелким антрацитом.

— Двадцать минут, — сказала Шура, на часы взглянув, и они пошли в бытовку.

— И без всякой горячки, легко, спокойно, — она уже в бытовке продолжала, она присела на кушетку, закурила, а Шишкин снял рубаху, повесил на батарею сушиться, а надел уже высохший свитер. И так всю смену: одно сушишь, другое — высохшее — переодеваешь.

Посидели, помолчали. Шура курила, забросив ногу на ногу, привалившись спиной к батарее. Шишкин сидел в продавленном кресле из списанной, еще дореволюционной мебели, здесь на месте Здравницы было имение какого-то графа. Шишкин гладил кошку, запрыгнувшую ему на колени. Шура сказала:

— Ишь, начальство забегало! Комиссия едет, жалобы идут и идут.

— Забегали... — Шишкин рассеянно гладил кошку.

— Но они этим все равно ничего не покроют. — Шура, помолчав, продолжала: — Здесь всю систему надо заново менять, котлы по-настоящему ремонтировать... вот систему водой без конца подпитываем — такая утечка! А скажи им: <<Ищите утечку!>> — так ты ж и виновата будешь! Вот и ждешь, когда вода сама выйдет на поверхность... Как в прошлом году у первого корпуса вышла! Тогда убедились, когда песок размыла и вышла, тогда спохватились! А то все на кочегара валят. Все им кочегар виноват... — говоря так, Шура улыбается, во всей ее позе ленивая расслабленность отдыхающего человека, удовлетворенность от только что совершенной тяжелой работы, говорит она без злобы, без гнева, так уж ко всему притерпелась, лишь с каким-то детским удивлением. — Я не то чтобы кого-то обсуждать, а к примеру — наш начальник-музыкант — прибежал вчера, плачет прямо: <<Выйди, Шура! Валька-краснодеревщик с Киселем на расчет подали, Гришка — пьяный, Иван сбежал куда-то, котлы остыли, больные жалобу в Москву пишут — выйди, говорит, Христа ради!>>

— Ну, а ты и побежала!

— Так плачет же, — улыбается Шура, — говорит, сам буду и уголь возить — только нагрей батареи, а уж вода — ладно! Руки у нашего Музыканта трясутся, физически ж он не привык...

— А я не пошел... он и ко мне прибежал, а я: <<Нет!>> Я не то чтобы устал там или чего другое, а а... надо как-то учить таких... Музыкантов. Уж коль ты взялся начальником кочегарки, то будь добр обеспечить! И котлы, и уголь, и все! Мы ж с тобою договорились не выходить, а?

— Так жалко ж.

— Жалко знаешь где? То-то! Ты посмотри, их трое сейчас на нашей шее. Зам. главврача Семеныч — раз? Инженер по котельной Сычинский — два? Теперь этого Музыканта нам в начальники кочегарки

дали! Три! И ведь по-прежнему бардак! Привыкли все на кочегарах выезжать! Пока топим, их и не видно здесь никого, а как прижмет: труба там лопнет, или уголь вовремя не завезут — так выручай! Да?! Прочитать разок, так будет думать потом! А то шкаф привез, приемник в бытовку поставил! Нет, ты лучше летом на солнышке не грейся, ты лучше всю систему проверь, трубы ржавые замени, котлы почисти. Целое ведь лето никто не чесался! Что — так?

— Так, — вздохнула Шура, — я тут восемнадцать лет работаю, один раз премию дали. А раз — выговор с предупреждением.

— Это за что же? — Шишкин удивлен: ведь Шура топит так, что ему трудно поверить в выговор, тем более с предупреждением.

— За что? — она улыбается. — А ответила начальству как надо.

Дома, после смены отославшись, Шишкин ест сразу завтрак и обед. Ест и слышит, как Надежда Петровна, теща, в комнате говорит жене:

— Седьмой дом жалобу написал, да ку-уда!! В партгосконтроль при цека самому Шелепину! Ну, а оттуда — в горком. И к нам, пожалуйста, комиссия! И кто написал-то?! Кто и не прописан у нас вовсе. Галина Дмитриевна их уже вызывала и сказала: <<К понедельнику освободить жилплощадь, раз не прописаны!>> Нет, это надо же — написали в Москву, самому Шелепину, что живем как на кладбище! В цека. Ну, идиоты! Мы сегодня обследовали, как они живут. Санузел у всех работает, вода холодная есть, горячей нет — так ее ни у кого нет! В кочегарке-то что творится! Ведь это понимать надо, надо учитывать. Вот специалист приедет, что-то наладит...

А пока у Шишкина с Шурой четыре котла из шести на отопление работают, а нагреть батареи больше сорока градусов они никак не могут. А в шесть утра пришел Семеныч, запел свое: <<В чем дело? В корпусах холодно... — заглянул в один котел, в дру-

гой, — что-то угля маловато, — Шишкину говорит, — что-то горит плоховато...>>

А ведь они с Шурой только что котлы почистили.

— Да ведь подпитка холодной водой у нас не выключается, — Шишкин ему говорит, а тот:

— Нет, ты зайди, Шишкин, в корпуса, потрогай батареи, ведь люди замерзают!

— Да где ж мы нагреем, — Шишкин ему спокойно говорит, — если такая утечка. Ищите утечку, то есть дыру в системе.

— Да нет, — Семеныч обиженно в каракулевый воротник кутается, — топить надо лучше.

— Клязьму греем, подпитка не выключается, а давления в системе с гилькин нос!

— Смотреть надо лучше, а то я на днях зашел, а у вас в бойлерной вода, затопило, а вы болтаете.

— Да какое отношение бойлерная к отоплению имеет! Дыру ищите!

— Да нет, вы болтаете, а люди мерзнут... я тебя спящим видел.

— Ну так что ж — спящим! Что ж нам сутки и не спать! Мы сюда топить занимались, а не для того, чтоб сутками не спать!

— Так и топите.

— А мы что — не топим?!

— Холодно, зайди в корпуса.

— Дыру, дыру ищите!

— Какую еще дыру...

— В какую вода уходит! По трассе бы прошлись, а не в кочегарку с утра бежать, с кочегарами все нормально. А то греться сюда с утра прибежал... галстук нацепил, руки в брюки и сюда!

— Ну, Егор, ну, ты какой!

— А что?! Вы прозевали, а я отдувайся! Нет, давайте-ка каждый на своем месте будет исполнять хорошо свои обязанности: я — топить, вы — тепло-трассу содержать исправно, уголь обеспечивать...

— Вот уголь.

— Уголь, воду, трассу без дыр! А то пока вас носом в дыру не сунешь, вы сами ее искать не будете! У

восьмого дома какая-то вода, говорят, обнаружилась, вышла на поверхность!

— Да какая там вода! Так — труба слегка отпела.

— А может, дыра!

— Да вы сами эти дыры и делаете.

— Ходим и кувалдой бьем, да?! Зарыть надо было вовремя все как следует, все траншеи! Что вы летом делали?!

— Я знаю, что я летом делал, Егор, не тебе меня учить!

— Не можешь с обязанностями справиться — катись!

— А ты становись на мое место.

— Нет! Давай-ка каждый на своем месте: я топить, вы всем необходимым обеспечивать. Давайте просто будем все хорошо работать!

— Вот и работай... если такой патриот... три дня у тебя есть после смены, вот и поискал бы утечку.

— На-а! — Шишкин сует Семенычу кукиш под самый нос. — Чтоб я еще тебе после кочегарки и утечку искал!! Не тянешь — катись к едрене фене!

— Да я уже восемь заявлений об уходе написал.

— Пиши девятое — я помогу тебе уволиться!

— Ты? — Семеныч криво усмехается.

— Пиши, пиши — сделаю, уволят, — все равно — пустое место!

— Ну что ты на меня слюной брызжешь, кричишь, слова сказать не даешь!

— Да если бы ты слова говорил, а то глупость несешь, четыре котла на отопление гоним, уголь хороший, да у нас, если б не утечка, семьдесят бы на котлах было! День и ночь подпитываем водой из Клязьмы! Это можно нагреть или нет?! Что вы дурачком-то здесь прикидываетесь! Дыру, дыру в системе ищите!!

— Встань на мое место и ищи!

— Мне и на своем неплохо! А вот из-за таких, как вы, к нам день и ночь с жалобами бегут! Стрелочник виноват! А я их теперь всех к вам, к начальству, гоню!

Здесь им делать нечего, здесь все в порядке! Пусть начальство теребят!

— Да тебе бы только отослать, а с меня пусть стружку снимут!

— Мало снимают, под суд бы таких разгильдяев!

— Что суд... — плаксивым голосом говорит Семеныч, все больше кутаясь в каракулевый воротник, — я вчера в одиннадцать ушел, а ты говоришь...

Вчера он действительно был до одиннадцати, смотрел, как Коля Прутов ремонтировал насос в перекатке, там от мороза задвижку прихватило. Шишкин с Сычинским на ломике принесли Коле новую задвижку. Прутов кое-как укрепил ее. И тут как раз вторая задвижка оказалась прихваченной! Морозы ж небывалые. Вот и прихватило. Отогревали паяльной лампой. В общем, целый день ушел на это. Когда в одиннадцать Прутов уходил домой, он нес руки перед собой, как нечто постороннее. Ну, а Семеныч, тот бодро побежал по телефону докладывать Медянице, что все исправлено... Но вообще-то, действительно, до одиннадцати был с ними.

— Да-а... — тянет он печально, — в одиннадцать домой явился.

— А мы тут всю ночь! — Шишкин не хочет его жалеть, с какой стати, в горле у него пересохло, он осип, ведь только-только они с Шурой котлы почистили, в мыле, а этот - приперся, в плохой работе упрекает, терпенье у Шишкина кончилось, он сказал — Семеныч, вон тот лом видишь? Так я тебя сейчас этим ломом наверну! — И пошел за ломиком, а когда повернулся, Семеныча уже не было в кочегарке.

Конечно, чокнуться можно с этой кочегаркой, никаких нервов не хватит. Да и обидно, потому что Шишкин с Шурой были единственной здесь в Здравнице непьющей сменой, старались как-то. А за это: <<Как твоя, Шишкин, смена — так холодно!>> — <<А вы журнал приема-сдачи кочегарных смен хоть изредка читаете?! Мы с Шурой вчера приняли такие котлы, что и прикурить от них нельзя было! А вы говорите, что только мы плохо топим! Совесть, Семеныч, иметь надо!>>

— Да-а... — соглашается с Шишкиным начальник кочегарки, который во время разговора прячется тут же неподалеку, в насосной, и все, конечно, слышит.

Начальник кочегарки имеет какое-то имя, но все зовут его Музыкантом. Должность его совершенно никчемная, в основном используют на побегушках. Потому он и в контору не идет, боится, и в кочегарке маячить возле работающих вроде б тоже неудобно. Так он и прячется ото всех и со всеми поскорее соглашается, чтоб как та трава — перекасти-поле — хоть немного за что-то зацепиться, попридержаться за какой-то смысл в жизни. По вечерам он играет в каком-то оркестре.

Шишкин с Шурой покуривают после котлов в бытовке, начальник рассказывает:

— Слышь, Шура, по армянскому радио вопрос — какую диссертацию пишет Микоян? Армянское радио отвечает: <<От Ильича до Ильича — без миокарда и паралича>>. Это, значит, от Ильича Ленина до Брежнева...

Кочегары молчат. Шура думает, сумеет ли мать сама зажечь газ, еду разогреть. Шишкин прикидывает, сколько угля им возить сегодня.

Начальник покашлял негромко, выжидательно поглядел на кочегаров и нерешительно продолжил:

— Я этому Сычинскому не доверяю никак ... ему и Киселю, вот гад, как вчера в магазин ушел, так и с приветом! Слышь, Шура, Сычинский мне вчера говорит, оставляй печать в столе, а я ему не доверяю... Сегодня ведь завоз угля обещали...

— Да... обещали, — усмехается Шура.

— Ну, вот, — более решительно говорит начальник, — я сам... лично хочу сегодня проконтролировать завоз угля.

— Проконтролирую, проконтролирую, — Шура усмехается.

— А вот еще анекдот: идет Брежнев, навстречу Хрущев, ведет барана на веревочке. Брежнев и спрашивает...

Кочегары идут возить уголь. Начальник еще какое-то время бежит за ними, анекдот досказывает на ходу, потом исчезает...

Часам к двенадцати навозили угля примерно на полсмены, и Шура побежала домой покормить мать-старушку. Сама перекусила, кроликам дала еды. И вернулась. Теперь Шишкин идет обедать. Идти ему пять минут. Только за сарай завернул — Прутов на снегу валяется, метров двадцать до дому не дошел. Шишкин дотаскивает Колю до его квартиры. А это в том же доме, где и Шишкин, только на первом этаже. Он сдал Колю его жене — сухонькой маленькой Наде — и поднимается к себе наверх. Он тщательно вытирает сапоги, снимает их перед дверью, чтоб не наследить.

Услышав шум, из комнаты выглядывает жена. Она сообщает, что у младшей дочки температура тридцать восемь, простыла где-то. И, пока он обедает на кухне, стараясь не слишком шуметь, узнает от тещи последние новости. Во-первых, отравилось рыбой двенадцать человек отдыхающих. Один в тяжелом состоянии. Но наказали одну кладовщицу. <<А куда смотрела диетсестра? — возмущается Надежда Петровна. — Дежурный врач? Повара?>>

Во-вторых, отдыхающие написали жалобу об антисанитарии в корпусах и — опять! — о холодных батареях. Об этом Шишкин уже и сам знает, забегал Семеныч, умолял топить изо всех сил. В понедельник будет какая-то высокая комиссия.

С обеда вернувшись, он застал Шуру в сумрачном состоянии. Оказывается, за это время был завоз угля. Сычинский руководил завозом. Шура в это время чистила котел. Сычинский и печать ставил на накладных. Начальник-музыкант лишь поговорил, а печать-то в столе все же оставил. Вроде бы сам Семеныч приказал оставить. Короче, две машины загнули в Панасовку, в соседнюю деревню.

— А там, — Шура горестно рукой взмахнула за речку, в сторону Панасовки, — любой возьмет.

— Тут и так все жилы рвешь, — заорал Шишкин, — а еще уголь загоняют, сволочи! Ну, разве ж вытянешь теперь отопление по таким морозам!

— Вытянули бы... если б утечку обнаружили, то вытянули бы...

— Специалиста ждут.

— Э-э... сколько их было на моей жизни! Приедет, походит, потом его в столовую заведут: покормят-попят, он им акт подмахнет, что все, мол, в порядке. Рука руку моет.

... Ничего не получалось. Хотя не совсем понятно было, чего же все-таки ждал Шишкин, сменив институт на кочегарку. И что должно было получиться.

Уже второй год работает в Здравнице кочегаром, сутки топит, трое дома. Его бывшие знакомые по НИИ уверены, что кочегарка — блажь, что пройдет какое-то время, одумается, вернется к ним в НИИ. Но бессмысленность прежней работы и жизни стала для него такой очевидностью, что он твердо решил уйти из НИИ навсегда. И ушел. Но дальше-то что?

Шишкин все это время словно бы все обдумывает — как жить дальше. Но хорошенько обдумать мешают какие-то мелочи. А главное — почти все это время почему-то болели дети. Не успевала выздороветь старшая дочь — Марина, тут же заболела младшая — Оля. И наоборот. А то болели и обе сразу. И это, естественно, мешало обдумывать что-то главное в жизни. Уколы, таблетки, порошки, микстуры, горчичники и прочее, прочее.... Трое суток уходили на хождение по магазинам, в школу за уроками, на базар, в аптеку.

Жена как-то за это время совсем завяла, проводя ежедневно по многу часов возле больных детей. Особенно когда обе сразу болели коклюшем. Жена стала медлительной, рассеянной, раздражительной. На улицу выпроводить ее погулять стоило Шишкину больших усилий. Изредка по ночам он подменял ее. Чтоб не уснуть, садился в кресло и начинал обдумывать будущее, связанное с той резкой переменой всей

его жизни, которая произошла. Дети тяжело дышали, беспокойно ворочались, бились ногами или головой в спинку кровати, вскрикивали, стонали. Часто просыпались, просили пить, хныкали, если вода оказывалась недостаточно теплой. Потом Шишкин опять валился в кресло... чтобы начать обдумывать что-то... и тут же просыпался от очередного надрывного кашля — успел, значит, уснуть. Он вскакивал, поил, одеяло поправлял, шел на кухню и глядел на часы. На часах было три или четыре часа ночи, жена спала в том же положении с рукою на лице. Шишкин заваривал чай, делал бутерброд и, стоя в коридоре, где свет не выключался, листал что-нибудь подвернувшееся на книжной полке: Каспар Хаузер, стихи Тютчева... Он приоткрывал дверь в комнату, чтоб при нужде сразу оказаться там, листал книжку про Пифагора и узнавал, что Пифагор бобов не ел... Часам к шести он все же не выдерживал, стелил на пол спальный мешок и, не раздеваясь, ложился. И сразу все — кашель, скрип двери, отворяемой кошкой, стоны, кряхтенье поднимающейся жены, детское <<пить... пить...>>, сквозняки на полу, опять скрип двери, шлепанье тещиных тапочек — все сразу становилось мягким, укачивающим фоном — Шишкин неотвратимо и сладко засыпал. Жена накрывала его своим пальто, и он часов до одиннадцати проваливался в тепло и темноту, а проснувшись, с удовольствием думал: <<Хорошо бы попить сейчас чаю!>>

Незаметно в ту зиму подошли праздники. В канун Нового года они с Шурой почистили котлы пораньше, набросали крупного угля, сверху мелочи добавили и отключили дутье. Стало тихо.

— Уголь крупный, — сказала Шура, — попробуем на естественной тяге.

Шишкин прошелся вдоль котлов, ногою у каждого открывая поддувало для естественной тяги, и полдвенадцатого отправился домой. Дети спали уже, под елкой был накрыт маленький стол. И, когда во всем доме закричали, зашумели весело люди, они с женой выпили за Новый год. На елке горели лампочки, вся

она красиво сверкала, в бутылке было вино. Вот только дочки спали беспокойно.

Когда он уходил из кочегарки, Шура легла на продавленный, очень грязный диван и закуталась с головою в серый платок. Можно было еще посидеть, наверное, у елки, в чистоте, тепле, мягком сверкании разноцветных фонариков, закусывая сладкое вино вермишелью с сыром, но он сказал: <<Давай-ка ложись, отдохни, пока они спят>>. И, переодевшись в грязное, ушел в кочегарку. Там приставил к кожаному креслу два стула. Стулья были поменьше кресла, и он между ними положил, достав из-за стола, специальную фанерку, накрыл это сооружение ватником, сбросил сапоги и лег, стараясь не очень шуметь. Шура лежала на диване, закрыв лицо от света когда-то белым шерстяным платком. Он натянул на глаза лыжную шапку, а кошка, глянув со скамейки на него, раза два-три открыла беззвучно рот, потом мягко перепрыгнула к Шишкину и уютно устроилась рядом. Сначала он лег на правый бок, лицом к стене, но здесь поблизости было место щенка, и снизу резко пахло мочой, Шишкин перевернулся на спину, кошка грела живот, и он тотчас уснул. И, кажется, тут же услышал: стучат в окно. Спросонья бросился натягивать сапоги: уж не проверка ли в новогоднюю ночь?! Но оказалось, завелись бывшие его знакомые из НИИ. Мэнзэс Блендер, профорг Кузнецова, еще какая-то женщина, маленькая, худенькая, остренькая.

— Знакомься, Шишкин, — широким жестом приглашал пьяненький Блендер, — моя супружница Оля. Кстати, дочь Анки-пулеметчицы.

Дочь Анки-пулеметчицы, или кто там она была на самом деле, брезгливо сморщила смуглое личико и сказала:

— В австрийских тюрьмах — точно такой же воздух, словно в газовой камере... и жарко...

Шишкин глянул на Блендера, тот охотно объяснил:

— Оля была там... по заданию... — Блендер показал пальцем в потолок.

— А-а... — только и сказал на это Шишкин.

Он пожал холодную вялую ладошку у этой Оли, попытался вспомнить облик легендарной Анки-пулетчицы, подумал: <<А может, и врет все этот Блендер>>. Но, как бы там ни было, — вот они, его знакомые по НИИ...

Ввалились веселые, пьяненькие, сами себе казались от всего этого весьма оригинальными. Ведь кругом-то грязь, шум, шлак, огонь, — одним словом, самая настоящая кочегарка. Они прошли за Шишкиным в бытовку, он ото сна еще не отошел, а гости посмеивались, шутили, что-то из карманов доставали. Шура оставила их, к котлам ушла. Они ж на стол поставили бутылку вина, какие-то закуски выкладывали из карманов. Сами они не хотели уже ни есть, ни пить. Шишкин стоя выпил стакан вина, очень холодным оно было, даже зубы занули. Он выпил еще один стакан. Нарядные гости сидели перед Шишкиным на грязном диване, и он подумал — какой же все-таки грязный диван в бытовке. Шура не заходила, да, по правде говоря, и места не было в бытовке. Шишкин несколько раз выходил к котлам, но Шура прогоняла его обратно. Ему хотелось и ей налить вина, но вино ведь было не его, а бывшие его друзья не догадались Шуре предложить. Они засыпали на ходу, совсем сомлели от тепла, от гуденья моторов, их укачивало, как в самолете.

Блендер с ленивой улыбкой говорил: <<Ну, Шишкин, что-нибудь обдумал за это время? Ты ж все грозил обдумать что-то... для этого и из НИИ ушел >>, — <<Да нет, все как-то некогда, — Шишкин серьезно отвечал, — то девчонки болеют, то в магазин бежать надо, то в кочегарке что-то не ладится...>> — <<Понимаю, понимаю....>> — <<Да нет...>> — Шишкин хотел что-то объяснить, чего он и сам еще до конца не понял, но Блендер, почесывая бородку, с тихим смешком уже рассказывал, как всю новогоднюю ночь пытался пригласить супруженицу Олю на бальный танец, а та почему-то принципиально не шла. Блендер все с усмешечкой взглядывал на Олю, а та, в углу примостившись, уснула или сделала вид, что спит.

Блендер говорил о полотнах авангардистов, о новом романе Солженицына, о каких-то письмах академика Сахарова и, конечно, о системе, которую давно ломать надо. Посмеиваясь, рассказывал о том, как этой осенью на картошке запихивал вместо клубней в мешки ботву, и ничего — сошло. Говорил, что он, Блендер, гордится тем, что таким образом внес сильный вклад в слом ненавистной системы. Разумеется, страшно было пихать ботву вместо картошки, но он ничего не боится, он — Блендер — такой! Ломать, ломать поскорее все надо! Потом прикорнул под бочок к дочке Анки-пулеметчицы, потерял бородкой и задремал. Вялая бледная усмешка застыла на его лице. Одна профорг Кузнецова держалась молодцом, все Шишкину вина подливала и подливала, хорошо, понимающе так улыбалась: <<Помнишь, Шишкин, как мы с тобой чай распивали!>> Пальто ее было расстегнуто, она сидела нахохлившись, как-то небрежно, похожая слегка на мудрую общипанную ворону.

Пришло время котлы чистить, и Шишкин отправился к котлам. Блендер за ним увязался. Маленький, сухонький, в полушубке, расшитом цветными нитками, стоял неподалеку и разглагольствовал о чем-то, помахивая белой ручкой. Вино начинало действовать, и Шишкин почувствовал, какой вокруг загрязненный воздух, поташнивало. Пока первый котел чистил, устал, вспотел. Ко второму еле на ногах держался. Шатало, пот слепил, лом из рук выпадал. Тлел, начинал вонять сапог, Шишкин ничего не замечал, с трудом шуруя тяжелым ломом в топке, и, только когда чувствовал ожог, вздрагивал, дрыгал ногою, сбивая с сапога горящий шлак. Бывшие его друзья вышли из бытовки, выглядывали из-за котлов. Потом Блендер осмелел. Ну что ему дым и огонь! Он совсем близко подошел. С бледной полуусмешкой стал за Шишкиным наблюдать. Шубка, расшитая цветными узорами, распахнулась, он на куче стоял задумавшимся таким витязем... в бараньей шкуре. Смешная мысль мелькнула: <<Вот бы ломиком его сейчас — уж больно хорошо стоит!>> Мысль взбодрила Шишкина. Третий котел повеселевший Шишкин почистил с необыкновен-

ной легкостью, прямо сам себе удивился. Наверное, кончилось действие вина. Слабое, что ли, было?..

Так с Шурой они протопили почти четыре года. Но у нее со временем от долгой работы в кочегарке по рукам пошли какие-то пятна, которые очень чесались. И особенно это усиливалось к весне. Шура шутила, что как солнышко пригреет, так руки у нее начинают <<цвести>>. Вот Шура и перешла в аптеку. Конечно, не только аллергия была тому виною — работа все же не женская, да и к тому же неполадки всякие: то одно, то другое без конца из строя выходит. А валят всё на кочегаров. Вот она обиделась и ушла. Гордая женщина эта Шура. А Шишкин остался. Не покидала его все-таки надежда, что реальная работа с лопатой и тачкой, а не та бумажно-показушная в НИИ, рано или поздно даст ответ на то главное, что пока и в самом-то Шишкине конкретным вопросом никак не определялось.

И после Шуры года два-три топил он с Малининым. Это его сосед, напротив Коли Прутова живет. Малинин — парень неплохой. Но выпивает. А потому надежность уже была не та, что с Шурой. Если раньше, домой уходя, Шишкин не беспокоился. То при Малинине домой придет, поест-попьет, отдохнуть приляжет... а сам всё батареи щупает — как там Малинин? Если батареи горячие, может Шишкин отдыхать. Начнут остывать батареи — в кочегарку бежать надо. Сутки ведь в кочегарке не выдержать. Они потому по двое и топят, чтоб друг другу отдых давать какой-то.

Глава 5

Юрий Владимирович с утра сидел, на часы поглядывал. В десять позвонили из приемной Брежнева: <<Леонид Ильич просит зайти>>.

Встал, досчитал до пятидесяти, дыхание успокоил, одернул пиджак. Еще вчера гадал: позовут — не

позовут. Впрочем, почему-то уверен был — позовут. Ну вот, сейчас все и решится.

В огромном кабинете Цуканов и Арбатов сидели через стол друг против друга. Леонид Ильич расхаживал. С полуулыбкой пошел навстречу. Надвигался, усиливая запах крепких духов, руку жал, полуобнимая по-хозяйски, а глядел все вокруг да около, то на галстук, то поверх головы.

— Присаживайтесь, Юрий Владимирович... посоветоваться надо.

Все так привычно, буднично, словно б вчера только и расстались, словно б и кошка не перебегала.

И еще минуту-другую по кабинету ходил. Руки за спину, широкими бровями раздумчиво двигал. Внушительный и стройный одновременно. Вот что значит — боевой генерал. В прошлом, конечно, а все равно — генерал. В юности, в зрелые годы наверняка был красив. Да и сейчас еще вполне привлекателен. Темные, густые волосы, не то что у Юрия Владимировича. А ведь лет на десять постарше Брежнев будет. А какие мужественные черты лица, выправка какая! Руки за спину, и это выразительное поигрывание густыми иссиня-черными бровями... На ум пришло, что такие выразительные лица любят лепить начинающие скульпторы. Теперь полюбят и не начинающие.

За это время, что они близко не встречались, Леонид Ильич изменился. От первоначальной робости не осталось и следа. Исчезли быстрые кивки налево-направо, когда выслушивал советчиков. Какие-то выразительные междометия появились — гм... хм.. Междометия были и раньше, но не с такими же паузами.

Да, по всему было видно, что Брежнев не только принял огромное хозяйство, но и уже вполне обживается в нем. Академик Сахаров написал письмо недавно, предлагал программу дальнейшего существования. Не принял академика. А зря, наверное, ведь, собственно, такие люди, как Сахаров у нас, как Нильс Бор, Резерфорд в США, и обозначают реальные контуры будущего, вторая половина двадцатого века, конечно же, за ними. Не принял. Уже хозяин. Уже

вправе сам выбирать советчиков. Да и то правда, реформы 65-го, 66-го годов однозначно прошли с плюсом, а 7-я пятилетка вообще обещает стать одной из лучших, так что... как говорится: большому кораблю...

И все же, ненавязчиво разглядывая хозяина кабинета, Юрий Владимирович не хотел бы оказаться на его месте. Если честно, нет, не хотел. Да будет его жизненным пределом — подняться вверх еще немного, на ступеньку-другую, и всё. Права Татьяна Филипповна: когда-то ведь надо и для себя пожить, для семьи, для детей... А главное, чтоб не дергали, чтоб можно было наконец как-то все обдумать, да хотя бы того же Монтеня наконец дочитать... А тут, у Брежнева... слишком уж велика ответственность, слишком уж приходится просчитывать каждый свой шаг. Вот едет вручать орден республике, а сколько по этому случаю подвижек. Порою совсем и ненужных. Понятно — дают. И слева, и справа. Вон, на столе, возле которого топчется, на самом видном месте — два варианта речи. Уселся, очки нацепил, взял листочки справа, принахмурился, как бы сам для себя забормотал:

— Еду в Грузию... орден везу... у людей праздник на душе, речь сказать надо... хорошую речь, ведь праздник же у людей, а... у вас тут имя Сталина всего один раз упоминается... и это в Грузии! ... да и то, — недовольно хмыкнул, — в самом конце, а?

Глянул на Арбатова, глянул на Андропова, опять глядит на Арбатова с явной усмешкой.

— Леонид Ильич! — вскинулся Арбатов. — Вы обратили внимание — имя упоминается среди деятелей революционного движения в Грузии, ну, и, разумеется, по алфавиту... как и принято в таких случаях... в конце... по справедливости...

— По справедливости? — Усмешка крепчает, уже готова перетечь в откровенную насмешливость, но вдруг пропала, вполне серьезно забарабанил пальцами по столу. — Так... так... так...

— Ну, а вы что на это скажете, Юрий Владимирович? Ведь переживает ваш Арбатов... явно переживает?

Глядя сейчас на этого осторожного искушенного политика, с трудом верилось, что когда-то на фронте был этот человек отчаянной личной храбрости, не кланялся ни пулям, ни начальству. И, даже попав в любовную фронтовую историю, — а ведь имел уже семью, и грозили большие неприятности, — все же не отказался от любимой женщины. Юрий Владимирович уважает таких людей. Да у него у самого нечто подобное в Ярославле случилось, когда в 39-м в Гаврилов-Ямском районе Таню встретил. Большие неприятности грозили, семья уже была, дети, и тоже — война спасла... Нет, Брежнев он уважает, понятно, не только за это, а за что-то комплексное, что, несомненно, в нем есть, надежное, за какой-то внутренний такт, который при внешней мужиковатости не сразу и разглядишь. Даже вот за это уважает, что сейчас разыгрывается у него в кабинете. Ведь решил давно, уже все решил, а какой-то спектакль разыгрывает для троих зрителей.

Артистические способности в Брежневе Юрий Владимирович давно уже заметил. Но все считал это как бы в потенциале, как бы стихийно, под настроение. А тут, по случаю, как-то на банкете — американская делегация приезжала — Брежнев выпил рюмку, другую выпил и с полчаса, наверное, стихи читал. Да с выражением! Ну, Есенина — это понятно. Сентиментален. Как и его друг Устинов. Как многие военные. Но вот откуда он знает наизусть <<Сакья Муни>> — огромную поэму Мережковского? Оказывается, в юности мечтал стать актером. Даже играл в революционном театре <<Синяя блуза>>. Разъезжал, как какой-нибудь провинциальный актер, по предприятиям, красным уголкам с революционными спектаклями.

Да он и сейчас играл. Ждал от них каких-то убедительных доводов, ждал неизвестно чего, а сам давно все решил. Но вот что решил?..

— Значит, если по алфавиту, то... можно Сталина в самый конец... — и пальцами выразительно по столу, — так... так... так...

— Ну, а вы что на это скажете, Юрий Владимирович, ведь переживает в статье ваш Арбатов?

— Согласен, Леонид Ильич, разумеется, переживает... по молодости... но в принципе, если брать в принципе, то такие передержки наверняка неизбежны... ситуация не простая...

— Да здесь не просто издержки-передержки. — Брежнев потыкал пальцем в листочки. — Арбатов же явно жмет на то, а кому это нужно на сегодня? Кому возвеличивание Сталина нужно на сегодня, а?

— Согласен. И здесь Георгий Аркадьевич малость погорячился. Но если... без горячки подумать — страна вырывается на стабильность, реформы идут успешно, западные компартии постепенно привыкают, не без труда, но переварили двадцатый съезд... а действительно, кому это нужно? опять выходить на круги своя... к Сталину.

— Кому- кому... а китайским товарищам?

Юрий Владимирович развел лишь руками, мол, именно с этим-то и не поспоришь.

— А Китай — великая держава... Как и Америка... Да и вообще, чего их сравнивать, — Брежнев вздохнул.

И опять Юрий Владимирович руками лишь развел: действительно, и Америка — великая держава. И Китай — тоже великая. Он все больше с внутренним трепетом убеждался, что потихоньку в струю попадает. В ту самую — радужную, радостную — где и Брежнев. А Китай тут совсем и ни при чем. Речь, произнесенная в Грузии, нужна лишь для внутреннего резонанса, для какого-то очередного трамплинчика. С которого окончательно можно будет сбросить <<железного Шурика>>.

Юрий Владимирович все понимает: поднадоел Шурик. Поднадоела западная пресса, <<голоса>> те же, настойчиво прочашие Шелепина в брежневские наследники, — еще накаркают, чего доброго. Поднадоели и здесь, в стране, все выходки его: то от ох-

раны он отказывается, хочет, видите ли, сэкономить народные деньги; то неприятно ему, когда на демонстрациях несут его портрет. Не понесут больше. Уже готовится решение о выводе <<железного Шурика>> из Политбюро. Юрий Владимирович все понимает: пора. Но до этого ведь надо еще убрать из КГБ его лучшего друга Семичастного. А для этого Брежневу понадобятся надежные тылы. Вот осторожный Брежнев и обкатывает будущую речь свою. Речь проверочную, нечто вроде лакмусовой бумажки. Зондирует, еще и еще раз проверяет — а что же у него в резерве на сегодня. Долго держал Андропова, приберегал до поры, до времени, как надежное дальнобойное оружие. Теперь вот вызвал — проверяет.

На этот раз решил ничего не загадывать. Чтоб не сглазить. Решил ждать, что будет в Грузии на вручении ордена. И все эти дни провел с отвратительным ощущением, что очень ненадежно прилеплен он к огромной крутизне. Настроение скрывал. Но не всегда получалось, срывался иногда по сущим пустяками — и в Отделе, и дома. Ругал себя потом, но поделаться ничего не мог. Уж слишком невыносима была эта остановка на невероятной крутизне. На ней нельзя останавливаться, запрещено. На ней ведь — только вверх... или вниз. А задержался — и сразу стал похож на огородное пугало. Собственные консультанты и те выжидательно поглядывают.

Правда, Шелепин как будто ничего и не замечает. По-прежнему не скрывает удовольствия, когда подвозит Юрия Владимировича на своей машине. Охрану ему, разумеется, не сняли, член Политбюро до сих пор, но как-то осунулся Александр Николаевич, поблек... Юрий Владимирович все понимает: ребята Семичастного проворонили Светлану Аллилуеву, сбежала Светлана за границу. Так что Семичастный, считай, снят уже. Шелепина понять можно. Хотя держится молодцом, железная выдержка, улыбается при встрече. А вот Суслова на днях в коридоре встретил... и так прохладно Михаил Андреевич поздоровался... Да, не без Суслова в опале очутился, чего уж...

И почему это Суслов считает, что Юрий Владимирович метит на его место?.. Вот уж нет, Юрий Владимирович всю жизнь мечтает культурой заниматься, если честно, его всю жизнь именно в этот сектор тянет. Суслов ошибается, к сожалению. И Косыгин вот уверен, что Юрий Владимирович — главный виновник развала отношений с Китаем. И опять — пальцем в небо. Китай никогда его особенно не интересовал. Да, куда ни кинь — всюду клин. Вот и давят на Брежнева с двух сторон, заставляют из ЦК убирать... слухи пошли, консультанты и те уже вовсю переглядываются. Брежнев ссориться ни с кем не будет, конечно. Уберет Андропова. Но убирать ведь можно по-разному.

А после того, как Брежнев из Грузии вернулся, как по-особому мягко как-то взглянул, отвел в сторону... в кабинет пригласил, понял: отныне только вверх. И потому почти и не удивился, когда в мае 1967-го Семичастного сняли, а его — Андропова — назначили Председателем КГБ.

Сразу с заседания Политбюро Суслов и Пельше в рабочем порядке повезли Юрия Владимировича на Лубянку. Представили руководству Комитета. Потом завели в кабинет с белыми шторами. Кабинет оказался совсем не мрачным, наоборот, светлым, просторным, с удобной комнатой отдыха. В этом кабинете начинал еще Дзержинский. И все остальные — в этом же — Ягода, Ежов, Берия... Серов... <<Принимайте дела, Юрий Владимирович!>> Принял. А что делать? Отказываться? Говорить, что не справится со спецификой этого специфического заведения? Так ведь решили же все! Такой расклад получается, что больше некому. Такой расклад... Ну, что ж, спасибо за доверие, постараюсь оправдать...

И вот один остался в огромном кабинете с портретом Дзержинского, <<железного Феликса>>. И опять это слово — железный — холодноватым посасыванием где-то под ложечкой отозвалось. Не успел с одним <<железным>> расстаться, другой — тут как тут — глядит с портрета. Прямо метафизика какая-то... С чего ж начать? Прежде всего поехать в ЦК, в

Отдел, с людьми по-человечески попрощаться, пожелать всего хорошего... прикинуть, кого с собой взять... Крючкова можно, еще кого-то... а Крючкова обязательно, надежен... не то что эти... аристократы духа с бегающими глазками.

Когда на Политбюро утверждали, робко, в рамках общепринятой игры, говорил, что не справится, опыта нет. Брежнев грубовато перебил:

— У него, видите ли, опыта нет! А кто в карельском подполье шифровки подписывал как <<Могикан>>? Все знаем, Юрий Владимирович, все! Да мне Куусинен Отто Вильгельмович сам все рассказал... Подписывал? То-то...

Было, было... было и такое.

Сугубо штатский человек. Несмотря на длинную шинель, несмотря на огромную кобуру с наганом... Да он ли это, играющий на многих музыкальных инструментах... поющий приятным баритоном арии из опер... знающий наизусть столько страниц из <<Чапаева>>, из <<Павки Корчагина...>> сам пишущий стихи... теперь стреляет на стрельбище из огромного нагана. Изучает финский, с головой погрузился в карельский эпос "Калевала". И для этого встает на два часа раньше. Ему нравится певучий язык этой удивительной, какой-то снежной страны. Он по-настоящему полюбил этот край, этих прекраснотушных, слегка наивных, чистых людей, каких-то не сегодняшних, словно бы явившихся из сказок <<Калевалы>>. Суровый партизанский мститель Федя Тимоскайнен... отважная радистка Люба Туманова... юная разведчица Аня Лисицына... десятки, сотни таких же. Он дышит одним с ними воздухом, он чувствует так же возвышенно все, что его окружает — скалы, сосны, озера... Он увлеченно пишет статью в журнал <<Смена>> — <<Мы защитим тебя, Карелия родная!>> Всего за три месяца она уже родная для него, уже так естественно в статью вставляются любимые строчки из <<Калевалы>>:

*Снега реки, льда озера —
Там блестит застывший воздух.*

*Зайцы снежные там скачут,
Ледяные там медведи
На вершинах снежных бродят...*

Он настолько глубоко воспринимает все это, словно прожил здесь долгие годы, словно бы родился здесь.

И вот сидит в небольшой узковатой комнате. Это его кабинет, он — первый секретарь ЦК ВЛКСМ Карелии. Двухтумбовый стол, вдоль стены с десятков стульев. За спиной карта с флажками. Ночь. За замороженными окнами полыхает полярное сияние... <<зайцы снежные там скачут, ледяные там медведи...>> Он подходит к застывшей голландке, греет руки. Возвращается опять к столу, составляет план операции для отряда <<Мстители>> — сжечь мост у деревни Ушаковка, уничтожить вражеский гарнизон, взять в плен языка и допросить в соответствии с инструкциями, полученными из Центра. Он подписывает очередную шифровку, которая уйдет утром в Первую партизанскую бригаду: <<Яков выброшен в 24. 00 район Лен-озера координаты 82-30 сегодня ночью шлем Федора - Могикан>>.

Самое горькое, когда забрасываешь в тыл людей... Аню, Машу, Федю. Еще вчера принимал контрольную стрельбу и все казалось не таким уж и страшным. Светило солнышко, пощипывал морозец, и выстрелы в искрящемся воздухе пощелкивали как кузнечики... А вот в полете ночью, в холодном гулком чреве самолета, когда через десять минут расставаться, сжимается сердце тоскливо... вот юная разведчица Аня Лисицына, вот отважная радистка Люба, чемпион по лыжам Федя Тимоскайнен... увидятся ли вновь когда.... Не вернулись ни Федя, ни Люба, подорвала себя гранатой, когда фашисты окружили. Многие не вернулись...

В сорок первом, отправляя Андропова на фронт, вологодский комсорг Саша Соколов весело вкатил им в вагон бочку пива: Одел, обул тогда их группу Саша Соколов, харчей дал, пива бочку. Пели под гитару. Андропов стихи читал, арии из опер исполнял прият-

ным баритоном. Особенно запомнилась эта, где было: <<Спасу я честь свою и славу, я Русь от недруга спасу!>> И, действительно, тогда казалось, такие отличные парни подобрались в партизанский отряд, отъезжающий в Карелию... такой серьезный командир у них, такая огромная кобура у него, такая шинель до самых пят — такие уж не подкачают, такие не подведут... спасут...

А когда через полтора года вновь в Вологде Андропова встречал, ахнул Саша Соколов, тихо ахнул, сердце защемило — перед ним стоял поседевший, полысевший человек... и, главное, глаза не те уже были. Те, когда арии распевал, мечтательные, задорные были. А теперь в них застыло что-то навсегда потерянное, остылость какая-то. Вот что война с человеком делает. Это был уже другой Андропов. Полу-дистрофик. Но это через месяц прошло, вылечили вологодским хлебосольем. А вот остылость... по существу, после этого он так до конца и не отогрелся.

Да, есть, конечно, дети, внуки есть. Но при этом незримый барьер все время ощущается. Ни отцом, ни дедом — тем более — он так по-настоящему и не стал. Есть жена, но даже с любимым человеком до конца быть откровенным не получается как-то. Да, не получается: потому что уж так устроен человек, что даже перед самим собой не всегда до конца откровенным бываешь.

Вспомнилось, как в 39-м еще в Ярославле, еще с Ниной... Октябрьские праздники приближались, <<комсу>> со всей области собирал. И был Санька Прохоров из Тутаева. Отличный парень. Субботники, воскресники — все горело у Саньки в руках. О себе, конечно, в последнюю очередь. Пальто у Саньки Прохорова никогда не было. <<А-а... — говорил, — как-нибудь...>> В пиджаке на праздники приехал, с красным бантом. Но бант плохо греет, а уже заморозки, кашлял Санька очень. Ну, и отдал тогда Саньке Прохорову новое пальто, у него ведь дома старое было, поносить еще можно. А у Саньки-то — никакого. Прибежал с торжественного заседания без пальто, мороз

всю дорогу подгонял. <<А пальто где, Юра?>> —<<Да знаешь, Нина, Саньке Прохорову отдал...>> Обиделась. Говорила, что о дочке совсем не думает. И о сыне не думает. Говорила, что какой-то Санька из Тутаева дороже собственных детей. Ничего не поняла. Может, с этого дня и первая трещина появилась... А уж Таня потом....

Так что перед приходом в КГБ был кое-какой карельский опыт... и венгерский был, конечно...

На другой день собрал членов Коллегии, руководителей Центрального аппарата КГБ, выступил с короткой речью, где сказал подобающие случаю слова. Стал знакомиться с людьми, с делами. Месяца два ушло на это.

Собственно, отлаженный механизм Комитета как работал, так и продолжал работать. Наверное, не скоро и не сразу скажется его приход сюда. Приближалось 50-летие комсомола ВЧК- КГБ. Юрий Владимирович считал, что это важная дата. В связи с этим он хотел бы какие-то ориентиры наметить. Хотя бы для себя. Да, да - он обязательно выступит с программной речью.

Обложился литературой, стал делать выписки из книг, брошюр, газет.

<<Хорошо известны слова Дзержинского о том, что чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками...>>. — Написал, чуть голову склонив, перечитал и пожал плечами. Нет, третий месяц он здесь и никак не может привыкнуть. Столько лет, проходя мимо этого серого здания, вздрагивал. Да не то чтобы уж как-то действительно там вздрагивал — привык уже за много лет, ко всему ведь в конце концов привыкаешь! — а смутная тоскливость какая-то слева в груди просачивалась явно. Когда мимо проходил или проезжал. И вот надо же! Сам — глава этого могущественного ордена, то есть — органа!

А может, не оговорился. Из Ярославля вон дочь Евгения пишет — что его внук Петька спит и видит себя разведчиком... с холодной головой — как это там у Дзержинского — с горячим сердцем... все верно,

внук у него в Ярославле подрастает хороший... Словно бы не веря еще до конца, обошел вокруг стола, в комнату отдыха заглянул, открыл дверцу маленького холодильника... боржомом... кефир... вслух произнес: <<Лу-бян-ка...>>. Но уже что-то подмывало, уже в чем-то убедиться самому хотелось... не по-хорошему так подмывало... А что — третий месяц он здесь уже, освоился, коллектив... разный, конечно... но в основном — четкий, дисциплинированный, все же приятно работать с таким коллективом. Вызвал помощника и ровным голосом деловито распорядился, чтоб приготовили для обзора несколько дел за 37-39 годы. Для начала — дело Тухачевского... (годы-то, годы какие!) ну, и что-то попроще... скажем, дело Сергея Эфрона — мужа Марины Цветаевой.

О Цветаевой желчный циник Бунин сказал однажды: <<Истуканка с оловянными глазами!>>. Отдавая должное обоим поэтам, Юрий Владимирович не любил их перечитывать.

После обеда материалы лежали на столе. По Тухачевскому он мало что нового узнал. Разве лишь то, что в 1916 году Тухачевский был в германском плену в лагере Ингольштадт, где в то же время находились такие известные евразийцы, как генерал де Голль и генерал фон Людендорф.

Сергей Эфрон — платный агент НКВД — расстрелян в 40-м как член организации <<Евразия>>. Тоже ничего из ряда вон. Остановило, пожалуй, лишь то, что до этого Сергей Эфрон принимал участие в убийстве Игнатия Рейсса. Рейсс был крупным разведчиком ГРУ — нашей армейской разведки. И в то же время Рейсс этот был как-то связан с германской разведкой... Да, конечно, написал Сталину обидное письмо, возмущен расстрелом Тухачевского... порывает, возвращается к ленинским принципам... Повод рассчитаться с Рейссом у НКВД, несомненно, был. Но только ли за обидное письмо? Ведь, как ни верти, а получается опять: ГРУ — НКВД, кто — кого. Армия и чекисты...

А еще узнал, что месяца за два до убийства Сергей Эфрон с товарищами ездил в Мексику. Куда по-

чему-то как раз в то же время приезжает и Троцкий... Большая сумма денег — по-видимому, от Троцкого?.. Или это НКВД их снабжает?.. <<Троцкий — американский шпион!>> — писали газеты тогда... <<Ленин - немецкий шпион...>> Все это, разумеется, так примитивно, так упрощенно. С другой стороны, что-то же явно проглядывает за всей этой навязчивой, из года в год повторяемой типологией — какие-то мощные силы... Ну, американский Троцкий — понятно. Но германский Ленин?.. Через всю Европу в plombированном вагоне... по-купчески... <<Купец... купец...>> — мелькнуло слово из ленинской записки Горькому. “Кого это он называл купцом?” Юрий Владимирович подошел к книжной полке... Том второй... или третий? Память не подвела — почти сразу нашел нужную страницу: <<Передайте “купцу”, что если не пришлет всю сумму, мы не будем выполнять обещанного...>> Горький оставлен для связи... с кем?.. с какой целью?.. И вот опять этот Игнатий Рейсс — наш военный разведчик, но почему-то работает и на нашу, и на германскую разведку. Словно бы это одна какая-то общая армейская разведка... Словно бы это и не разные империи, а одна... И связь Тухачевского с французом де Голлем... кстати, тут же мелькает опять как его там?.. этот немец фон Людендорф... Это не тот ли самый, что принимал активное участие в заключении пакта Риббентропа — Молотова? Был, был там какой-то фон Людендорф. Память редко подводила Андропова.

Да, этот пакт тогда наделал много шума...

29 ноября 1939 года — речь Председателя Совета Народных Комиссаров... <<Будем бить врагов беспощадно!>>

14 декабря... Решение Лиги Нации об исключении СССР из Лиги Нации за действия агрессии против Финляндии...

21 декабря — 60 лет Сталину — телеграмма господину Сталину от Адольфа Гитлера и Иоахима фон Риббентропа...

Юрий Владимирович хорошо все помнит, потому что как раз был в Гаврилов-Яме, в Р. К. ВЛКСМ, встретил Таню — и словно бы облако тогда наваждение нашло. Огромные серые глаза, короткая стрижка, белый берет лихо сдвинут набок, горящий взор... но главное, это магнетическое облачко вокруг самой Тани, в котором с первой же встречи утонул он с головою... Война, пакт, исключение из Лиги Наций... все перевесила Таня тогда... Годы-то, годы какие! Совместный с немцами парад в Бресте... Ликование... Значит, военные уже тогда не придавали никакого значения идеологической пропаганде?.. Ни антиславянской со стороны Третьего рейха, ни нашей марксистско-интернациональной риторике. Военные Германии и СССР были заодно. А дружба была действительной, ведь факт же — передавали друг другу даже военные секреты. Реально готовились к объединению?.. В какую-то огромную империю? Да реально ли вообще такое? Мы и немцы? А вдруг?

В дремучей древности — читал он как-то — уже было нечто подобное. Россия и Германия реально объединялись в какую-то могучую империю <<Росланд>> — В пятом или шестом веке это было... в дремучей древности.

Да, война поломала все планы. Ее и ждали, и не ждали. Верили и не верили. Трагедия. И для германского, и для нашего народов. Кому нужна была?.. Только Америке. Как ни верти, ослабляя и нас, и Германию, война нужна была одной Америке. И всем тем, конечно, кто с нею заодно.

Похаживая по кабинету, Юрий Владимирович вспомнил, что Устинов как-то рассказал об одном весьма странном эпизоде той войны... Про Бормана. 22 июня, в первый день войны, Борман страшно взволнованный, почти в шоковом состоянии вбежал в комнату к своему другу, скульптору кажется, если не изменяет память... впрочем, не важно... вбежал и произнес загадочную фразу: <<Все закончено... Все потеряно... Небытие в этот июньский день одержало победу над Бытием!>> Еще ничего не было ясно, еще неизвестно было, кто кого победит. А Борман уже

знал — победило Небытие... <<Жизнь — только миг, небытие — навеки...>> — пришли на память собственные стихи. Тогда, в молодости к <<небытию>> относился он, не слишком задумываясь. Просто как к тому, чего в принципе быть не может — небытие же! А вот теперь, на 54-м году жизни, небытие в нем уже вырастает до каких-то реальных ощущений, уже почти что до ощущения самого Бытия... Тяжело вздохнув, сутуля плечи, идет он к столу, сдвигает в сторону пыльные архивные дела, продолжает писать доклад по случаю приближающейся годовщины комсомола ВЧК-КГБ.

Очень хотелось обратиться к юному поколению с какими-то душевными словами, чем-то сокровенным поделиться из собственной юности... Да ведь и свои-то еще в комсомольском возрасте. С детьми, разумеется, проблемы были. И сын, и дочь театром со школы увлекались. Особенно театром на Таганке. Любимов - одаренный режиссер, знает, чем молодежь зажечь. Увлечение в страсть переросло. Хотели артистами быть. И никем другим. Как Высоцкий, как Вертинская. И, разумеется, играть только на Таганке. Всерьез к конкурсу готовились, монолог Чацкого по ночам зубрили. Хорошо, что Любимов забраковал обоих. Да, хорошо, а то бы непонятно что и получилось. Нет, при всей разносторонности натуры Юрий Владимирович не может представить, чтобы его собственные дети, Ирина и Игорь, лицедействовали на сцене. Спасибо Любимову, отвел напасть. А потом и сами одумались, прошла театральная горячка. Игорь МГИМО закончил, в институте у Арбатова работает. Ирина стала хорошим филологом, музыкой по-прежнему увлекается. Да и дочь Женя от первого брака в Ярославле закончила медицинский институт, дерматологом работает. У Жени хорошая семья, хорошие дети, Юрий Владимирович посылает Жене регулярно деньги. А вот Володя — тоже от первого брака... как в 57-м жизнь пошла наперекосяк, так никак и не выпрямится... десятилетку и ту до сих пор не закончил... То на Урал его судьба закинет, то на Украину. Теперь в Молдавии, женился. Жена — Марина. Дочь подрас-

тает. Может, еще все и наладится как-то. Хорошо, если б наладилось. К Володе испытывает он странное чувство. Да, к остальным он испытывает нормальные отцовские чувства — и к Игорю, и к Ирине, и к Жене, хоть она и живет в Ярославле. Регулярно пишет Жене письма, деньги посылает регулярно, с путевкой в дом отдыха помогал не раз. Так что с этими нормальные отношения. А вот с Володей... вот так задумается-и сразу сквознячок в груди какой-то.

Сын приезжал недавно. Двадцать семь лет уже. Худой, с каким-то уже взрослым налетом. С трудом привыкалось к этому новому ощущению сына. Восемь классов образования. Но хуже всего — почти что совсем неконтактен. Даже обидно как-то. Ирина, Игорь — все хорошо к нему отнеслись. А уж Татьяна Филипповна... чуть ли вообще не по-матерински. А Володя, наоборот, совсем замкнулся.

По разговору, по поведению, да по всему — сильно проигрывал он этим московским. Эти, в общем-то, в жизни уже устроены, все определено у них. Игорь пойдет по дипломатической линии. Ирина — филолог, музыкой увлекается. А Володя... Да... В сбивчивой речи его все больше и больше прорывалось, что жизнь пошла наперекосяк, потому что без отца, а был бы с отцом, как вот эти, московские, так и у него бы все было, и техникум, и институт...

Всего два дня и побыл... Обиделся, что ли... хотя --на что? Недавно письмо вот прислал, в институт собрался поступать. Это он на Игоря, на Ирину здесь посмотрелся за эти два дня. Гордый. Но ведь аттестата нет. Вот беда.. Очень хотелось хотя бы на этот раз помочь сыну. И опять ничего не получалось. Как мог вчера в письме объяснил ему Юрий Владимирович все подробно...

Вынул из кармана, стал перечитывать.

Здравствуй, Владимир!

Письмо твое получил, но с ответом задержался ввиду того, что товарища, который мог бы мне помочь, не оказалось на месте в Кишиневе. Должен тебе сразу сказать, что дело оказалось сложнее, чем я думал. Главное препятствие в том, что для поступления в институт совершенно необходимо иметь аттестат об окончании средней школы. Я специально

справился и в Кишиневе, и в Москве относительно справки об окончании 10-го класса (о чем ты говорил мне). В обоих случаях мне категорически ответили, что Государственная комиссия требует только аттестат. В связи с такими обстоятельствами я размышлял, как тебе помочь, и, к сожалению, ничего придумать не смог. Институт, конечно, не Суворовское училище, и законы тут железные.

Может быть, тебе стоит потратить один год и закончить в вечерней школе 10 класс, и тогда ты будешь иметь настоящий аттестат. Это один вариант... Может быть и другое... Я узнал, что в Кишиневе есть электротехнический техникум. В него принимают после 8-го класса. Справку об окончании 8-го класса ты, конечно, легко мог получить бы в Ярославле.

В Москве я постеснялся тебя спросить относительно того: готов ли ты к экзаменам для поступления в институт, а ведь это вопрос — не последний. Думаю, что для экзаменов в техникум знаний у тебя хватит.

Очень сожалею, что не смог помочь тебе, но ты должен понять, что, если я так пишу, значит, по-иному ничего сделать нельзя. Я здоров. Татьяна Филипповна, к сожалению, все хворает. Она посылала тебе денег и не знает, получили ли вы их. Привет Марине и дочке.

Ю. Андропов

Еще раз глянул на подпись, хотел было зачеркнуть, написать что-то не такое официальное, но что... что тут напишешь, если он действительно — Ю. Андропов.

Письмо в карман упрятав, вернулся к юбилейной речи, округло-четко стал писать дальше:

<<... утратить классовое чутье — это значит лишиться революционности, потерять ориентир. Не трудно себе представить, как это опасно — если учесть, что мы живем в эпоху продолжения классовых битв. Все мы солдаты партии...>> Написал и задумался... <<солдаты партии...>>

Да, разумеется, КГБ — продолжение партии, ее интеллект, ее душа. Тут уж никуда не денешься. По сути же — полузакрытый ее орден. Для избранных. В мае Юрия Владимировича назначили Председателем КГБ, а уже в июне — избрали в кандидаты Политбюро. Так что КГБ — ее орден. Это несомненно. Но тогда что же такое ГРУ — военная разведка... Естественное продолжение армии, элитная концентрация ее, продолжение государства?.. народа?.. Да нет,

конечно, народ и тут и там. Хотя понятно, что народ, как всегда, ни тут ни там, где-то внизу. Но тогда почему эта нескончаемая война? Между ГРУ и КГБ...

Было бы проще всего объяснить это своеобразием нашего российского пути. Но Юрий Владимирович понимает, что эта частная война — проекция войн куда более масштабных И в этих войнах действительно идеология, национальность, религиозность не играют абсолютно никакой роли. Есть белые евразийцы, есть красные. Есть белые атлантисты, есть красные. Наверняка же по этой причине было такое обилие советских агентов, начиная с Хисса и кончая Резерфордом, в самых высших эшелонах власти Америки. И понятно, что речь здесь идет не о заурядных двойных агентах, многие ведь вообще работают за голую идею. Речь, по-видимому, все же идет о внутреннем единстве каких-то высших геополитических интересов. О многом Андропов, разумеется, догадывался и раньше, просто по-настоящему не задумывался. Совсем другой был круг вопросов на том уровне, где он находился до этого. И это правильно. А вот теперь...

Встал и, заложив руки за спину, прошелся по кабинету... Теперь наверняка придется думать и обо всем этом... да тот же академик Сахаров — не на пустом же месте появился. В тридцать два года - в академики! Ну, понятно же, что через проамериканское лобби ученых-ядерщиков познакомился и уверовал во все эти атлантистские проекты. Вот и носится с ними... как с писаной торбой... о конвергенции систем толкует, о мировом правительстве. Да чушь все это. По крайней мере, на сегодня.

Брежнев не захотел и голову ломать над его письмом. Суслову передал. Но и Суслов решил с ним не встречаться. Суслов с умными людьми предпочитает не встречаться. А Сахаров-то все пишет, пишет... Юрий Владимирович его прекрасно понимает - избрести такое... Уже и люди вокруг академика собираются, уже атмосфера вокруг него... своеобразная. Брежнев уже пару раз намекал. Да не намекал, а прямо сказал, что пора кончать этот бардак. Хотя,

если подходить по справедливости: Сахаров — это Сахаров. А Солженицын — это Солженицын. Ладно, в свое время займется он и этим. Есть дела поважнее.

Да, конечно, он и раньше догадывался о многом. Но впервые вот так задумался, попытался в рабочем порядке свести все к какой-то ясности. Наметить стратегию. А вместо ясности открылось нечто неохватное, уходящее за пределы привычного, нечто такое надчеловеческое, стихийное... что только приближительными символами и определить можно и — коснуться всего лишь... <<Троцкий — американский шпион...>>; <<Ленин — немецкий шпион...>>; <<Земля — Суша>>; <<Небытие — Бытие>>; <<Верх — Низ>>. И везде между полюсами идет непримиримая борьба, в постоянном напряжении силовые линии между полюсами.

Борьба идет с переменным успехом. При атлантите Хрущеве — а он им был до мозга костей, начиная от кукурузы и до лозунга <<Догнать и перегнать Америку!>> — так вот при нем сложилась парадоксальная ситуация, когда сколачивать Евразийский блок стали вообще без СССР. Дожили!

Артур Аксман — бывший глава Гитлерюгенда — отправился в Пекин на переговоры с Мао Цзэ-дуном о создании блока по оси Пекин-Берлин-Париж. Генерал де Голль энергично поддерживал это начинание. Он еще с 1916 года, когда в Германии встречался с Тухачевским, думал о таком блоке. К идее Артура Аксмана стали присоединяться Бухарест, Австрия, другие страны. Обсуждалась она и в арабском мире. Но наше ГРУ, как всегда, сработало четко, и в тот же самолет, которым летел в Пекин Аксман, села наша военная делегация. Военные стали убеждать Аксмана в том, что ось предполагаемого блока должна проходить по линии Пекин-Москва-Берлин-Париж. Аксмана — ярого противника антиславянского расизма Гитлера — в этом убеждать было не надо: он сам мечтал именно о таком могучем блоке. И все ж — факт налицо: было время — собирались всерьез создавать блок, минуя СССР. Настолько все понимали тогда, что Хрущеву не до Евразии, что все его мысли и

чаяния на Америку направлены, на Кубу. После XX съезда с разоблачением культа, с отрицанием каких-то основ, которые враз и не определишь, Хрущев как бы навсегда захлебнулся Атлантикой. Наверняка что-то в падении его есть от этой захлестанности Атлантикой. Что-то справедливое.

Белые евразийцы, красные евразийцы — все это, конечно, чисто условно. Над теми и другими нависла огромной глыбой незыблемая идея Сверхконтинента. И почему-то именно в армии, в ее верхнем эшелоне, в самой армейской элите так сильны идеи эти. Хрущев и армию сокращал, и Жукова отстранял, а идея по-прежнему жива. Для этой касты военных незыблемым остается одно: СССР — это империя, призванная свыше управлять всем евразийским материком. От Камчатки и до Ламанша, от Урала и до Индии. Конечно, их можно назвать и экспансионистами, — да их так и называют — если б не методы, которыми они надеются создать эту сверхимперию. В целом же это видится им, как мирное экономически-культурное проникновение. Что-то вроде присоединения Сибири, в целом — бескровное, полудобровольное. Наверное, поэтому так жива эта благородная идея о сверхконтиненте, так привлекательна... Суша — Море... Нет, не знает Юрий Владимирович, где его место, где судьба.

Да нет, судьба-то как раз и определилась окончательно — КГБ. По правде говоря, он и мечтать не мог. Предел. Надо устраиваться, осматриваться потихоньку. Ближайшее окружение более или менее понятно. Первый зам — Цвигун — женат на сестре жены Брежнева. Второй зам — Цинев — земляк, приятель Брежнева. Надежное окружение. Зато Крючков, которого захватил с собой из Отдела, вполне успешно обживается. Есть и другие... Володя Манякин, к примеру, из отдела писем. Надо бы к Манякину присмотреться. Этот наверняка — по Дзержинскому — с горячим сердцем, с чистыми руками. Есть и другие, на кого можно положиться. Да тот же Удальцов. Так что — еще не вечер.

И все-таки насколько проще было работать в Отделе, среди интеллектуалов-академиков. Занимались братскими партиями, речи готовили для начальства... Насколько все было определеннее. Сейчас перескочил он вверх ступенек на пять, на шесть сразу, а ощущение такое, что вглубь опустил, засасывает даже куда-то все больше... И в то же время радостно уже что-то и нащупывается, какие-то вечные рычаги-полюса, которые только по-настоящему и двигают всю эту, на первый взгляд такую бессмысленную, жизнь на поверхности. Людей двигают, страны, континенты.

Да не рычаги, а какие-то чудятся ему сейчас гигантские веса. И гири на тех весах гигантских то там, то здесь перетягивают.

На сегодня, в этот душный августовский вечер 67-го, когда засиделся допоздна, кажется ему, что между ГРУ и КГБ какое-то равновесие наметилось. Да лично с Устиновым — военным министром — у него неплохие отношения складываются, серьезный, высококультурный человек Дмитрий Федорович Устинов.

Да и в мире между атлантистами и евразийцами, похоже, в этом плане также какое-то равновесие наметилось, нейтралитет какой-то.

Так и на самом деле считал, в нейтралитет верил. Пока весной 1968-го в Чехословакии атлантисты проамериканского, произраильского толка не устроили <<Пражскую весну>>. Хороша <<весна>>! Самый настоящий переворот.

Но только рано радовались. Буквально через несколько месяцев, в августе 1968-го, маршал Огарков начисто переиграл автора и режиссера <<Пражской весны>> Давида Гольдштюкера.

Давид Гольдштюкер и его подручные Дубчек и Гавел надеялись, что НАТО вовремя среагирует. Но Огарков создал спецназ для локальных молниеносных действий в тылу противника...

Разумеется, чтобы спецназу Огаркова успешно действовать в августе, Юрию Владимировичу пришлось побывать в Чехословакии и в июне, и в июле.

Лично восстановить связь между братскими агентствами, подготовить почву для спецназа Огаркова. Хотя об этом, кроме Огаркова, мало кто знает. Яркая, конечно, личность маршал Огарков. Всегда стремился трансформировать Вооруженные силы так, чтобы они действовали наилучшим образом в локальной войне, с преобладанием обычных видов вооружения. А ведь только такая война на сегодня и реальна.

После Хрущева, в зависимости от акцента военной доктрины, поставленного на глобальной или локальной войне, в армейских кругах уже определяют своих и чужих. Лозунг евразийцев — локальная война с применением обычного вооружения. Лозунг атлантистов — глобальная ядерная война.

Вокруг Огаркова после чехословацких событий быстро группируются военные евразийцы. В первую очередь — Гречко, Ахромеев, Язов... все больше и Устинов тянется туда же... Есть над чем поразмыслить на досуге Юрию Владимировичу. Ведь и само КГБ уже не такое однородное, как раньше. И если Центр, Москва — это нечто элитарное, интернациональное, как и прежде, то на периферии всюду просыпаются, преобладать там начинают чисто русские, патриотические настроения. И над этим стоит особо поразмыслить.

Потому что сам-то Юрий Владимирович ощущает в себе и то, и другое. И еще неизвестно, чего в нем больше. От природы одаренная натура постоянно требовала широты, всеохватности: новых стран, новых встреч. Богатый жизненный опыт давал все это с избытком, порою чрезмерным даже... Ему было везде хорошо — и в Венгрии, и в Карелии. Главное, чтоб цель была, смысл, надежные сподвижники. Да он просто понять не мог, как можно себя самоограничивать. Хотя бы и таким благородным понятием, как русский патриотизм. Наверняка же есть более высокое, более широкое понятие Родины, включающее при этом не только Россию, и даже не только СССР, но и весь лагерь социализма. И это тоже можно называть Родиной. И это тоже будет патриотизм. Потому что столько крови пролито... и за ту же Польшу, и за

ту же Чехословакию... а Венгрия, где чудом в живых остался?! Венгрия, ее люди, до конца преданные делу интернационализма, как товарищ Имре Мезо... он уважает, ценит таких людей, любит их по-своему, любит не меньше, чем, скажем, житель Тамбовской области любит свою родину, своих земляков.

А Давид Гольдштюкер, потерпевший сокрушительное поражение от евразийца Огаркова, десятилетия спустя еще возьмет реванш. Это будет после того, как Александр Яковлев опубликует свой русофобский атлантистский манифест в знаменитой статье <<Против антиисторицизма>>. И Брежнев надолго его отправит в Канаду. Юрий Владимирович попытается защитить Яковлева, но Брежнев все же настоит на своем.

И вот в Оттаве Давид Гольдштюкер выйдет на Яковлева, и они вместе разработают идею будущей перестройки. Именно Давид Гольдштюкер первым назовет Яковлева — <<Мистер Перестройка>>. Но все это будет потом...

Глава 6

Опытный таксист Никита Рыбак за полгода дважды уже попадал в аварию. Нельзя быть таким рассеянным на скорости в сто километров в час. Машину восстановить ребята помогли, у них в десятом таксомоторном сплоченный коллектив — один за всех и все за одного. За сбитый столб пришлось, конечно, вложить наличными. Дело не в деньгах, настоящий таксист о деньгах не думает. Деньги для таксиста представляются бесконечно бегущими по разным направлениям ручейками. Один из которых, железно, — его.

Так что дело не в деньгах за сбитый столб. Хотя, триста рэ — и немалые деньги. Даже для таксиста. А вот две аварии за полгода — это не случайно. Так го-

ворят <<волки>> в десятом таксомоторном, а им можно верить. Никита Рыбак третьего раза ждать не стал - уволился. А что? — на книжке за тринадцать лет скопилась кругленькая сумма, о которой никто не знает. Семью он решил окончательно оставить. Сыновья взрослые ... почти, жена постарела... вот-вот постареет совсем.

Нет, дело не в этом, конечно, а дело в том, что Рыбак всю жизнь себя ощущает как бы в развитии, в развитии интеллектуальном, духовном. Он и в армии участвовал в художественной самодеятельности, он и книг много читал. А жена все с детьми больше. Он с ней с одного года, она-то к тридцати пяти годам закондовела как-то, что-то типично бабье в ней появляться стало. Ну, а Рыбак — стройный как гимнаст, тридцати пяти ему и не дашь.

В общем, уходить надо. Квартиру он им, разумеется, оставит, он обязан поступить именно так. У него принципы. Он и одеколоном не всяким пользуется, и туфли дешевле двадцати пяти носить не будет.

Нет, квартиру — им. Сам в общежитии пока поживет. Или вон — в Здравнице кочегары требуются — объявление читал — там сразу комнату дают. А что? Сутки топишь — трое свободен. Чем не жизнь! Подхалтуривать можно. Рыбак в автоделе неплохо разбирается. Не пропадет. Ну, а тридцать пять — самый возраст, чтоб новую жизнь начать...

Профессия таксиста среди прочих рабочих профессий считается аристократической — шик, блеск, сумасшедшая скорость... светофорчики так и мелькают, милиционеры честь отдают, понимают — к международному рейсу во Внуково торопиться. И, конечно, галантное обращение: <<Пардон, мадам... се ля ви... чао...>> Ну, а если что не так, скажем, чувак какой начнет права качать — <<Да пошел ты... в баню! Сказал не повезу, значит, не повезу! Время вышло! В парк еду! Да пиши хоть папе римскому! В гробу я тебя видел вместе с твоей жалобой! Будет мне, чувак, права качать!>> Вот так-то! Чтоб всякий сверчок знал свой шесток! Лихо развернуться, врубить скорость — и-и... вольный казак! Ну, жалоба

придет, ну, объяснение напишешь, так разве ж в этом смысл жизни! Чувак ты несчастный! А если бы знал ты, в чем смысл, никогда б глупых жалоб не писал, на бумагу не тратился. Потому что окончательный смысл — что б там чуваки ни говорили — в живых деньгах. Которые каждый день у таксиста в кармане... У настоящего, конечно... Который в жизни разбирается. А Рыбак считал, что он не просто разбирается в жизни, он даже среди таксистов десятого не ровня многим. Он, например, хорошо знает преимущество тех мужских духов, которыми сам пользуется. Перед всеми прочими, которые в сочетании с потливостью дают неприятный запах.

Да, приступы потливости в последнее время участились. Один из маленьких недостатков. А впрочем, если регулярно пользоваться одеколоном, не мешающий Рыбаку, жить вполне нормально. Он и в истории средних веков разбирается неплохо. По крайней мере, среди таксистов слывет за такого. Он при случае всегда рассказать может, сколько и каких именно жен было у Ивана Грозного. Все это подробно описано в Истории государства Российского. Собственно, это не вся История, один лишь шестой том, но все равно — редкая книга, которую очень бережет Рыбак, изредка прочитывая страницу-другую

Теперь понятно, почему он был уверен, что кочегарка, куда он поступит, — это нечто на порядок ниже, чем такси. В плане человеческих отношений. Он отдохнет там просто — и душой, и телом. С лопатой, конечно, придется поупираться, но это его не страшит.

Главное, не надо будет постоянно держать в голове довольно сложную иерархическую лестницу, на уважении к которой стоит любой таксопарк, где — хочешь жить — умей вертеться! Устал он, если честно, от этого верчения... дважды уже в аварии побывал. Год-другой в кочегарке прокантуется, а там посмотрит... Кроме того, с годами почему-то все сильнее в нем желание все же дочитать шестой том Истории Российской. Этот старинный том неизвестно когда и как попал к Рыбаку. Лет десять тому назад он стал

читать его при случае. Случаев не так и много выпадало. Однако же до Ивана Грозного дошел, многое запомнил, потому что Рыбак не курит, не пьет — память отличная. Так что всегда при каком-нибудь разговоре и он может что-нибудь интересенькое рассказать... про Ивана Грозного, к примеру, про жен его... Ну, а теперь будет три дня свободных, и дочитает он Историю.

Малышеву стукнуло тридцать, когда он вновь обрел свободу. И хотя в лагере провел всего два года, ощущение было такое — словно жизнь отныне поделилась на <<до>> и <<после>>. <<До>> — это детство, школа, жизнь в профессорской семье, где родители занимали посты немалые в сельскохозяйственной отрасли. После армии года два-три разъезжал с изыскателями по Средней Азии, пресытился экзотикой, потом поступил в сельхозвуз. И, казалось, определилась проторенная дорожка, преемственность, семейные традиции. Но в совхозе на практике после третьего курса в его бригаде погиб тракторист, и, несмотря на все старания отца, получил Малышев два года. В Коми на лесоповале овладел он профессией вальщика леса, окреп, возмужал. Но дело в том, что Малышев так и не сумел позабыть того поразительного состояния, которое охватило его, когда зачитали приговор. Он ведь до самого конца не верил, что может быть посажен, он был уверен, что отец — могучий, всеми уважаемый, со связями — все же выручит его.

Вообще все так дико и нелепо... пьянка, трактор, падение в речку — и навсегда оборванная чья-то жизнь. И если бы стараниями отца был вызволен Малышев из этой дикой истории, все повернулось бы, конечно, по-другому. Дело было не в двух годах, дело в том было, что приговор окончательно подтвердил его вину. Подтвердил то, во что сам Малышев верить ни за что не хотел. Как же так — всеобщий баловень, любимец, стройный, кудрявый, спортивный, переполненный среднеазиатской экзотикой, почитатель японского стиля живописи — и-и... виновен в смерти чело-

века. Просто волосы дыбом встают... Вот и началось это разбегание мыслей. Довольно неприятное. Нет, он все делал честно, четко, как надо, исполнял правила внутреннего распорядка лагеря, на работе быстро вошел в число ударников. Хорошо зарекомендовал себя и был освобожден досрочно. И если раньше не знал точно, будет ли учиться в вузе, то теперь вернулся с твердым решением закончить его обязательно. Не пить. Подтянуться. Составил целую программу.

Вот только разбегание мыслей не проходило.

Собственно, о каком-то глобальном разбегании не было и речи. Малышев и раньше был человеком целеустремленным, теперь же составлял в записных книжках целые программы — на день, на неделю, на месяц... старался их неукоснительно выполнять, постоянно держал в голове. Скажем, на сегодня — обязательно зайти в читалку, прочесть статью об экстрасенсах, потом съездить на выставку фотопортрета, а вечером... и вдруг, как всегда, неожиданно и в то же время как-то очень естественно, почти что через запятую, — эта мысль о несчастном трактористе...

И мужик-то был так себе, можно сказать (хотя о мертвых и не принято) забулдыга, семьей не обременен, и поэтому гибель его никому особого горя не принесла. Да и Малышев не совсем уж и прямо повинен в его гибели... потому и два года всего-то... и все же мысль... слабенькая, как ситечко, и жалость... тоже вроде ситечка, через которое теперь все мысли просеиваются...

Даже тот факт, что забулдыга, что не было семьи, теперь все это питало как-то эту странную жалость. И Малышев дергался, кривился, с трудом отмахивался, заставлял себя думать о том, что с понедельника в <<Центральном>> неделя югославских фильмов и надо обязательно посмотреть, довольно интересные работы, читал в <<Экране>>; что надо достать абонемент в бассейн, написать Вике, с которой познакомился на сессии, что у них с Викой, возможно, со временем семья будет... а у тракториста и

семьи-то не было... И опять — весь мир через ситечко...

Нет, прямые, конкретные мысли о трактористе, вроде только что мелькнувшей, не так уж часто и одолевали, ну, раза два-три за день. Но вот просеивание теперь всего через это странное ситечко — это просеивание теперь в Малышеве постоянно.

А так у него все в порядке — в институте восстановился без всяких помех, правда, перешел на заочное отделение. И на первой же сессии познакомился с очень интересной заочницей из Ташкента — Викой. Внешне он за эти годы почти не изменился, появилась лишь привычка спать, зарывшись с головой в одеяло. Но это можно понять: ведь все эти два года закрыться одеялом не позволялось, всю ночь голова поверх одеяла, и руки тоже, — так гласил внутренний распорядок колонии.

С родителями он жить не захотел, взрослый уже. Зашел в бюро по трудоустройству, нужна работа с жильем, согласен на любую — и через два дня уже работал кочегаром. Комнату дали в том же доме, где и Рыбак. Только у Рыбака на втором этаже, а у Малышева на первом, окна на тихую сторону выходят, в густые заросли жасмина.

А Паша Птицын после армии кончил курсы, шофером работал на самосвале. Но там, в автобазе, почему-то все время надо было химичить с путевыми листами, а иначе больше ста не выходило. И Паша перешел на такси, в десятый таксопарк. С Рыбаком он был уже знаком немного, но каких-то тесных отношений за те полгода, что они вместе проработали, не наладилось. Рыбак уволился. Ну, а Птицын еще два месяца продержался и понял, что в такси работать не сможет. Не способен. Есть такие люди — им хоть сто раз объясняй: кому, за что и сколько нужно дать, а до них все равно ничего не дойдет. Можно самым доходчивым методом разжевывать, почему мойщикам машин надо бросать монету в ведро с грязной водой, которое специально для этого в углу поставлено, почему гаишнику надо давать рубли не бумажные, а

металлические, почему диспетчеру надо давать столько, а механику в три раза больше, почему то, почему се, — и всегда найдутся такие, как Птицын, которые после всех объяснений обязательно спросят, а откуда же брать, если рассчитывать по счетчику?

А Птицын рассчитывался строго по счетчику. Он догонял пассажира и вручал сдачу в 15 копеек. А если причиталось 10 копеек или даже 5, все равно догонял и, несмотря на протесты, вручал. С какой-то даже злостью вручал, припечатывал как бы. Чтобы было строго по счетчику. Он даже мечтал о таком умном счетчике... какой-то всеобщей справедливости. До копейки. Вот таким был этот Паша Птицын.

И поэтому из такси надо было уходить. Хотя работа нравилась ему. Но надо уходить. Не сразу пришел он к такому выводу. Человек он обстоятельный, медлительный даже, он не привык, он не хотел думать быстро, да он вообще бы предпочитал не думать об этих мелочах, он ведь о счетчике мечтал, который бы избавил его (и всех остальных людей!) от этих глупых мыслей: кому, за что и сколько. Но поскольку счетчика такого пока не изобрели, то время от времени наступал тягостный период раздумий. И тогда уж Птицын продумывал все до мелочей. И решался. И тут уж его ничем не сдвинешь. Эта заторможенность делала его более взрослым, чем паспортные двадцать с небольшим, с которыми пришел он в кочегарку. Случайно на платформе электрички повстречался с Рыбаком, узнал все о кочегарке, дней семь или восемь подумал-поразмыслил и пришел. Его охотно взяли — здоров и молод. Тем более комнаты не надо, живет неподалеку.

Так образовалась бригада четырех основных кочегаров. Основных, так как на зиму, чтобы топить по двое, набирались еще четверо — зимние. Зимних весной увольняли. А эти четверо (после того как Шура ушла из кочегарки) — Шишкин, Рыбак, Малышев и Птицын — в последние годы и стали основной бригадой.

Хотя вначале по-настоящему рабочей бригадой эта четверка таких разных людей, конечно же, не была. И надо было еще многое им пережить-перетерпеть. Еще надо было пережить странную зиму, когда непонятно откуда еженощно в котлах появлялись удивительно круглые дырки, через которые неудержимо заливало топки, и в топке от этого, если заглянуть, не веселое горение высококалорийного антрацита, а нечто слезящееся, полупроокисшее нечто, одним словом — тоска. И всю зиму шел трудный, почти ежедневный ремонт на ходу. И не успевали один котел заварить, как тут же начинал протекать другой — и опять маленькая аккуратная дырка. Словно какой-то шутник по ночам, в котел забравшись, крутил их с помощью циркуля. И почти до весны тянулось такое.

Но очередной начальник, сменивший Музыканта, оказался бывшим доцентом какого-то института высоких напряжений. Он только глянул на эти дырки, побледнел и сразу закричал, чтоб поскорее вырубил главный рубильник, чтоб срочно отключали от кочегарки все электроснабжение. Оказывается, именно такие аккуратные дырки пробивают блуждающие токи. А блуждать по кочегарке они могут лишь в том случае, если нарушено заземление. Быстро вскрыли заземление. И точно — нарушено. Вернее — заземления не было вовсе, оно от времени превратилось в бурю пыль ржавчины. <<Как же вы работали, охладомоны без заземления?! — закричал тогда доцент. — Тут же везде напряжение в триста шестьдесят вольт! Вас же запросто могло убить в любую минуту!>> Заземление было восстановлено буквально в пять минут. Для надежности его прикрепили к паровику Уатта.

В самом дальнем углу кочегарки был закопан паровичок Уатта, с незапамятных еще времен, со времен еще изобретателя паровой машины Уатта. Когда в начале века, перед самой революцией 1905 года, еще в имени графа Веселовского, появились новые паровые котлы, паровичок Уатта не стали выбрасывать, слишком уж тяжел. А просто вырыли рядом яму, он в нее и сполз потихоньку. Землей засыпали, разровняли, как будто на этом месте и нет ни-

чего, как будто бы везде по кочегарке лишь грязь, земля да шлак. Ан нет, в самом дальнем углу на небольшой глубине, почти что под ногами, паровичок Уатта. Притаился миленький, никуда не делся. Коля Прутов, когда вскрыли, подошел, пощупал, говорит, хоть сейчас запустить сможет. Вот к нему и прикрепили заземление. Токи бродить перестали, исчезли кругленькие дырки. А кочегары еще долго доцента вспоминали.

За время их работы сменилось много начальников, и со всеми надо было как-то срабатываться, приспособливаться, потому что каждый был почему-то с технической идеей. Один, например, соорудил рядом с кочегаркой огромный бак, который по ночам заполняли горячей водой и считали ступеньки, те, что постепенно исчезали в бурлящей воде. Мороки с этим баком было изрядно. Но зато, если удавалось за ночь наполнить его, следующая смена при всех ЧП была с водой. Ночью, особенно зимней, было трудно определить — насколько бак заполнен. Приспособливались кто как мог. Малышев, по лесенке забравшись, кидал в бак зажженную газету. Рыбак простукиванием определял степень его заполненности. Шишкин же доверял лишь собственному опыту — через узкий люк пролезал вовнутрь и на ощупь, в кромешной темноте, в клубах пара начинал потихоньку опускаться вниз, все глубже проникая в гулкое баковое нутро. Естественно, при этом он очень крепко держался за проводочные ступеньки — не хватало ему еще и в кипяток свалиться при этом! И вот лезет, бывало, вниз осторожно, все ближе бурлящая невидимо-черная вода, все больше горячего пара вокруг... Прежде чем поставить ногу на очередную ступеньку, он долго машет ею, проверяя нет ли воды. Ну, а когда нога его обнаруживает воду, тут уж он знает наверняка: пять или шесть ступенек затоплено водою, тут уж не было никакого сомнения...

Другой начальник стал строить емкость не наружную, а внутреннюю. И бак был забыт, до сих пор ржавеет, на верхней крышке трава, цветы растут. Внутреннюю емкость стали рыть во дворе, напротив

главного входа. По размерам она была такая же, как и бак, но, поскольку в земле будет, должна по идее дать какой-то экономический эффект. Так объяснил кочегарам новый начальник. К тому же на строительство ее пойдет не дорогостоящий металл, а железобетон. А это прямая выгода. Но вот достроить не успел, исчез начальник. И осталась лишь глубокая бетонированная яма, постоянно заполненная внешними водами. Начальника того давно и след простыл, а яма с торчащими из железобетонных стенок кусками арматуры — вот она! — зияет посреди двора, напротив главного входа, и, кто ни подойдет, обязательно заглянет, головой покачает и плюнет.

Потом еще один был. Тот долго ходил, все присматривался, все принюхивался — чем бы себя проявить. И наконец нашел! В кочегарке испокон веков было шесть котлов, он сумел седьмой втиснуть. Седьмой, конечно, не смог выдержать прежний ряд — там же, под <<седьмым>>, как раз паровичок Уатта в земле сидит. И <<боров>>, по которому отсасывается дым из котлов, у седьмого теперь дает коленце. Отчего работать на седьмом сложно: дутья никакого, мало того — почему-то тянет не вовнутрь котла, наоборот — из котла на кочегара. Угля лопату кинешь и сразу пригибайся — тут же над твоею головой пронесется пламенный ветер, жарко пустоту лизнет, если успеешь пригнуться, и обратно в топке спрячется.

Так что пережить за эти годы Рыбаку, Птицыну, Малышеву и Шишкину многое пришлось. Прежде чем бригада получилась.

А еще зима была одна, когда в перекачке то и дело почему-то забивалась канализация. Слесарь Коля Прутов весной вытащил из коллектора неизвестно как туда попавший ватник! А в ту зиму до самой весны перекачка была похожа на сказочный горшок из сказки Андерсена, который затопил манной кашей целый город. Кстати, приземистая, круглая, прикрытая красной крышей — перекачка издали, действительно, горшок напоминает. Так вот, дерьмо хлестало через край, а поскольку кочегарка расположена в самом низком месте, ее и затопляло в первую оче-

редь. И плавали в бытовке сапоги, шапки, портянки, короче, все, что раскидано под диваном, по углам, под столом. Весело, ничего не скажешь! Чтобы просохший свитер с батареи снять, а мокрый повесить, бывало, лезет кочегар-бедолага по стульям, по ящикам, по подоконнику. На картине Васнецова Аленушка пригорюнилась, приемничек на шкафу что-нибудь жизнеутверждающее наяряивает. Про запах и говорить нечего. Так один из временных и писал в журнале передачи смен: <<Опять всю ночь заливали кочегарку фекальные воды>>. <<Фекалом>> прозвали. <<Фекал>> вскорости уволился. Но Малышев, Рыбак, Птицын и Шишкин держались.

А последняя зима оказалась и совсем тяжелой. Даже бить их жильцы приходили. Все было. И все это надо было пережить. Но самое главное, надо было что-то пережить внутри собственного коллектива.

А было это как раз в середине той самой тяжелой зимы, когда жильцы, доведенные до точки, приходили по ночам бить кочегаров. Угля не было, пылью топили. Рыбак бригадиром был, каждый день в конторе вертелся. Но, оказывается, совсем не ради угля, а ради новенькой секретарши Сонечки. Остроносенькая, остроглазенькая, в огромных сверхмодных очках, напоминающая бабочку-махаона, она скоро, несмотря на разницу в шестнадцать лет, и стала законной женой Рыбака. Дело не в этом, конечно, женись на ком хочешь. Но, коль ты бригадир, изволь об угле беспокоиться. Рыбак же прежде всего о себе думал, старался сам во что бы то ни стало натопить как следует. И вот — ситуация. Угля нет. Жалобы текут рекою. Кочегары, не сговариваясь, на плохой уголь кивают. Мало того, каждый день в журнале пишут: <<Температуру дать никак не можем, так как уголь — дерьмо!>>

— А почему ж тогда, — резонно спрашивают у кочегаров, — как смена Рыбака, так есть тепло? На том же самом плохом угле, а?

— А кто его знает почему!

— А потому что он уголь просеивает, старается!
А вы, бездельники, не стараетесь!

И правда, видит Шишкин да и все остальные кочегары: у кочегарки большое сито, через которое, значит, их бригадир Рыбак и просеивает плохой уголь, и таким образом создает себе некоторый запас угля хорошего и держит вполне приличную температуру. Ну, а плохой-то уголь девать куда?! Ну и ну! Шишкин хотел было Рыбаку все высказать, но их смены по графику не встречались. И это все тянулось и тянулось.

Дело было, конечно, не в лишней десятке за бригадирство. Всю-то осознанную жизнь Рыбак тянулся к каким-то неясным высшим сферам. А тут сама Медяница — кандидат медицинских наук, главврач, депутат и прочее — обращается с ним — бригадиром — как с равным, советуется. Мало того, просит выручить! Выручить Здравницу, отдыхающих, которые со всей страны приехали лечиться. Просит выручить ее лично — Медяницу Галину Дмитриевну, главврача, кандидата, депутата и прочее. А положение, Никита Васильевич, так стала называть его Медяница, положение такое серьезное, что даже ее муж, а он у нее генерал, и об этом все, конечно, знают, так вот — даже муж ничем помочь не может. А Никита Васильевич может! Ну, так мог ли после этого Рыбак не рвать жилы, не думать день и ночь о том, как выручить Медяницу.

Ее он выручал. Потому что всем доказывал — топить можно! А раз можно, так и нужно! Все ясно как дважды два. А уголь... что ж, уголь тут ни при чем, топить надо...

А в общем-то, совсем неясно, чем бы все закончилось, если б Медяница не перешла в нападение. Она посчитала, что докладных собрано достаточно, что Рыбак — полностью ее человек. И перешла в наступление. Заходит как-то в кочегарку:

— Почему холодно? Больные жалуются! Где второй кочегар?

— За спецмолоком ушел.

— Ничего не знаю! Сутки топить только вдвоем! Никуда не отлучаться! И чтоб горячая вода была мне, как у Рыбака!

— Но уголь, Галина Дмитриевна...

— Ничего не знаю! Рыбак топит, и вы топите! А то не оплачу смену... если будет хоть одна жалоба...

Шишкин сел тогда и написал заявление: <<Поскольку, как всякий нормальный человек не могу торчать в кочегарке все двадцать четыре часа в сутки, прошу уволить.>> Его напарник написал такое же. Отнесли Медянице. Она небрежно глянула: <<Две недели отработайте и свободны!>> — и заявления — щелк — в сейф на ключик.

За Шишкиным стали подавать заявления и остальные. Трое постоянных и четверо временных — семь из восьми кочегаров подали заявления. Один Рыбак не подал. На одного Рыбака у Медяницы была надежда. И, как только он в кочегарку зашел, в упор спросили: <<Ну, а ты-то... чего? Подашь? Как все!>> — <<Поддам>>. — <<Ну, так садись — пиши>>. — <<Напишу... вот только схожу к Медянице, насчет угля узнаю...>> — <<Да брось ты, — ему говорят, — пиши... как все!>> — <<Нет, — говорит, — схожу... в последний раз...>> Так ведь и не написал. Ну и хрен с ним! - решили. Две недели пробежало, пошли к Медянице: <<Как там, Галина Дмитриевна, наши заявления насчет увольнения?>> — <<Какие еще заявления?>> — <<Как какие! Насчет увольнения! Которые вы в сейф положили!>> — <<С ума сошли... какой сейф! — сейф распахнула, а там — пусто! — Чтоб завтра без разговора на работу выходили! А то — по статье!>> Вот тогда -то Шишкин и крикнул ей в лицо: <<Крутится, как вошь на гребешке!>> — и так хлопнул дверью, что стекла зазвенели. Оказывается, заявление умные люди пишут в двух экземплярах, на втором секретарша расписывается, а иначе — филькина грамота.

— Нет, это надо же! — бормотал Шишкин, в кочегарку возвращаясь. — На ходу подметки рвет! Ладно, будем и мы учиться!

И посмотрел он впервые как-то по-новому на Малышева, на Птицына, на остальных... хоть и временных, но все ж не подвели в трудную минуту, не то что

этот... И сел писать объявление о том, что в среду будет общее собрание кочегаров, явка обязательна!

Медянице через Семеныча передали приглашение, она, разумеется, не пришла, А Семеныч пришел. Собрались все кочегары. Рыбак сперва идти не хотел, простудой отговаривался. Но за ним сбегали. Птицын протокол вел, первое слово он дал Малышеву. Тот говорил вспльчиво, вспоминал тайгу, где медведь хозяин и таких, как Рыбак, там... и Малышев при этом выразительно сжал кулак, поднес к носу и смачно понюхал. Но, в общем-то, сказал что надо. Рыбак сидел нахохлившись, у шубы поднял воротник, покашливал, вид у него действительно был не ахти — все ж работа на пределе возможного с этим просеиванием даром не прошла. А тут еще собрание. Он изредка бросал фразу-другую, как-то пытался защищаться. Но все говорили ему в лицо, что он подводит коллектив, что он один не подал заявление, говорили, что он штрейкбрехер, что ему не место.....

— Уголь просеиваешь хороший, а остальные пусть пылью топят?!

— За наш счет в передовики лезешь!

— На наших шкурах авторитет зарабатываешь!

Сказали много гневных слов. Обидно Рыбаку. Он краснел, бледнел, все больше покашливал, все более нахохлившимся становился. Малышев предложил снять его с бригадиров. Шишкин был за то, чтоб из бригады выгнать. Прошло предложение Малышева. И Шишкин рад был этому: какие-то непонятно обнадеживающие признаки все больше проявлялись вокруг него — даже вот в этом собрании, даже в позе Рыбака, даже в том, что он под конец перестал оправдываться — во всем теперь Шишкин стал улавливать обнадеживающие эти признаки. И потому, наверное, когда после собрания вышли из кочегарки, долго не расходились. Никому расходиться не хотелось. Казалось, произошло что-то важное. Что отныне начинает связывать всех как-то по-иному. Даже Рыбака. Да он и сам чувствовал, по-видимому, что-то такое же, во всяком случае не уходил, забыл о простуде, предлагал какие-то способы доставания хорошего угля.

А в кочегарке, между тем, все оставалось по-старому: угля нет, котлы текут, вместо четырех насосов работает один. И если у этого единственного <<летели пальцы>>, перегретый пар начинал котлы трясти так, что волосы вставали дыбом и впору было бежать из кочегарки куда глаза глядят. В кочегарном журнале — не записи — сплошной стон измученной кочегарной души: <<Опять полетел единственный насос!.. Котел трясло так, что вот-вот взорвется! Все к черту разнесет! Кто отвечать будет!.. Спускал пар на воздух два часа!.. Весь день жалобы на плохую воду!.. Нет, так работать невозможно!! Пора кончать бардак!!!>>

Ну, а к весне, когда осталась только четверка постоянных кочегаров, кончилось тем, чем и должно кончиться, — пожаром. Срезались в очередной раз пальцы, и от страшного перегрева загорелась изоляция над пятым котлом. А тушить, конечно, нечем — нет ни противопожарного щита, ни бочки с песком, ни огнетушителя. Кое-как Шишкин с Птицыным потушили все же. И тогда сказал Шишкин: <<Баста!>> И написал заявление о том, что, пока не будут исправлены все нарушения по технике безопасности, приведшие у него на смене к пожару, к работе приступать не будет. Список нарушений был большим — пятнадцать пунктов — а все заявление едва на трех страницах поместилось.

— Ребята, вы как хотите, — сказал Шишкин, — а я написал вот такое.

— Да! — сказал Малышев, когда прочитал, — сильно!

И тут же сам стал писать такое же.

— Мне Медяница детсад для дочки обещала, — сказал Птицын.

— Я думаю, — сказал на это Шишкин. — Хватит и двух заявлений, это ж, считай, полбригады отказалось работать по причине нарушения администрацией правил техники безопасности — это же чепэ! В ВЦСПС копию пошлем, еще куда-то... короче, я думаю, хватит и двух.

- Нет, - сказал Птицын, подумав, - три заявления — это не пятьдесят, а семьдесят пять процентов бригады, это будет намного посильнее.

— Ну еще бы! — развеселился Шишкин. — Семьдесят пять процентов бригады отказывается продолжать работу по причине нарушения техники безопасности... это же... ай да сукин сын — этот камаринский мужик! Только чур! Подавать не вместе, чтоб сговор не пришили. Я — завтра, в свою смену. Малышев — послезавтра. Потом Птицын...

На Рыбака старались не смотреть.

И каждую смену, три подряд, на стол Медяницы ложились заявления — от Шишкина, от Малышева, от Птицына... Составленные по всем правилам, с росписью секретарши на втором экземпляре. И не просто какое-нибудь заурядное заявление об увольнении. А об отказе работать в кочегарке по причине нарушения администрацией правил техники безопасности, приведшей к пожару! Тут же прилагался и список нарушений: отсутствие пожарного щита, аптечки, бочки с песком... вместо четырех насосов по норме работает один и т. д. — всего пятнадцать пунктов. И, пока все нарушения не будут ликвидированы, работать отказываются.

Ну, хамы! Ну, наглецы! Ну, умники! Трезвенники-умники! Нет, такого у Медяницы за все двенадцать лет работы в здравнице еще не было! Принимая очередное заявление, она скучающе пробежала его глазами, небрежно отбрасывала на стол, заваленный многими важными бумагами, на бланках, с гербовыми печатями даже, — отчего заявление кочегара сразу как бы и вес теряло. Медяница вздыхала с выражением легкой досады, вот, мол, теперь ко всему грузу, что лежит на ее плечах, в виде этих засыпавших письменный стол бумаг с печатями, еще и эта добавилась... глуповатая бумажка от кочегара. Которой, увы, теперь придется тоже заниматься. И, еще раз вздохнув, головой покачав: <<Ах, дети, дети! Неразумные дети! — она с усмешкой на дверь кивала: — Идите! Вы свободны!>> А что еще она могла сказать? Небрежно крикнуть секретарше: <<Срочно! В приказ!>>

Чтоб и духу не было в Здравнице! Так это же... нет, с этими кочегарами, действительно, чокнуться можно! Это ж ЧП на все Управление! Какой приказ?! А если за пределы Управления выйдет? До ВЦСПС дойдет?! Нет, нет... это... это... нет, такого у нее еще не было! Отшвыривая очередное заявление, с усмешкой на дверь показывала, внутри же у нее все кипело, прямаки руки чесались отхлестать по мордасам этих зарвавшихся хамов!

И, как только дверь закрылась за первым еще, за Шишкиным, главным ее желанием было тут же схватить трубку и позвонить в милицию Конькову. Чтобы срочно приехал, чтобы взял и высыпал как следует! Едва сдержалась, решила посмотреть: а что же дальше? А дальше подали Малышев с Птицыным. И с каждым заявлением ей приходилось сдерживаться все больше: <<Ничтожества! Какие-то кочегары! Будут указывать!>> <<Да они же банда саботажников! Вот кто они!>> — пришло на ум, и она обрадовалась, словно бы вмиг от чего-то тягостного освободилась. Хорошо, что позавчера не позвонила она Конькову. Ну что могла сказать она позавчера? Могла попросить о личной услуге. Вроде той, когда Коньков вызволил их из неприятной истории. С <<малопулькой>> здорово влипли. Да это все благоверный ее, Медяница — раззява! Разве можно дома хранить на антресолях малокалиберную винтовку?! Вместе с патронами! Дочь Нинка, конечно, подсмотрела. И на очередном сабантуйчике, когда родителей дома нет, в ГДР были, похвасталась перед ребятами. А те, естественно, опробовать решили, из окна стрелять стали. Да не по проходим, а над головами. Ну, для смеха — молодежь ведь! Короче, влипли. И у ее мужа могли быть бо-о-ольшие неприятности. Коньков все замаял — ни заявления, ни протоколов, вообще ни слуху ни духу. Свой человек. Всегда обратиться можно. Хорошо, что два дня выдержала. И вот теперь, когда уже три заявления у нее на столе, она Конькову официально все представит. О групповом саботаже. Да, да — по всей форме, заверенной <<треугольником>>, с приложением их собственных заявлений, они ж похожи как две

капли воды! Сговор, самый настоящий сговор! Идиоты! Не могли хотя бы по-разному написать! Ни-чтожества! Ума-то нет у них! И это <<нет у них ума!>> окончательно ее убедило, что надо, не мешкая, рас-считаться с этими умниками, что и так далеко все зашло, что надо — р-раз! — и все отсечь, чтоб и дру-гим неповадно было.

<<Да, нет у них ума!>> —уже с удовольствием ду-мала Галина Дмитриевна, все более утверждаясь в какой-то исчерпывающей, всеохватной мысли. Она вызвала Семеныча.

— Распорядитесь, чтоб в кочегарке после этих саботажников был полный порядок!

— Да я и так поставил там Прутова, Воропаева, вдвоем топят.

— Добавьте к ним Салапурова, добавьте всех, кого можно, но чтоб горячая вода была мне днем и ночью! Днем и ночью! Процедуры чтоб ежедневно были!

Нет, нет — надо срочно все-таки перехватывать инициативу, надо срочно всем доказывать, что все это чушь несусветная, что все это блажь зарвавшихся умников, что на самом деле в кочегарке всегда было, **есть и будет все в абсолютном порядке!** Топить можно, топить нужно... потому что куда бы иначе уходи-ли ежегодно десятки и сотни тысяч, отпускаемые на капремонты?! Нет, нет — в эту область заповедного нельзя и намекать допускать. В кочегарке **все было, есть и будет в абсолютном порядке!** Топить можно, топить нужно... только не бездельничать при этом! Только книжек при этом не читать! В шахматы не иг-рать! Со смены никуда не отлучаться! У нее полный сейф докладных на этих лодырей!

— Всех, всех, Иван Семеныч, соберите в кочегарку, чтоб не вылезали день и ночь, чтоб вода была под восемьдесят! Чтоб ни одной жалобы от отды-хающих! Надо показать этим умникам, надо всем по-казать, — Галина Дмитриевна сжала кулачок, — да, да — всем! — что они всю зиму просто бездельни-чали! А-а... а все, что они тут пишут в своих бредовых писульках,— абсолютное вранье! Кстати, щит проти-

воложарный? Уже повесили? Аптечку? Ящик с песком?

— Да, да, и щит, Галина Дмитриевна, и аптечка, и два огнетушителя. Я распорядился, чтобы Прутов с Воропаевым ящик с песком притащили.

— Так, хорошо... пусть плакатики там разные повесят, это уж пусть Салапуров распорядится... что они еще там пишут? — Медяница, явно преодолевая отвращение, на лице написанное, заглянула в заявление. — Лампы-переноски нет, скажите Салапурову — он же электриком у нас по совместительству, пусть обеспечит, нечего деньги зря получать... что еще? .. колосники проржавели — это уж по вашей части, Иван Семеныч... насосы... насосы... всего один... а по норме... четыре... н-да, с насосами потруднее, это уж я возьму на себя, своему Медянице поручу, пускай у себя пошустрит, будут насосы... так... много раз угорали... вентиляция плохая, ну, это пусть они папе римскому жалуются... угорали! Ха! Да на то она и кочегарка! Чтоб угорать! Ишь, чистюли какие! Так, с кочегаркой всё пока! Давайте-ка приглашайте Алешину с Осинкой — треугольник собирать будем.

— А народный контроль?

— Гусакову? Давай и ее.

Когда собрались, стали составлять письмо в милицию о саботажной группе под руководством Шишкина, который уже на протяжении многих лет высказывает недовольство и вот теперь окончательно проявил свое лицо, перешел к открытому подстрекательству других кочегаров, подбил их на коллективный саботаж, что неоспоримо подтверждается тем фактом, что заявления Малышева и Птицына как две капли воды похожи на шишкинское. Написали, вслух перечитали. Можно отправлять.

— Может, до завтра обождем? — сказала парторг Алешина.

— А что — завтра?

— Завтра, Галина Дмитриевна, смена Рыбака и... если он все же не подаст... как эти мерзавцы! То есть выйдет на работу — они же сами себя и разоблачат. Потому что Рыбак и будет самым главным доказа-

тельством, что работать можно! Что в кочегарке все в порядке! А их заявления — просто вранье!

— Ну, хорошо, — подумав, согласилась Медяница, — подождем.

— К тому же, — вставила профорг Осинка, — Сонечка у меня просила угловую комнату, в угловой и потише, и побольше на два метра.

— Так в чем же дело? Я вас не понимаю, Фаина Борисовна, дать ей срочно ключи от угловой... или лучше сперва поговорите с ней... потихоньку... ну, если завтра ее благоверный на работу выйдет, как все нормальные люди, к обеду переедет в угловую, я дам рабочих — вмиг все перетащат. Ну, а если муж не выйдет, что ж — пусть пеняет на себя.

— Ну, а если Рыбак, Галина Дмитриевна, на работу выйдет, тогда можно и Птицыным заняться ... можно садик пообещать.

— А почему пообещать? Дать! Я ж говорила, Анне Ивановне позвоню, будет ему место. Так и передайте.

— Да он же в клочки порвет заявление, я ж его знаю!

— Ну, хорошо...

И Медяница выразительно глянула на всех троих.

— Н-ну... — повторила она.

— Все правильно, — сказала парторг Алешина.

— Да, — подтвердила профорг Осинка, — наше заявление составлено по всем правилам... от лица треугольника.

— Да это я и без вас знаю, — тонко усмехнулась Медяница, — а вот дальше-то что? Усилить бы это заявление как-то, а?

— Усилить?

Профорг с парторгом переглянулись.

— Ну, конечно, уж если в милицию писать, так не забыть про разные там фактики... ведь все мы люди, у всех у нас рыльце...

— Ну, это уж само собой! — с воодушевлением воскликнула профорг Осинка, — у всех, у всех, конечно

же, в пуху... — она мельком взглянула в сторону Семёныча, тот побледнел, заерзал.

А парторг Алешина несколько торжественно продемонстрировала атеистическое знание Библии, добавила:

— Кто из вас безгрешен, пусть бросит камень в меня, грешницу.

— Ну, вот и хорошо, — сказала Медяница, — неплохо бы поискать: Малышев сидел, Шишкин женат два раза...

— Рыбак тоже — два! — подхватила Осинка.

— На шестнадцать лет моложе взял! — добавила Алешина.

— Дурак! — презрительно сказала, до сих пор молчавшая, народный контроль Гусакова. — Ему бы взять лет... тридцати пяти! А он — кого? Дурак?!

Гусакова была единственная здесь незамужняя, а лет ей ровно тридцать пять, понять ее было можно.

— Так вот, — выдержав вежливую паузу, Медяница продолжила, — товарищ Осинка, вы, как профорг, гляньте повнимательнее их трудовые, выпишите адреса прежних работ, поспрошайте, что там и как. А вы, товарищ Алешина, как парторг, звякните в шишкинский НИИ, почему уволился, с кем дружбу водит, к нему тут в гости шастает один с бородкой... действуйте, действуйте..

— Ну, а я, как народный контроль, Галина Дмитриевна, могу проанализировать все докладные, что я вам писала на протяжении этого времени. Проанализировать и документально доказать, что все это у них неспроста, то есть саботаж этой преступной группы организован давным-давно.

— Вы так думаете? — Медяница повнимательнее глянула на Гусакову: <<И чего Медяница мой в ней нашел? Не женщина — чугун какой-то...>> — Ну, ну...

— Да не сомневайтесь, Галина Дмитриевна, я берусь документально это подтвердить.

— Ну, хорошо... действуйте... значит, так; товарищ Алешина берет на себя Рыбака, вернее, Сонечку. Птицына садиком заткнем. Кто там у нас еще — Малышев? Ну, с этим проще всего — сидел! До сих пор у

нас без прописки, в милицию позвоню — и в двадцать четыре часа!

— Штраф могут прислать, Галина Дмитриевна, за то, что столько лет держали без прописки, — посочувствовала Осинка.

— Да, пригрела змею на груди, пожалела... уголовничка... а теперь плати, Галина Дмитриевна, штраф! Ну да не привыкать!

— Остается Шишкин, — облизнувшись, сказала Гусакова.

— Один в поле не воин!

— Рыбак бы только не подвел...

Все замыкалось на Рыбаке. Откажется подать заявление — внесет крупный раскол в бригаду. Подаст — бригада выступит в полном составе! Сплоченным коллективом! Это уже будет похоже на настоящий удар. Это уже нокдаун будет. Да, теперь все на Рыбаке замыкалось. Струсит он, как зимой было, или на этот раз будет со всеми? Что пережить ему пришлось, это никому неизвестно. Скорее всего, он и сам не знал, как поступит. И Сонечка не знала. Иначе зачем бы ей выезжать с коляской провожать его в то знаменательное утро. О заявлении уже все в Здравнице знали. Во всех окнах лица, все глядят, куда свернет Рыбак от цветника. Налево к кочегарке — согласен продолжать работу. Направо в контору — заявление будет подавать.

Он вышел без десяти восемь, десять минут — это медленным шагом. Рыбак шел по главной аллее, обсаженной стройными голубыми елочками. Он шел довольно странно: не спеша, а руки напряженно и глубоко упрятаны в карманы. А что в карманах — заявление или решительно сжатые кулаки? Но, даже если заявление и действительно лежало в кармане, ничто не гарантировало, что, дойдя до цветника, он не повернет к кочегарке. За Рыбаком от дома какое-то время двигалась Сонечка. Тревожным порхала махаюном. Словно продолжался какой-то разговор между ними. Сонечка катила впереди себя коляску, в коляске, разглядывая голубое небо, лежало невинное

дителя. За этой картиной наблюдали десятки глаз. Шишкина, Малышева, Птицына не было видно. Но Рыбак физически чувствовал, что они где-то неподалеку. В нем все обострилось до крайности, он почти не спал в эту ночь, он впервые в Сонечке обнаружил какие-то неожиданные качества и теперь не знал: радоваться или огорчаться. Подходя к цветнику, уже в виду конторы, он и тут увидел лица в окнах. То были Алешина, Осинка, Семеныч, еще кто-то. Сама Медяница к окну не подошла, сидела за столом и на часы поглядывала. Было без трех восемь. Рыбак огибал цветник.

Он огибал уже цветник и все не мог решиться. Еще на подходе он не знал, с какой стороны ему лучше цветник огибать: справа — к конторе поближе, слева — такой удобный спуск в кочегарку, березнячок, кусты малины... и сразу затеряешься от всех взглядов, что жгут сейчас спину и бока, словно сотни прожигательных стекол. Он стал слева огибать, поближе к кочегарке... ноги сами влево тянули, в березки, в малинку, подальше от всей этой грандиозной суматохи-заварухи, что неотвратно надвигается на Рыбака. Как хорошо ему работалось в такси! Как все там было ясно и понятно! Так надо же — уволился, дурак! Увяз! Увяз Рыбак по самую макушку... а счастье было так близко!.. цветник кончился, ему стало тошно, ноги отяжелели, во рту пересохло, он споткнулся — пошатнулся, он оглянулся, он увидел на лавочке перед конторой Шишкина, Малышева, Птицына... они глядели на него... а ноги, ноги сами тянули туда, где так хорошо, так покойно, удобно, уютно... несмотря на весь смрад, пыль, копоть... едва отрывая ноги, он повернул к конторе, прошел, ни на кого не глядя, до крыльца и тут силы оставили его, он за перила стал хвататься, чтобы подняться на четыре ступеньки, и все-таки поднялся, дверь открыл, сунул секретарше заявление и, вспотевший, раскрасневшийся, вновь оказался на крыльце. Уф!

Это был нокдаун! Легкое сотрясение мозга. Но Медяница быстро оправилась. Уже на третий день к рабочему дому с утра подкатил сверкающий

<<воронки>>, вышел милиционер с новенькой планшеткой, подошел к старушкам, что всегда сидят на лавочке.

— А где, бабули, тут проживают граждане: Шишкин, Малышев, Рыбак и Птицын?

— Рыбак и Малышев тут, — старушки сказали, — один внизу, как зайдешь, налево, в восьмой, а Рыбак наверху — в двадцатой. Ну, а Шишкин не здесь, он вон в том доме, милоч, у реки. А про Птицына не знаем, чего не знаем, того не знаем. Да зачем они тебе, мил-человек? Неужто натворили чего?

— Натворили, натворили... вот повестки вручать им буду!

— Повестки! — ахнули старушки.

— Повестки, повестки...

— Ай-ай-ай... а ведь у Рыбака дите малое! Ах ты, господи!

И не успел милиционер пройти мимо, не успел скрыться в подъезде, старушки проворно поднялись и заковыляли кто куда: всем захотелось поскорее поделиться ошеломляющей новостью: <<Кочегаров забирают, засуживать будут>>.

Дело разворачивалось нешуточное. По Здравнице ползли слухи и толки, о которых тотчас доносили Медянице. Все уже знали и о пожаре, и о коллективном отказе кочегаров продолжать работу, и о требованиях, которые они предъявили Медянице за развал кочегарки.

На этот раз чуткое ухо Медяницы уловило не просто нездоровый интерес к очередному конфликту. Нездоровый интерес всегда бывает. За двенадцать лет у нее было немало конфликтов. И все они, естественно, кончались одним и тем же — неугодный работник с позорной статьей покидал Здравницу. А Медяница еще больше укрепляла свой авторитет, укреплялось общее мнение о ее неуязвимости, о бесполезности всяких попыток выступить против нее. На этот раз, кроме нездорового интереса, была какая-то неопределенность, какое-то словно бы и сомнение. Сомнение в самом главном, что до сих пор считалось аксиомой. Ни Медяница, ни ее приближенные, разу-

меется, не сомневались, кто кого и на этот раз. Но вот в толках, в слухах, что пошли вокруг, этого почему-то не чувствовалось. По крайней мере, так же безоговорочно, как ей того хотелось. И поэтому на одной из пятиминуток вскользь брошенное Медяницей раздраженное: <<На сей раз что-то новенькое!>> — относилось не столько к неожиданному отказу от работы бригады саботажников-бездельников, а именно к этому — к изменившейся вдруг самой атмосфере вокруг, к этому неопределенно-возбужденному, что явно носилось в атмосфере: а кто же кого на этот раз!

Дело завязывалось нешуточное — во-первых, пожар! Во-вторых, отказ от работы! Нет, такого не было еще! Неужели все-таки почувствовали силу? Неужели, думают саму Медяницу одолеть?.. Нет, тут было что-то новенькое... Оказывается — диетсестра передала — уже не только жильцы и медперсонал, уже и отдыхающие заговорили об этом.

А тем временем переговоры с Птицыным ничего не дали, и Медяница уволила его по статье за прогул. Малышева тоже уволила, ссылаясь на требование милиции, запрещающее работать непрописанному человеку. Хотя таких, с временной пропиской, у Медяницы, считай, половина рабочего дома. С Сонечкой она серьезно поговорила. Во-первых, переведет ее в старшие секретарши. Во-вторых, они, как женщины, обе сошлись на том, что самое главное в жизни — это ребенок. А поэтому ее Рыбаку не надо каких-то там огромных жертв, то есть не надо рвать заявление, а надо лишь его слегка подправить. А вернее, и подправлять не надо, а просто к тому, что им так страстно, так решительно написано, добавить одну лишь фразочку: <<Прошу уволить по собственному желанию>>. И все! И больше ничего! А то ведь как Птицына — за прогул! Куда с такой статьей пойдешь! А ведь у них грудной ребенок!!

Рыбак пока колеблется, но Сонечка обещает. Значит, еще один из игры выходит. Остается Шишкин. Но один в поле не воин. Так что и Шишкин обречен. Повеселела Медяница. Повеселели Алешина, Осинка, Гусакова, Семеныч и все, кто с ними. Сала-

пуров, к примеру, который из простых электриков теперь выбился в начальники кочегарки. Повеселели все, кто за Медяницу держится. А что? Все, можно сказать, наладилось, в кочегарке работают другие люди, стараются, жалоб нет... почти нет. Все течет по старому, а этих... четверых как бы и не было, вернее, были, есть еще... вон Шишкин выходит на каждую свою смену, хоть и не принимает ее... в кочегарный журнальчик что-то пописывает, но все уже затухает... да, да — явно затухает, скоро совсем затухнет.

И так думали уже не только Медяница со своими приближенными, так многие уже думали. Скоро, скоро будет праздновать Медяница очередную победу. Ну, а эти четверо разбредутся по белу свету опозоренные, со статьями в трудовой. А со статьей за прогул не сразу и примут тебя. По крайней мере, Медяница уж позаботится, чтоб поблизости не взяли. Пусть, пусть походят, пусть послушают в отделе кадров соответствующие слова! В следующий раз умнее будут. Скоро им конец. Жизнь продолжается... Ну, а эти четверо во главе с Шишкиным просто спятили с ума...

В субботу, из бани вернувшись, Шишкин видит Блендера с дочкой Анки-пулеметчицы. На огонек завернули. Когда пожимал он дочке руку, ознобно-пожившись, сказала та неприветливо:

— Хотелось бы знать, пользуются ли в этом доме календарем?

— Так вот же, — кивнул Шишкин на стенной календарь.

— А-а... — отмахнулась небрежно, — я не про этот, а... вообще...

Вялой ладошкой нарисовала в воздухе некий эллипс. Небрежно, но и весьма четко при этом, наметила в эллипсе две точки, два центра каких-то. Причем во второй центр палец ее попал, по-видимому, не совсем точно — прищурилась, смуглый нос заострился, на миллиметр-другой сдвинула палец и только после этого с явным облегчением утвердила палец окончательно. Заметив же шишкинское удивление в

приподнявшихся слегка его бровях, с досадой морща лоб, решила что-то добавить для объяснения.

— Ну, нам же давно пора быть там... ну, в этом... в созвездии Водолея... эпоха ж Водолея на носу.

— На носу, — с улыбкой сказал Шишкин.

— Ну, вот — а нам лететь и лететь... еще двадцать миллионов лет туда нам добираться... я даже и не знаю — так отстать! Невероятное торможение... просто невероятное...

— Но, может быть, еще наверстаем, — успокаивал с улыбкой Шишкин.

— Трудно... десятая... нет, одиннадцатая часть всего эллипса... даже если и помогут... трудно.

— Ну что ж, — развел руками Шишкин, — тогда будем пить чай.

Сели чай пить. Дочка Анки-пулеметчицы заби-лась в угол, где холодильник, и надолго замолчала, угрюмо уткнувшись в чашку. Блендер же, как всегда за чаем, чувствовал себя возбужденным и довольно-недовольным.

— У них длинные руки, — говорит Блендер, прихлебывая чай, — ты, Шишкин, и не представляешь, какие длинные. Я ж из института, как и ты, ушел, в леспромхоз поехал. Думал в тайге, в леспромхозе скрыться от них — ку-уда... Из отпуска в леспромхоз вернулся, а директор — сука — договор не хочет продлевать. И опять я оказался выброшен на улицу. Да это кум отсюда, из Москвы, директору настучал, тот струхнул и решил от меня отделаться.

— Послушай, Блендер, — Шишкин говорит, — ну, скажи ты мне, зачем сегодня, понимаешь, именно сегодня, кому-то из Москвы звонить в Хабаровский край, в леспромхоз, в тайге затерянный, где ты собираешь кедровые шишки, и объяснять директору, какой ты бяка и что тебя надо срочно увольнять?! Ну, ты сам-то пораскинь мозгами — у всех же дела, дела. Да и потом, как из Москвы до леспромхоза дозвониться, который где-то там, в тьме тараканьей, аж в Хабаровском крае?

— Э-э, — усмехается Блендер бледной усмешкой, — ты не знаешь их — я же тебе говорю: у них

длинные руки, из-под земли достанут... И потом, кум московский не обязательно прямо директору звонил, он позвонил в Хабаровский край, а там, естественно, свой кум, по Хабаровскому краю, а тот уж и позвонил директору леспромхоза. У них же все повязаны одной веревочкой, то есть с и с т е м а. Я, брат, ее уже двадцать пять лет на своей шкуре ощущаю. А ты говоришь... Нет, уж, видно, ничего не поделаешь... глухо... длинная рука... — и Блендер грустно вздыхает, прихлебывая чай с вареньем.

С Блендером Шишкин знаком уже лет десять, вместе в одном НИИ работали. Блендер, кажется, два вуза закончил, литературное что-то. Говорят, какие-то надежды даже подавал. И в стихах, и в прозе. И в критике даже. Он до сих пор приносит изредка Шишкину кое-что из написанного: эссе, киноновеллы, белые стихи. Лет семь назад стал писать психологические этюды. Потом перешел на патологическую прозу. За ней последовала физиологическая, физико-химическая, математическая... Ну, а теперь с новыми веяниями перешел исключительно на лобачевскиты. То есть всем сырым и серым это понимать надо так, что Блендер с классической физики и математики ушел к самому Лобачевскому.

Ну что ж — жизнь идет. За эти годы Блендер постарел, с первой семьей давно расстался, второй обзаводиться не стал, изредка с ним появляется то одна, то другая женщина. Одни бывают намного старше его, и тогда Блендер предстает рядом с такой женщиной как избалованный, вздорный ребенок, которому можно все простить. Другие бывают раза в два моложе, и не сразу поймешь: то ли это дочь той старухи, что заходила с Блендером месяц назад и которую он представлял им как законную <<супруженцию>>, то ли это очередная подруга уже самого Блендера. Возраст тут не играл роли никакой, ведь все они без исключения были гениальными, и Блендер грозился, что через год или два они, его <<супруженции>>, всем тут покажут.

Понятно, что проходил год, и два, и очередная женщина исчезала, так ничего и не показав. А на во-

прос, что же произошло, что помешало проявить, так сказать, гениальность, Блендер только саркастически усмехался, и всем было понятно без слов: мол, то же самое, что и самому Блендеру, — длинная рука КГБ.

Эта сегодняшняя супруженица Блендера — какая-то уж совсем странная, забилась почти под холодильник в самом углу, над столом согнулась, сосредоточенно мочит в чашке сладкий сухарик. Молчит. Молчит-молчит да что-то и скажет такое, что хоть стой, хоть падай. Про австрийские тюрьмы что-нибудь скажет, где очень жарко. Или про секретный аэродром на Полярном Урале, на полуострове Пайхой, — Шишкин и не слышал про полуостров этот, а он, оказывается, на самом деле существует, Шишкин сам по атласу потом проверил, — так вот с этого полуострова по ночам взмывают невидимые ни для каких локаторов самолеты. А то вдруг заговорит и совсем про что-то странно-дикое — про какую-то рулетку, в которую проигрываются целые страны.

И тут уж Блендер на недоуменный вопрос Шишкина с самодовольной усмешечкой обязательно ткнет пальцем в потолок, мол, да-да — она оттуда, из КГБ. То есть четко работала по их заданию.

Вот пойми этого Блендера. Всю жизнь боится и патологически ненавидит он КГБ, а теперь отхватил такую вот супруженицу — оттуда! Насмешка судьбы ... или мистика какая-то. Шишкину даже чего-то и страшновато, когда изредка взглядывает он в угол, где, периодически врубаясь, подпрыгивает их старый холодильник. Кто ж разберет: что в ней, в этой дочке Анки-пулеметчицы, настоящего, а что поддельного. И где только Блендер ее откопал?..

Примерно раз в пятилетку (у него какие-то свои пятилетние ритмы), так вот, примерно раз в пять лет Блендер появляется у Шишкина, возбужденно потирающий ручки, и радостно объявляет:

— А намедни устроил та-а-кую гарю! Все, что накропал за последние пять лет, все пожег!

Блендер, как истинный эстет, любит просторечия, все эти <<онадысь>>, <<кубыть>>, <<намедни>>. А слово <<костер>>, <<пожар>> — он произносит не

иначе как <<гарь>>, чаще, совсем уж по-раскольничьи: <<гаря>>. Блендер с бородкой, внешне действительно похож на раскольника, какие-то посты все соблюдает, в Пасху любит зайти похристосоваться. Хотя, с другой стороны, вроде бы — в партии. По крайней мере, был в ней все эти годы.

Вся сознательная жизнь его прошла под знаком длинной руки КГБ. Которая единственная виновница во всех его бедах, в том что гениальные его способности так и не были реализованы. Ведь даже последний крик моды — <<лобачевскиты>> — не находит должного понимания.

— Ну, как же ты не понимаешь, Шишкин! — горячится он, чиркая на бумажке: жизнь — гипотенуза — всегда короче двух катетов: вдохновенья и призванья. То есть нам заведомо, я подчеркиваю — заведомо, невозможно в этой грешной жизни реализовать себя по-настоящему. Гипотенуза короче двух катетов? Короче или нет?!

— Ну, короче, короче... — Шишкин его успокаивает, — только при чем тут Лобачевский? Это ж еще Пифагор сказал... а он бобов не ел...

— Да что твой Пифагор! Пифагор имел в виду буквальную геометрию, а я... .. нет, брат, я вижу, и ты этой тотальной системой уже обкатан, уже и над тобой она распрóстерла свою грозную длань.. длинная длань КГБ. Длинная длань КГБ! А что — неплохо, а? Длинная длань КГБ — это надо запомнить.

— Блендер, сколько тебе лет?

— Полтинник разменял... а что?

— Да-а... — головой качает Шишкин, — переходил бы ты к нам в Здравницу, в кочегарку. Вот с Медяницей разберемся, капремонты наладим, нормально топить будем — и переходи. Будешь у места, а то чего болтаться-то, а?

— Да у вас утечки без конца. Никак дыру не отыщете. А Клязьму не натопишь, сам говоришь.

— Ну что ж — утечки. Я ж тебе говорю, вот с Медяницей разберемся, капремонты наладим по-настоящему. И обнаружим дыру, куда все уходит. Обяза-

тельно дыру в системе обнаружим. Ну и прекратятся сразу все утечки. Переходи.

— Подумаю, — говорит Блендер, прихлебывая чай с вареньем, — подумаю...

Солидно так говорит. Но по всему видно, что Блендер далеко-далеко от всего этого — шишкинского. А говорит он просто так... чтоб в тепле посидеть, чаю попить с вареньем.

Шишкин глядит на Блендера и ему странно, немного даже не по себе. С одной стороны — перед ним человек, пьет чай с вареньем, при желании потрогать можно. С другой стороны — эта запредельность. Ибо это только внешне Блендер тут, где и Шишкин — через стол руку только протянуть. Нет, на самом деле настоящий Блендер — его мысли, чувства, душа и психика — настолько далеки от Шишкина, по существу в другом измерении, в реальности другой.

Потому что реальность Шишкина, основа его бытия — это стихийная вера в справедливость. Даже и не вера, а какой-то примитивный инстинкт, идущий из глубин, по-видимому, еще первобытно-общинного какого-нибудь сознания. Шишкин наверняка пуповиной связан именно с этим. Когда все люди жили в этой полудикарски-наивной справедливости. Так и теперь — живет он только этим. Как, когда, откуда должна прийти эта справедливость, он, понятно, и сам не знает, поскольку всерьез никогда не задумывался. А зачем? Если он и так твердо знает, что есть она обязательно. А иначе жизнь — просто дикий бред сумасшедшего, повод, разрешение на такие гнусности, что человеческого не хватит воображения.

Ну, а у Блендера жизнь, наоборот, слепилась на несправедливости. Которая почему-то так странно и утилитарно оказалась связанной со службой КГБ. По существу, жизнь Блендера держится на такой в принципе мелкой земной основе, что Шишкину всякий раз немного и диковато, когда общается он с Блендером. Недостигаемая для Шишкина реальность эта, где все построено на каких-то других приземленных законах. Это другой мир. Можно назвать это заблуждением, шизофренией, чем угодно — но это абсолютно другой

мир. С миром Шишкина этот другой мир не то чтобы враждует или как-то через силу уживается, нет — это все настолько анти-шишкинское, что все реже в самом Шишкине возникает желание спорить, обсуждать, что-то доказывать. Просачивается все блендеровское теперь через Шишкина каким-то бледным потусторонним голубоватым мерцанием. И жаль ему Блендера, и помочь нельзя ничем.

— Пей, пей, Блендер, чай... подкладывай варенья побольше... жизнь у тебя, брат, не сладкая...

Глава 7

У Юрия Владимировича с утра была Коллегия. Решали текущие вопросы. Потом с шефом <<Девятки>> — Девятого управления охраны — утверждали новый план мероприятий по охране Генерального секретаря.

После того как на Брежнева было совершено покушение, Юрий Владимирович провел реорганизацию <<Девятки>>, усилил ее, постоянно уделяет ей внимание. Разъезжает Брежнев много, с людьми встречается. Дело не только в этом, конечно.

В стране, с одной стороны, кажется все неизменно-стабильным. А с другой — что-то вроде лихорадки, взбудораженность какая-то, ожидание явное чего-то. Молодежь все больше активничает. К ней присоединяются люди средних лет. А почему и не присоединиться, если все с рук сходит. То там, то здесь возникают какие-то патриотические группы. Да ничего серьезного, конечно. Восстанавливают памятники старины, устраивают патриотические митинги... в годовщину Куликовской битвы устроили, в годовщину Бородинской. Вечер памяти Шалапина провели недавно, теперь вечер, посвященный Циолковскому, затевают... пускай. Запрещать не надо. Патриотический, явно правый крен. Да, запрещать никак не надо. Наоборот, — расхаживая по кабинету, сцепил покрепче руки, — наоборот, правое с левым сцепить покрепче... ни того, ни другого не останется. Да, не запрещать,

наоборот, использовать в борьбе с левым движением, с диссидентством. А тут... а тут надо просто людям помочь... организовать, придать стихийному патриотическому порыву управляемые рамки. А так — пускай дерзают.... Тем более что патриотизм, национализм очень подходит сейчас для провинции, отвечает духу тех, кто возглавляет КГБ там, на местах. Они молодые, энергичные, в основном по духу и паспорту славяне, — обязательно поддержат этот явный всплеск патриотизма. Не по приказу сверху поддержат, а — очень важно! — в силу естественного склада провинциального ума. Так что все это неплохо... Да, неплохо. Но вот общую атмосферу в стране, что левые, что правые, крепко раскачивают. Опасно. А поэтому и охрану Брежнева надо обязательно усилить. Мало ли к чему может привести эта взбудораженность в умах и сердцах. И эта лихорадочная взбудораженность отнюдь не домыслы, не интуиция его. На изменившуюся атмосферу сразу же отреагировал институт им. Сербского, отреагировали другие психиатрические клиники — везде отмечен резкий рост психических расстройств.

После Коллегии Юрий Владимирович побывал в Лаборатории Z-1, которая с Институтом мозга занимается всеми вопросами, которые так или иначе связаны с мозгом. Или, лучше сказать, с сознанием.

Понятно, что государству относительно общества и отдельной семьи приходится постоянно решать одну и ту же задачу. Как сломить волю человека, оставив его самого при этом в неведении. На государственном уровне это однозначно до сих пор решалось путем весьма сложного процесса внушения определенных идей и доктрин. В основном через прессу, через телевидение, с помощью всякого рода вознаграждений и наказаний. Ну и с помощью соответствующей воспитательной идеологии, начиная со школы, с детского сада еще. А в целом в крепком государстве в результате всего этого задача решается столь успешно, что большинство людей верят в то, что они действуют по своей воле. Ничуть не осознавая, что сама эта воля им навязана, что государ-

ство манипулирует ею в должном направлении. Лаборатория Z-1 и готовит нужные рекомендации на этот счет.

Лаборатория создана еще до Юрия Владимировича, имеет штат высококвалифицированных специалистов и в целом успешно справляется с поставленной задачей. На уровне сознания.

Внимательно просматривая список современников, ныне живущих, которых Лаборатория по специальной методике относит к выдающимся личностям, Юрий Владимирович скептически поджимает губы, против некоторых фамилий ставит выразительный вопросик, к каким-то добавляет даже знак восклицания.

Лаборатория Z-1, или <<Сознание>>, как называет ее Юрий Владимирович, разработала специальную методику определения КИ — коэффициента исключительности. И почему-то близкие параметры имеют такие разные, на взгляд Юрия Владимировича, люди, как, скажем, Солженицын и Максимов, Лихачев и Михалков... Юрий Владимирович ставит очередной вопросик... То ли методика все же хромает, то ли он сам тут чего-то недопонимает. Себя нашел в списке, неопределенно хмыкнул, ткнул пальцем, в усмехнувшихся глазах потеплело, отмякло.

— Не перегнули палку? Что-то высок КИ у вашего председателя. По какой методике считали?

— По новой, Юрий Владимирович, по новой. Ну, где за абсолютный нуль взят Вонючка Мангышлет... помните эту... крайнюю... так сказать, плоть?

— Ну, ну...

— Да нет, Юрий Владимирович, вы не подумайте чего, — старший лаборант обеспокоенно уже говорил, — компьютер выдал информацию по КИ, с компьютером ведь не поспоришь.

— Да понятно, понятно...

Юрий Владимирович спустился на этаж ниже, под <<Сознание>>, где расположилась Лаборатория Z-2, которая, действительно, занималась — подсознанием. Лаборатория Z-2 — это уже его собственное детище.

Зав. лабораторией — доктор психологических наук Иван Петрович — тут же убрал пепельницу со стола, усадил Юрия Владимировича перед большим компьютером, потирая руки, включил его, и на экране появилась женщина лет тридцати с худым, если не сказать, изможденным, лицом. Подвижные черты настолько кривились, — подергивались губы, брови, нос, лоб, — что сразу возникло странное впечатление размытости, текучести, тревоги... какое-то шевеление волос он ощутил слегка.

—... Была диктовка...

Голос глухой и ровный, у них у всех вот такой полубессознательный.

—... Да, была диктовка, что Сережа получит такую жизнь, что меня позабудет... а по карме он настолько бездуховен... это чтоб никогда не выйти на меня... так и живет с перевернутой душой... по диагонали... сатана руководит им... у Сережи сейчас тридцать процентов восприятия мира, а до меня — три года назад — всего пятнадцать было... при теперешнем захвате планет черными силами... то есть восемь процентов темных и только семь процентов светлых... ужас! Из ста — семь! ... если сердце не контролирует, то все идет от логики... черные силы на Сережу давят... сидят, висят на нем... дают приемы убийств от самого сатаны... а светлых он совсем не слушает... а это значит — жениться на мне и выполнить миссию... был показ через диктовку: он за мной ходит и говорит: я без тебя — антихрист... была диктовка... перекрыто все астралами... а я на раскрытие иду... я — вне мира... в этом вся сложность... архангел Михаил обещал заступиться... двенадцать евангелистов, но многие еще даже не канонизированы... кто защитит меня?.. вообще нас много, но силы зла сильнее... на меня надеются... или уже перестали?..

Женщина на экране раздумывает, морщит лоб, подергивание по лицу пробегает, словно морская рябь, она продолжает:

— ... до меня вот только сейчас стало доходить, что священники на работе хорошо одеты — парча, бриллианты, красивые... а это потому что он при ис-

полнении, поэтому так богато одет... а я постоянно делаю миссию... прилепленность — это не для меня... когда я, отринув ум, иду на одной любви!.. тем более сейчас... после двадцатого съезда... когда разрешен выход на открытость... можно все... поэтому такие сейчас силы подключились!... у нас даже пропала одна икона... я не знаю, каким путем идти... есть два — истинный и христианский... как светлая красивая одежда работает...

Лицо у женщины начинает светлеть, округляться.

—.. Я ощущаю какую-то радость и защиту... священник красиво поет, диктовка не проходит... все вещи на нас работают... то в одну, то в другую сторону... у священника шапка в бриллиантах... зачем тогда звезды? мне надо с мужем Сережей соединиться, но Пашка-антихрист не даст же никогда... он на сто процентов черный маг... а муж Сережа — от Бога... но он опоздал с воплощением на четырнадцать лет... Сережа на четырнадцать лет меня моложе... ведóмость важна... я ж все получаю свыше... я подарила ему две иконы... очень красивые и нежные... а поскольку карма неземная — я буду ждать вечно... соединясь со мною, он потеряет свою силу сатанинскую, то есть пойдет по любви... любит ли меня Паша?.. Да нет — идет борьба... его задачи — противоположны моим... он перекрыл всю Москву... три пути — черное монашество... белое и светская жизнь... я уже была в КГБ... я ж представляю исключительную ценность — изучайте!.. но меня вежливо выслушали и отпустили... Пашка оказался сильнее всего КГБ!.. Они даже адреса не спросили... сказали, мы все знаем, идите, то есть давно следят за мной... я обратила внимание на новую Сережину жену... глаза темные, лицо овальное, нос прямой, губы чувственные...

Иван Петрович щелкнул клавишей, изображение исчезло.

— Дальше не так интересно. А вот сейчас, Юрий Владимирович, гляньте для сравнения еще одну запись.

И на экране появилась другая женщина, лет пятидесяти, с землистым лицом, вся какая-то припорошенная, малоподвижная, согнутая, напоминающая жирную запятую.

— Это Анка-пулеметчица, — сказал Иван Петрович, — под этим именем проходит по картотеке, диагноз тот же — маниакальная депрессия, выдает себя за дочь чапаевской Анки-пулеметчицы.

Юрий Владимирович хотел было спросить, почему же проходит как Анка-пулеметчица, если выдает себя всего лишь за дочь, но женщина уже заговорила:

—... сейчас шифровки проходят лучше... я постоянно в работе... мы к центру приближаемся... я подключена к главному компьютеру... мы облетаем круг за двести миллионов лет... в центре нашего круга Млечный Путь... сейчас почему-то отстали на двадцать миллионов лет, что-то непонятное произошло в центре нашей земли... отстали ... но отставание нагоняем изо всех сил... уже скоро подойдем к черной дыре, из которой, как стая зверей, на нас обрушатся кометы и астероиды... для всех я в Израиле преподавала балет, я же кончила балетное училище в Ташкенте... в Израиле ближе всего до центра земли... ближе всего, конечно, в Антарктиде, но там сейчас колоссальный лед... там есть один секретный аэродром... второй в Гималаях... третий у нас где-то под Уралом... была неразборчивая шифровка... да... где-то под Уралом... неразборчивая шифровка... месторождения меди почти все разработаны, поэтому связь с космосом сильно ослабла, в Тель-Авиве я преподавала балет... там мальчик Гоша, я посадила его в чулан, чтобы слегка наказать... он против меня восстановил всю природу... а там ведь самое близкое расстояние до центра земли... я посадила его в чулан, и меня тут же забрали в больницу... в Израиле очень любят своих детей... кололи аминазин... полгода... пособие скопилось, и я смогла улететь в Австрию... Австрия — единственная почти не проигранная страна... батя распорядился, и меня в Австрии сразу посадили в тюрьму... там странные тюрьмы — напоминают газовые камеры ... очень-очень жарко... от

мамы из Оренбурга была шифровка — держись! Мама — золотой фонд мира... она и Рихард Зорге... у Чапаева в дивизии, кроме мамы, была еще одна пулеметчица... забыла, как звать... им в Оренбурге обеим памятник стоит... в Австрии, как и в Израиле, та же самая рулетка... проигрываются целые страны... Швеция уже проиграна совсем... а Финляндия пока на двадцать пять процентов, а всего год назад была проиграна на пятнадцать... а сейчас на двадцать пять!.. Я ж подключена к главному компьютеру... наш Советский Союз проигран пока меньше всего — на тринадцать сотых процента... захват мира идет через власть... батины задачи противоположны моим... полным антихристом он вряд ли будет...

Женщина задумалась, сгибаясь над столом все больше...

—... на одну треть будет... сейчас ведь идет лишь начальная борьба... я — эфирное тело — помочь почти ничем не могу... до борьбы эфира и воздуха еще далеко... сейчас пока все идет на уровне борьбы моря и суши... потом вода победит и будет бороться с воздухом... и только потом уже — воздух с эфиром... наступит время таких, как я... так что этот батя сегодняшней всего лишь на одну треть настоящий... но все равно — батя! .. хоть и маленький... он уже выскочил, достать его нельзя... и самое страшное — я идиотка! ему помогла... обелить и уничтожить!.. это заложено в главном компьютере... сделать из него светлого... и вот бату то обеляют, то уничтожают... но самое главное — в нем есть пластина, которую перевернуть надо... из вертикальной опять сделать горизонтальную... а я смогла пока добиться, чтоб все пошло по диагонали... да это компьютер дал ложную шифровку... вода больше суши в два раза, воздух больше воды, эфир больше воздуха... пока идет борьба воды и суши... а внешне это идет через людей, обычных людей, о чем вы и догадаться не можете... все перекрыто... хорошо хоть то, что он пропускает меня к маме... я постоянно думаю о ней... в Оренбурге памятник... Анка — моя мама — и ее подруга... две пулеметчицы... забыла как звать... не

важно... я — батя — моя мама ... мы все трое развиваемся по законам эфира... когда я узнала, какие страны он проигрывает в рулетку, я пошла на него... я должна идти на раскрытие... я десять лет хожу по кругу... он, конечно, не познал свою душу и себя... а это почти что огромный компьютер... это Млечный Путь... все звезды, все планеты... мы там обычный диод... или нет...

Женщина задумалась, потемнела, кожа лица шагреновой стала.

— ... Нет, мы — триод... это очень важная деталь... с таким компьютером проиграть в рулетку какую-то Швецию — раз плюнуть... СССР — это потруднее... тринадцать сотых процента... да СССР уже сам компьютер... сам уже шлет шифровки батю... но у бати ведь карма неземная — вот в чем дело... а месторождений меди почти что не осталось — связи нет обратной... когда я это все узнала, я пошла на него как танк...

Иван Петрович выключил экран.

— Что скажете, Юрий Владимирович?

— Разная терминология, но логика поразительно близка. Правда, с этой Анкой... кстати, почему Анка? Так нельзя. Это же герой гражданской войны. Тем более, говорит, что — дочь... исправьте.

— Исправим, Юрий Владимирович.

— И потом, во втором случае через весь этот поток подсознания проглядывает и конкретное нечто... ну, хотя бы эта извечная борьба Суши и Моря... на подсознательном уровне, но все же четко, а? Не находите, Иван Петрович?

— Да с этим-то как раз, Юрий Владимирович, все элементарно. Это лишний раз доказывает укорененность мифа о борьбе суши и моря в самых базовых уровнях человеческой и социальной психики. Или, лучше скажем, не мифа, а метафизической реальности. Дело имеем с ослабленной подкоркой. А в данном случае — это типичная тяжелая судьба нашего эмигранта-полукровки. Так вот — ослабление рациональных индивидуализированных структур подкорки в данном случае и высвечивает именно то, что давно

уже является глобальным содержанием всякой нормальной психики. Ну, то — что существует реально, — скажем, та же борьба Суши и Моря, — и лишь до поры до времени скрыто внешними иллюзиями. Но я хотел бы о другом. Вот еще раз прошу...

И Иван Петрович вернул запись к началу.

— ... Мы облетаем круг за двести миллионов лет... в центре — Млечный Путь... сейчас почему-то отстаем на двадцать миллионов лет...

— Итого — двести двадцать, — вставил довольный Иван Петрович.

—... Что-то в центре земли произошло непонятное... но отставание нагоняем изо всех сил... уже скоро подойдем к черной дыре... из которой, как стая зверей, обрушатся на нас кометы и астероиды...

Иван Петрович выключил экран.

— А вот, Юрий Владимирович, информация с Конгресса астрономов и астрофизиков из Гааги. — Иван Петрович взял со стола листочек. — Американский астроном Ричард Миллер и два палеонтолога из Чикаго Джон Сепкоски и Дэвид Роуп собрали огромный материал о появлении и исчезновении двухсот пятидесяти тысяч видов живых организмов, в том числе и человека, и заложили его в компьютер. Компьютер дал ответ, что в истории земли существует убийственный биологический ритм — конец света приходит каждые двести двадцать миллионов лет. Обратите внимание — как и у этой Анки... то есть я хотел сказать — дочери Анки-пулеметчицы. Второе — каждый такой цикл Солнечная система, а значит и наша Земля вместе с нею, встречает в своем полете вокруг Млечного Пути... и опять Млечный Путь! — так вот, встречают там нечто фатальное для всего живого на Земле. Что же это такое? На Конгрессе пришли к выводу, что какая-то непонятная сила вызывает беспорядок в поясах комет и астероидов и они обрушиваются на Землю.... помните, как только что с экрана звучало: словно стая злых зверей. Вот такое сенсационное открытие принес нам сегодня Конгресс ученых... а запись с дочерью Анки-пулеметчицы мы сделали еще год назад.

— Да-а...

Юрий Владимирович, сцепив пальцы, помял, поломал их слегка и еще раз сказал: <<Да-а...>>

— Открывается в этом направлении, Юрий Владимирович, какая-то перспектива... ее и не определишь сразу-то...

— Открывается... по-видимому...

Юрий Владимирович встал и, продолжая мять сцепленные в замок пальцы, походил по комнате.

— Да-а... готовьте выводы... будем работать... кстати, а что с этой дочерью? Она на самом деле — дочь легендарной Анки? Или все же навязчивая идея?.. Балетная школа в Ташкенте? Израиль?..

— Школа была. Израиль — тоже. А насчет Анки-пулеметчицы еще не проверили...

— И напрасно... Иван Петрович, — это не мелочь. Вполне возможно открывающаяся, вернее, слегка лишь приоткрывшаяся перспектива именно с этим и будет связана. То есть я что хочу сказать — перспектива, весьма возможно, каким-то боком именно с легендой будет и связана, с мифом, с метафизикой опять же.

— Понимаю, Юрий Владимирович... срочно запросим Оренбург, все проверим... ну, а так — сейчас живет все в том же поселке под Москвой, сорок минут езды на электричке. Сошлась с мужчиной... некто Блендер.

— Кто такой?

— Преподает экономику и литературу в ПТУ, имеет высшее образование... даже два... да ничего интересного — разумно-циничный... заурядный антисоветчик...

— Ну, хорошо, — Юрий Владимирович стал прощаться, — готовьте выводы... только не горячитесь, перспектива перспективой, Иван Петрович, а-а... впрочем, работайте.

— У арабов, Юрий Владимирович, — засмеялся Иван Петрович — пророк и сумасшедший обозначаются одним словом — <<навин>>.

— Я знаю, — серьезно сказал Андропов.

— Где-то близко к этому скорее всего будут и наши выводы...

— Если только это — малоинтересно, и совсем нам не нужно. Дайте перспективу, дайте практическое использование... этой странной весьма озабоченности, этого наития. В этом задача номер один вашей Лаборатории, Иван Петрович... работайте, работайте...

На часы глянув, Юрий Владимирович стал поспешно прощаться. На 12. 30 назначена встреча, он не мог себе позволить опоздать.

Безудержный мечтатель в абстрактных отвлеченностях, порой в силу изоциренности ума приобретавших поистине всесветный, а то и космический характер, Юрий Владимирович был педант в чисто житейских вопросах, порой некрасиво мелочен даже: не терпел курящих в помещении, открыто презирал опаздывающих хотя бы на минуту. Поэтому и сам в кабинет вернулся с необходимым запасом времени. Несколько минут ему хватит, чтобы отдохнуть, переключиться.

К огромному кабинету с портретом Дзержинского примыкает небольшая комната отдыха. Обстановка спартанская: маленький холодильник, стол, стул, кушетка. Комната кажется ему уютной, потому что нет ничего лишнего. Заработавшись нередко допоздна, он остается здесь на ночь.

Выпив стакан кефира, он отдохнул немного и за минуту до встречи вошел в кабинет. Низкое декабрьское солнце подслеповато освещало белоснежные шторы на огромных окнах. Сразу возникло холодноватое ощущение огромного аквариума... Охрана усилена, покушения исключаются... Лаборатория Z-2... подсознание... идиоты и гении... гениоты... да, мир все больше скатывается в какую-то удручающую бесполость... есть диссиденты, есть патриоты... балансира нет. А ведь должен, обязательно быть должен балансир... просто нужен человек-балансира, и все будет отлично... Юрий Владимирович потер энергично руки,

на часах 12. 30, сейчас появится человек... уже докладывают... входит уже...

— А-а... проходите, проходите, Николай Николаевич, присаживайтесь, — уже приглашал широким жестом вошедшего, — чай, кофе? Ну, конечно же, чай — кофе для немцев, а?

Перед ним был молодой, с несколько скандальной в академических кругах биографией, доктор исторических наук Николай Яковлев, которому Андропов явно симпатизировал. При таких в последнее время не редких встречах Юрий Владимирович не то чтобы молодец, но явно раскрепощался, много шутил, пускался в рассуждения, довольно отвлеченные. Впрочем, никогда не теряя конкретную нить разговора.

Несколько лет тому назад их познакомил Устинов. Он же и рекомендовал самого молодого на то время профессора истории в консультанты. Чем Юрий Владимирович, для заполнения некоторых пробелов по части истории, и не преминул, разумеется, воспользоваться.

Молодой, энергичный, весьма эрудированный Яковлев готовил для Андропова пространные записки по интересующим того вопросам. Не первый раз в стенах этого кабинета ведут они научные, да и не только научные, беседы. Со временем возникла доверительность. Обнаружились общие симпатии и антипатии. Когда же оказалось, что не только любят Ильфа и Петрова, но многие страницы оба помнят наизусть, беседы в кабинете стали выходить далеко за пределы истории.

— Вашу записку, Коля, — <<психологический портрет Гитлера>> — прочел с удовольствием. Большое спасибо.

— Я тут, Юрий Владимирович, ни при чем. Портрет составлен для ЦРУ известным психоаналитиком профессором Уолтером Лангером. Кстати, родной брат историка Уильяма Лангера.

— Да ЦРУ имеет подобные портреты всех мало-мальски значительных личностей. Меня же в вашей записке заинтересовал мазохистский комплекс Адольфа... где-то здесь, в этом мазохизме, мне по-

чему-то чудится ответ на многие и многие вопросы нашего сегодняшнего бытия... не очень здорового, а?

— Честно скажу, Юрий Владимирович, никогда всерьез не задумывался над этим.

Юрий Владимирович поднялся — внушительный, в белоснежной рубашке - заложил пальцы за упругие подтяжки, стал расхаживать по кабинету, пощелкивая подтяжками.

— Да-а... Коля, помнится, мы с вами в прошлый раз говорили о все более усиливающемся противостоянии властей и общества... о все усиливающемся несоответствии того и другого, о подтачивании, разрушении при этом самих основ государственности.

— О диссидентах, рвущихся, как вы выразились, Юрий Владимирович, к власти через демократию?

— Демократия! Что демократия, Коля. Я, может быть, первый за нее.

И Юрий Владимирович с усмешкой остановился перед Яковлевым, и вяло поднял руки, демонстрируя нечто неопределенное.

— Демократия — блеф! Ибо их деятельность при этом приведет неизбежно к развалу традиционной российской государственности, так уже было; было, Коля...

— В семнадцатом?

— Ну, что вы, Коля, задолго, задолго до семнадцатого. Вы ж наверняка читали переписку Ивана Грозного с Курбским... <<Князь... продал тело за душу, ты ради тела погубил душу, ради славы мимотекущая приобрел бесславие, и не на человека озлобился, а на Бога восстал...>> Помните — так обличал Иван Грозный первого нашего диссидента, да-а... я к тому, что все они такие разные, сами по себе, отнюдь, не злодеи. Я встречался со многими и не раз убеждался, что за редким исключением, вполне... нормальные, интеллигентные даже, добрые семьянины, сентиментальные даже... а многие просто талантливые... нет, не злодеи... за редким исключением, но! Но в обстановке все усиливающегося противостояния двух мировых систем... — не усмехайтесь, не усмехайтесь, Коля, так оно и есть... так вот, все эти люди,

вольно или невольно, содействуют, играют на руку нашим недоброжелателям. Да попросту открывают дверь для вмешательства Запада в наши сугубо внутренние дела.

— А это уже идейное сползание, это самая настоящая анархия нашей духовной жизни. И если ее вовремя не остановить, обязательно разрушит все то, что с таким трудом за полвека построено. То, что отстояли мы в страшной войне. Вы, конечно, читали <<Август четырнадцатого>> Солженицына?

— Разумеется.

— Ну и...

— С точки зрения историка, Юрий Владимирович, столь малая осведомленность автора в избранной теме — вопиющая!

— Согласен. А эта истерика недоучек после ее публикации?

— Весьма позабавила меня как историка.

— Вот-вот, позабавила! А ведь эта книга — злой пасквиль на Россию, на ее народ... да вон же у меня на столе книга Барбары Токман <<Августовские пушки>>, отличное предисловие вы к ней написали, только почему под псевдонимом? Впрочем, ваше дело. Так вот — посмотрите: зарубежные исследователи к России более объективны, более доброжелательны... а тут... казалось бы, свой... русопят до моз. а костей... а так поганит... своих солдат, своих офицеров... народ... Ну, а если учесть, что автор талантлив, то это уже... это же бомба, а? Почтище сахаровской... Это же — знамя в руках диссидентов. И знамя это надо бы выбить у них из рук. Понимаете?

— Не очень... нет, честно — не очень, Юрий Владимирович.

— Эх, Коля, Коля... чего тут не понять, вы ж историк от бога. Вот вы и должны написать свой <<Август четырнадцатого>>, понимаете — свой! Противопоставить этой фальшивке добротное историческое повествование... показывающее Россию совсем другой... все материалы, все архивы, естественно, в вашем распоряжении... Посадить, как Синявского, как Даниэля — это, Коля, не выход, это от нашей слабости

только. А вот ответить ударом на удар! — Андропов хлестко ударил кулаком по ладони, сверкнув холодными глазами, продолжая улыбаться при этом так странно. — Да, да — ответить по-цивилизованному, разумеется, как и призывает нас Запад... это - да! Да так ответить, чтоб навсегда у них из рук выпало лживое знамя. Беретесь? Напишете? А?

— Не знаю... попробовать можно, — поежился Яковлев под этой странной улыбкой, так и не сошедшей с лица Андропова, глаза которого не просто стали серьезными, а словно бы все больше раскалялись.

— А мы бы постарались и насчет тиража, и насчет распространения... по всем областям, по всем республикам... ну, и на зарубеж, конечно... Понимаете, Коля, нам собрать надо лучшие духовные силы. Собрать и противопоставить диссидентству наши веские резоны... а иначе это сползание в анархию создаст такой идеологический хаос, что и последствия представить невозможно. Да все развалится, камня на камне не останется!

— Трудновато, Юрий Владимирович. Сахаров, Солженицын... одни имена что значат, так сказать, сам цвет интеллигенции нашей.

— Вот именно, вот именно... сущность нашей интеллигенции — держать в кармане кукиш против всякой власти... ну, а от кукиша не жди, брат, мякиша... И только лучшие представители — Достоевский, Шолохов, Горький... преодолевали как-то этот порог неполноценности, не без труда, через тюрьмы, каторги, но преодолевали и в конце концов дорастали до ощущения не просто квасного патриотизма, как у этих... солженицыных, а дорастали до государственного, державного патриотизма, масштабной гордости за свою небывалую страну, за свой необычный народ... гордости за страну, несмотря ни на что! Вы понимаете, Коля, — несмотря ни на что! Культ, репрессии - прочее, прочее — все ведь это в сравнении с этой великой гордостью — ничто... Ну, так как, Николай Николаевич, беретесь за <<Август>>?

— Трудновато, Юрий Владимирович...

— Не боги горшки обжигают. Представляете: они нам — <<Август четырнадцатого>>, а мы им — наш собственный <<Август..>> Они нам — абстракционистов, а мы им — передвижников; грешным делом, люблю передвижников, есть в них что-то непередаваемое... грусть какая-то хорошая... люблю... Удар на удар! А? Они по разным там голосам снова вой поднимут о наших шпионах, а мы им серьезный труд, с архивными документами про ЦРУ... а? Да так и озаглавить можно: <<ЦРУ против СССР>> Ну и заткнутся сразу эти голоса. А? На равных... тогда ведь и не понадобятся больше ни тюрьмы, ни ссылки...

— Ни психушки.

— А вот это прием запрещенный, это, Коля, ниже пояса, — Юрий Владимирович погрозил пальцем, — нет, здесь не все так просто, как вам кажется. Дело в том, что многие из них, процентов на тридцать-сорок наверняка нуждаются в серьезном психиатрическом лечении... да, да, не усмехайтесь, не усмехайтесь... Понимаете, если окинуть единым взглядом все наше диссидентство — от известных писателей, академиков, поэтов и по нисходящей проследить до самого низа... скажем, до той же патологической диссидентки Новодворянской... до какого-нибудь там... Вонючки Мангышлета...

— До кого, до кого?

— Да есть тут один... по Пятому управлению под этим именем проходит... всех <<вонючками>> называет.

— А зачем?

— Вот, вот — зачем? Сначала думали — нигилизм, отрицание, то есть, обыкновенная интеллигентская негативность ко всему, что исходит от власти, от государства. Думали, что обычный диссидент, не трогали... а потом, когда уж всякие пределы превзошел, пришлось в лечебницу отправить... наблюдаем — все-таки интересно четко установить: где у таких людей кончается идейная кастовая убежденность, где начинается элементарная патология. Ведь в этом случае — не наказывать надо, а просто лечить. Как лечат всякую патологию. А в принципе...

Андропов уже сидел в кресле, сцепив руки на животе, крутил большими пальцами, вертел ими то в одну, то в другую сторону. Чувствовалось, что эти мысли, эти слова не раз и не два произносились им в другой обстановке, они настолько уже продуманы, накатаны, что сейчас поневоле приходится сдерживать себя.

— А в принципе, они все страдают мазохистским комплексом. Не так ярко, как пишете вы в записке о Гитлере, но в разной степени — все! Да вы возьмите эту Новодворянскую — для нее же неопишемое удовольствие, когда на демонстрации ее хватают, в <<воронки>> запихивают... Ну, а если при этом кто-то даст подзатыльник, чтоб не упиралась, так она же счастлива потом полгода... И Вонючка Мангышлет точно такой же — его долго не брали, так бедняга извелся весь, уж не знал, кого бы еще <<вонючкой>> обозвать ... кажется, всех обозвал, а всё не берут... на землю упал, кататься, камни грызть начал, только тогда в смирительной рубашке оказался. Знаете, о ком-то говорится, человек в рубашке, мол, родился. А этому на роду было написано родиться в смирительной. Потому как от рождения болен. Вот полжизни и прожил, и все тосковал, бедняга. Наконец дождался все же — надели рубашку... смирительную. А как надели — успокоился сразу, сразу и в себя пришел.

— В себя пришел?

— Ну, разумеется, условно... Вы же знаете, что интеллект у таких почти что на нуле, так что...

— Ну с этими, Юрий Владимирович, все более или мене ясно, а как быть с большими писателями, академиками... ведь личности, ведь масштаб совсем другой.

— Вот, вот... масштаб другой... и только... а мазохизм-то все тот же, все тот же, Коля. Просто он принимает здесь другие формы. Мелочь себя раздирает, себя дерьмом мажет. Ну, а эти ассоциируют себя со всей страной, ни больше ни меньше... со всем народом, ку-уда там... академики! Уже чисто внутренне себя и вычленили не могут, их мазохизм уже в масштабе страны проявляется, страну дерьмом мажут...

После разговора с Яковлевым был в приподнятом настроении. Что-то насвистывая или мурлыкая, стал еще раз пробежать его записку, отдельные абзацы стал синим карандашом обводить.

Он полюбил работать по вечерам, после шести, вот так, как сейчас, когда в огромном здании на Лубянке ощутимо спадало дневное многоликое напряжение. Остаются лишь ночные службы. Вот тогда не спеша проходит он обезлюдившим коридором, разминаясь слегка, выпивает стакан боржоми и с удовольствием усаживается за стол. Теперь уж часов до девяти-десяти.

В этот декабрьский вечер 73-го он достает наброски давно откладываемой статьи о диссидентстве и решительно зачеркивает заголовок: <<От декабристов и до наших дней>>. Заголовок нравится. Особенно удачна метафора под этот заголовок уже в самой статье о цветке <<декабристе>>, который цветет в нарушение всех законов в декабре. Но заголовок не подходит. Не время. А жаль. Юрий Владимирович пытается спасти заголовок, пробует написать справа сбоку эпиграф — ленинские слова о декабристах, о том, как далеки они от народа. И некоторое время разглядывает, склонив голову набок. Нет, и эпиграф не спасает заголовка.

Теперь ему казалось, что не просто законное безвременье тому причина, а более объективные есть обстоятельства. Ведь, строго говоря, инакомыслие наше началось далеко задолго до декабристов. С Радищева еще. О котором Екатерина писала: <<Бунтовщик страшнее Пугачева>>. И тотчас мелькнула картинка из детства, из какой-то детской книжки. В огромной клетке, весь в цепях, в каком-то балахоне сидит человек, остриженный под котелок. У человека лицо-маска, дуги бровей как кандалы и такое же кандалное выражение всей сути, которая прячется под балахоном.

В таком прекрасном детстве, о котором с годами вспоминается все чаще, в их зеленый уютный городок

изредка приезжал цирк, а иногда — зверинец. И тогда наступал праздник. Папа, высокий представительный, всеми уважаемый телеграфист железнодорожной станции, брал за руку маленького Юру и вел тенистыми кипарисовыми аллеями в цирк или зверинец. Было очень интересно, очень познавательно. И в то же время жаль было обезьян в клетках. И вот Пугачев, под котелок подстриженный, сидит в клетке. Навсегда осталось ощущение страшной силы, свободно сочащейся через толстые прутья клетки. Потом у Пушкина он прочтет о другом Пугачеве, но и тот первый, кандалный, останется навсегда.

А читать выучился рано, лет в пять, наверное... Отец научил и читать, и в шахматы играть. От матери пришла музыкальность, любовь к пению, к стихам...

Нет, статья не заладилась. Не хватало какого-то обобщающего момента, общего знаменателя, к которому можно свести сегодняшнее диссидентство. Понятно, что это не Сахаров и не Солженицын. И даже не диссиденты времен Хрущева — Даниэль и Синявский. Юрий Владимирович читал их книги. И пусть это — как говорил Ильич — «щекотка пяток обывателю», все-таки они личности... А сегодняшний... как это Иван Петрович назвал — Блендер — да, да — в сегодняшнем явно есть что-то бледно-манерное, худосочное. Но вот какой он все же на сегодня? Ведь от этого напрямую зависит адекватность ответных действий...

Нет, статья не получалась. Расхаживая по кабинету, на портрет Дзержинского поглядывая, вспомнил как недавно в программе «Время» показывали самолет, захваченный террористами, момент, когда они выбрасывают из самолета очередной труп убитого. И, понимая, что это уже убитый, мертвец уже... почему же так кольнуло тогда ощущение чужой боли при ударе о землю тела, сбрасываемого с большой-таки высоты. Откуда это болезненное ощущение под самым сердцем... Возможно, реликт инстинкта... Или это уже полумысль-полупрозрение. Например, что ему, мертвецу то есть, все-таки на самом деле больно... «Тятя, тятя, — пришло вдруг на ум, — наши сети

притащили мертвеца...>> А на самом деле, кто скажет, почему в грамматике <<мертвец>> склоняется по законам одушевленного существа. Если же это будет <<труп>> — то и склонение будет по другим законам. Вот, даже в грамматике есть четкое разделение того и другого... а в нем самом, жизнь почти прожившем, только болезненное ощущение, только укол-предупреждение... Но ведь, действительно, три дня не хоронят, три дня считается, что это еще не труп, что — это еще... что-то другое... «Тятя, тятя, наши сети... — стал в рифму барабанить пальцами о край стола, — тятя, тятя...>>

Лет с трех-четырех уже хорошо все помнит. Как-то внезапно обнаруживает себя в мире. И мир этот ласковый такой, уютный. На новогодней елке яркие игрушки, пахнет чем-то вкусным, мама нажимает черно-белые клавиши, что-то веселое играет, а маленький Юра пританцовывает, хлопает в ладоши. И за это получает сладкий пряник.

Или помнит, как ждет, в окно выглядывает — скоро ли придет папа. И тогда уж они с ним усядутся на целый вечер разглядывать книжку с картинками... Уютный свет настольной лампы. Массивные часы отбивают час за часом. Скатерть на столе с бахромой. И эта прекрасная книга с такими твердыми страницами... непередаваемый запах этих старинных, тисненых золотом фолиантов, где скрывается столько разных тайн... Где живет Али-Баба и его сорок разбойников, где сражается отважный рыцарь Айвенго, где такой мудрый следопыт Могикан борется против злобы и коварства...

Пройдут года и десятилетия, но этот волнующий запах пыльных фолиантов останется с ним навсегда. Навсегда останутся и герои первых книжек. Навсегда останется страсть к чтению. По сути, так и не будет у него по-настоящему верных друзей, настоящего верного друга, которому можно бы было открыться до конца. И, когда в суровые сороковые возглавит в Карелии подпольное движение и надо будет зашифровать свое имя, он выберет не колеблясь

<<Могикан>>. А вернее, надо бы ему назваться <<Последний из Могикан>>, потому что Андропов и на самом деле окажется последним в той самобытной плеяде царей-вождей, которые были достойны российского трона...

Но это все в будущем, а пока - детство, где так ласково, так уютно живет этому светловолосому круглолицему мальчику.

По всем признакам — это благополучная интеллигентная семья. Где вырастают такие же благополучные интеллигентные дети. Но тут вмешиваются две страшные силы. А может быть, и всего одна — рок! Умирает от тифа отец. И словно бы с треском распахнули окна — мир уютный, ласковый стремительно расширяется. Непонятные слова — революция, война — обнаруживают свой странный, страшный смысл. На их станцию прибывает санитарный поезд, и они все почему-то торопятся к нему. А там — безрукие, безногие, в бинтах, на костылях... И страшно, и жалко до слез, и непонятно... Но это и есть, оказывается, война... революция...

К смерти отца он так и не привык. Когда же через несколько лет умерла от туберкулеза и мать, совсем в себя ушел, замкнулся. Полюбил одинокие вечера где-то на берегу пруда или реки, когда можно, ни о чем не думая, сидеть, глядеть на воду и само собой обыкновенные слова начинают слагаться вдруг в стихи: <<Течет вода... куда — не знаю...>> — волнение накачивает тяжело-радостной волной, дышать становится труднее... а строчка к строчке так и лепится, так и цепляется...

*Течет вода,
Куда — не знаю,
Идет беда,
За ней — другая,
Корабль отходит от причала,
Но человек — всему начало...*

Как хорошо, что он в этот миг совсем один, никто не мешает... а главное — никто не видит сейчас его лица.

Он заканчивает обычную фабрично-заводскую семилетку. Но детство, то, что успели заложить в него родители, уже тогда разительно выделяет его среди сверстников. Хорошо поет чуть глуховатым баритоном, играет на гитаре и мандолине, а главное — успел прочесть столько книг, столько запомнить успел, что его избирают председателем ученического комитета, он уже руководит ликвидацией безграмотности среди взрослого населения.

По вечерам на курсах ликбеза в железнодорожный клуб собираются домохозяйки, прислуга, черно-рабочие, кочегары, землекопы. Они водят негнушми-ся, потемневшими пальцами по слогам слов и хором повторяют: <<Мы не ра-бы... ра-бы-не-мы...>> А Юрий Андропов, долговязый нескладный подросток четырнадцати лет от роду, уже не без внутреннего достоинства прохаживается мимо столов, за которыми тесно сидят люди. На столах белеют буквари с этими эпохальными, впервые прочитанными словами: <<Мы не рабы, рабы — не мы!>>

В 30-м вступил в комсомол, все так естественно. Стала все больше и больше проглядывать, определяться в его жизни общественная струя, судьба молодежного организатора, комсомольского вожака. Судя по всему, открывались перспективы немалые. А душа просила другого. Непонятно было, чего душа просила.

Некоторое время он работает в Моздоке кинемехаником. Крутит фильмы, в основном немые. Летом в Моздоке жарко, пыльно. Хотелось уехать куда-то далеко-далеко. И тут, словно бы кто услышал, прочитал в газете объявление, что в Рыбинске в речное училище объявлен набор. Не раздумывая, поехал поступать. Оказывается, он ведь всегда и мечтал стать капитаном, крутить штурвал, хриплым басом командовать: <<Лево руля! Полный вперед!>> Было ему тогда семнадцать лет.

Старинный волжский город Рыбинск встретил приветливо. Зеленый ветреный берег, высоченные колокольни, мощные улицы и, конечно, неоглядная

полноводная Волга. Каким же маленьким выглядит в ее неоглядно-синем просторе тихоход-буксир!

Поселился в общежитии. В комнате, кроме него, еще два курсанта — Цветков и Поярков. Ребята хорошие. Но уж очень какие-то несерьезные. Это Цветков тогда бросил химичке на стол камушек.

Они в тот день с утра были на Волге. Бродили по берегу, строили планы, мечтали, какими будут капитанами, поплывут куда. Ну и, как всегда, искали плоские камушки, чтобы, понижэ пригнувшись, зашвырнуть подальше и быстро считать: <<Раз, два, три...>> — сколько <<блинов>> сделает твой камень. Вот у Цветкова и остался в кармане один, розоватый, плоский, круглый, как блин. Он и швырнул его на стол.

Надежда Евдокимовна возмутилась:

<<Кто это сделал?>>

Все молчат, понятно.

<<Я не буду продолжать урок, пока не признается тот, кто это сделал>>.

В классе тишина. Лицо у Надежды Евдокимовны все больше покрывается красными пятнами. А Цветков, тот вообще покраснел как рак. При этом так сжал губы, что нет никакой надежды, что признается.

И вот ситуация — сейчас Надежда Евдокимовна хлопнет дверь, вызовет начальника училища, парторга, заварится такая каша, что не поздоровится не только Цветкову. А Надежда Евдокимовна и сама не рада. Потому что пути назад нет. Продолжать урок она не может — сама сказала. Признаваться никто не хочет. Значит, ничего не поделаешь — надо идти к начальнику, значит, кого-то будут исключать.

И тогда встает Юрий Андропов, встает и спокойным, чуть глуховатым голосом говорит:

<<Надежда Евдокимовна, пожалуйста, продолжайте урок. А мы потом сами во всем разберемся>>.

Разумеется, что потом, после урока, всем классом было нетрудно уговорить Цветкова подойти к химичке и извиниться. Что он тут же и сделал. Инцидент был исчерпан. Андропов же после этого стал комсоргом. Помнится, каких-то даже споров на этот

счет не возникло. Так естественно он стал у них комсоргом.

И вот так, с одной стороны — как на старой фотографии той пары — морская фуражка набекрень, брюки клеш, душа нараспашку, походка вразвалочку, как у бывалого морского волка, а с другой — комсорг он, опять вожак, организатор... И пока совсем не ясно, а что же в конце-то концов перетянет. Еще была практика, когда матросом работал на буксире, водил вниз по Волге огромные плоты. И в свою вахту часами прыгал с багром по бревнам, скользил, падал в холодную воду — опасная мужская работа.

И писал капитан Шипов письмо в училище, чтобы на следующую навигацию обязательно к нему направили курсанта Андропова, хорошим матросом курсант оказался.

И еще одну навигацию плавал он у Шипова. Уже рулевым, уже сам командовал: <<Право руля! Полный вперед!>>

Повзрослел, перечитал все книги, которые были в библиотеке училища, записался в городскую. Но пока не был там ни разу. Потому что влюбился в длинноногую волейболистку Нину. Нина была капитаном сборной по волейболу. Учится на том же курсе, живет в женском общежитии, на втором этаже, крайнее окно — ее. Майский вечер, терпкий запах тополиных клейких листьев, все окна настежь, и можно букет цветов просто забросить через открытое окно. В каждом букете — новые стихи. На этот раз: <<Куда б ни шел, куда б ни ехал — вновь я стою у твоего окна...>>

В 35-м поженились, в 36-м родилась дочь, назвали Евгенией. Дали комнату в семейном общежитии...

Еще была возможность после училища вернуть руль все же туда, куда звали какие-то тонкие, заповедные струны души... где звезды, волны, диковинные страны... верные друзья, стихи — куда-то далеко, далеко... — мир, завещанный родителями, маминой музыкой, папиными книжками. Еще нет-нет да и душа откликается на это — дочь назвал в честь

матери Евгенией, сына — Владимиром, в честь отца. Но судьба уже все больше определялась. Тем более что застудил почки, в военкомате на медкомиссии сделали заключение — к военной службе непригоден. Так что... так что ничего не оставалось, как по рекомендации обкома комсомола перебираться в Ярославль и начинать в обкоме. А вернее, до рекомендации его уже заметил 1-й секретарь обкома партии Зимин, уж очень лихо комсорг из Рыбинска выступал с разоблачением троцкистов-двурушников. Заметил и понял, что такой человек не для Рыбинска. Начал с маленькой должности инструктора обкома по работе со студенческой молодежью.

Да, начинал скромно, звезд с неба не хватал, о том, где он сейчас находится, об этом кабинете с портретом <<железного Феликса>>, и думать не думал...

Со вздохом поднимается, идет в приемную, тяжело на стул опускается:

— Как жизнь, Володя?

— Да вот в баню, Юрий Владимирович, собираемся...

Дежурный Володя Манякин, как всегда, деловит, подтянут. Дисциплинирован. И в то же время у Манякина довольно широк диапазон собственных действий. Разумеется, в рамках дозволенного, но свой собственный творческий диапазон. Юрию Владимировичу нравятся такие люди... Службе чекиста предан беспредельно. Пришел в отдел писем на мизерный оклад.

После смерти Хрущева боялись провокаций и организовали у могилы постоянное дежурство. Какая-то странная старуха в черном стала ходить на могилу. Приходила и часами обихаживала, просеивала каждый камушек на могиле. Один Манякин тогда обратил внимание, после дежурства проводил до дому, порасспросил по-человечески и узнал, что был человек осужден невинно, друзья отвернулись, десять лет в лагерях и так бы и ходить с несмываемым пятном, если б не Хрущев... Конечно, процесс реабилитации, начатый Хрущевым, идет и сейчас. Но ведь немного

таких, как Манякин, которые за процессом видят отдельного человека, какую-нибудь старуху в черном...

В прошлом году случилась у Манякина беда — мать попала под растрату. В кабинет зашел подавленный, лица нет, так, мол, и так, Юрий Владимирович, дают три года... условно... По-хорошему-то надо было увольнять из органов, Юрий Владимирович оставил. Потому что такие, как Манякин, хоть и не совсем вписываются, не совсем отвечают общей расхожести, но именно они являются хранителями необходимой какой-то чистоты, принципиальности, — собственно, того, что и отличает чекиста от милиционера.

Вспомнилось далекое время, когда в Ярославле исключали из комсомола студентку Попкову. И два сотрудника НКВД отказывались дать на нее показания. Да, ее муж был репрессирован как враг народа. Но дело в том, что поженились они всего месяц назад. До этого друг друга не знали. И вот на этом основании НКВД не хотел давать показаний на эту Попкову. Пришлось писать в Москву о том, что НКВД прикрывает... волокиты, помнится, было много... прежде чем исключили Попкову из комсомола и из техникума... Так что во все времена были люди... как там у Дзержинского <<с горячим сердцем и чистыми руками>>... Манякин — один из них. Юрий Владимирович почти по-отцовски относится к нему, Манякин платит такой же доверительностью... конечно, выдерживая разумную дистанцию при этом.

— Да, Володя, баня — дело хорошее...

— Ну, а после баньки, Юрий Владимирович, само собой и по рюмке.

— И это дело хорошее... после баньки...

— А пальтишечко-то, Юрий Владимирович, пора бы сменить, смотрите, как воротник протерся... блестит, а?

— А кому это видно, Володя? Это пока оно здесь в приемной висит — видно. А так — я в нем в машину да из машины... вот и все... как там матушка поживает?

— Каждый раз свечку за вас в церкви ставит.

— Хм... гм... ладно, пойду поработаю...

Он возвращается в кабинет, еще раз пытается писать статью. Желание пропало окончательно... Вот в этом кресле, справа в последний раз сидел Сахаров. Часа два проговорили. Не договорились. Жаль...

Впечатление от разговора осталось странное, диковатое даже. Академик, трижды Герой соцтруда, а голосок тонкий, идущий из каких-то глубин... отрывистый, неуверенный, и в то же время эта абсолютная убежденность в необходимости мирового правительства, в необходимости конвергенции капитализма и социализма. Системы, по мнению Сахарова, сыграли вничью, или, как он выразился вполне по-американски, сыграли <<фифти-фифти>>. Он имел в виду, что бомба есть и у нас, и у них. Ах, если бы эта ничья определялась лишь бомбами! Но ведь Сахаров о другом не хочет слышать, ничего другого, кроме бомбы, понимать не желает. А поэтому и конвергенция, поэтому и мировое правительство... как единственная возможность избежать термоядерного конфликта. И все это высказывает честно, убежденно, страх перед возможной термоядерной катастрофой в нем самый настоящий. Страх и за Америку, и за нас. Двойной... Но ведь в одной половине этого страха, как ни верти, повинен сам академик. Петр Леонидович Капица — другой академик - наотрез ведь отказался принять участие в создании бомбы. И даже какое-то время находился под домашним арестом у себя на даче на Николиной Горе... Да, отказался — не хотел страх удваивать. А этот согласился, и вот теперь вдвойне переживает, о конвергенции мечтает, о мировом правительстве. Да чушь все это... бомба - неправдоподобно — шаткое основание для этого...

С этими бомбами много неясного. Нильс Бор еще в 1944 году посетил Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, долго уговаривал обоих открыть секрет бомбы русским. Чтобы в зародыше подавить саму возможность ядерного состязания. Позднее неплохо в этом же направлении поработал руководитель Манхэттенского проекта Роберт Юлиус Оппенгеймер, сознательно тормозя создание водородной бомбы, предложенной Эдвардом Теллером...

Вот так тогда появилась она и у нас. Ее несчастный создатель сидит в кресле справа и тонким голоском рассуждает о мировом правительстве. И никакие доводы о том, что бомба для этого слабое основание, что капитализм при этом проглотит социализм, что <<фифти-фифти>> никогда не получится, на академика не производят никакого впечатления. Только голосок становится еще тоньше: <<А вы знаете, Юрий Владимирович, как прекрасно пахнет после взрыва бомбы воздух! Это же сплошной озон! Это нечто... невероятное... суцая амбра!>> — сухонькими, какими-то академическими пальчиками нащупывает, берет что-то из воздуха, к носу подносит, с блаженством вдыхает... но воля-то, воля-то при этой блаженной улыбке железная, уверенность... обреченная какая-то... Еще бы- такаяй крест взвалить на себя! Будет, будет писать, выступать, людей будет собирать... деваться ему некуда... Не договорились. А жаль...

Да, жаль... придется отправлять в ссылку... в Арзамас или в Нижний Новгород... в провинцию. А Солженицына — это уже согласовано — за рубеж. 12 февраля 1974 года он будет выслан. А чтоб на Западе не поднимали много шума, можно, разрешить свободно выехать какому-нибудь другому писателю, скажем, тому же Максимову. И если это все устроить одним днем — 12 февраля — впечатление будет смазано. То есть не только запрещаем, но и разрешаем. Рвется за рубеж Максимов — скатертью дорога.

Высылая Солженицына за рубеж, а Сахарова в Нижний Новгород, Юрий Владимирович ничего нового не изобретал. Вся хитрость была в том, что почвенника Солженицына от почвы отрывали. А демократа Сахарова, ученого Сахарова отрывали от Москвы, от связей с границей, от всех контактов. Юрий Владимирович понимал, что этим будет покончено с одним как с писателем, а с другим — как с ученым.

Один изобрел водородную бомбу, другой — идеологическую. Ирония судьбы, что обоим в свое время помогли Органы. Одного, упрятав в лагерь, обеспечили на всю жизнь гулаговским материалом.

Второму дали с избытком пленных немецких физиков, специалистов по термоядерному синтезу, снабдили архисекретными материалами Манхэттенского проекта. Да что там — когда понадобилось практически реализовать <<изделие>>, мощно и сверхщедро подключили тот же Архипелаг Гулаг во главе с самим Берия.

Шло время, и Солженицына, конечно, прочитал от корки и до корки. Система, по крайней мере, одна из могучих составляющих, встает со страниц его произведений впечатляюще. На <<Август четырнадцатого>> Яковлев ответит собственным <<Августом...>> — уже пишет. И судя по всему, неплохой ответ получится. Что же касается <<Архипелага...>>, то здесь Солженицын, как та унтер-офицера жена, сам себя выпорол. Если внимательно прочесть <<Архипелаг>>, то Система встает с такой потрясающей эпичностью, с такой величавой державностью, что трагедия вырастает до какого-то философского обобщения. И за этим оптимистическим обобщением у непредвзятого человека волей-неволей встает и вторая составляющая всякой Системы — созидательная! Ибо никакая Система на одном разрушении существовать не может. И вот эта вторая составляющая — от великих строек коммунизма и до великой победы над фашизмом, от колхозов, трудкоммун до бесплатной медицины, всеобщей образованности, от наших завоеваний в Космосе до завоеваний в музыке, балете, спорте — все это до того убедительно просвечивает через весь солженицынский <<Архипелаг...>>, что у Юрия Владимировича невольно шевельнулось нечто благодарное в адрес писателя — талант!

А началось, разумеется, все с Хрущева еще, с <<Одного дня Ивана Денисовича>>.

Да и все диссидентство наше с Хрущева началось, с разоблачения культа, с лозунгов <<Догнать Америку!>> Одно дело, когда <<Армия наша — всех сильнее!>> и <<Будем бить врага на его территории!>> И совсем другое дело, когда надо кого-то догонять, когда отставание налицо, неполноценность наша налицо! Когда-то вот так же Ленин ударил нэпом

по слабым душам и умам. И кто-то не выдержал, посчитал это предательством, с собой покончил. Своеобразным предательством со стороны Хрущева было это внедрение в сознание людей глобальной нашей неполноценности. С самой высокой трибуны он дважды, трижды, бесконечное число раз подрубал наши незыблемые корни, — разрушая культ, разрушил всеобщее убеждение, что мы единственные на весь мир — самые, самые — <<выше всех, быстрее всех, сильнее всех...>>

Долой, долой монахов,
Долой, долой попов...

Хорошо помнит, как пели курсантами, когда проплывали звездной ночью на буксире мимо полуразрушенного Толгского монастыря, что под Ярославлем. На палубе весело приплясывали и молодыми здоровыми глотками орали на всю Волгу:

Залезем мы на небо,
Разгоним всех богов!

Вот мы какие!

Понятно, что все это было лишь красивым мифом. Но мифы трогать опасно. Микробы неверия, микробы ущемленности, ущербности уже забродили, уже стала с Хрущева готовиться антигосударственная закваска будущего диссидентства.

Ну, разумеется, отдельные представители интеллигенции всегда знали, что мы отстаем не только от Америки, но и от Англии, Японии. И что армия наша не сильнее американской. Да и в общем и целом мы далеко не <<самые-самые>>, как день и ночь пишут газеты, вещает радио и телевидение. Но ведь эти отдельные представители как раз и не в счет. Потому что в массе, в народе в целом-то господствовало позитивистское отношение к строю, к истории страны. И это в целом позитивистское настроение было до Хрущева всеподавляющим и, в общем-то, незыблемым. Несомненно, существовала в народе эта мифологическая установка на здоровье нации. Хрущев одним махом подрубил ее.

Потом и сам был не рад. На выставке авангардистов в самую настоящую истерику впал. Над Сивявским и Даниэлем показательный процесс устроил.

Но было поздно. Джинн разрушения, джинн нигилизма, цинично отрицающий, осуждающий все и вся, — был выпущен на волю.

Одни тут же расчетливо и злобно стали все хаять. А почему бы и нет, если с самой высокой трибуны заявлено, что в Америке лучше, сытнее, богаче. Вот и взошла, зазеленела эта беспочвенная космополитическая интеллигенция. Для нее все привлекательнее становится этот запретный плод — Америка...

Именно с этого страшного разрушения нашей мифологической веры в непогрешимость царя-батюшки, в отца-защитника родного, когда-то в 14-м году началось повальное брожение на фронтах, закончившееся революцией. Теперь это брожение, эта закваска готовит нечто похуже. Если, конечно, не удастся перехватить ее вовремя, в нужное русло направить.

Это все самоочевидно, это все происходит на поверхности, на уровне сознания.

Но разрушение мифологии ударило и по более тонким сферам, на генном, на подсознательном уровне. Как-то исподволь возникла другая группа диссидентов... Новодворянская, Вонючка Мангышлет... Анка-пулеметчица, вернее дочь ее... в принципе-то невинных, поскольку это просто-напросто больные люди... Эти люди не смогли справиться с резким разрушением мифологического сознания, стали спонтанно произносить какие-то странные, порою страшные слова... И попадали в психушки наряду с сознательными идейными диссидентами... Это уж потом четко определилось, кто есть кто. Это уже, годы спустя, Юрий Владимирович пришел к мысли в рамках Пятого управления создать специальную Лабораторию Z-2. Для систематизации наблюдений за этими странными людьми.

Ну, а сами психобольницы, куда помещают диссидентов, начались не при нем, конечно, и даже не при Брежневе. При Хрущеве еще. Международная организация психиатров при нем, при Хрущеве, исключила СССР из своих рядов. Повод наверняка был. Но Юрий Владимирович, уверен, что не все

здесь так просто, не все так однозначно, как правозащитники хотят всем представить.

Звонил Громыко, озабоченно спрашивал:

— Слышал, Картер продолжает носиться с нашими диссидентами? Не успели мы выпустить Буковского, прием ему оказывает на высшем уровне... телеграммы шлет.

— Да то, Андрей Андреевич, поляк воду мутит.

— Бжезинский?

— А то кто же СССР ненавидит с пеной у рта.

— Знаешь, мы тут с Леонидом Ильичом посоветовались... пора меры принимать.

— Пора, Андрей Андреевич.

— Ну и...

— Так ведь список еще когда обкатывали, еще при Никсоне — Орлов, Щаранский, Гинзбург — всё те же, всё те же...

— Я, может быть, завтра часиков в десять, Юрий Владимирович, к вам загляну.

— Ну что вам беспокоиться, Андрей Андреевич, завтра ровно в десять я буду в МИДе.

Звонил Суслов.

— Двенадцатый час ночи... хе-хе-хе... — раздавался дребезжаще-бодрый сусловский смешок, который ни с кем не спутаешь, — где же еще быть в столь поздний час нашему <<недремлющему оку>>... — жена-то небось заждалась?

— Работы много, Михаил Андреевич... а жена... жена привыкла.

— Слышал, Картер академикам нашим телеграммы рассылает, бывших эзков наших с помпой принимает.

— Очередная пропагандистская дешевка, Михаил Андреевич.

— Теперь истерика на весь мир пойдет.

— Чем больше они истерику закатывают, тем хуже для них... вернее, для тех, кого собираются они защищать...

Да, с Никсоном ушла недолгая эпоха разрядки. В которую Юрий Владимирович никогда серьезно не верил. Он считал, что для этого не наступило время, не наступило это <<фифти- фифти>>, о котором здесь в кабинете тоненьким голоском звенел когда-то академик. Экономическое отставание, технологическое отставание... по существу, кроме бомбы, и нечем ответить на равных. Книг, которые бы достойно нейтрализовали того же Солженицына, того же Бродского, — и тех нет пока.

Разрядка при Никсоне усыпила, расслабила, связала по рукам и ногам. Вон и израильскую агрессию против Палестины прозевали — уничтожены наши МИГи, не успели даже и взлететь. Позор!

Ну, да это, может, и к лучшему. Можно уже и раскрепоститься, можно уже и поприжать крикунов-то... список давно готов. Можно издать наконец-то хорошую книгу Николая Яковлева: <<ЦРУ против СССР>>. При Никсоне издать никак было нельзя — разрядка же. А теперь после этих картеровских демаршей с нашими диссидентами — срочно издавать надо. Так что нет худа без добра. Пора оглянуться.

Вот так мысленно оглянешься — и кажется, что в стране всё по-прежнему. Пятилетки выполняются, в космос летаем... Косыгин в Китае недавно побывал, с Чжоу Энь-лаем о перемирии договорился. И его собственный комитет не даром хлеб ест — летом 70-го арестовали угонщиков самолета, двенадцать человек... в основном евреи... И сразу всплеск русского национализма... принимать меры или уж оставить, как есть?

Русский национализм, конечно же, закономерная реакция на национализм окраин... года на три, на четыре русские здесь запаздывают, на окраинах-то национализм всюду идет.

Гейдар Алиев, возглавляющий КГБ Азербайджана, уже ведет борьбу с национализмом. В соседней Грузии министр внутренних дел Шеварднадзе борьбу ведет. Но ведь таких непоколебимых интернационалистов, как эти двое, раз-два и обчелся. Разу-

меется, есть надежные люди и в Армении, и в Прибалтике. Но эти двое выделяются из всех. Яркие личности. Алиев прошел школу СМЕРШа, с юных лет с оружием не расстается. Эдуард Шеварднадзе — ему под стать. Оба энергичные, исполнительные, а честолюбия хватит на десятерых. На этих можно опереться, не подведут. А кто еще?

В первую очередь Дмитрий Устинов — военный министр. Дмитрий Федорович, несомненно, представляет военную элиту. Но к национал-патриотам прохладно относится. Поэтому далеко не простые отношения у министра с армейской верхушкой. Разумеется, по долгу службы министр Устинов корректно строит свои отношения и с маршалом Чуйковым, и с генералом Епишевым — начальником Главного политического управления. И, конечно, никогда не пойдет на конфликт с начальником Генерального штаба маршалом Огарковым. А именно эти трое и возглавляют в армии национал-патриотизм. К ним, пожалуй, можно добавить и Куликова — командующего всеми армиями Варшавского содружества. Сильна армейская верхушка! Устинов выдерживает дистанцию, нейтралитет. Верная тактика. А вот Брежнев нейтралитета не выдержал, и раз, и другой уже прошелся по поводу усиливающегося национал-патриотизма. И, пожалуйста, уже пошли по Москве слухи, что жена у Брежнева еврейка.

Источник слухов, конечно, известен. Андропову не знать ли про источник. Цвигун — его первый зам — предлагает незамедлительно принять меры. Цвигуна понять можно — он и Брежнев женаты на родных сестрах, но вот стоит ли с мерами торопиться?..

Сам ведь Брежнев на этот счет почему-то претензий пока не высказывает. Встречаясь на лестничной площадке, — а квартиры теперь рядом, у Юрия Владимировича этажом лишь выше, — Брежнев при встрече говорит о чем угодно, только не об этом. О хоккее и футболе, о скоростных машинах и охоте, о фильмах и кулинарных рецептах приготовления мяса застреленных на охоте кабанов. Так вот, словоохотливый сосед его еще ни разу не высказался о слухах.

То ли Цвигун еще не доложил, то ли сам проявляет завидную выдержку.

Перед праздником домой пораньше вернулся, девяти не было. На лестничной площадке Брежнев — вышел после ужина покурить. И, конечно, первым делом про последнюю охоту:

— Понимаешь, с первого выстрела... под лопатку... бац!... и навывлет! Нет, Андропов, тебе не понять...

— Нет, почему же, Леонид Ильич, — улыбался Юрий Владимирович взрослой улыбкой, — навывлет — это навывлет..

— Нет, ты не охотник. Знаешь, все люди делятся на охотников и земледельцев, ты — земледelec...

Как всегда, позаботился, всем разослал после удачной охоты куски свежатины. И Щелокову кусок, и Цвигуну, и Андропову... Лучше всего обвалить в перце, чесноком натереть, полить сметаной... пальчики оближешь...

Вот сосед — сам всласть живет и друзей не забывает, близких и дальних. Всем помогает, всех одаривает. Любит подарки получать, но любит и сам дарить. От всего удовольствие получает. Этому власть дана для удовольствия. Вон ведь с каким удовольствием звонит:

— В перце обвалял?

— Обвалял.

— Чесноком натер.

— Натер, натер.

— А сметаной-то, сметаной не забыл?

— Не забыл.

— Ну и как?

— Пальчики оближешь... Спасибо, Леонид Ильич.

— То-то...

Да, тут ни прибавить и ни убавить, сосед живет для удовольствия. Любит охоту, любит быструю езду, от передачи <<Клуб кинопутешественника>> — не

оторвать, бассейн любит, застолье, добрую рюмку водки, хорошую песню... Солощ.

А зачем власть ему, Андропову...

Заглянул в холодильник. Огромное блюдо истекло кровью и мясом... Может, попробовать... с хреном, со сметаной... и сразу стало из желудка вверх ползти душное, утробное, тошнотное... захлопнул поскорее дверцу холодильника. Хотелось чего-то непонятного, хотелось, чтоб и Брежнев по-прежнему радовался бы, как ребенок, нельзя же радость отнимать. Хотелось, чтоб и кабан в живых всегда оставался, гулял бы в дебрях по своим кабаньим тропам, желуди бы ел под столетним дубом. Какой-то гармонии хотелось... утопия, конечно... но ничего не мог с собой поделатъ. И тогда самое лучшее — поскорее в кресло, под мягкий свет настольной лампы, за книгу поскорее...

Глава 8

Контора Здравницы. День полочки. Возле кассы очередь, многие в белых халатах. Решительно появляется парторг Алешина.

— Где слесаря? — говорит она. — Никто слесарей не видел?

— Ну, где вы их, Кира Игнатьевна, сейчас найдете? — весело отвечают из очереди. — Зарплата же!

— Зарплата, зарплата... — энергично раздвигая очередь, Алешина заглядывает в бухгалтерию, — слесаря не заходили? — и, не дождавись ответа, хлопает дверью.

Из приемной с маленьким столиком в руках выходит Наташа — секретарша, рыхловатая, дебелая, с румянцем в обе щеки.

— А что случилось, Кира Игнатьевна? — показывая грудью, Наташа проходит в угол, где висит стенгазета.

— Да опять в кочегарке чепэ — пальцы в насосе полетели, воды горячей нет. — Алешина скрывается в приемной, начинает звонить.

— А- а... — Наташа ставит столик, усаживается, — не привыкать...

— Тебе-то что, — говорит из очереди посудомойка Волкова, — тебе и впрямь не привыкать... а помыла бы пятьсот тарелок холодной водой — узнала бы!

— А ну, девочки, профвзносики! — кричит Наташа. — Не отходя от кассы, все платим профвзносики! А ты, Волкова, не обижайся. Хочешь, помогу посуду мыть?.. Вот только профвзносы соберу...

— Заведи свою болячку, — с обидой говорит Волкова, — да и лечи ее! — Получив деньги, подходит к Наташе. — Вот, за два месяца.

— Не сердись, Волкова, — смеется Наташа, — печенку себе испортишь. Лучше здесь вот распишись, моя красавица... и здесь... да глянь поласковее.

— Ласка — не коляска! — Волкова расписывается.

Входит отдыхающий, высокий, с орденскими планками на груди, опирается на трость, верхнее утолщение которой в виде головы Мефистофеля.

— Могу я видеть главврача Медяницу? — говорит он вежливо, с заметным напряжением в голосе.

— Галина Дмитриевна, — Наташа глядит на свои золотые, — будет после обеда. А в чем дело, товарищ?

— Да как же в чем дело?! Я здесь четвертый день, и четвертый день нет процедур! То нет воды, то ржавая идет, то, как сегодня, — чуть теплая! Где главврач?!

— Я же вам русским языком объясняю, товарищ, будет после обеда. По-сле о-бе-да...

— Плакатов всяких повешали, а как работать по-нормальному, то — дудки! — И, постукивая палкой, отдыхающий уходит. — А еще лучшая здравница! Не лучшая, а худшая! Буду жаловаться!

— Испугались! Ха-ха-ха... — смеется Наташа, лишь дверь за отдыхающим закрылась. — Профвзносики, девочки, профвзносики...

Появляется невысокий худощавый человек с красной папкой под мышкой. Он пожилой уже, если не сказать — старый, но волосы, хоть и с проседью, еще густы, и сам подтянут, лицо то ли загорелое, то ли от природы такое смуглое, и поэтому многочисленные морщины не очень бросаются в глаза. Если приглядеться, возникает от человека ощущение, что это рано постаревший мальчик. Но никто, разумеется, здесь не приглядывается. Очередь гудит негромко:

— Человек за путевку сто восемьдесят отдал, хочет лечиться как следует...

— Ну и что, что сто восемьдесят... а шум из-за какой-то воды поднимать тут нечего!

— Видишь, — сует кому-то руки посудомойка Волкова, — помыла бы пятьсот тарелок, узнала бы, как без горячей!

— Профвзносики, профвзносики! — кричит Наташа.

— Простите, — к ней обращается человек с красной папкой, — я — инспектор народного контроля — Лебедев... я, собственно, по конфликту кочегаров с администрацией вашей здравницы...

— А никакого конфликта и нет, — из приемной выходит Алешина, подходит к Лебедеву очень решительно, — вы что-то путаете, уважаемый товарищ э-э-э...

— Лебедев, Лебедев Герман Петрович... вот мое удостоверение, я по жалобе кочегаров.

— Вы хотите сказать, уважаемый... — Алешина заглядывает в удостоверение, — уважаемый Герман Петрович, бывших кочегаров, которые давно здесь не работают! Избавились от них наконец-то!

— Избавились, избавились, — весело поддакивает Наташа, — никогда вовремя взносы не платили!

— Но я все же хотел бы с ними встретиться, побеседовать...

— Еще раз, уважаемый Герман Петрович, как зам. главврача по воспитательной работе офици-

ально заявляю — их нет, они больше у нас не работают. У нас теперь другие кочегары — нормальные! И поэтому у нас теперь... — озираясь и потише, — все нормально...

— Помыла бы пятьсот тарелок... — бормочет Волкова.

На нее шикают, так как появляется сама Медяница.

— Простите, — ласково говорит она, подходя к Лебедеву, — вы по какому делу, товарищ?

— По кочегарам он, по кочегарам, Галина Дмитриевна, — недовольно говорит Алешина, — из народного контроля.

— О господи! — громко вздыхает Медяница. — Уже и до народного контроля добрались! Уже, значит, и там эти склочники покоя честным людям не дают! Уже, значит, не только нам портят последние нервы, уже и до народного контроля дошли! — скорбно качает головой, глядя на Лебедева. — Это надо же... старого человека! Гонять по таким пустякам!

— Бессердечные люди! — вставляет Наташа, готовая вот-вот прыснуть в кулачок.

— А что им старый человек, Галина Дмитриевна, — говорит Алешина, — они ж отца родного не пожалеют! Садисты!

— Кира Игнатьевна, вы хоть чаем человека напоили?

— Да мы, собственно... только что познакомились с Германом Петровичем... Герман Петрович, разрешите пригласить вас...

— Нет, нет, что вы! Большое спасибо, я ведь только что из дома, — хлопает себя папочкой по животу, — так что с этим как раз все в порядке. А вот, если не трудно, книгу приказов по вашей Здравнице я бы с удовольствием посмотрел. Как?

— Книгу приказов?

— Ну да.

— К сожалению, это невозможно.

— Отчего же?

— Видите ли, Герман Петрович, — Медяница берет Лебедева за локоть, отводит в сторонку и, пони-

жив голос, продолжает: — видите ли, книга приказов в настоящее время находится в милиции.

— В милиции? А при чем тут милиция? Я чего-то не пойму.

— Видите ли, дело в том, что этой четверкой бывших кочегаров заинтересовалась милиция.... Серьезно заинтересовалась. Это ж такие люди! Вы только подумайте — бросить самовольно кочегарку! Отказаться от работы! И в такое ответственное время — в самый разгар международного фестиваля!

— Ай-ай-ай...

— А как же! Вы что — не знаете? Они же подали всей бригадой заявление об отказе работать?! Это же саботаж? Самый настоящий!

— Но, кажется, перед этим у них в кочегарке возник пожар?

— Не верьте! Ни единому слову не верьте! Герман Петрович, они что хошь наговорят! Это просто саботаж! Элементарный саботаж! Нет, вы только подумайте, — несколько театрально Медяница вскидывает красивые руки, — в нашей кочегарке — и-и... пожар! А ведь, между прочим, сейчас там работают другие люди — и-и... ничего, а? Нет, как только мы избавились от этих разгильдяев, которых столько лет терпели, все у нас сразу пошло нормально. Нет, правда-правда, никаких жалоб, никаких...

Распахивается дверь, появляется отдыхающий, уже другой, плотный, лысый, на пиджаке значки, ордена, медали:

— Товарищ главврач! До каких пор в Здравнице будут срывать процедуры?! Я тут четвертый день...

— Кира Игнатьевна! — Медяница — сама строгость. — В чем дело?

— Да пальцы в насосе срезались опять...

— Так в чем же дело?! Срочно разыскать слесарей, Прутова, Воропаева... пусть все срочно починят! — и отдыхающему ласково, — а вам, товарищ, волноваться вредно... успокойтесь, успокойтесь... сегодня же все будет налажено, и завтра с утра в свое время вы получите все необходимые процедуры — гигиенический душ, родоновые ванны... все, все... А сейчас

успокойтесь... пройдите по аллее вокруг нашего цветника... Кира Игнатьевна, пожалуйста, покажите товарищу отдыхающему наш знаменитый цветник.

Да, цветник — одна из местных достопримечательностей. Он расположен в самом центре Здравницы. По периметру — это почти окружность. Так, по видимому, было задумано изначально. В самом центре — главная клумба, на ней скромный бюст Ленина. Ленин глядит на контору, на окна, за которыми Медяница. Позади бюста — первый корпус, которому больше двухсот лет, — это бывшее имение графа Веселовского, там старинные каминьы, архитектура, цветные витражи. По левую руку от вождя — новый лечебный корпус из белого кирпича, там современные врачебные кабинеты, родоновые ванны, шик, блеск, стерильность. По правую руку — кочегарка. Хотя отсюда видна лишь одна труба, сама-то кочегарка в низинке, за березками. Но, как бы то ни было, — с четырех сторон цветник окружают эти четыре главные строения Здравницы.

От центральной клумбы во все стороны расходятся двенадцать дорожек, посыпанных желтым песком. Они, как компасные румбы, разбивают цветник на сектора. Впечатление какого-то гигантского компаса, несомненно, усиливает и острый взгляд вождя, направленный на конторские окна. словно малоподвижная стрелка компаса, уже много лет глядит он на конторские окна, за которыми сейчас кабинет Медяницы. Сзади, как говорилось, бюст прикрыт деревцем, но вполне еще надежным строением прошлой жизни. То есть два полюса здесь как бы налицо. Ну, а как этот своеобразный компас нашей жизни согласуется с действительными астрономическими реалиями, скажем, с теми же космическими звездами над головой, то этого никто, конечно, не знает. И жители, и отдыхающие Здравницы по ночам спят, а влюбленные, оккупирующие уютные скамейки в укромных местах цветника, предпочитают не терять время на звезды.

Вообще возникновение цветника весьма туманно. Когда-то дед Шуры занимался этим цветником.

Но ведь и к тому времени цветник насчитывал уже много-много лет. Бюст на главной клумбе, естественно, менялся. До Ленина был Сталин, до Сталина — цари. Хотя, кажется, и какой-то из Временного правительства успел все же немного посидеть на главной клумбе. Дело, в конце концов, не в этом. Разумеется, жизнь вокруг такая, что даже цветы не могут до конца оставаться только цветами. В революцию — это были в основном красные гвоздики. В период военного коммунизма в цветнике преобладали колючие розы. Ну, а угар нэпа дал такое изобилие душисто-сладких фиалок, что приезжали на цветник нэпманы из самой Москвы, прямо из <<Астории>>, с шампанским, с цыганами. И все же на любых перекрестках нашей истории в цветнике, как и положено, росли цветы. И в войну росли. Просто было побольше ромашек, колокольчиков и, конечно же, незабудок. Незабудок в войну было больше всего.

В пятидесятые, шестидесятые годы, когда Здравница принадлежала Академии, здесь отдыхали многие знаменитые ученые, поэты, прозаики. И почти каждый в своих воспоминаниях отобразил этот удивительный цветник. Анна Ахматова, к примеру, очень любила сидеть на скамейке в третьем секторе. Эта скамейка до сих пор так и называется — <<Ахматовская>>. Местная легенда утверждает, что именно на этой скамейке Анна Андреевна, глядя на растущие вокруг растения, написала немало прекрасных стихов, каким-то образом связанных и с растущими растениями. Впрочем, легенд бытует много, всех не перескажешь, вернемся к цветнику.

По периметру его обрамляют декоративные кустарники, сирень, черемуха, вишня. Поэтому со всей округи сюда слетаются пчелы, бабочки, птицы и мотыльки. По периметру же и проходит самый популярный среди отдыхающих оздоровительный маршрут № 7. Протяженность 1142 метра, так гласит надпись на указателе. Но за эту тысячу с небольшим метров отдыхающий обойдет главную клумбу с бюстом, обойдет все двенадцать секторов цветника, из которых ни один не похож на другой. В одном — степ-

ной ковыль, другой незабудками навеет воспоминание о море. Ну, а в третьем он встретит нечто экзотическое, в третьем даже бабочки летают по-особому, бархатно помахивая огромными крыльями. В конце концов, заканчивая двенадцатый сектор — прохладно-упруго-тюльпановый, отдыхающий, в каком бы раздражительном настроении ни начинал он обход, уже далеко не тот, что был вначале. Это уже полностью успокоившийся человек, властно захваченный гармонией, можно сказать преображенный уже. Еще полчаса тому назад он готов был рычать и плевать на весь мир, как верблюд, теперь же он само возвышенное просветление. Благотворное влияние цветника настолько несомненно — об этом уже написаны три докторские диссертации и с десятков кандидатских, — влияние его настолько подавляющее, что Медяница сказала то единственное, что и надо было сказать в этой щекотливой ситуации:

— Да, да, Кира Игнатьевна, пожалуйста, покажите товарищу отдыхающему наш знаменитый цветник.

И Алешина, подхватив отдыхающего под руку, тут же уводит его на цветник.

— Вот видите, Герман Петрович, — вздыхает Медяница, — подобные инциденты — прямое следствие той безобразной работы бывшей четверки кочегаров, от которых мы наконец-то избавились! Но они здесь за долгие годы столько напортачили! Что сразу и не исправишь... ну, и случаются до сих пор, к сожалению, вот такие досадные недоразумения. Но, повторяю, как только мы избавились от них, все в здравнице вздохнули спокойно... Я бы с удовольствием побеседовала с вами, Герман Петрович, подольше, но, к сожалению... вызывают в Управление... так что извините... а с этой четверкой бывших все ясно — типичные склочники и саботажники. Раз уж милиция заинтересовалась, так уж чего... — и, еще раз улыбнувшись Лебедеву всепонимающей улыбкой, секунду-другую выждав — не ответит ли? — Медяница, гася легкую досаду, быстро скрывается в кабинете.

А Лебедев еще какое-то время пребывает в задумчивости, не замечая настороженности очереди у кассы, потом медленно выходит из конторы и направляется в сторону автобусной остановки. За ним бежит парторг Алешина.

— Пойдите, пойдите... Герман Петрович... я хочу сказать вам... наедине... чтоб не было лишних разговоров — это ужасные люди. Да, да — ужасные! вот вы их увидите, обратите внимание, как они держатся. Наглость, хамство! А что они делали с Галиной Дмитриевной! А это редкая, большой внутренней культуры, достойная женщина. Представьте, этот хам Шишкин — он у них заводила — кричал ей прямо в лицо: <<Что ты крутишься, как вошь на гребешке>>. На <<ты>>! Даже то, что перед ним женщина, — его не остановило. А сам черный, страшный, только что от котлов, — и орет на нее! Они там все матерщинники. Вот как вы думаете — это хорошо?

— Думаю, нехорошо.

— Вот, вот! И все так думают. О них нельзя иначе думать. Там один Птицын — ни рыба ни мясо. А Рыбак взял почти на двадцать лет себя моложе. Она ему в дочки годится, а он спит с ней, как вы думаете, хорошо это?

— Н-ну...

— И я так думаю! А еще там есть один — Малышев. Это вообще блатной. Он сидел в свое время... Вот как вы, посторонний человек, думаете — может нормальный человек, психически нормальный, прийти за молоком голым?

— Как голым?

— Н-ну, не совсем, конечно, голым, а завернутым в пикейное одеяло, подпоясанный веревочкой?

— Да нет, нормальный человек так не сделает... но, видимо, была причина и...

— Как же, как же — была... Он постирал в кочегарке под душем всю свою одежду — брюки, трусы, свитер... а больше у него и нет ничего... счастлив как чернослив — поговорка у него такая... и пошел в столовую за молоком в одеяле, а? И ничего тут нет смешного. Я не понимаю вас, Герман Петрович. Я

сама педагог по образованию, но, простите, я вас не понимаю.

— Не беспокойтесь, Кира Игнатьевна... гм... хм... разберемся... во всем разберемся... я к вам завтра загляну, а сейчас... — Лебедев слегка пожимает Алешиной самые кончики пальцев, — до свидания... рад был познакомиться...

Посмеиваясь, быстро уходит он в сторону автобусной остановки, а Кира Игнатьевна, прищурившись, раздувая слегка ноздри, смотрит вслед ему. Потом бегом возвращается в контору.

На другой день прямо от автобуса Лебедев спускается вниз к речке, где в березнячке уютно расположилась кочегарка Здравницы. Перед ним потемневшее от времени здание, кое-где по трещинам выступает ярко-зеленый мох, красный кирпич пророс молодыми побегами березки, от всего веет какой-то полуидиллией прошлых веков. Двери кочегарки широко распахнуты, перед ними валяется на боку массивная железная тачка, внутри полумрак, неясные очертания уходящих вглубь котлов. А перед входом справа — скамейка, какой-то крепыш средних лет сидит и что-то пишет в тетрадку.

— Товарищ, — Лебедев подходит, — вы не подскажете, где мне отыскать бывших кочегаров?

— Бывших? Я — бывший... а в чем, собственно, дело?

— Здравствуйте! — Лебедев протягивает руку. — Инспектор народного контроля — Лебедев Герман Петрович.

— Шишкин... кочегар... Так вы, значит, из контроля СССР?

— Не совсем, Комитет народного контроля СССР переслал вашу телеграмму по месту жительства. И вот я от нашего городского народного контроля и получил задание разобраться в вашем деле.

— Ага... сейчас... сейчас... я за ребятами сбегая, они здесь рядышком, во-он у речки. У нас теперь много времени — загораем...

Шишкин убегает, а Лебедев начинает осматриваться, легкая улыбка на его лице. Он садится на лавочку. С пригорка к кочегарке спускается молодая женщина в белом халате.

— Где кочегары?

— Какие?

— Что, значит, какие? — женщина слегка фыркает.

— Бывшие?

— Зачем мне бывшие! Глаза б мои их век не видели! — женщина фыркает. — Разогнали — туда им и дорога! Воропаев где? Где Петя Воропаев?

— Ну, чего тебе? — из кочегарки выходит слесарь Воропаев. — Ну, чего базаришь, Зойка?

— Как — чего? Совесть-то у тебя есть! Разве ж я могу с такой водой работать в водолечебнице?! Люди процедур ждут, волнуются, старые, больные.. совесть-то есть?!

— А что я могу! Насос вырубился. Целый час пар спускал, а то котлы порвет... вот температура на воздух и ушла... Сейчас Салапуров с Прутовым покрутятся, пальцы наладят, часа... — Воропаев отводит шkodливый взгляд от ладной Зойкиной фигуры, едва прикрытой коротким халатом, глядит прищурившись на солнышко, словно бы прикидывая, — да... часа через три... не раньше, будет тебе вода.

— Ты что?! Издеваешься! Три часа! Сейчас вода нужна! Сейчас!!

— Я тут ни при чем. Иди в контору. — Воропаев медленно поворачивается, при этом массивные руки, не занятые работой, безвольно покачиваются вдоль тела. Он уходит в кочегарку.

— Бардак! — презрительно фыркнув ему вслед, кричит женщина. — Господи, и когда ж это все кончится! — стремительно поворачивается к Лебедеву. — Вот так у нас! Людям стыдно в глаза глядеть, а-а... — И, махнув рукой, она стремительно взбегает на пригорок.

От реки гуськом за Шишкиным подходят кочегары. Малышев — высокий, мускулистый, на груди цветная татуировка — орел, держащий в клюве змею.

За ним Рыбак — коренастый брюнет, ухожен, в хорошем тренировочном костюме, на плече махровое китайское полотенце, зеленым шелком вышиты какие-то вензеля. Последним идет Птицын — самый молодой, задумчиво катит перед собой большую камеру, очень старается, чтобы она не теряла равновесия. По очереди подходят, здороваются за руку с Лебедевым, рассаживаются. Лебедев, порывшись в папке, достает листок.

— Вот у меня заявление-телеграмма в КНК СССР от кочегаров Шишкина, Малышева, Рыбака, Птицына. Вы обвиняете администрацию в нарушении правил техники безопасности, что и привело к пожару, так?

— Так. — Шишкин откашливается, оглядывает товарищей. — Администрация сейчас лихорадочно ликвидирует все эти нарушения, о которых мы пишем, но до полного порядка еще далеко.

Появляется Воропаев с тачкой, над тачкой дым от шлака.

— Эй, Петя! — кричит Шишкин. — Новые колосники хотели завезти — завезли?

— Мне не велено с вами разговаривать, — не поднимая от тачки головы, Воропаев отвечает.

— А ты и не говори, раз не велено. Ты мне, Петя, головой только махни. Так завезли или нет?

Воропаев отрицательно машет головой.

— Я так и думал. — Шишкин пишет в тетрадку: <<не завезли>> — Петь, а Петь, ты распишись тут у меня в журнале, что не завезли.

— Да иди ты! — Воропаев скрывается с пустой тачкой в кочегарке, оттуда доносится: — Не велено же! — и еще что-то невнятное.

— Вот так и живем, Герман Петрович, — Шишкин закрывает журнал. — Мы настаиваем на компетентной технической комиссии, которая подтвердила бы все наши претензии по части нарушений. Ну, а администрация, естественно, с комиссией не спешит, срочно латает дыры. Вот и приходится фиксировать все, что сделано уже после наших заявлений.

— А то потом докажи, что ты не осел! — говорит Малышев и, поднявшись, начинает взволнованно ходить. — Да, кстати, записал, что вчера опять солдаты работали, насосы ремонтировали, восемь человек?

— Записал, записал.

— А откуда солдаты?

— А это, Герман Петрович, генерал Медяница жену выручает, я счастлив как чернослив! Не жизнь у ней, а малина!

— А повестки в милицию, Герман Петрович, нам уже вручили, — с кривой улыбкой говорит Рыбак, — под расписку.

— На психику давит, — небрежно отмахивается Малышев, — кум у нее в милиции свой человек, вот и давит... на психику.

— Все равно приятного мало, — говорит Птицын, — вместо того чтоб дочку в садик устраивать, изволь по милициям шастать...

После того как Лебедев ушел, некоторое время молчали, потом Шишкин, остальных оглядывая, спросил:

— Ну и как?

Птицын, вскинув плечи, глубоко задумался.

— Битый мужик, — тут же Малышев откликнулся, — сразу видно.

— Что-то я этому <<битому>> не доверяю, — поморщился Рыбак.

— Почему? — Шишкин внимательно поглядел на Рыбака.

— Не доверяю — и всё... как-то вся эта наша история расходится, расходится... — Рыбак волнообразно покрутил руками, — все каким-то неуправляемым становится, вот уже и народный контроль нами занимается, и в милицию повестки вручены... под расписку, главное — под расписку. Соня говорит, что раз расписался — то всё!

— Чудак ты! — перебил Малышев. — Ведь чем больше людей будет завязано на нашем деле, тем, Ника, меньше дадут.

— Дадут?!

— А зачем же тебя кум в милицию зовет? .. ну, ладно, ладно, дядя пошутил, — захохотал Малышев, видя, как изменилось лицо Рыбака.

— В каждой шутке есть доля правды, — пробормотал Рыбак, вытирая платочком вспотевший лоб.

Они еще какое-то время поговорили и разошлись, каждый в себе унося ощущение, что конфликт действительно расширяется, наполняется, вот пополнился еще одним человеком — Лебедевым.

Шишкин почему-то сразу поверил, что появление Лебедева на пользу общего дела. Птицын так вот сразу, конечно, не мог определиться — задумался. Малышев в тот же день писал в Ташкент Вике: <<Ты знаешь, в нашем деле появился еще один кадр — некто Лебедев — из народного контроля, мужик, по моему, битый, из бывших коммунаров, но, к сожалению, в летах немалых, потому и ждать пока чего-то существенного не приходится. А в нашем деле — или всего себя без остатка отдать, или скользнуть по поверхности лишь для видимости. Ну, а кто из нормальных людей захочет всего себя отдавать без остатка? Когда вокруг интереснейшая жизнь стремительно набирает разбег, пробуждая (лично у меня) почти звериную жадность жизни. Выставка дизайна, неделя югославских фильмов, русский портрет XVIII века — это я все посмотрел за одну только неделю! А впереди обещают гастроли Ярославского театра им. Волкова — это наш первый русский театр. Да вот даже сегодня по телеку горнолыжников показывают. Но главное — в жизни возможны встречи, неожиданные как подарок судьбы, — встречи с таким изумительным человеком, как ты, моя навеки любимая Виктория...>> Вот что писал Малышев, упиваясь бесконечно льющимися мыслями. Собственно, писание писем любимой женщине, а писал он ежедневно, как и посещение выставок, фильмов, библиотек, — все это отвлекало от грустного просеивания всей малышевской сегодняшней сути через мелкое ситечко уже привычной бесприютности и печали. Отвлекало или, лучше сказать, увлекало порою настолько, что Малышев стано-

вился по-настоящему беззаботен, легок, не по возрасту порхающ. Такой Малышев раздражал Шишкина, между ними начинался тягостный для обоих разговор.

— Ну, и когда же у вас с Викой все будет ясно?

— Когда?

Малышев вздрагивал, темнел, задумывался. Но задумывался не над тем, когда же у них с Викой все будет ясно, а над тем, как бы получше все объяснить этому толстокожему Шишкину. И тогда он начинал говорить что-то о будущем ребенке, о том, что Вика твердо намерена уезжать из Ташкента к нему, Малышеву... но вот пока решили повременить...

— И отчего ж повременить решили? — усмехался Шишкин.

— Естественно, решили повременить, декретные же надо получить.

— Ах декретные! Ну, конечно же, декретные... Только...

— Что только?

— Только вряд ли она рожать будет.

— То есть как — вряд ли?!

— Я думаю, врачи ей порекомендуют, — Шишкин подналег на это слово <<порекомендуют>>, — все же не рожать.

— Ну, ты даешь! Ей же как раз стало намного лучше от беременности... и гастрит почти перестал, и вообще...

— В конце концов, — перебивал Шишкин, — врачи ей <<порекомендуют>> воздержаться, вот так она тебе вскорости и напишет, вот погоди!

— Ты уверен?

— Послушай, — разглядывая Малышева в упор, продолжал Шишкин, — неужели, тебе не надоело без конца терять свое лицо?

— Ты имеешь в виду, что я в столовую, завернувшись в одеяло, заявился?

— Я имею в виду — зачем вообще ходить в столовую и унижаться, чтоб тебя подкармливали там, как нищего! Неужели ты не можешь из тех ста сорока, что тебе здесь платят, выделить хотя б тридцатку на

жратву, купить картошки, растительного масла и не унижаться по столовым?

— Да дело не в тридцатке, когда Вика уезжает, один остаюсь, ну и... как-то не хочется есть в одиночку, вот и иду..

— А там что — ты в коллективе, что ли? Тебе ж вынесут куда-то в грязный коридор тарелку щей, где ты примостишься и ешь, не так?

— Ну так, — вяло соглашается Малышев.

— У тебя же масса прекрасных качеств.

— Да?! — Малышев сразу обрадовался, расцвел.

— Ну, конечно же, чудак! Ты — однолюб. Это прекрасно!

— Ты считаешь, что это хорошее качество? — наморщив лоб, серьезно спрашивал Малышев.

— Ну, разумеется, — усмехался Шишкин, понимая, что перед ним в сущности-то просто большой ребенок, это прекрасное качество, Малышев. Как, впрочем, и многое другое, что в тебе есть, — скажем, тот же альтруизм. Когда ты, не раздумывая, бросаешься помочь первому встречному. Но ведь зачастую твои прекрасные качества могут в противоположность обращаться!

— Как так?

— А так! Вот будет у вас с Викторией семья, как ты надеешься... с появлением ребенка, так?

— Ну?

— Ну, будет семья, а ты первому встречному отдашь последнюю пятерку, как это частенько у тебя бывает. Отдашь и сидишь голодный. Или идешь в столовую побираться! А ведь будет семья, семью-то с собой в столовую не потащишь! А? Вот и все!

— Ну, будет семья, я, наверное, уж по-другому себя поведу, — бодренько вскидывается Малышев.

Не бодро, а именно как-то бодренько, легко соглашаясь теоретически прокрутить и такой вариант, как семья. И Шишкин, видя это, лишь горестно головою качает.

— Да не будешь ты себя вести по-другому. Потому что все, что у вас с Викой происходит, лишь дело рук ее, и только ее!

— Ну уж, а ребенок-то мой!

— Э-эх...

— Все это не так просто, Шишкин — морщится Малышев, избегая шишкинского взгляда.

— А в чем сложность?

— Ну в чем, в чем! Слишком уж узел затянулся... Ты же знаешь, там в Ташкенте сын у нее, муж...

— Но рубить-то надо когда-то этот узел! Или все это... одно непотребство! А как это еще назвать! Непотребство и есть!

— Не зарегистрированы?

— Конечно! Помнишь, год назад Вика у тебя в комнате завела разговор об этом? Кричала: <<Кто я ему?!>> Тебе то есть. Любовница! Она употребила тогда слово покрепче. Ты помнишь?

— Выпивши была, — хмуро бормотал Малышев.

— Не важно! А ведь она права! Ты ж ее в постель лишь потащил, а в загс-то не стал! Предложения не сделал?!

— Сделал.

— Ха! Сделал! Когда она тебя при всех заставила! Я ж помню, даже торжественно дату тогда на обоях записали, что ты наконец-то сделал предложение и вы в загс пойдете. Пошли?

— Не пошли.

— Почему же?

— Да это в Киеве делать надо, по месту моей прописки.

— Так вы ж десять раз с тех пор были в Киеве!

— Были... к маме в больницу ездили.

— Темните вы оба!

— Да нет...

— Эх, Малышев, Малышев... Да пойми ты, наконец, что это без конца продолжаться не может. Не может!

— Не может...

— И когда же все определится?

— Когда? — Малышев разглядывает потолок.

— Я думаю... где-то в августе... да, в августе должны быть вместе...

— А если и в августе что-то будет мешать? И ты опять, как страус, голову под крыло и в кусты?

— Ну, тогда... тогда мы расстанемся... по всей видимости...

— Ха! Опять — по всей видимости! Опять ты лазейку для себя оставляешь! Какой же ты мужик после этого?! Ну?! — не унимался Шишкин.

— Ну что — ну! Ну что — ну! — Малышев нервно заходил вокруг Шишкина, тот, сжав губы, усмехался. — Ну, должно же все решиться... будем вместе, как договорились...

— А если — нет?

— Тогда надо будет расставаться... да, тогда расстанемся... скорей всего...

— Тьфу!

Вот такой разговор у Малышева с Шишкиным произошел неделю назад. Малышев по легкости натуры не придавал ему значения, ибо более или менее подобные разговоры бывали и раньше. Но появление Лебедева в их конфликте с Медяницей неожиданно окрасило и сам конфликт, и всю жизнь вокруг в какие-то не очень понятные пока тона... Да, Лебедев, конечно, и стар, и болен, но рука ведь не по возрасту крепка, взгляд остер... и эта твердо-красная папочка под мышкой... с белоснежными тесемочками... Шишкин прав, что-то им с Викторией делать надо, определяться как-то надо...

Рыбака же появление официального представителя народного контроля очень испугало. Одно дело — посылать телеграмму куда-то на деревню дедушке. И совсем другое — когда вот так, с твердой красной папочкой под мышкой, перед тобой возникает чужой дядя... коммунар, говорят, с самим Лениным встречался... а в красной-то папочке та самая, ими посланная так легкомысленно недели две тому назад,

телеграмма... испещренная теперь размашистыми подписями начальников самого разного ранга... Это ведь уже совсем другое дело... когда вместо какой-то весьма далекой абракадабры — КНК СССР... перед тобой этот колющий взгляд из-под клочкастых бровей... когда красная папочка в одной руке. Другая же цепко рыбаковскую руку ухватила, секунду-другую не отпускает...

Рыбак с Сонечкой идут по аллее парка. Слева — липы, справа — туя. Пятнистая тень падает на такое славное личико дочки, которая сладко посапывает в коляске. В магазине повезло, с ребенком дали без очереди полкило голландского, сейчас придут домой, потрут на терке, макарончиков отварят — вот тебе и второе. А первое Сонечка еще с вечера сварила — настоящий украинский борщ, пальчики оближешь! Ей мама с Украины прислала заправку для борща. Заправки надолго хватит. Пеленки наверняка просохли. Сейчас, пока Сонечка дочь кормит, Рыбак быстренько их прогладит, они дочь переоденут, выкатят коляску под окно, и дочь до вечера будет спать. А Сонечка уборкой займется, будет песенку мурлыкать да в окно поглядывать, чтоб кошка не прыгнула в коляску. Ну, а сам Рыбак переоденется в чисто выстиранный, отутюженный тренировочный костюм, зажжет торшер для уюта и откроет шестой том Истории государства Российского... А вечером по телевизору будут кубок по гимнастике показывать, можно с бидончиком за пивом сходить. Жизнь, в сущности, вокруг такая замечательная... если бы не это... во что он так глупо влип...

—... Никитушка, я больше так не могу, вчера Кира Игнатьевна целый день в конторе твердила, что вы саботажники, что вас не случайно в милицию вызывают, судить вас надо... перепиши, перепиши ты заявление! Чтоб не было этих дурацких слов про технику безопасности... а главное, чтоб по собственному было желанию... ну, что тебе стоит, Никитушка... ну, ради меня, ради доченьки... она ж у нас такая красавица, а? Галина Дмитриевна обещала мне, что тогда

приказ исправит, что не будет в трудовой за прогул, ты ж не прогульщик, Никитушка! Перепишешь, а ?

— Да не могу я, Сонечка! не могу! Ну, как ты не поймешь, все ребята так написали, ну, и я ... должен! Да пойми ты!

— Тише! — шепчет Сонечка, хватая мужа за руку. — Медяница!

Склонившись над коляской, они тут же сворачивают от конторы. А Медяница, крепко за перила ухватившись, внимательно глядит им вслед. Она, как всегда, подтянута, со вкусом одета, в меру поблескивает золотом — часики, два кольца и кулончик в виде сердечка из яркого граната на золотой цепочке. И если сейчас, на Медяницу глядя, слегка расслабить внимание, не вникать в конкретный смысл картинки, то появится явное ощущение туго заведенной пружины, почти что на пределе... из каких-то ярких, полудрагоценных, с трудом управляемых сил-материй... Ну, а если встряхнешься после, проморгаешься, то опять увидишь довольно приятную, со вкусом одетую, всеми уважаемую... главврача, кандидата, депутата и прочее, прочее...

Давно прошло то время, когда дрожащей рукой подписала первую фиктивную ведомость на списание <<малоценки>> — постельного белья, столов и стульев, репродукций с картин передвижников. Техника очень проста, тогдашний главбух подсказал. Берешь ведомость, уже подписанную всеми членами комиссии по списанию, и между ее страницами, которые предусмотрительно оставлены без нумерации, вставляй хоть десять страниц из того, что хочешь списать-присвоить. И вставила тогда жалкую страницу <<малоценки>>. И с главбухом поделилась несчастной парой сотен. Вот с какого мизера когда-то начинала. Потом по ночам, дура, не спала, ждала: а вдруг всплывет, к ответу потянут. Не всплыло, не потянули. Ну, а дальше повеселей пошло. Лиха беда — начало. А дальше вместо <<малоценки>> включать стала вещи подороже — ковровые дорожки, мягкие кресла, меховые спальные мешки... <<А вдруг заме-

тят?>> —<<А ты ревизора в ресторан пригласи, — главбух подсказывает, — он и не заметит>>. И пошли банкеты, пикники, рестораны...

Уже тысячами ворочала, уже десятками тысяч. Нужными людьми, как кактус колючками, быстро обрастала. На один из банкетов, по случаю присвоения ее Медянице полковника, пригласила самого Кондратюка — начальника Управления. Слухи шли — с размахом Кондратюк. Пригласила и не пожалела — сразу количество курсовок в два раза увеличилось. А ведь с каждой курсовки два червонца ей идет, два — главбуху.

Уже на банкете, когда выходили подышать ночным воздухом, поняла, что Кондратюк именно то, что надо. Он один — десяток заменит. Все, помнится, радовало ее тогда. И то, что оба родственные души — козероги, то есть в январе родились. И то, что Кондратюк высок и жилист, с длинными цепкими руками, то есть совершенно в ее вкусе, не то что ее Медяница — колобок. И вдобавок, необыкновенные усы — твердые, как щетина, и в то же время неизъяснимо нежные, щекочущие, когда, шумно дыша, подкрадывался, чтоб поцеловать куда-то за ухом. А главное — человек ничего не боится! Не то что ее Василий. Отчаянный человек. <<Живи, Галка, пока живется! Э-эх ... давай-ка выпьем на брудершафт!>> —<< Да вы что, Игнат Семенович, у меня же муж... Василий...>> — <<А вот мы сейчас у него у самого спросим... эй, Василий, можно начальнику Управления выпить с твоей женой на брудершафт? Можно!>> Отчаянный человек Кондратюк... Это он ей тогда, неопытной, втолковывал — сидят те, кто мелочовкой занимается, бери тысячи, десятки, сотни тысяч! Никогда не сядешь...

На большое дело подбивал Кондратюк. Она, когда узнала, ахнула — необъятные заоблачные дали открывались. Предлагал в Здравнице строить корпус, который каким-то образом не будет числиться ни на каком балансе. Кто и как построит — это уж Кондратюк берет на себя. Курсовки он тоже берет на себя — триста штук ежемесячно под этот новый корпус, по

сто рублей курсовка — тридцать тысяч! На троих! Ей, ему и еще одному, кто повыше Кондратюка будет. Десять тысяч ежемесячно! Вот как живут настоящие умные люди! <<Соглашайся, соглашайся, Галка!>> — хохотал, обнимал, щекотал в самое ухо щетинистыми нежными усами, когда плыли в люксе вниз по Волге до Астрахани.

Дочь Нинка с мужем тогда разошлась, укатила на Соловки с компанией. Очередной роман завел Медяница. Это сейчас он на эту тумбу Гусакову глаз положил, а тогда у него все больше субтильные студенточки были. Ну, и она решила: хватит, в тридцать восемь стареть не буду! Кондратюку позвонила, и через три дня уже плыли на красавце теплоходе. Бар, танцплощадка, бассейн, ресторан... вот как умные люди живут! А в люксе по ночам... терпкое липкое вино слегка колыхнется в стакане, крепкий синий дым сигареты, унося с собою последние сомнения, уплывает в полуоткрытое окно. Из-за окна так живительно тянет Волгой, ночью, звездами... Остывает тело, и только влажный бок, которым прижимается к Кондратюку, еще горяч и вздрагивает. Губы совсем слиплись от сладкого вина, мысли совсем слиплись от восхитительного: <<Соглашайся, соглашайся, Галка... жить будешь, как королева... вокруг Европы поплывем, вокруг Африки... круиз... к-р-р-у-ис-с-с...>> — и так щекотно от усов, и так щекотно от руки, которая еще слаба, малоподвижна, но уже опять ищет, уже опять что-то нежно и цепко ищет...

Уроки впрок пошли, теперь она уже сотнями тысяч ворочает. В основном — дорогая мебель, которую она меняет в Здравнице ежегодно. И та мебель даже до склада не доезжает — сразу по нужным адресам направляется. Курсовки и, конечно, капремонты кочегарки. В Управлении все Кондратюк ей организует. Ну, а здесь на месте Семеныч с шабашниками договаривается. Как, что — она и знать ничего не желает. Семеныч приносит деньги в хозяйственной сумке, она ее небрежно в сейф швыряет, вот и всё. Только взглянет строго в бледное лицо Семеныча: <<Вам, Иван Семеныч, обязательно надо диетпитание, у вас наверняка

авитаминоз обострился. Я распоряжусь, и с понедельника начинайте посещать нашу диетстоловую >>.

И чем больше росла сфера приложения ее недюжинных сил, чем больше денег проходило через ее руки, тем больше вокруг собиралось своих людей. Свои люди в свою очередь способствовали расширению деятельности Медяницы. Помогли построить новый корпус-люкс, отпустили деньги на строительство жилого дома. За какие-то два-три года добавился в Здравнице второй лечебный корпус, клуб, новая столовая. А год тому назад Управление отпустило такую астрономическую цифру на капремонт всего жилого фонда, что дух захватило! Два дня в пансионате с Кондратюком гуляли. И вот вместо бывшей двухэтажной дачки стремительно стала расти такая, что Медяница и сама испугалась. А уж про ее благоверного и говорить нечего... еле-еле успокоился, когда один этаж она ловко под землю упрятала. Но главное — впереди вообще стали проступать какие-то неограниченные перспективы.

Дело в том, что расширение жилого фонда, увеличение пропускной способности Здравницы — все это требует строительства еще одной кочегарки. Пусть не на угле, пусть на газе или мазуте. Но, в-первых, это опять же капремонты. Во-вторых, и газ, и мазут, если подумать, наверняка ж превратятся в очередной источник.

Да, ум ее отныне постоянно занят тем, чтобы находить все новые и новые источники... Но вот что странно, чем больше было денег, тем больше хотелось иметь их еще и еще. Она оправдывалась тем, что <<крышу>> надо постоянно укреплять. А при первой же возможности и строить на более высоком уровне... городском, областном, министерском... выше, выше... Надо поскорее заканчивать строительство всей системы в целом. Системы Административного Содружества. А вообще-то, в этой системе сама Медяница, ее Здравница уже занимают вполне определенное место. Которое именно ей и предназначено. Стоит лишь трубку поднять: <<Это я, Галина Дмитриевна, — Петр Иванович, можно?>> <<Ну, какой разго-

вор, Петр Иванович! Ваш любимый номер, ну, с балконом в липовую аллею ждет вас в любое время дня и ночи. Я распоряжусь... ах, вы не один... понятно, понятно... тогда можно занять соседний, он как раз на двоих...» Такой вот приятный винтик — ее Здравница — в могучей Системе, которая все больше и больше определяется. Она с радостью видит уже, что умные люди инстинктивно тянутся к умным. Видит, как крепчает надежный круг вокруг нее. Уже как бы и без всякого расчета с ее стороны, уже само провидение идет навстречу.

А иначе чем объяснишь, что совсем недавно генерал Медяница вышел на самого Петра Трофимовича! Совсем случайно! Вот уж удача так удача! Они о такой и мечтать не могли. Где-то на охоте кабана по лицензии отстреливали, Медяница поехал ружье опробовать, и — надо же — Петр Трофимович, оказывается, тоже заядлый охотник. Сам-то Медяница никакой не охотник, ему к пятидесятилетию просто ружье подарили. Кабана, конечно, завалили, костер развели, шашлыки жарят, то-се, ну и разговорились, разумеется. А Петр Трофимович, оказывается, о <<зауэре три кольца>> давно мечтает, а у ее Медяницы ведь именно <<зауэр три кольца!>> <<Ну, какой разговор, Петр Трофимович, забирайте! Стреляйте кабанов на здоровье!.. Тем более, я и сам хочу его продать>> <<Ну мне, право же, как-то неловко, товарищ Медяница, вы-то сами с чем останетесь?>> — <<Да я ведь, Петр Трофимович, хочу что-нибудь более дальнобойное, — тут же нашелся Медяница, он ведь, когда надо, быстро соображает, — я, Петр Трофимович, хочу что-нибудь нарезное>>. <<А-а.. понятно, понятно — военный человек!>>. Вот и все. Нет, а все-таки есть Бог на белом свете! И Бог этот за все многочисленные в прошлом ущемления-оскорбления сейчас вознаграждает умных людей... по справедливости — та-акого послал человека! Послал без всяких усилий с ее стороны.

Ну, а дальше — больше, телефонами обменялись, Петр Трофимович с Медяницы слово взял, что тот звонить будет. А тут вдруг и сам звонит: так, мол,

и так — хочу, товарищ Медяница, <<Зарницу>> организовать, а то в соседних областях давно организовано, ну, а мы чем хуже. <<С удовольствием возьмусь, — Медяница отвечает, — Я, — говорит, — и сам давно мечтаю по-настоящему заняться патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Да, что говорить, буду с вами, Петр Трофимович, откровенен — собственная дочь Нинка в этом плане внушает серьезные опасения, не те нынче дети.>> — <<Ох, и не говорите, товарищ Медяница, не те!>>

На финале <<Зарницы>> Петр Трофимович лично присутствовал, долго руку жал генералу Медянице, в гости приглашал, прямо на дачу. С женой, разумеется. Поехали. Понятно, что все безо всякого там запанибратства, корректно, как и полагается государственным мужам. Но и без чванства. Жен познакомили. Жены остались друг другом весьма довольны. Жена Петра Трофимовича пожаловалась на ломоту в левом колене, и Галина Дмитриевна, не сходя с места, тут же написала рецепт необходимых трав, которые достать, конечно, не легко, но она постарается. Петр Трофимович вскользь обмолвился, когда сидели в беседке за самоваром и глядели на черных лебедей, скользящих по поверхности озера, обмолвился о том, что совсем недавно был неожиданно вызван в ... а-а, впрочем, и не важно — куда, важно, что в очень и очень высокую инстанцию и-и... в общем для того, чтобы высказать свое мнение о животрепещущих вопросах современности. Медяница же в свою очередь рассказал о том, что по пятницам играет в бильярд с одним известным космонавтом. Петр Трофимович посетовал на то, что после того как на Луне побывали американцы, пошли слухи о том, что якобы космонавты видели там нечто неправдоподобное. Тогда Галина Дмитриевна вспомнила об одной старушке, что недавно лечилась у нее в Здравнице. Так вот эта самая старушка — она откуда-то с Алтая — адрес оставила, всегда можно побывать — так вот она утверждает, что Гагарин не разбился, а находится кое-где... <<Как это — кое где? — очень удивился Петр Трофимович. — Когда работала целая

комиссия>>. Да, подтвердил Медяница с легкой ноткой сожаления, работала, но так и не смогла выяснить причину гибели героя.

Вот так, за дружеской беседой, за самоваром, и провели хорошо вечерок и остались весьма довольны друг другом. Петр Трофимович несколько раз выносил из дома <<зауэр три кольца>>, в шутку вскидывал, в черных лебедей на озере прицеливался...

Собственно, в областной крыше кое-где уже и до этого были свои люди. В облздраве, в обкоме профсоюзов, в областном народном контроле. Такой сплошной и абсолютно надежной крышей, как у них в городе, областная, естественно, еще не была. Но теперь-то всю ее мог заменить один Петр Трофимович! Вот только б не спугнуть!

Когда возвращались обратно, осторожно, чтоб не мешать мужу крутить баранку, прильнула к его плечу, потерлась, промурлыкала:

— Как думаешь, Вася, я его со своей старушкой не вспугнула, не подумает он, что с мракобесами дело имеет?

Муж, глядя на веселого скелетика, что раскачивался перед ним на ветровом стекле, сытно отвечал:

— Я думаю, нет... ты же видела, как глаза у него разгорелись, когда из зауэра прицеливался.

— Свой, что ли? — все настойчивее терлась о плечо Медяница.

— Свой не свой... — скелетик весело прыгал на ниточке, как бы легко уравнивая самое неуравненное, — свой не свой еще, конечно, но! В глазах-то огоньки! А?

— Огоньки? А мне, Вася, показалось, что у него в глазах не огоньки, а-а... проволочки.

— Проволочки? В глазах? Ну почему проволочки? Все ж фантазерка ты у меня, Галья, ой и фантазерка!

И Медяница, зорко глядя на дорогу, потянулся губами к уху жены, но та знала все его шуточки, весело отпрянула, сама его схватила за ухо.

— Я тебе укушу! Я тебе укушу! — и довольно сильно, вспомнив всех его любовниц, стала подергивать его за ухо.

— Галька! — вскричал Медяница по-настоящему. — Кому говорю!

Настроение было отменным. Медяница продолжал:

— Огоньки или проволочки — не в этом суть. Главное — интерес, а это уже много значит для дальнейшей надежды. Время, надо только время, и все само собой созреет, Галина. Созреет и, как сочная вкусная груша, упадет само к твоим ногам.

— Ах, да когда это все еще будет! — и она опять потерлась щекой о генеральский погон.

Да, канули в небытие те времена, когда дрожали руки, дрожал голос, когда плохо спала по ночам. Теперь, не стесняясь, по утрам говорит она в бухгалтерии: <<Мой-то всю субботу на «Жигулях» по <<стройматериалам>> мотался, квитанции покупал!>>

Да, если приглядеться, блок умных, энергичных, предприимчивых уже сколочен. Соль земли все смелее выкристаллизовывается из рыхлого безликого небытия. По крайней мере, у них в городе все друг друга хорошо знают, везде свои люди: в милиции, в прокуратуре, в горисполкоме, в горкоме — везде. Наверняка такой круг и в области сколачивается. А может, и сколочен. Она пока досконально не знает. Но, судя по первому визиту к Петру Трофимовичу, о многом догадывается. Уже областные круги наверняка в республиканские объединяются. Уже чудится ей всеобщая республика умных, энергичных людей... страна... объединение стран... мировое содружество умных, энергичных, предприимчивых... вот когда зажить-то можно! Фантастика? О-о, нет! Совсем не фантастика. Ведь явно же эта система умных и энергичных пускает корни все глубже и глубже... явно тянется своими вечнозелеными побегами все выше, выше ... на такую головокружительную высоту, что дух захватывает... черные лебеди тихо скользят по зеркальной глади озера... парусные яхты, как невесты... лучи за-

ходящего солнца... манящая прохлада вековых дубрав... ах, какую великолепную жизнь может создать это всемирное содружество действительно умных людей!.. И безо всяких там полуумков-шишкиных, их на той стороне спецучастка, конечно, оставить надо... да, да — побольше спецучастков, спецзон, спецобластей... черные лебеди... белые яхты... Да, да — уже явно близится это тихое, незаметное, бескровное перерастание. Перерастание всей недоразвитой системы... в настоящий развитой социализм... Вымрут последние христосики вроде Лебедева... да знает она о нем, наслышана — как же, с Лениным встречался... О чем это она? Ах, да — основная масса живущих на зарплату спустится еще ниже. И тогда уже открыто можно будет им сказать: «Это и есть, товарищи, ваше законное место. Работайте, работайте изо всех сил! А мы будем хорошо вами управлять. По-умному. С голоду умереть не дадим, мы ведь тоже люди. Но и к нам приблизиться не позволим. У вас свои больницы, у нас — свои. У вас свои школы, у нас — свои. У вас все будет свое, и у нас все свое. По справедливости... Оно, конечно, и сейчас все это существует. Но все как-то стыдливо замалчивается, фиговым листочком прикрывается. А зачем? Нет, честно пора сказать: от каждого по способностям и каждому по ... способностям... И поэтому в Здравнице надо срочно строить вторую кочегарку — Кондратюк прав. А ей и о первой думать не хочется. А думать бы надо! Без кочегарки — никуда. Это ж и еноту ясно — основной источник доходов. Так что без кочегарки, без низа то есть, — чтоб ему было пусто! — Медянице никуда. И не только ей — всем, всем, кто наверху. Ведь что такое верх без низа — это ж мыльный пузырь. Так что не о верхе Медянице думать надо, тут у нее все в полном порядке, ей о низе голову ломать надо, о низе день и ночь думать надо.

О низе не думалось, да просто не получалось как-то думать, привычного расклада мысли не выходило. И это больше всего угнетало умную, волевою Медяницу. Ну, даст она Воропаеву бутылку. Ну, Рыбака чем-то на свою сторону переманит. Но ведь ос-

танется неприступен этот алкаш Прутов. Остальные... А главное, этот хам Шишкин... которому вообще непонятно что в этой жизни нужно. Вот если бы было понятно — сразу дать, заткнуть, да и дело с концом. А тут — плюнуть бы на них, да горите вы все синим пламенем. Вместе с вашей вонючей кочегаркой!

Вот только вспомнила, так всю и пронзило... какая-то неуловимая безнадежность этого самого низа пронзила. Потому что низ не подвластен, она его не знает, да и знать не хочет. Она и Семеныча на кочегарку бросила, потому что кочегарка у нее вызывает чисто физическое отвращение. Она скрывает отвращение, старается не морщиться, когда приходится изредка зайти туда. Жар, вонь и смрад... и сами эти кочегары, грязные, потные, полуголые, наглые... шуруют в горящих топках своими острыми пиками, изгаляются... ну, чистые дьяволы. Да и сама эта кочегарка, она ж с доисторических еще времен, она ж на преисподнюю похожа... преисподняя и есть! Бр-р-р... Вековой чернотой поблескивает... по углам что-то прячется. Ничего, недолго осталось... завтра вызовут их куда надо...

Глава 9

Александр Сахаровский — шеф внешней разведки — первым заподозрил Ларка в двойной игре. И, обрати тогда Андропов на это внимание, вполне можно было избежать прокола. Юрий Владимирович не поверил. А зря — у зубра Сахаровского интуиция, он предателя нутром чует, за тысячи километров, через материки и океаны. Да что говорить: Сахаровский есть Сахаровский. А он не поверил. Верить не хотелось.

Удачная вербовка Ларка здесь в Центре была воспринята как крупнейшее достижение вашингтонской резидентуры за последние восемь лет. Наградили людей, хорошо поработавших с Ларком, естест-

венно, ждали отдачи, ведь Ларк уверял, что знает о Косенко, о других перебежчиках, оставшихся в США. Но главное — может вывести на Косенко. До сих пор поиски матерого предателя не давали никаких результатов. Косенко залег. И Центр почти на каждом совещании упрекал линию КР — контрразведки — за пассивность в выявлении предателей, бывших советских граждан из военнослужащих и сотрудников КГБ. А их уже немало набралось за последние годы, и активизировать усилия в этом направлении было крайне необходимо.

Позор! — и Андропов говорил об этом на каждом совещании — все чаще пробуксовывает основополагающий принцип ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ: <<Рука правосудия длиннее ног предателя>>. Ведь, собственно, что такое — невыявленный и не ликвидированный вовремя предатель? Это же повод, отправная точка запрещенных умозаключений, рано или поздно способствующих появлению следующего предателя. Ну, а если и следующего ловить пять лет, как Косенко, и не поймать, это уже прямой стимул для десятка потенциальных предателей. Это уже начало раковой опухоли золотого фонда КГБ. Нет, с этим надо срочно кончать.

Собственно, и сам Ларк, — а под этим именем скрывался не кто иной, как Николай Федорович Артамонов, — был обычным предателем, приговоренным к смертной казни.

Когда-то служил в составе советской эскадры, которая базировалась в Гданьске. В тридцать лет уже командовал эсминцем. Стройный, всегда подтянутый, щеголеватый даже, владел английским — он, несомненно, выделялся из среды офицерского корпуса. На учениях нередко занимал призовые места. Все понимали, что молодой офицер не задержится в Гданьске, вот-вот переведут в Главный морской штаб, где в недалеком будущем ему наверняка обеспечено адмиральское звание. В Ленинграде ждут жена и сын, мечтающий о море. Все складывалось отлично. И вот тут Артамонов влюбляется в красавицу польку... О, сколько же их, молодых, перспективных, умных, погу-

били эти красавицы польки! Совсем потерял голову Артамонов. Разрываясь между семьей, товарищами, родиной — и полькой, выбрал все же ее, юную, прекрасную. На военном катере бежит с ней в Швецию, потом перебирается в США, и следы его теряются. Предателя приговаривают к расстрелу, ищут, не могут нигде найти.

Наконец внешней разведке повезло. Артамонов все же засветился, выступая в одном из университетов Вашингтона. Как удалось выяснить из городского справочника, Николай Артамонов давно уже не Артамонов, а Шадрин. За Артамоновым-Шадриным организовали визуальное наблюдение. И вскоре выяснилось, что он работает в качестве сотрудника в Центральном разведывательном управлении. Получалось, что Артамонов теперь изменник вдвойне.

После этого вышли в Ленинграде на его семью, объяснили, что и к чему. Семья написала трогательное письмо, умоляя отца и мужа поскорее домой возвращаться. С этим письмом специально присланный в Вашингтон сотрудник Второй службы и подошел к Артамонову в галантерейном магазине. Да, да — в обычном галантерейном магазине на Вашингтон-стрит, куда Артамонов, то бишь господин Шадрин, забежал купить новую заколку для галстука. И вот тут к нему с отсутствующим таким видом и подошел не спеша человек, ничем, в общем-то, не примечательный. И буднично, а впрочем, вполне вежливо представился советским дипломатом: <<Не хотите ли, господин Шадрин, документы глянуть? Нет?>> Так вот — дипломат. Которого всего-навсего попросили передать письмо. Всего-навсего. От жены и от сына. Артамонов очень перепугался. Потом все же согласился зайти в ближайшее кафе и поговорить с соотечественником о том о сем. Он же прекрасно понимал, что на него вышли и вряд ли теперь отпустят. Как-никак сам за эти годы работы на ЦРУ стал опытным разведчиком.

В кафе за чашкой кофе дипломат как бы невзначай обмолвился, что зря, мол, Николай Федорович менял фамилию, что все это несерьезно — за ним

следят давно и четко, потому что <<рука правосудия длиннее...>>. И если приговор до сих пор не приведен в исполнение, то лишь потому, что ждут на родине... и семья, и товарищи ждут, а скоро ли Артамонов осознает все, скоро ли покается.

Артамонов бледнел, краснел, то и дело вытирал клетчатым платком вспотевшее лицо. Но потом все же слегка отошел и торопливо заговорил о том, что он ведь и сам давно мечтает об этом, что хотел бы кровью искупить свой позорный проступок, что он хоть сейчас письмо напишет. Кровью. <<Ну, зачем же кровью, — усмехнулся вежливой улыбкой дипломат. — Можно, Николай Федорович, и вполне обыкновенной шариковой ручкой... вот... прошу...>>

В обмен на письмо Артамонову было обещано вернуть воинское звание, награды, а главное — обо всем забыть. Главное, было обещано устроить сына в Высшее военно-морское училище, о котором тот давно мечтает. Сын на отца ведь похож, хочет быть военным моряком. Вот, кстати, и фотография сына, не хотите ли взглянуть, Николай Федорович, — ну, вылитый Артамонов в молодости!

Артамонов фотографию разглядывал, вздыхал, кривился, платком клетчатым обтирался. А дипломат сидел напротив, нога на ногу закинута, кофе прихлебывал. Небольшие пронзительно-светлые глаза его не глядели на Артамонова.

Так началось дело агента, получившего звучный псевдоним — Ларк.

Юрий Владимирович лично контролировал выполнение обещаний. И сына Артамонова, который собирался уж до конца дней своих носить несмываемое позорное пятно, вызвали куда надо и прозрачно намекнули, что отец у него совсем и не изменник родины, а, наоборот, выполняет тайное задание за рубежом. После чего сына устроили в училище, о котором тот и мечтать перестал. Стали регулярно приходить денежные переводы. Однокомнатную квартиру им с матерью поменяли на двухкомнатную. КГБ сделал все, что обещал. В ответ же за все эти годы шла настолько вялая информация, что подозрения в

конце концов зародились не только у Сахаровского. А вдруг, действительно, американская подставка!

Решили проверить. Дали Ларку несложное задание — сделать копию телефонного справочника Разведуправления, где он уже не только обжился, но уже и возглавляет небольшую группу консультантов. На повышение Ларк пошел — это хорошо! Но вот задание не выполнил, сослался на плохую фотоаппаратуру, которую ему передали. Прислали другую — закамуфлированную под портсигар — результат тот же.

Тут уж, почуя недоброе, тянуть не стали — заторопились с окончательной проверкой. Дело осложнялось тем, что на то время в ЦРУ наша контрразведка не имела нужных людей. А вот в резидентуре соседней Канады как раз был первоклассный агент. И поскольку высокая степень доверия между американской и канадской спецслужбами общеизвестна, решили воспользоваться услугами этого агента.

Ларку передали, что в Монреале с ним хотел бы встретиться работник нелегальной разведки КГБ. Поэтому весьма желательно, чтобы Ларк через недельку наведался бы в Канаду. Когда же Ларк в Монреаль прибыл, ЦРУ, конечно же, весьма подробно проинформировало о нем дружественные канадские спецслужбы. Ну, а дальше уж, как говорится, дело техники — буквально через два дня подробная информация лежала у Андропова на столе. Краткое заключение канадской резидентуры было похоже на удар кнутом: <<Ларк — сотрудник ЦРУ, внедрен в нашу агентурную сеть по их заданию, работает успешно, за что неоднократно поощрялся. Имеет счет в швейцарском банке >>.

Прочитал, и все припомнилось ему. Как радовались, когда завербовали Ларка, как были уверены, что теперь не только в Канаде, но и в Штатах будет свой человек. Ликовали, а ликовать-то надо было не Андропову, а шефу ЦРУ. Потому что все эти годы Ларк на ЦРУ работал.

<<Значит, так — мы его простили, а он...>>

Юрий Владимирович сбросил пиджак, повесил его на спинку кресла, галстук распустил и какое-то время сидел с пустым взглядом. <<Значит, так — мы его простили, сына в училище устроили... учишься сын, отцом гордись... мечтал о море — пожалуйста... квартира маловата — в трехкомнатную переехать можно... пенсионный срок подойдет, на родину потянет — пожалуйста... все устроено будет в лучшем виде. А он, значит, все эти годы... ну, и сукин же сын! Да никакой пощады! Второй раз предать так подло! Да немедленно приговор в исполнение... пятнадцать лет тому назад вынесли, а он — шкура! — до сих пор на свободе гуляет... в снежных Альпах отпуска проводит... счет имеет в швейцарском банке...>>

Когда Юрий Владимирович в 67-м только-только начинал, когда к этому креслу под портретом <<железного Феликса>> только-только привыкал еще, принесли приговор на Орлова. Такой же предатель-перебежчик. Может, и тогда надо было подписать, не раздумывая... чего ж не подписал тогда-то?.. Не смог... только-только из Отдела ЦК, только-только от остроумных консультантов-интеллектуалов... посмеивались друг над другом, острили, пикировались... <<изнеженными аристократами духа>> — он их называл. А ведь, как ни говори, и самому было приятно в той расслабленной атмосфере, за которой, если разобрать, ничего серьезного. Ну, подготовишь доклад для начальства страниц на двадцать, а то и на все пятьдесят... Но разве ж сравнишь это с тем маленьким листком на плотной серой бумаге, что лежит у него на столе... приговор. Еще пока живому человеку. Возьми ручку, поставь привычное: Ю. Андропов. И нет больше человека... В 67-м не смог. Какая-то пуповина еще связывала с прошлой жизнью. Да — был на войне. На войне рука б не дрогнула, он это знает. А тут — не смог. Оправдываться стал, вот, мол, Орлов не предал Кима Филби...

Ким Филби, пожалуй, самый яркий разведчик послевоенной поры, блестящий британский офицер. Все западные спецслужбы боготворили Кима Филби. ЦРУ его своим учителем считало. А Ким Филби все

эти годы на СССР работал. Да как работал! Юрий Владимирович встречался не раз с Кимом Филби. Не о передаче опыта речь шла. Опыт, конечно, опытом. Но разведчиком просто надо родиться. Ким Филби был из тех, кто родился. Собственно, ничего нового личные встречи как будто и не дали. Но во время их у Юрия Владимировича было странное ощущение мощного завораживающего потока, который, несомненно, исходил от этого незаурядного человека. От глаз его, от плотно сжатых губ, выразительного движения бровей, даже от тела, расслабленно отдыхающего на идеально выпрямленном позвоночнике, готового тут же к неизвестному еще прыжку. Все, буквально все излучало эту странную магию посвящения в тайну... на чем, собственно, и держится любая разведка. Через каждую клетку, через каждую пору истекла эта невидимая страсть, подчиняющая человека полностью, заставляющая забывать о жене, о друге, о собственной нации... обо всем...

Вот что такое был Ким Филби. Орлов знал, на кого работает Ким, и не предал. Других предал — это верно. А Кима Филби — нет. Это, наверное, тогда в 67-м и перевесило — не подписал смертельного приговора. Отменил расстрел. А сейчас... да никакой пощады!

Отрешенный взгляд становится все более змеиным, губы сжимаются, сливаются в синеватую полосу, глаза из голубых стали серыми, темными, мутно посверкивали... да никакой пощады! Он уже давно не переживал такого оскорбления, личного оскорбления... С покушения на Брежнева не переживал, это уж точно. То-то сейчас смеется над ним шеф ЦРУ, то-то издевается...

Все еще в этом состоянии отрешенного напряжения он как бы взвалил на себя, прочувствовал все эти восемь нелегких лет, которые так непонятно быстро пробежали. КГБ вырос, окреп за эти годы. Давно преодолел то отставание, которое наметилось явно при Хрущеве. Когда занимались в основном реабилитациями. Да за эти восемь лет КГБ вошел в тройку лучших разведок мира: ЦРУ, МОССАД, КГБ. Почти

восстановлена былая мощь. Численность увеличена, возникли новые управления, серьезно реорганизованы старые. По сути, сейчас КГБ не просто проник во все сферы бытия — военного, политического, экономического, идеологического и религиозного, он пропитал все эти сферы, естественно в них адаптировался. Существует ли оппозиция? Существует. Как и всегда. Но вот добиться такого тотального контроля над ней — это удалось только при нем. Какие-нибудь любители рока или те же писатели, артисты возьмутся какой-нибудь патриотический фонд организовать — а им уже идут навстречу — да ради бога! — им уже предлагают не просто какое-то аморфное движение любителей-рока, а официальный — Рок-клуб. Звучит? Звучит. А главное — официально есть Устав, Совет клуба. И опять — инициатива перехвачена, опять все нити у него в руках, только подергивай.

Да что там говорить, если самые грозные диссиденты, молодежные кумиры, звонят ему прямо сюда, в КГБ, советуются. Так, мол, и так, Юрий Владимирович, хотел бы завтра выступить на митинге... с протестом по поводу ввода войск в Чехословакию... <<Выступайте>>. — <<Вы — серьезно?!>> — <<Выступайте, выступайте... — ах, неразумные дети, им бы все шалить-острить, — да, да — выступайте, никто не собирается затыкать вам рот... единственно, если не трудно, при выступлении скажите, что — да, Чехословакия — это, действительно, плохо... но рот теперь никто не затыкает и... это, действительно, хорошо...>>

Переиграть противника на его собственной территории — вот то принципиально новое, что Юрий Владимирович принес, несомненно, в эту службу.

А какой материал по злоупотреблениям ждет своего часа! Послы, торгпреды, министры, секретари обкомов, крайкомов... секретари республик... и даже кое-кто повыше.

Какое пухлое досье Эдуард Шеварднадзе положил ему на стол совсем недавно. Вот это работа! На первого секретаря ЦК Грузии — на Василия Мжаванадзе. Дуб! Почти двадцать лет безраздельно правит

Грузией. А ведь покачнулся. Покачнул его Эдик, да еще как покачнул-то!

Разумеется, друг большой Леонида Ильича. И жены дружат. Обеих Викториями звать. Не подступит, конечно. Но Юрий Владимирович, как в досье глянул, понял — закачался дуб. Да что там — досье от корки до корки прочитал — ахнул... такие перспективы вдруг замаячили, что самого себя перепугался... не по себе как-то стало... А пока... пока не пришло еще время по-настоящему, пока еще все пусть будет по-старому, запрещать не надо...

Главное, не надо ничего запрещать. Это же просто вызывает негативную, никому не нужную на сегодня реакцию. Надо просто-напросто везде иметь своих людей.

Понятно, здесь он велосипеда не изобрел. Юрий Владимирович наизусть помнит инструкцию Зубатова — начальника еще царской охраны: <<Если вы хотите иметь хорошего агента, надо заботиться о его здоровье, помогать в продвижении по службе... офицер полиции должен заменить ему и мать, и отца...>>

<<Семье помогать...>> — мысль тут же вернулась к досадному проколу с Ларком. Юрий Владимирович был уверен, что за те восемь лет, что он в КГБ, его спецслужба, если и не обогнала ЦРУ, то, по крайней мере, сравнялась. Теперь же он так неприятно поражен тем, что ЦРУ по-прежнему сильнее. Срочно надо и собственную мощь поднимать еще на ступеньку, на полступеньки.

Да, надо к Брежневу идти, надо новый бюджет КГБ обговаривать. У него, как у рачительного хозяина, все — даже прокол — в дело идет. Впрочем, увеличение бюджета — это уж само собой. Но ведь, по-видимому, можно и помимо бюджета как-то использовать... обыграть противника его собственными картами... Пристрелить негодяя никогда не поздно, а вот как-то использовать... ударить по ЦРУ их же собственными козырями... скажем, взять и доставить... доставить и устроить небольшую пресс-конференцию... международную, разумеется... мысль уже работала, как всегда

четко, конкретно, педантично подбрасывая живописные детали, порою самые экзотические... воображение разгонялось... собрать побольше журналистов-международников, представителей посольств... само собой, ребят пригласить из бывшего Отдела... Арбатова, Шахназарова... Ларк каяться будет, будет обличать чудовищные провокации, затеваемые во всем мире ЦРУ... текст ему консультанты-академики готовят, сценарий разработают... Ну, а заодно здесь уже можно будет из него и вытрясти всю информацию о сбежавших предателях... о Косенко, о других...

Юрий Владимирович взбодрился, стал по кабинету расхаживать, руки за спину заложив. Угрюмость еще не прошла, но воображение подбрасывало картинки одна другой привлекательнее, он уже светлел, уже посмеивался чему-то удачному в раскладе, уже думал о том, что на пресс-конференцию обязательно надо доставить и семью Ларка, жену с сыном. Пусть сядут напротив, чтоб глаза в глаза... и лица, конечно, крупным планом по телевизору, по первой программе... пусть покрутится... семью обязательно надо... осина, конечно, не виновата, что на ней Иуда удавился, но... без семьи все будет не так впечатляюще.... семью обязательно надо...

Он распорядился пригласить шефа внешней разведки, не откладывая стали просчитывать варианты вывода Ларка в СССР.

Понимали, что для этого нужна безошибочная версия: ЦРУ есть ЦРУ. Предлагали и тут же отвергали очередной вариант. Кое-что стало нащупываться, и часа через два, через три окончательно определился вариант-приманка, на который ЦРУ скорее всего клюнет.

Ларку будет предложена встреча в нейтральных Альпах, в Австрии, ничего подозрительного. Просто он поедет туда с женой в отпуск, покататься на горных лыжах. Он когда-то увлекался горными лыжами, вот, скажем, и решил потрянуть стариной. Ну, а там, в заснеженных Альпах, нетрудно будет организовать встречу с нашим агентом. Агент познакомит Ларка с приемами спецсвязи. Которая и обеспечит в даль-

нейшем надежный контакт с нашим офицером нелегальной разведки КГБ в США. При этом для ЦРУ наверняка весьма заманчивым покажется такой ценный нюанс, как возможность быстро раскрыть этого офицера, потому что Ларку будет обещано, что он уже в Австрии лично встретится с этим таинственным офицером, долго и успешно работающим в США. Кстати, тоже горнолыжником. Так что до рабочей встречи в США они успеют и познакомиться, и на лыжах покататься, и в горной хижине у камина посидеть, распить рюмку-другую крепкого шотландского виски.

Приманка сработала. В декабре 75-го Ларк был в Австрию с женой и лыжами. И в течение двух дней его, действительно, познакомили с приемами работы на новом передатчике. На третий день обещали встречу с нелегалом. Когда же Ларк вышел на нее и сел в машину, набросили маску с хлороформом, дали для гарантии усыпляющий укол и погнали к Чехословацкой границе. Там, под покровом темноты, в условном месте перетащили уже на свою территорию. Чехословацкие пограничники были предупреждены, встретили с пониманием. Казалось, самое трудное позади. Но то ли сильный стресс тому причина, то ли доза усыпляющего была слишком велика — скончался Ларк. Был тут и врач среди встречающих на границе. Но и врач не смог ничем помочь. Сердечная недостаточность — констатировал врач.

Когда труп спецсамолетом был доставлен в Москву, начальник Главного управления Минздрава Евгений Чазов подтвердил диагноз. Той же ночью быстро похоронили на специальном кладбище, под распространенной латышской фамилией. Вот, собственно, и все...

Да, перед тем как везти на кладбище, Юрий Владимирович зашел в морг — грузное тело, одутловатое лицо, редкие, седые волосы; сквозь которые старчески уже просвечивает рябая кожа... Стоявший рядом Чазов вполголоса произнес: <<Вскрытие показало — рак почки... прожил бы еще с полгода... ну, год от силы...>>

А зачем сказал? Юрий Владимирович так и не понял. Успокоить? Так он спокоен. Какого-то чувства вины он не ощущает. Сколько в себя ни заглядывал, не было ничего такого... За эти восемь лет в КГБ он сильно изменился. Постарел, полысел, все больше становится похожим на поэта Тютчева. Слегка сутулится, огруз, живот наметился... Но это снаружи... А вот внутри что-то странное — какое-то... вращение... тихое, непоколебимое вращение в это могучее, что окружает со всех сторон... Если сказать — КГБ — то это будет не совсем так, КГБ — всего лишь вершина. Можно назвать это — родиной, можно государством... Юрию Владимировичу по душе больше слово система. Социалистическая система.

Да, скорее всего, здесь надо говорить о системе. После того страшного, что было на войне, что лично он, Ю. Андропов, перенес... лично, но всегда с товарищами по оружию, — говорить надо о системе. Лично для него несомненно, что за все потери, страдания, боль, кровь, что пролил народ на этой священной и великой войне, — одна лишь возможна награда, одно завоевание — это создание совершенно новой, неслыханной, невиданной системы — социалистической системы государств в Европе и Азии, в Америке и в Африке... везде.

Система, как и сам социализм, разумеется, далека от совершенства. Но в социалистических принципах ее заложен такой заряд нравственности, что тут двух мнений быть не может. Мир обязательно придет к социализму. Люди должны жить не богаче, не жирнее, они должны жить нравственнее... А иначе же — нет никакого смысла в человечестве, иначе же это просто дурная, какая-то желудочная бесконечность.

Он даже Хрущева теперь понимает все больше. Тот для сохранения социалистической Кубы пошел на смертельный риск. Блефовал, конечно. Хотя никто не знает, как поступил бы он в решающую минуту. Система, мировая система социализма — это самое главное на сегодня.

Понятно, что КГБ, который он возглавляет, все делает для того, чтобы сохранить систему в непри-

косновенности. Кое-что делает и по части возможного приумножения, расширения. Две, три... пожалуй, даже четыре страны уже готовы для этого.

Умники из <<Коммуниста>> в его статье о социалистических преобразованиях посчитали <<социализм>> опiskeй, исправили на расхожее — <<коммунизм>>. Чудаки — система должна быть реальной, то есть на сегодня — социалистической. Ни больше и ни меньше.

Собственно, социализм давно уже не идеология. Это единственный способ бытия, реально сохраняющий человечество. И человечество к этому обязательно придет... В Афганистане уже приходят... А Бабрак Кармаль закончил нашу Военную академию... все идет естественным своим путем...

Ну, а об этом, что сейчас в морге лежит перед ним и уже начинает разлагаться... он уже и не думает... так... очередной прокол... перестарались, лошадиную дозу всадили... бывает. Конец разведчика - профессионала... не самый худший, между прочим... жаль... не поговорили... пресс-конференция сорвалась... через час закопают под чужой фамилией. Ну, а сын... пускай учится... сын за отца не ответчик, пускай продолжает думать, что отец у него — герой. Махнул рукой и отвернулся. Всё.

Но оказалось не всё.

Исчезновение Артамонова-Шадрин наделало много шума. Видные юристы, общественные деятели настаивали на выяснении обстоятельств столь странного исчезновения. Вмешался Киссинджер, Бжезинский. Особенно яростно нападал Бжезинский, у него ведь аллергия на все советское, какой-то лаятельный рефлекс. Наконец сам Форд вмешался.

В конце февраля Юрия Владимировича вызвал Брежнев, показал послание американского президента, тот настойчиво просил выяснить: так где же все-таки этот Артамонов, который Шадрин. Поехал в Австрию, на лыжах покататься, встречался там с каким-то русским, пил с ним в горной хижине на брундершафт. И после этого — как в воду.

— Что Форду ответим, Юрий Владимирович?

— Да то, что есть на самом деле, Леонид Ильич. Мы, мол, и сами хотели бы знать, где находится Артамонов в настоящее время.

— Может, <<Моссад>> его сцапала?

— Может...

— А может, наши ребята из ГРУ?

— Может, все может быть, Леонид Ильич.

— Да нет, — шумно вздыхал Брежнев, — я уже с их руководством говорил, они на вас кивают... говорят, почерк ваш, а я ему говорю, что в почерках не очень разбираюсь, а он мне...

Юрий Владимирович видел, что Брежнев быстро сдает, уже далеко не каждый день бывает на работе, все чаще болеет. А главное — все более тяготеет государственными делами, в какую-то облегченность облакает свою жизнь. Сентиментален стал, слезлив. Странную жалость испытывает он к Брежневу сейчас.

Свою семью, близких и дальних родственников, всех Леонид Ильич с головой обеспечил. Должности, дачи, машины... Теперь вот так же обеспечивает тех, с кем когда-то работал, воевал, просто встречался. Добряк, любит ордена вручать, обнимать, целовать. Недавно вручал Золотую Звезду ткачихе из Иванова, так смачно стал целовать при этом, что Юрий Владимирович отвернулся. Да, это смачное жизнелюбие все более претит ему. Никогда не любил, если Хрущев после рюмки начинал рассказывать смачный анекдот. Коробило, когда слышал матерные слова от руководителей великой страны. Отворачивался. А если и не отворачивался, кривился весь внутри. Но что он мог поделаться? Что он может, к примеру, и сейчас? Не рассказывать же Брежневу всего. И не поймет. И ни к чему это старому, больному человеку.

Уже года два, три, как взвалил Брежнев на них троих — Устинова, Громыко и Андропова — все важные дела. Некий явный триумвират в Политбюро наметился.

Не сразу такое случилось. Андропова никак нельзя отнести к счастливчикам, шел к власти гораздо

медленнее других. В 67-м стал кандидатом в члены Политбюро. И только в 73-м — полноправным членом. Семь долгих лет! Нет, каждая ступенька давалась с трудом. И если б не безупречная, всех поражающая работоспособность, почти ежедневно допоздна, — никогда бы не быть ему так высоко.

Да и в 73-м, став полноправным членом Политбюро, прав, конечно же, не имел. Долго еще числился на уровне второстепенных членов, на уровне казаха Кунаева, латыша Пельше. В борющиеся между собой группировки не входил. Председатель КГБ по службе не имеет права кого-то поддерживать. Впрочем, здесь скорее всего сработал инстинкт самосохранения. Исторический опыт работал против Андропова. Печальный пример — Ягоды, Ежова, Берии — стал почти что личным опытом, высовываться до поры до времени было страшновато.

И все-таки семь лет в политбюровском предбаннике это уж слишком. За семь лет в тени эта поражающая всех позднее непроницаемость поневоле стала второй натурой. Единственный, кто хоть как-то замечает, одобряет его в это время, — это Михаил Суслов. Одобряет за скромность, аскетизм, за адскую работоспособность. Суслов первым и поддержал его борьбу с коррупцией, которую начал Андропов в Грузии и Азербайджане. Там было на кого опереться.

В 1969 году Андропов пробивает Алиева в первые секретари ЦК Азербайджана. И Алиев в первый же год поднимает производительность в республике сразу на десять процентов! Алиев умеет работать. Но лишь через семь лет Брежнев уступит настойчивым доводам Андропова и наконец введет Алиева в кандидаты. Членом Политбюро при Брежневе Алиев так и не станет.

Эдуард Шеварднадзе станет первым секретарем ЦК Грузии через три года после Алиева. Доводы из пухлого досье на Василия Мжаванадзе были столь неотразимы, что Брежнев и не попытался защищать своего любимца. С Шеварднадзе Андропову понадобилось меньше сил, чтобы пробить его вверх. К власти придя, Шеварднадзе повел себя еще более реши-

тельно, чем Алиев. Борьба с коррупцией перерастала во что-то большее, чем просто борьба. На XXV съезде единственную антисталинскую речь — по подсказке Андропова — произнес грузин Шеварднадзе.

Зачем понадобилось Андропову спровоцировать Шеварднадзе на такую речь, он и сам до конца не знал. То ли хотел еще раз проверить, насколько человек надежен. То ли подмывало уже таким вот способом внести диссонанс в явно наметившееся при Брежневле съездовское стопроцентное единение. Но, как бы там ни было, Шеварднадзе выступил ярко, смело, смелости ему не занимать. В кресле первого секретаря сидит там надежный человек, есть на кого опереться. Судьба.

Да не судьба, а вовремя рассмотренное кольцо на пальце жены Василия Мжаванадзе. Министр внутренних дел Шеварднадзе зорким оком рассмотрел кольцо на одном из приемов. А колечко-то ворованное... его Интерпол разыскивает. И закрутилось большое дело. Оказалось, что кольцо ей подарил Отари Лазишвили — богач, авантюрист, по нему давно тюрьма плачет, взять никак не удавалось, теперь можно брать.

Отари, как в воду глядел, чувствовал, что такое колечко доведет до беды, и поскорее подарил его Виктории Мжаванадзе. Знал кому дарить! Та, видя, как бурно развиваются события под рукой сверхэнергичного Шеварднадзе, а мужа уже к тому времени сняли, бросилась в Москву и злополучное кольцо срочно подарила другой Виктории — Виктории Брежневой. Думала: обойдется. Не обошлось. Пиррова оказалась Виктория. Шеварднадзе приказал арестовать ее.

Вернее, сперва, разумеется, проконсультировался с Андроповым: брать или, может, оставить. Муж снят уже с поста первого секретаря. Да и колечко слишком далеко закатилось, пожалуй, что и не достать. Хотя почти что рядом — в квартире, что этажом всего лишь ниже. Юрий Владимирович все взвесил, все просчитал и дал <<добро>>. Но к тому времени Виктория Мжаванадзе судьбу искушать не стала и срочно вылетела в Киев, к родной сестре, которая

была замужем за первым секретарем ЦК Украины, за Петром Шелестом.

В конце концов все получилось, как он и предполагал. Украина Грузии не выдала Викторию Мжаванадзе. А с этой Викторией, что всего-то этажом ниже, он и не собирался по-настоящему тягаться. Просто пора было продемонстрировать перед Брежневым свои собственные возможности. Которые приобрел за восемь лет в КГБ. Продемонстрировал.

Теперь крепкий триумvirат — Устинов, Громыко, Андропов. Только с ними Брежнев и советуется. А вернее, все чаще они втроем принимают решения и лишь ставят Брежнева в известность.

Давно прошло то время, когда Леонид Ильич с утра часа по два, по три обзванивал секретарей обкомов, секретарей ЦК, министров — советовался: <<Иван Иванович, вот мы здесь хотим кое-что предпринять, решили с вами посоветоваться... как вы думаете, Иван Иванович...>>

В 66-м был восстановлен сталинский пост Генерального секретаря, восстановлено Политбюро. Старость и болезни все больше наваливались на Генерального секретаря, все больше наград появлялось на его внушительной груди...

Все это, несомненно, способствовало консерватизму как самого Брежнева, так и его окружения. И в какой-то мере вело к стабильности в стране. Хотя за такую стабильность приходилось не дешево платить.

И в первую очередь — ослаблением взаимосвязей в национальной культуре. Низ и верх все более разделялись непреодолимой стеною. Сверху на это разделение смотрели сквозь пальцы. Низ, как всегда, на осознанном уровне очень редко воспринимает такие изменения. А между тем кризис нарастал.

Одним из конкретных проявлений этого кризиса была публикация на Западе романа Пастернака <<Доктор Живаго>>. Люди слушали по приемникам отрывки романа, обсуждали. Молодежь все чаще собиралась у памятника Пушкину, у памятника Маяковскому. Самиздат набирал силу. Образованные люди, в первую очередь молодежь, действовали так, как

будто на самом деле были свободны от всего. Все более вызывающе ведут себя. Даже как будто ждут — а что же будет дальше.

Это замешательство властей, неспособность, а вернее нежелание, вести диалог на равных, вне рамок устаревшей идеологии, вызвало новую волну эмиграции. И, несомненно, произошла очередная потеря изрядного куска отечественной культуры. Но признать за этими людьми права на какую-то гражданственность, признать в целом роль диссидентства как стимула развития, роста — на это власть пойти не могла. И тут уж дело было не только в Брежневе, который и обсуждать этих вопросов не желал, он, как броней, все больше наградами обрастал. Тут уж и сам Юрий Владимирович стал проявлять свою собственную сущность. А она заключалась в том, что душа не принимала в целом всех этих диссидентов, что-то порочное чудилось ему в каждом из них отдельно и во всех вместе взятых.

Ну, а низ уже всю бурлил, он уже какую-то критическую набрал массу. И верх, в первую очередь окружение Брежнева, почуял неясную от этого тревогу. И хотя ничего конкретного не говорилось, наоборот, вокруг Брежнева по-прежнему создавалась искусственная тишь и благодать, он как-то сам почувствовал эту тревогу и наконец на что-то решился. Вернее, дал понять Юрию Владимировичу, что пора бы слегка низы подтянуть... слегка...

Взяли Гинзбурга — он давно был в списках, дали два года. Валерия Тарсиса отправили в психушку. А известного диссидента Буковского просто избили. Вот и все.

В принципе еще можно было и по-настоящему подтянуть гайки — системно. Но Брежнев уже не мог быть последовательным до конца. Непоследовательность определялась его собственным физическим состоянием. А оно было то похуже, то получше. Вот и получалось: одних сажали, отправляли в ссылку, других за то же самое — спокойно отпускали за рубеж. Действительность была похожа на театр абсурда.

Юрий Владимирович понимал, что дело не только в Брежневе. Атмосфера в стране во многом отражала беспокойную мировую атмосферу. А в мире произошли большие изменения. И, к сожалению, не в нашу пользу.

Во-первых, сырьевой кризис потряс всю систему капитализма, и она быстро и гибко приспособилась к новым условиям.

Во-вторых, Америка решительно вышла из бессмысленной войны во Вьетнаме и теперь быстро набирает популярность.

В-третьих, в братских партиях СССР уже не пользуется безоговорочным авторитетом. Особенно это усилилось после чехословацких событий. Опять обострились отношения с Китаем.

Правда, в 69-м удалось собрать совещание рабочих и коммунистических партий. И хотя бы внешне всех помирить. Но разрушительный процесс быстро набирал силу. И не последнюю роль в этом процессе играет сам стареющий Брежнев, не желающий никаких перемен, а еще многое, очень многое спасти было можно.

Если, конечно, решительно взяться за дело. За большое дело по оздоровлению всей системы. Но самое большое, на что рискнуло брежневское окружение, в 77-м наградить Леонида Ильича еще одним постом — Председателя Верховного Совета. Брежнев стал Главнокомандующим, стал Председателем Совета Оборона. Но именно с 77-го года — вот парадокс истории — он практически уже не управляет государством.

Когда в 77-м в Москву приехал Вэнс — секретарь Картера — Брежнев уже не участвовал в совещании. Возложил все на них троих — Громыко, Андропова, Устинова.

Переговоры провалились, что, собственно, и предопределило в дальнейшем ввод войск в Афганистан.

Брежнев был недоволен провалом, покачивая тяжелой головой, с усмешкой выговаривал им, троим:

— Вот, поручил вам такое серьезное дело, и провалили!

И хотя говорил о троих, Юрию Владимировичу казалось, что упрек относится более всего к нему. Головою покачивая, дольше всего глядел при этом на Андропова — это уж точно.

А когда в том же 77-м Брежнев неожиданно почувствовал себя немного лучше, взял и учредил Совет Безопасности, как бы еще раз подчеркнул приоритет Армии над КГБ, Юрий Владимирович понял, что его догадка была правильной. Стал следить, как, в какой последовательности Леонид Ильич произносит их фамилии. И действительно, чаще всего убеждался... Громыко, Устинов, Андропов... и очень редко — Громыко, Андропов, Устинов...

В это невзрачное декабрьское утро 1979 года у него в кабинете собрались трое: Громыко, Устинов и он сам.

События в Афганистане принимали драматический характер... Амин, убив своего предшественника Тараки, захватил всю власть. Уже был официальный разговор с Кармалем, который после изгнания нашел прибежище в Москве. Где же прибежище ему еще искать! В принципе Бабрак Кармаль готов возглавить социалистическую революцию в Афганистане. Если ему помогут, конечно.

Революция 1978 года прошла там без нашего участия. Но суровая историческая необходимость, если вспомнить сколько раз нападали на нас через эту границу, диктовала нам постоянно быть внимательными к этому весьма уязвимому участку наших рубежей. Правдой было и то, что правительство Афганистана уже не раз просило Москву о помощи. Имея на то тем больше оснований, что помощь извне давно уже получали противники революции.

Интернациональную помощь начали, как всегда, с поставок оружия. В общем-то, пока ни к чему нас не обязывающих. Но за оружием прибыли советники, специалисты. А это уже стало влиять на ситуа-

цию. Так, именно советники превратили конфликт в Герате в не затухающий уже пожар, настояв на применении оружия против населения. Ну, а потом уж надо было защищать самих советников.

Устинов приказал своим представителям в Кабуле вооружать рабочий класс. А какой в Кабуле рабочий класс? Но, как бы то ни было, потом уже надо было, действительно, защищать и советников, и собственный престиж. Защищать то, что уже начало рассматриваться в качестве конкретного оборонного интереса, то есть дружественную армию в пограничной стране. Которая вдобавок имеет выход к океану!

Устинов решительно говорил, что пора вводить регулярные войска. И дружественную армию защитим, и вообще... друзьями станем. Говорил о том, что такой авторитет, как маршал Штеменко, долгие годы возглавлявший Генеральный штаб и ГРУ, никогда не расставался с мечтой проникнуть через Афганистан к Океану. Везде настаивал маршал при этом на особой геополитической роли Афганистана. Роль эта заключалась в том, что СССР когда-нибудь через Афганистан обязательно выйдет к Океану.

Теперь на этом же самом настаивает и нынешний шеф ГРУ Ивашутин. Так во всяком случае выходило со слов Устинова.

Юрий Владимирович слушал, пальцами по столу поигрывал... одно дело, когда идея Штеменко основывается на мирной интеграции, в соответствии с нормальной логикой естественной культурной и экономической экспансии по оси Север — Юг. И совсем другое — ввод войск. Будет ли операция такой же успешной, как в Чехословакии?

Беспокоило и другое. Агентурные данные говорят, что Амин, захвативший власть, в бытность свою студентом в США был завербован ЦРУ. Отличается неслыханной даже для Азии жестокостью и псевдосоциалистическим сектантством. Получается, если войска не вводить, страну окончательно потеряем... терять не хотелось.

Дело было не в конкретной стране, конечно. Сама мысль — прорваться наконец к Индийскому океану — сама мысль так странно возбуждала.

Есть политика, есть геополитика, а есть и нечто большее... Что же так возбуждает, так бодрит его сейчас, с чем не сравнишь никакие жизненные блага? Он сдерживает себя уже с трудом перед тем, что все больше открывается в этих призрачных индийских перспективах... совсем не похоже это на политику.

Нет, нет — не политика, а скорее всего это какая-то могучая География... Огромный, геополитически единый материк, единая империя, о которой мечтали такие разные и в то же время в чем-то близкие люди: от Бормана до Поскребышева... да что там говорить, если даже император Павел, этот странно-невезучий Павел, и тот затевал поход на Индию! И Грибоедов, в общем-то, сложил голову за это.

Удивительно живуча эта идея. Вне политики она, вне революций — иначе бы, откуда в нем самом сейчас, в Андропове, этот жар, несвойственный вообще-то ему в последнее время, — волнение, невольное желание встать, не торопясь пройти по кабинету.

Встал, расстегнул пуговицу, галстук ослабил и, руки за спиной сцепив, неторопливо прошелся по кабинету.

Да, огромный священный материк... одного Океана недостает всего-то. И вот сейчас, в это пасмурное декабрьское утро они, трое, обыкновенные, в общем-то, люди, и решат наконец, быть или не быть... Ну, разумеется, обыкновенные люди в сравнении с этой вечной идеей.

Имеют ли они право на это? Неясно. И вряд ли стоит ему задумываться над этим. Ясно одно — долг диктует поступать именно так. А совесть? И об этом вряд ли стоит задумываться ему. Извечный вопрос выбора пути между долгом и совестью. А путь-то, как всегда, настолько узок, что один бы Андропов никогда не принял окончательного решения. Не самодержец же на самом-то деле! А так вот втроем — товарищескими плечами друг друга поддерживая, уговаривая

— и раздвинут они эту узкую дверцу между государственным долгом и личной совестью каждого. Ну, и потихоньку-полегоньку окажутся по ту сторону нелегкого решения. Ну, а правы или нет... Никто сейчас не ответит — только время.

И все же, почти согласившись с Устиновым, почти успокоившись, продолжал по кабинету расхаживать, уговаривать себя!.. да, вот ведь и Гитлер рвался через Кавказ, через Индию к этому Океану. И маршал Штеменко... Светлая голова Сергей Матвеевич Штеменко, блестящий представитель отечественной военной элиты... каких-то три года не дожил до осуществления своей мечты.

Да что — Штеменко. За Штеменко стояли Жуков, Сталин... загадочный генерал Поскребышев... да, да — Юрий Владимирович отлично помнит — была такая странная фигура, выполняющая при Сталине то же самое, что и Борман при Гитлере. А именно — всепоглощающую миссию—расширение Евразийской империи по сверхмагнитной линии Север — Юг.

А ведь, действительно, не хватает небольшой законченности для этой сверхимперии... закончить бы!.. И на покой... вернее, после этого можно будет и вернуться к идее Андрея Дмитриевича, к конвергенции социализма и капитализма, к мировому правительству... но уже под нашу диктовку, только под нашу! Разве ж он против, он — за... под нашу диктовку.

План штурма дворца Амина уже готов. Спецназ уверен, что на это понадобится три-четыре часа. С Кармалем Юрий Владимирович вчера встречался. Тот твердо обещал после победы над Амином проводить умеренную политику. По ходу дела заговорили об общих интересах, о перспективах, и тут Кармаль твердо заверил, что выход к Океану будет использоваться в общих интересах всего социалистического лагеря. Только вот Амина надо скинуть поскорее, войска вводить поскорее.

Громыко выдерживал дипломатический нейтралитет, у него это уже в крови. Когда же Юрий Влади-

мирович согласился с Устиновым, что, пожалуй, пора... Громыко тут же к ним присоединился.

Собственно, все совещание на этот раз не заняло и получаса. Поехали к Брежневу, докладывать.

Леонид Ильич чувствовал себя неважно — декабрь за окном, самое противное время, обострились все болезни. Выслушал, не перебивая. Взял толстый коричневый карандаш и что-то стал жирно отмечать в настольном календаре, лежащем перед ним. Дважды сильно обвел дату на календаре, да еще так размашисто. Потом им показал — 13-е число. Усмехнулся мудрой усмешкой старого отжившего ворона.

— Не могли хотя бы другой день выбрать... во-яки!

Так началась афганская война.

Глава 10

Зам. начальника милиции товарищ Коньков сидел у себя в кабинете, легонько постукивал карандашом о край стола, поглядывал на часы. На последнем дне рождения у Медяницы опять зашел разговор о том, что пора бы Конькову сменить все же дачку. Ну, что за дача в пять кусков — типовой разборный домик, две комнатки, кухня, верандочка — все такое куцее, несерьезное. Да это ж просто неприлично в наше время иметь такую дачу!

Разговор такой среди тостов, анекдотов, шуток-прибауток заходит не впервые. Но смех смехом, а дачка-то, действительно... того... не соответствует... Впрочем, это несоответствие лично сам товарищ Коньков еще долго бы не замечал. Он человек полувоенный, привык жить по уставу, он до сих пор ориентировался на коллег по Управлению, а те в основном имели именно такие типовые дачи. Одно время по Управлению такая дача считалась для начальника почти что уставным признаком, то есть необходимо, но и достаточно.

Так что сам он еще долго бы над этим не задумывался. Но вот эти довольно частые в последнее



КАРЕЛО-ФИНСКОМ КОМСОМ В ОТЕЧЕСТВЕ

ФИНСКО НАМЯ

...иного Министра и Государственного Генерального Секретаря ЦК КПСР и Верховного Совета Карело-Финской ССР

ЦК ЛКСМ Карело-Финской ССР ТОВ. АНДРОПОВУ

...сомольдам и молодежи Карело-Финской ССР на строительство в 191.000 рублей на строительство в Карело-Финской Арии, мой горячий привет и благодарность.

И. СТАЛИН

К КИРОВА



II съезда БОЛЬШЕВ



СТАЛИНСКИЙ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
Юрий Владимирович

Предборное собрание рабочих, инженерно-технических работ и служащих станции Петрозаводск выдвинуло инициативу кандидатуры в депутаты Верховного Совета Карело-Финской ССР

Носифа Виссарионовича Сталина Андрея Александровича Жданова и Юрия Владимировича Андропова

С большим интересом и признанием мы узнали о предложении избрания на депутатские должности в депутаты Верховного Совета Карело-Финской ССР Юрия Владимировича Андропова, кандидатуры которого, как и кандидатуры Сталина и Жданова, мы считаем исключительно ценными.



Юрий Андропов с
сестрой Валентиной
и бабушкой
Моздок. 1926 г.



Справа сидит
Ю. В. Андропов
Справа стоит его
первая жена
Нина Ивановна
Ярославль. 1937 г.





*Евгения Карловна
файнштейн — мать
Ю. В. Андропова
Моздок. 1931 г.*



*Валентина Удовенко —
одноклассница
Ю. В. Андропова*



*Начальная школа в Моздоке, где учился
Ю. В. Андропов и преподавала его мать*



*Евгения Карловна — мать Ю. В. Андропова —
в центре, в черном платье, с выпускниками
фабрично-заводской семилетки. Слева рядом —
ее дочь. Моздок. 1929 г.*



*Группа курсантов Рыбинского речного
техникума
В центре сидит Ю. В. Андропов
Рыбинск. 1935 г.*



Ю. В. Андропов —
курсант Рыбинского
речного техникума
Рыбинск. 1936 г.



Ю. В. Андропов —
комсорг техникума
Рыбинск. 1936 г.

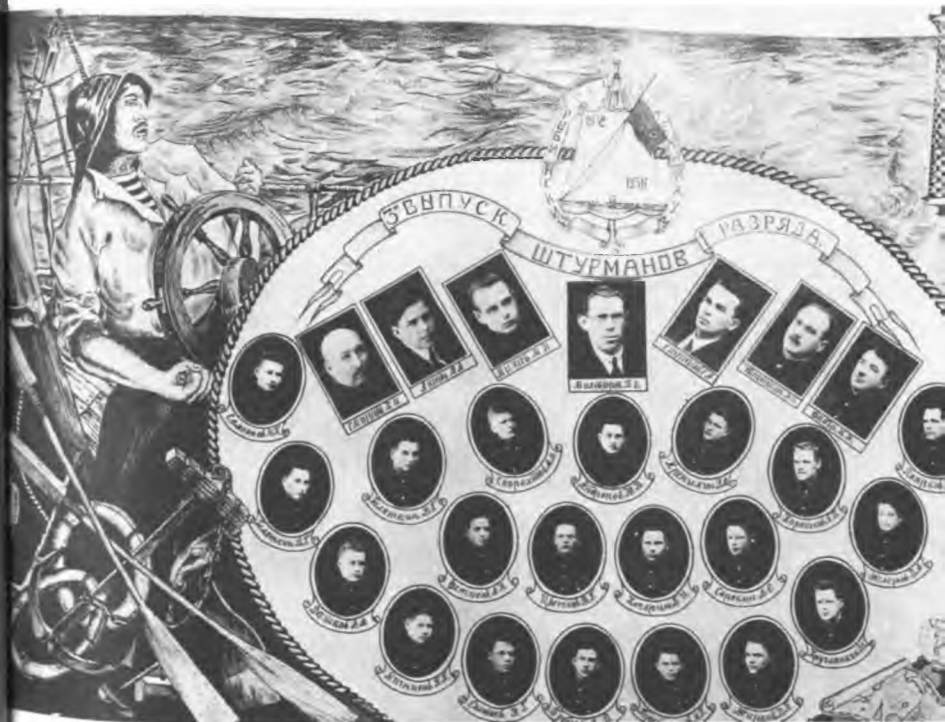


Три неразлучных
товарища: Поярков,
Цветков, Андропов
Рыбинск. 1936 г.

Выпуск штурманов
1-го разряда. В центре
Ю. В. Андропов



Пароход «Механик», на котором в 1934–1935 годах
Ю. В. Андропов проходил практику в должности
помощника капитана







*Шефская поездка комсомольцев Ярославля
на Северный флот. В среднем ряду, справа,
Ю. В. Андропов. Мурманск. 1939 г.*



*Секретарь ЦК ВЛКСМ Ю. В. Андропов среди
помощников комиссаров партизанских отрядов по
комсомолу. Беломорск. 1943 г.*



*Ю. В. Андропов на боевых стрельбах
Спецшколы ЦК ЛКСМ. Карело-финская ССР. 1943 г.*



*Ю. В. Андропов — второй справа — среди
офицеров-командиров. Карельский фронт. 1943 г.*



*Первый секретарь ЦК ЛКСМ Карело-Финской ССР
Ю. В. Андропов на митинге. Карелия. 1943 г.*



*Члены правительства Карело-Финской ССР на
митинге. Ю. В. Андропов — четвертый слева
Петрозаводск. 1945 г.*



Серия АЕ 17170 Андронов Юрий Владимир Андронов	Серия АЕ I ВОЕННО-УЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ
	1. Полное наименование воинской части 234 236
	2. Должность 3. Место жительства
Министерство обороны СССР Паспортный отдел	4. Должность 5. Должен учитывать на учете по 31 декабря 1974 года



*Руководители подпольного движения в Карелии в
годы Великой Отечественной войны. Слева
направо: И. В. Власов, Ю. В. Андропов,
Т. Н. Куприянов*

*Военное руководство Карельского фронта
Ю. В. Андропов — второй слева. 1943 г.*

*Военный билет Ю. В. Андропова
Петрозаводск. 1949 г.*



*Ю. В. Андропов – студент-заочник Карело-финского
государственного университета
Петрозаводск. 1950 г.*

С Е Р Т И Ф И К А Т

Имя тов. **АНДРОПОВ** Юрия Владимировичу в том, что он в 1967
 был зачислен в состав звончиков исторического отделения историко-
 филологического факультета Карла-Линнского государственного уни-
 верситета и за время звончного обучения сдал следующие дисциплины:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Первоисточное общество и др. Восток | - Отлично |
| 2. Основы археологии | - Отлично |
| 3. Основы марксизма - ленинизма /за I курса/ | - Отлично |
| 4. История др. Греции и Рима | - Отлично |
| 5. Этнография | - Отлично |
| 6. История народов СССР по ХУ в. | - Отлично |
| 7. Психология | - Отлично |
| 8. Основы марксизма - ленинизма /за II курса/ | - Отлично |
| 9. История средних веков ч. I и II. | - Отлично |
| 10. Экономическая география | - Отлично |
| 11. История средних веков ч. II. | - Отлично |
| 12. Логика | - Отлично |
| 13. История нового времени /весь курс/. | - Отлично |
| 14. История СССР XIX в. | - Отлично |
| 15. Русская литература /весь курс/ | - Отлично |
| 16. Английский язык | - Отлично |
| 17. История СССР XX в. | - Отлично |
| 18. История восточных и западных славян | - Отлично |
| 19. Источниковедение | - Отлично |

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 20. Историкография СССР | - Отлично |
| 21. Теория и история права | - Отлично |
| 22. Основы советского государства | - Отлично |
| 23. Диалектический материализм | - Отлично |
| 24. Историческая география | - Отлично |
| 25. Основы философии | - Отлично |
| 26. Английский язык | - Отлично |
| 27. Философия | - Отлично |
| 28. Философия | - Отлично |
| 29. Философия | - Отлично |

Выбыл
 исторического
 факультета
 Ленинградского
 государственного
 университета
 имени
 Г.С.Скворцова



Все студенты обязаны сдать экзамены за по-
 лный курс каждого предмета, входящего в учебные
 планы, а также сдать зачеты по практическим ру-
 брикам по плану.

Экзамены по сложным предметам, включая са-
 мостоятельные работы, проводятся не реже
 не чаще, чем два раза в год.

Зачеты по курсам СССР в III и IV семестрах
 (по плану факультета) сдаются ежегодно в о-
 тдельные недели.

Переход студентов с курса на курс про-
 зисается один раз в год.

Экзамены проводятся только профессором до-
 центом или старшим преподавателем, а зачеты тек-
 стовыми работами и проектами оформляются ассистен-
 тами.

Успеваемость студентов определяется средним
 баллом по всем предметам (по плану).

Студенты, имеющие баллы "хорошо", "зачтено", "отлично",
 "удовлетворительно", "неудовлетворительно",
 "не сдал" и "не сдал" считаются отличными студентами.
 Студенты, имеющие баллы "хорошо", "зачтено" и "отлично",
 считаются отличными студентами.

Студенты, имеющие баллы "удовлетворительно", "неудовлетворительно",
 "не сдал" и "не сдал" считаются студентами, не сдавшими
 экзамены по предмету.

Имя: **Юрий Владимирович Андропов**

Дата: **1967 г.**

Подпись: *Ю. В. Андропов*

/А.С. ПУШКОВ/

/В.А. СКВОРЦОВА/

Студенческий билет Ю. В. Андропова



На отдыхе в Кисловодске со второй женой —
Татьяной Филипповной. Кисловодск. 1956 г.



Удостоверение Ю. В. Андропова. Венгерский период
его жизни

Удостоверение Ю. В. Андропова — участника
партизанского движения в Карелии в 1941—1944
годах

время разговоры... полушутя, полувсерьез... Задумываться стал, прикидывать, оглядываться, сравнивать... вот так постукивая, как сейчас, карандашиком о край стола, где, у кого, за сколько... Это во-первых. Во-вторых, знающие люди, да та же Медяница — ох, и ловка же бабенка! — танцует так, что жарко становится... — так вот, умные люди объяснили, что для дачи не только цена важна, это уж само собой, но еще более важно — где она находится, в каком окружении.

Короче, для всех, оказывается, весьма желательно, чтобы дача зам. начальника милиции была там, где и все, — в <<Березовой роще>>, на Оке. <<Нам всем тогда будет намного спокойнее, если такой человек будет рядом!>> — И так плутовка при этом глянула изумрудными глазами, что жарко стало.

А ведь действительно, если подумать, в <<Березовой роще>> кроме Медяниц и Сарцевых, и зам. прокурора Журавлев, и Окуневы, и народный контроль Барков недавно дачу приобрел... за двенадцать вроде бы кусков, с банькой у самой реки. <<Э-эх, хорошо бы...>> — расслабленно, сладко простонал он на дне рождения, и все в его душе откликнулось на дружеский призыв. Он только представил, как было бы хорошо — вот так всем вместе на зеленом берегу, самоварчик, гитара, березки, малинки там всякие, манящие сумерки, куда уплывает в сырые туманы эта магнетическая Медяница... у -у-у... упругая, как слива-венгерка, э-эх... — Но ведь у вас в <<Березовой роще>> дачи стоят уйму денег, а я за свою... протезную (он уже презирал свою дачу) , я ж за нее и половину таких денег не соберу!>> — <<А мы-то на что?!>> — тут же откликнулась Медяница, тут же и генерал Медяница поддакнул, другие заволновались... <<Обижаете, обижаете, товарищ Коньков, обязательно поможем! Нам всем обязательно друг за друга держаться надо, друг другу помогать надо.>> Выходит, действительно, надо. Коньков барабанит карандашиком чижик-пыжика, глядит на часы, без пяти десять. На десять вызваны кочегары. Сейчас он ими и займется. Ровно в десять, как он и предполагал,

раздается негромкий стук в дверь. Выдержав паузу и напустив на лицо побольше многозначительности, он говорит полубаском:

— Войдите.

Вошли по очереди: Шишкин, Малышев, Птицын, Рыбак.

— Садитесь, ребята, — Коньков со вздохом показал на стулья, — вот поступила на вас бумага, — потряс заявлением, — за подписью треугольника... ведь саботажем занимаетесь!

— Мы так не считаем, — сказал Шишкин.

— А как же прикажете считать ваши заявления? Товарищ Шишкин? Я не ошибаюсь? Нет — ну, вот и хорошо! Так как понимать, а? Коллективный отказ от работы! И это в то время, когда в столице нашей родины идет подготовка к международному фестивалю! А?!

— Ну при чем тут фестиваль?

— А при том... — Коньков внушительно пристал, — что, когда все хотят показать все самое хорошее, ваша саботажная группа злонамеренно отказалась от работы! Кто у вас самый главный?! Вы?

— Нет у нас главного, — перебил Шишкина Малышев, — все у нас главные.

— А вы, по-видимому, будете Малышев. — Коньков прищурился. — Или я ошибаюсь?

— Н-ну... Малышев... тридцать лет как Малышев, и что из этого?

— Ничего... пока ничего... Вот вы, товарищ Малышев, утверждаете, что нет у вас главного, тогда почему же вслед за Шишкиным подали заявления и все остальные кочегары?

— Да потому, наверное, — и опять Малышев всех опередил, — что тревожное положение в нашей кочегарке нас всех касалось так же близко, как и его.

— Ну, хорошо... а почему тогда все заявления похожи на шишкинское? Почему они написаны близкими словами?

— Как почему? — Малышев даже подскочил. — Да потому...

— Дай мне, — сказал Птицын, слегка придерживав Малышева за рукав, — видимо, потому, что все мы говорим об одном и том же — о насосах, о пожарном щите, инструментах, недопустимой загазованности... то есть о том, из-за чего невозможно работать...

— Так-таки и невозможно? Ну, ладно... А что за тайные собрания вы проводите у себя в кочегарке? Что за протоколы, которые вы тайно пишете?

— Ну, маразм! — вскричал Шишкин. — Да что вы нам клеите всякую чушь! То наше зимнее собрание, кстати единственное, было вполне официальным, на нем были представители администрации, начальник котельной Салапуров, Семеныч... а протокол я лично отнес Медянице.

— Кстати, — Малышев добавил. — Ее ведь тоже приглашали...

— Протокол она, правда, при мне выбросила в корзину. Но у нас сохранился второй экземпляр... с подписями Салапунова, Семеныча... так что... — и Шишкин развел руками.

Некоторое время в кабинете все молчали, потом Шишкин сказал:

— Мы, разумеется, понимаем, что коллективный отказ от работы — средство крайнее. Но сильнодействующее. Посмотрите, товарищ Коньков, прошла всего лишь неделя, а сколько по нашим заявлениям уже сделано в кочегарке. Да за все последние годы со стороны администрации к ней не было столько внимания! Аптечка есть, противопожарный щит есть, вместо одного насоса уже три работают...

— Солдатики постарались, — вставил Малышев.

— Ну-ну-ну... — угрожающе сказал Коньков.

— И ведь четвертый обязательно поставят, — продолжал Шишкин, — положено четыре насоса, будет четыре! Все будет, как написано в наших заявлениях!

— Не знаю, что там у вас будет в кочегарке, — насупив брови, перебил Коньков, — а у меня подобного бардака не будет! В общем, так. Нечего тут дурака валять! Нечего выдумывать особую форму заяв-

лений. Видите ли, не будем смену принимать по причине нарушения администрацией всяких там правил техники безопасности. Это ведь еще и доказать надо! А то ведь и за клевету привлечь можно! Одним словом — хватит ваньку ломать! Хватит людям голову морочить! Пишите нормальное заявление. По собственному... Или не пишите никаких — выходите на работу, а? Тихо, мирно, а? Просто советую вам.. пока... И не ходите вокруг кочегарки! Не записывайте ничего в тетрабочку! Просто не советую! А то доходите! Ведь, ей-ей, доходите! — Коньков прихлопнул ладошкой по столу. — Там, говорят, кто-то умышленно задвижки перекрывает... вчера опять едва котел не взорвался...

— Я счастлив как чернослив! — вскинулся Малышев. — Да мы-то тут при чем!? Там же другие кочегары! И чего с пьяных глаз не накрутишь!

— Ну-ну-ну... Вы тут не очень-то, товарищ Малышев! Не очень! Новые кочегары на вас показывают. Говорят, что вы... да, да... именно вы, Малышев, крутитесь ежедневно со своим журнальчиком, все что-то пишете в него, пишете... Вот от них уже и заявление есть, — Коньков похлопал короткопалой ладонью по какой-то бумаге — так что все в порядке... А это уже не саботажем пахнет, а вредительством, а стало быть, и статья совсем другая, и срок другой. И вам, товарищ Малышев, это известно более, чем другим, не так ли? Так что...

И еще долго в том же духе продолжался этот разговор. Угрозы сменялись советами, полупросьбами даже забыть обоюднo обо всем и выйти на работу. Или хотя бы переписать заявления. И опять начинались угрозы, вызов понятых, подписание каких-то странных бумаг с обещанием впредь не создавать никаких саботажных группировок...

— Так что идите, — на прощание сказал Коньков, поправляя демонстративно новенькую кобуру, — идите и крепко подумайте...

Только вышли, возбужденно переговариваясь, как с лавочки раздалось тревожное:

— Никита? Ну, что там, Никита? Я прямо вся извелась!

— Ну, что ты, Сонечка, что?

Рыбак, на ребят пару раз оглянувшись, быстро направился к лавочке.

— Я же сказал, чтоб не ходила... ну, что, что? — он взял жену под руку, и они, негромко переговариваясь, пошли несколько впереди остальных.

— Ну, что, что ж ты как маленькая — ничего страшного... просто сказали, чтоб переписали по собственному...

— И чего же ты ждешь, Никитушка?! Ждешь, когда отберут вторую комнату? Ведь сказала же Галина Дмитриевна — напишешь по собственному — простит тебе все. Пойми, она же душевная женщина. А как нам жить в одной? С грудным ребенком! Что делать на шести метрах?!

— Слушай, Ника. — Подошел Шишкин. — Здравствуй, Соня! Слушай, Ник, мы тут с ребятами посоветовались и решили, что пора везти заявления и в горком профсоюза, и в горисполком, и в горком партии. Я — в горком партии поеду. Ребята — в горисполком. А вам бы с Сонечкой в горком профсоюзов заглянуть, а?

— Так в чем же дело? — засуетился Рыбак, заглядывая жене в глаза. — Сейчас же и поедем, правда, Сонечка? — Сонечка выразительно молчала, настойчиво тufелькой газон ковыряла. — Н-да... гм... хм... поехать-то можно, но ты знаешь, Егор, у меня к тебе разговор, — Рыбак отвел Шишкина в сторону, — видишь ли... немного щепетильный... понимаешь, Сонечка, а она у меня умница... так вот, посоветовала... э-э... немножко переписать заявление... срочно переписать — сделать все-таки по собственному, а? А то, понимаешь, она сидит там в конторе и видит, как тучи сгущаются... разговоры всякие идут... об уголовной даже ответственности... Семеныч там...

— Ну что ж, — раз Сонечка посоветовала — пиши.

— А ты?

— А что я? Я уже в первом все написал — переписывать не буду.

— Я понимаю, понимаю... Но Сонечка... на нее это все так сильно действует... тем более в конторе... она вся сама не своя, Егор... пойми меня правильно, а ей ведь волноваться нельзя. Людочку кормит...

— Никита. Ну ты скоро?

— Иду, иду, Сонечка, — и Шишкину: — Ну, я, брат, пошел! — Он протянул Шишкину руку, тот не сразу, но все же взял, пожал.

На другой день Рыбак переписал заявление и был благополучно уволен по собственному желанию. Кочегары на этот раз не упрекали его. Он, разумеется, обеспечил свои тылы — чистая трудовая, и вообще... Но он оставался с ними, это главное. На всех коллективных заявлениях была и его подпись. Как и обещал, отнес бумагу в горком профсоюза. Там повозмущались, но дальше этого дело не пошло.

Впрочем, как и везде, куда б ни обращались кочегары. А они уже были в санэпидемстанции, в котлнадзоре, в горисполкоме, горкоме партии... Везде выслушивали, обещали помочь, обещали вызвать Медяницу — и... все оставалось по-старому. Кочегары же хотели только одного — компетентной технической комиссии. Которая бы объективно во всем разобралась... Пришлось идти выше — в обком. Заявление спустили опять же на горком. Написали в <<Труд>>. Но <<Труд>> переслал заявление в облздрав, и оно, как бумеранг, вернулось к той же Медянице. Решили звонить Лебедеву. А Герман Петрович в это время мотался между проектным институтом, котлнадзором и санэпидемстанцией, пытался получить копии процентов хотя бы за последний капремонт. В отличие от кочегаров он понимал, что силы слишком неравные. И без процентов, где можно схватить Медяницу за руку, дело это обреченное. Но по звонку кочегаров он понял, в каком подавленном настроении они находятся, и, отложив все дела, поехал в Здравницу.

Случайно или не случайно, подтверждая подозрения Шишкина о том, что все телефонные разговоры подслушиваются, Лебедева на пороге конторы уже поджидал Семеныч.

— Нет, нет, — с обидой сказал он, проход загромождавая, — никуда не надо... никого не велено... идите, идите...

— Куда? — несколько опешил Лебедев.

— А туда... — и Семеныч махнул рукою в зеленое пространство.

— Да, да... — На крыльце появилась парторг Алешина. — Без главврача — нельзя.

— Но я — инспектор народного контроля... Лебедев...

— А это мы еще посмотрим... Сонечка! — приоткрыв дверь, крикнула Алешина. — Сонечка-деточка, позвони в народный контроль, позвони и узнай, посылали они к нам этого Лебедева... или это лично его самодеятельность.

— Карамба! Кукарача! Где ты, черный таракан! — Лебедев отчего-то развеселился. — Теперь мне, уважаемые, многое становится понятным.

— Интересно, что вам может быть понятным, товарищ Лебедев? И как быстро вы делаете далеко идущие выводы! Как неосновательно. Это не может не настораживать. Вы не находите, Иван Семеныч?

— Нахожу, — отвечал Семеныч, глядя на Лебедева немигающим взглядом и покачивая при этом головою.

— Ну так вот, — продолжала Алешина, — вы — что, лично знакомы с кочегарами? Вас неоднократно видели в дружеской беседе с ними.

— В такой же, как сейчас с вами!

Дверь приоткрылась, выглянула Сонечка:

— Кира Игнатьевна, они его действительно присылали.

— Хм... гм... — Алешина смотрит на Семеныча, тот — на нее.

Лебедев видит все это и решительно говорит:

— Так вот, попрошу выделить помещение, пригласить для разговора кочегаров, а так же представителей администрации... документы...

Когда все расселись в кабинете Медяницы, Лебедев спросил:

— Ну, так все-таки — был пожар или не было?

— Нет! — твердо и быстро сказала Алешина, — Как официально замещающая сейчас главврача, заявляю — пожара не было! Товарищ Салапуров, был пожар?

— Нет, пожара не было!

— Ну, вот — все слышали, что сказал наш начальник кочегарки. Он же — дежурный электрик. Пожара не было.

— Как же, Коля, — ласково произнес устроившийся в мягком кресле у двери Малышев, — не было пожара? Как же не было, — с улыбкой руки потирая, он продолжал, — когда нам давали читать твои заявления в милиции, и в горкоме профсоюза. Так вот, там черным по белому — пожар был, но виноваты кочегары. Правда, в санэпидемстанции ты писал, что пожара не было. Ты б, Коля, определился, что ли...

— Э-э-э... — Салапуров беспомощно завертел головой. — Я не-е...

— Писал, писал, родной! — веселился в мягком кресле у двери Малышев. — Писал и подписывал. Э-эх... Коля, Коля, далеко бы ты пошел, да времена, брат, не те!

— А ты! А ты! — стал кровью наливаться Салапуров. — А твой моральный и нравственный облик не соответствует высокому званию советского гражданина... не соответствует высоким принципам... ты, ты... вообще... в пикейное одеяло заворачиваешься! Вот ты кто!!

Малышев так расхохотался, что чуть не свалился с кресла. У Лебедева брови вверх полезли. Глаза колючими, веселыми стали. Алешина замахала руками:

— Садись, Коля, садись!

— Ну, так как же все-таки с пожаром? — смеиваясь, спросил Лебедев.

— Ну, конечно же, не было никакого пожара, — улыбалась Алешина, — это, товарищ Лебедев, нашим кочегарам просто показалось... они у нас слишком мнительные. И это, между прочим, всегда бывает, когда отрываешься от коллектива, от масс, от народа, так сказать...

Лебедев облокотился, прикрыл глаза. Рот прикрывая, чтоб зевнуть незаметно, вздохнул... и сразу отпустило сегодняшнее тягостное настроение, стало казаться, что ничего серьезного, обычный спектакль: дунь — и все рассыплется. Надо только достать процентовки и швырнуть их на стол очередной комиссии. И сразу все станет по своим местам, сразу станет ясно, кого судить... есть же на свете правда, которая остается правдою всегда... потому что откуда бы тогда взяться самому Лебедеву?.. Он давно бы должен был сгинуть, этот голодный малец-беспризорник... ворюшка... первые разбойные нападения на магазины, первые тюрьмы... все, буквально все шло к тому, чтобы сгинуть, пропасть... еще тогда, в двадцатые, тридцатые... А он в Болшевскую трудкомунну попал, к замечательным воспитателям... чекист Погребинский, часовых дел мастер Серебряков Петр Алексеевич... эх, какие они тогда с Петром Алексеевичем часы смастерили!.. Потом война, конечно... но до войны успел в коммуне механический техникум закончить, радиоделом увлекся. И вот на фронте, после курсов, стал за радиосвязь отвечать. Сперва у себя в отделении, потом взводную связь возглавил, ротную...

А над всей полковой стоял майор Свининников, по годам моложе, по званию старше. Свининников от него требовал неукоснительного выполнения уставных норм. А Лебедев людей берег и часто нормы те нарушал. И однажды в землянке у майора разговор меж ними закончился тем, что Свининников с криком: <<Так получай же за все!>> — выхватил пистолет. Лебедев успел за ствол сосновый отпрыгнуть. Там в землянке посерединке остался ствол сосновый, потолок поддерживал. Пуля кору с него сорвала. Лебедев выхватил свой пистолет, и телефон на столе Свинин-

никова разлетелся вдребезги. Свининников под стол нырнул. Неизвестно, чем бы все закончилось, в землянку вбежал замполит. Был трибунал, конечно. Время суровое — зима сорок второго. Поднять руку на старшего по званию... и вот, поди ж ты, оправдан был Лебедев! Ну, как после этого не поверишь, что есть правда.

После третьего ранения, когда вырезали три четверти желудка, был списан подчистую. Но эта убежденность, что правда — превыше всего, в Лебедеве подобна несгибаемому стержню. А так-то... старый, больной, желудка почти что нет... так бы давно уже быть ему на кладбище... Как-то попал он в руки уголовникам, это уже в должности народного инспектора, когда шестьдесят уже стукнуло. Подкараулили ночью, зажали в тупичке между товарняками и с ножом:

<<Отступись! Закрой дело по-хорошему! Жить будешь>>.

<<Не отступлюсь!>>

<< Эх, инспектор, видно, жизнь тебе не дорога>>.

<<Есть кое-что и подороже>>.

<<Ври, инспектор, да не завирайся! Что может быть дороже?>>

<<Правда. Как говорили беспризорники у нас в коммуне!>>

<<Так ты — что? Детдомовский, что ли?>>

<<Ну!>>

<<Брешешь! Мы сами детдомовские!>>

<<Пес поганый брешет!>>

<<А побожись!>>

<<В Бога не верю!>>

<<А во что веришь, инспектор?>>

<<А вы — во что?>>

<<А мы — ни во что!>>

<<Тогда мне жаль вас, сынки... хоть вы и детдомовские...>>

<<Ну, а сам-то, а сам-то — во что?>>

<<Я? Я — в Ленина.>>

<<Эва, куда хватил! В Ленина. Встречался, что ли, инспектор?>>

<<В том-то и дело, ребята...>> — на рельс присаживаясь, беломорину доставая, говорил с облегчением Лебедев, в очередной раз поверив, что жив останется.

О ноже позабыли. Проводили до самого дома. И потом, года два-три спустя, случайно еще раз повидались. Лебедев участок небольшой получил. Ну, и копался. Да много ли накопишь, когда три четверти желудка вырезано. А они куда-то мимо шли, увидели, обрадовались: <<Инспектору, наш пламенный привет!>> И, как ни отказывался, отложили дела, вскопали огород.

Вот такие в жизни бывают метаморфозы, расскажи — не поверят... А эта Алешина что-то разговорилась.

—... Абсолютно не участвуют в общественно-профсоюзной жизни, не выступают в художественной самодеятельности, не пишут в стенгазету...

— Ну, ладно, — решительно говорит Лебедев, — давайте-ка займемся документами.

— Нет, нет, нет! — тут же с места вскочил Семеныч. — Вы сюда приехали — зачем? Чтоб просто-напросто разобраться в конфликте. Вот и разбирайтесь, разбирайтесь!

— Простите, Иван Семеныч, но, наверное, я все же знаю, что мне нужно. Давайте посмотрим документы.

— Да поймите же! — Семеныч встал и набрал побольше воздуха.

— Иван Семеныч, — сдержанно остановила его Алешина, — не надо.

— Да я что... я ничего... если надо... пожалуйста...

В возникшей с его уходом паузе особенно резко зазвонил телефон, Алешина взяла трубку:

— Да, да... ясенько, — и к Лебедеву с улыбкой, — Герман Петрович, в столовой стол накрыт, наверное, прервемся ненадолго, а?

Малышев расхохотался. Алешина неприятно вздрогнула, Лебедев в досаде принахмурился.

— Благодарю вас. Я не обедаю при исполнении служебных обязанностей, и вообще... — он повеселее глянул в сторону оживившихся кочегаров, — то в шею гоните, недоверие оказываете, то вот — стол накрыт — как это все прикажете понимать?

— Как? Да никак! Это просто нервы, Герман Петрович! У всех тут нервы. На пределе. Эти садисты... вы только посмотрите, как они все хохочут-измываются! Эти садисты... садисты... они же всех тут уже довели! — Алешина вдруг схватилась за сердце, вся как-то нелепо изогнулась, запрокинулась. — Ой, не могу! Ой, не могу!..

К ней бросились, подхватили, повели: <<Успокойтесь, ну, успокойтесь, Кира Игнатьевна!>> Но в дверях уже стоял с документами бледный Семеныч, и суматоха на глазах стала затихать. И Алешина вполне по-деловому смотрела на документы, которые были уже в руках у Лебедева, он уже листал их, хмыкал, вопрошал.

— Позвольте, позвольте, — окидывая всех живым колючим взглядом, вопрошал Лебедев, — сто тысяч за один ремонт! На четырех ремонтников?

— Там не все... там не все сто тысяч им достались... — заикаясь, лепетал Семеныч, — тысяч двадцать материалы затянули...

— Ну, и восемьдесят — не многовато ли?

Семеныч вытирал платком лицо.

— Ну, хорошо, — говорил Лебедев, — а где акты приемки отремонтированных котлов? Где акты проверок? Где, наконец, подписи кочегаров, которые принимали котлы?

— А мы их не принимали, — крикнул Малышев от двери.

— То есть как?

— А так, — усмехнулся Шишкин, — шабашники какие-то покрутятся тут с месяц, разберут-соберут, денежки отхватят — и-и.. ищи ветра!

— А зимой нам отдувайся, — добавил Птицын. — Бывало, в сентябре сдадут котлы, а в октябре уже текут.

— Неправда! — с напряжением в голосе произнесла Алешина.

— Ну, почему ж неправда, Кира Игнатьевна, — повернулся к ней Шишкин, — у нас же в журнале все зафиксировано, проверить можно.

— Проверим, проверим... — Лебедев повернулся к Семенычу, прищурился слегка из-под лохматых бровей. — Я в толк никак не возьму: как же так — чтоб кочегары и не подписывали акт о приемке котлов!

— Так ведь мы их, Герман Петрович, могли бы еще и не подписать! — рассмеялся Малышев.

— Хм... гм... да... — заикался Семеныч, — знаете ли, я с капремонтами давно уже не связан... я, знаете ли, сейчас все больше по общественной линии... и не очень в курсе... как у них сейчас.

— Хорошо, давайте посмотрим капремонты за те годы, когда вы ими командовали. Вы, простите, какие годы отвечали за капремонты?

— Я?

— Ну, да.

— Я... очень себя чувствую плохо... — Семеныч стал медленно подниматься. — Да... так плохо... так плохо...

— У Ивана Платоныча, — строгим голосом произнесла Алешина, — тяжелейший диабет.

— Да, да, извините... я пойду... мне в поликлинику... надо... процедуры... так плохо... если б кто знал... — И Семеныч, пошатываясь, покинул кабинет.

<<Да, везде нужна волосатая лапа! — бормотал Семеныч, торопясь к телефонной будке. — Это, конечно, их человек! И теперь непонятно, чья перетянет лапа! Ясно, что это их человек ... а если и не их, то из тех... чистоплюев-придурков... что, впрочем, одно и то же...>>

Семеныч набрал номер Медяницы.

— Да... я — Семеныч, Семеныч... богатым буду?.. Все шутите, Галина Дмитриевна!.. Да, заседали, заседали.. да, был, был... Лебедев, конечно... ну, и кочегары, естественно, куда ж без них... На пожаре настаивают... да, говорили... Салапуров говорил, что пожара не было. Но он же, вы знаете, дурак. Он, оказывается, в одном заявлении писал, что пожар был, а в другом — что не было... да, черным по белому — был пожар. Но виноваты, мол, кочегары... его Алешина уговорила так написать... да, заявление это все видели... так что с Салапуровым неважно вышло. Но не в этом суть... копают? Копают, копают! Еще как этот Лебедев копает. Ну, это же и еноту ясно! Сто тысяч последний капремонт затянул, а кочегарка и вся-то триста тысяч стоит!.. Процентовок ни в коем случае не показывать? Да разве ж я и сам не понимаю, Галина Дмитриевна. Ох, Галина Дмитриевна... это ж самому голову в петлю... если дать процентовки-то... А я так болен... так болен, вы же знаете... только диетпитание и поддерживает меня в последние годы... о-ох, Галина Дмитриевна...

— Ну, ну... Иван Семеныч, — успокаивала Медяница, — к чему все эти благодарности... мы же с вами друзья, не так ли? А я друзей в обиду не даю. Не волнуйтесь.

— Как же не волноваться, как же не волноваться?! Когда капремонтами заинтересовались... процентовками!

— Ну, ну — без паники! Без паники, Иван Семеныч! Еще не родился тот человек, который бы снял меня с главврачей! А пока я главная — в обиду не дам!

— Да так-то оно так, но это же, Галина Дмитриевна, неуправляемые люди! Им же ничего не нужно... кроме этих, пропади они пропадом, чертовых процентов.

— Ну, как это ничего не нужно. Покажите мне человека, которому ничего не нужно! Рыбаку комната нужна? Нужна! И уже написано им заявление по собственному желанию! Птицыну детсад нужен? Нужен. Да если поискать, то и у других что-нибудь окажется.

Присмотреться надо. Хорошенько присмотреться. Личное дело каждого еще раз полистать, трудовую полистать, на прежнее место работы звякнуть... поспросить... так, осторожненько... как, что, чего... где-то и проклянется, где-то рыльце в пушку и окажется. Нет, Иван Семеныч, вы как хотите, но такого просто быть не может, чтоб человек — и рыльце не в пушку! А? Вы меня понимаете? Да, хотя бы Малышевым займитесь... Да, да... конкретно вам задание... к нему ведь в рабочий дом какая-то фря приезжает, Викой звать, учатся вместе... Откуда знаю? Ну, вот сейчас сессия, она опять у него живет... а вы тихонько в институт и звякните, и поезжайте, и все разузнайте... И если у них отношения не узаконены, а я в этом не сомневаюсь, а у нее на юге где-то есть семья, то вот они, голубчики, и в наших руках! Товарищеский суд им для начала обеспечен! Аморалка обеспечена. Действуйте, действуйте... и без паники мне... Я пока дома отсижусь. Связь телефонная. Да, да, болею... Вернее, работаю... тут к Шишкину ведь тоже наведывается какой-то дружок... бородатенький... Блендером звать... и вы, представляете, Иван Семеныч, оказалось, что этот Блендер — известный у нас в городе антисоветчик! На учете состоит. Вот они все какие! А вы тут мне говорите...

Медяница вернулась от телефона, усаживается в кресло, хмурится, в пуховый платок кутается, рассеянно берет недопитую чашку кофе и, покачивая голову, горько усмехается выжидательно глядящим на нее Сарцевой и портнихе.

И Сарцева, и портниха, по всему, сочувствуют очень Медянице, и это сразу видно по их постноватым лицам. Но настроение у Галины Дмитриевны все равно испорчено. Она возмущена до предела. Ну, до каких же пор цвет и соль земли будет в загоне! До каких же пор этот неразвитый социализм будет неразвитым?! Когда всякий Ванька-кочегар будет ей — главврачу лучшей Здравницы Управления — тыкать, указывать и даже — до чего охамели! — спрашивать, куда она дела деньги, отпущенные на капремонты?! Пугать процентовками!

— Господи! Да кому какое дело — куда я их дела! — Медяница отставляет чашечку с кофе, чтобы красиво взмахнуть руками. — Нет, вы только подумайте: куда я дела деньги?! Есть же Управление, которое меня проверяет, есть же Кондратюк...

— Это не тот ли, Галочка, что был у тебя на день рождения? — Сарцева помешивает лениво в чашке, выщипанные брови ее слегка поднимаются, яркий рот округляется.

Муж Сарцевой — начальник горснаба, сама она — директор центрального универмага. И если с Сарцевыми дружишь, нет проблем, когда речь заходит о шубах, стенках, видеомагнитофонах и всем прочем, о чем время от времени вдруг начинают взхлеб говорить.

— Да не на дне рождения, — продолжает, усмехаясь, Сарцева, — а твоему Медянице генеральство обмывали, помнишь? Симпатичный мужик... а усы-то, усы! И еще танцевал так... э-эх... — и Сарцева выразительно кривит ярко накрашенные губы, под свободным платьем полноватое тело приходит в неясное движение, скорее, это и не движение тела, а просто-напросто приятное воспоминание, на которое все тотчас реагирует в Сарцевой, так уж она устроена, — да, да — оч-чень приятный мужчина... а уж усы-то, усы...

— А-а, чисто деловые отношения, — отмахивается Медяница, не желая поддерживать подобный тон, не то сейчас настроение, она поворачивается к гостье, которую привела Сарцева, женщине средних лет с блеклым, невыразительным лицом, — вам еще подлить?

Это очень хорошая портниха, с ней уже договорились — она послезавтра вместе с машинкой перебирается в первый корпус, будет жить, естественно, без путевки, пока не сошьет три платья: Медянице, дочке и двоюродной сестре.

— Подлейте, — невыразительным голосом говорит портниха.

Она потихоньку осваивается в квартире; уже не скрывая, бросает взгляды на ковры, мебель, стенки, хрусталь, книжные шкафы.

«Ладно, — думает Медяница, подливая ей кофе, — еще посмотрим, какая ты в работе».

— Спасибо, — портниха с легким вздохом разглядывает чашечку из настоящего саксонского фарфора, — да, сейчас все трудно живут.

Неясно, что она имеет в виду, но Медяница подхватывает:

— Вот именно, вот именно! Чем-то все-таки должен отличаться развитой социализм от неразвитого! Мой Медяница по ночам изучает специальную литературу, сейчас ведь много пишут о развитом социализме. А я слушаю и ни-че-го не понимаю! Если развитой, то должен отличаться! Так? Так! Развитые люди должны же чем-то отличаться от неразвитых! Так? Так! Если у нас, у развитых, обязанностей побольше, чем... чем у какого-то кочегара, то ведь и прав у нас должно быть побольше! Ведь так? Так! А иначе чем же отличается развитой? А иначе все это профанация! Для птички. Так? Так! А закон? А в том-то и дело, что закон у нас...

— Что дышло! — хохочет Сарцева, аккуратно облизывая крем с верхней губы.

— Нет, я не об этом, Нонночка, я о том, что наш закон еще из того социализма, еще из отсталого. Разве ж не так?

— А у нас в торговле, — Сарцева щелкнула сумочкой, достала зеркальце на красивой литой бронзовой ручке, — у нас в торговле бери из нас любую и смело давай пять лет — никто не обидится, — заглядывая в зеркальце, быстро поправила что-то на лице и, оставшись довольной увиденным, продолжала с воодушевлением, — да, да — никто не обидится. Бери любую без суда и следствия. Давай пять — никто не обидится. Веришь мне? Ни-кто!

— Н-ну...

— А я тебе говорю — никто! Пожили!

При этих словах портниха странно дернулась, задышала, еще ниже опустила голову, уставилась в чашку.

— Да! Попользовались. И себе, и детям, и внукам... оставили... если кто с умом! Так что пять — в самый раз!

— Но зачем? Зачем же пять?! — со страдальческой ноткой вскидывается Медяница. — За что?! Вот это у меня в голове никак не укладывается! Ты извини меня, конечно, Нонночка! Но я тебя не понимаю, дорогая. Да ты пойми: вы ж не только сами жили, вы ж и другим давали жить... ведь это все, — Медяница небрежным взмахом окидывает пространство — хрусталь, ковры, картины, — ведь это все, Нонночка, благодаря тебе! за что же пять лет?!

— Вот именно, за все это и пять... с конфискацией, естественно... Меньше — мало, а... больше... больше, даст Бог, не дадут...

— Да за что, за что?! Не понимаю, хоть убейте меня, товарищи, не понимаю! Ты извини меня, ты современная, я же знаю... и по части платьев, фасонов... вообще, но тут ты отстала, это отсталый взгляд, поверь мне! Это взгляд из того еще социализма... из неразвитого... мой Медяница по ночам вот зубрит, помоему, он тоже ничего не понимает, зубрит, зубрит — а развитой тем и отличается от неразвитого, что таким людям, как ты, не пять с конфискацией, а ... а почетную какую-нибудь грамоту... с премией... с бесплатной путевкой в Сочи...

— У всех у нас будет бесплатная путевка, — мрачно острит Сарцева.

— Типун тебе на язык, Нонка!

— Только не в Сочи... — Сарцева прикуривает от умопомрачительной зажигалки — в виде ярко-зеленой лягушки, принимающей во время прикуривания пикантную позу, а уж когда подносишь сигарету к вспыхнувшему меж лапок огоньку, пикантность доходит до предела. И где это она все достает? Жаль, что Медяница не курит, такая зажигалочка, да вовремя извлеченная из сумочки...

Оставшись одна, Медяница открывает форточку, балкон. Надо успокоить так некстати екнувшее сердце... пять лет!.. еще чего! Сидят одни болваны, так говорит Кондратюк. Он не сидит... Надо успокоиться... Надо сосредоточиться... Сцепив руки на груди, она стоит перед телефоном. Это привычная поза. Когда срочно надо сосредоточиться, отключить эмоции... сердце, так некстати екнувшее... <<Сарцева, дура, лягнула!>> Медяница сжимает руки на груди, сосредоточивается... <<Нашла, дура, время так шутить!>> Сосредоточивается, отключает всякую неврастению, всякие плохие мысли... чувствует только здоровые мысли, только голову, слышит только голову, хорошо отлаженный механизм, которым по праву гордится она... все стрелочки стучат, стучат... секундные легонько постукивают, быстренькие такие, приятненькие... жена второго секретаря горкома будет повыше третьего ровно на столько, на сколько первый повыше второго... минутные стрелочки двигаются упруго, незаметно... первый в городе новый... первый пока в тени... второй пока всем заправляет... минутные стрелочки неизбежно тянут за собой часовые... в горкоме есть, конечно, те, с кем домами дружат... зам. прокурора Журавлев, председатель народного контроля Барков... но одна жена второго секретаря всех их вместе взятых повыше будет... а в горисполкоме кто у Медяницы ... Тут у нее полный порядок — четверо в Здравнице оформлены по совместительству, живые деньги лучше всего привязывают людей... Так, горком профсоюза... Ну, эти только у нее и отдыхают... семьями... или, наоборот, предпочитают без семьи, без жены... без путевки, естественно... Санэпидемстанция, котлнадзор и прочие пешки — с ними все в порядке... пешки при затяжной игре могут пригодиться... пешкам время от времени надо подбрасывать немножко, и они довольны...

Городок у них своеобразный. Своеобразие придает крупное военное соединение, где занимает немалый пост ее Медяница-генерал. Это целая эпопея, как они делали его генеральство. Вот именно — де-

лали! Лепили по крохам. Как у самого Медяницы уже и руки опускались и как, стиснув зубы, она пошла на все и своего добилась — стал ее Медяница генералом! И уж потом у себя в столовой она им всем такой банкет закатила, что небо с овчинку показалось. Медяница специально взвод солдат выделил. Чтоб во время банкета за порядком наблюдали, чтоб никаких ЧП. И чтоб ракеты в небо пускали. Так что теперь ее Медяница — одна из главных фигур, определяющих своеобразие их городка. И хотя это как бы две параллельные линии, нигде не пересекающиеся — военная и гражданская, — городскими властями этот факт постоянно учитывается. Оттого и понятно особое положение главврача Медяницы, которым она и пользуется, когда надо. Это и солдат касается, и насосов — стоит ей лишь трубку поднять... Это касается и более деликатных вопросов.

Дело в том, что многие, работающие с генералом Медяницей, через него устраивают своих жен в Здравницу к главврачу Медянице. Так оказались здесь Алешина, Осинка, другие... Ну, а она через мужа чьих-то пристраивает мужей. Что-то у них вроде перекрестного опыления. А в результате — двойная зависимость. Ну, а чем зависимостей больше, тем надежнее вся система.

Да, система увязана гораздо лучше, чем кажется на взгляд непросвещенного. Вот, например, совсем случайно в одной компании знакомит ее Сарцева с Зиной — работает секретаршей у самого ректора института. Это уже неплохо. Но как к ней подойти-подъехать? Какие ходы поискать? А, оказывается, и искать ничего не надо — сама уже плывет в руки. Муж у Зиночки капитан, служит не у генерала Медяницы, в соседнем Управлении, но генералы друг друга знают. И поэтому Медянице ничего не стоит узнать, кому послали на рецензию диссертацию Зиночкиного мужа. Мало того, Медяница мог бы взять ее для окончательного заключения. Вообще-то, мог, хоть это и трудновато, стать научным руководителем. Несбыточно?! <<Нет, отчего же, Зинуля, я могу с мужем поговорить, он мне, надеюсь, не откажет...>> — <<Но

чем я, простая секретарша, могу отблагодарить?>> — <<Ах, да, право же, мне ничего не стоит, скажу Медянице-и...>> — <<Нет, нет, я так не могу! Я все равно должна отблагодарить! Иначе я не смогу воспользоваться такой любезностью с вашей стороны, нет, нет, Галина Дмитриевна!>> — <<Ну-у... я, право, не знаю... ну, раз уж вы так щепетильны, Зиночка, то... не смогли бы вы тему сочинения...>> — <<Я обещаю вам!>> — <<Понимаете, один очень-очень симпатичный юноша... а с литературой нелады...>> — <<Я все для вас сделаю, Галина Дмитриевна, тема будет!>>

И вот звонок от Зиночки: <<Есть! Ради бога, не по телефону! У <<Центрального>> через тридцать минут... ну, есть... ну, жду!>> А там у кинотеатра Зиночкино строгое, преисполненное многозначительности лицо, тщательно сложенная бумажка, только из руки в руку, предостерегающий шепоток через накрашенные губы: <<Дома, дома!>> И тут же разошлись, как настоящие заговорщицы. Хотя в интересах безопасности как раз надо было поступить наоборот. Ну, ладно. В троллейбусе, конечно, не удержалась, сумочкой прикрываясь, развернула: <<Образ Катерины в драме А. Н. Островского "Гроза">>. И опять екнуло сердце — из полузабытого школьного некстати всплыло единственное, что помнила об этой "Грозе", — <<Смерть Катерины — вызов самодурству Диких и Кабановых>>. Да это все Сарцева каркает! Но эмоциям не должно быть места, до сочинения еще два дня, а у Маши-из-деревни, жены второго, сын Вадька изрядный оболтус. Нет, так-то парень неплохой, но с литературой не в ладах. <<Вот если б тему узнать заранее...>> — <<Ну, где же ее, Галина Дмитриевна, узнаешь!>> — <<Я, Марья Сергеевна, конечно, ничего обещать не буду, но...>> — <<Ах, это было бы замечательно! И я, и мой муж... просто мечтаем...>> Две копейки в автомат, номер помнится крепче таблицы умножения. <<Марья Сергеевна? Есть! Нет, нет, не по телефону! Вы же понимаете? Подъезжайте, подъезжайте к гомеопатической аптеке, мне как раз туда надо, кое-что обещали. Ну, жду >>. И через пятнадцать минут уже подкатывает черная <<Волга>>. Ну,

не дура ли — сейчас раскатывать в горкомовских <<Волгах>>! Нет, с этой Машей-из-деревни второй не долго вторым удержится. Но... из рук в руки... <<Я ваш должник, Галочка, по гроб жизни!>> — <<Ах, да ничего мне не надо, все это такие пустяки!>> — <<Нет, нет — просите, чего хотите! Вы ж спасли нашего оболтуса! Просите, что хотите!>> — <<Ах, да ничего не надо, поверьте, Марья Сергеевна, ничего... ну, если уж вы так настаиваете, то хотела бы видеть вас с мужем у меня в Здравнице...>> — <<Благодарю... мы, правда, с ним всегда отдыхаем... ну, там... вы знаете — где... он все же номенклатура, но мы подумаем... подумаем и, может, действительно... махнем к вам в Здравницу. Звоните, звоните нам днем и ночью...>>

Однако большое дело провернула — дополнительно крышу укрепила. Даже очередной бастиончик достроила. Очень довольная собою, возвращается Медяница домой. День жарок, беготни было достаточно. Юбка, блузка, босоножки — все летит в разные стороны. Она долго плещется под душем. Не вытираюсь, не одеваясь, лишь накинув махровую простыню, идет на кухню ставить кофе. Заварив любимую смесь — арабику с колумбийским — идет с чашкой в комнату, усаживается в кресло у открытого окна. На солнце так теперь приятно остывшему под душем телу, расслабились, отдыхают вытянутые ноги, она ждет, когда остынет кофе. Отдыхает.

Разумеется, вот так, прихлебывая кофе, разглядывая ноги, которые до сих пор еще довольно хороши, можно минут пять о чем-нибудь приятном подумать, помечтать. Она это честно сегодня заработала. Но рука сама тянется к трубке: <<Василий! Ты! Зинка сделала все, что обещала, так что...>> — <<...твою мать, Галя! У меня же пока нет ничего для ее мужика... ладно, что-то придумаем... Как там твои умники-трезвенники?>> — <<Скоро их вызовут>> — <<Опять к Конькову?>> — <<Да нет — теперь повыше...>> — <<Ну, ну ... до вечера...>>

Так, кому еще позвонить? Зампрокурора? Пожалуй, рановато. Конькову? Он пока сделал свое.

Кондратиюку? Конечно, Кондратиюку. Кочегары настаивают на технической комиссии, вот пусть Кондратюк и организует. Она позвонила, и Кондратюк заверил, что все сделает так, как надо, чтоб не беспокоилась. <<Мы им такую комиссию, Галина Дмитриевна, организуем, что им жарко станет!>>

С крыши на сегодня все. А что у нее с фундаментом? Без него ведь тоже ни шагу. Алешина? Вроде бы верный человек. Но пока в серьезном деле не проверенный. Старается, конечно, даже палку порою перегибает... так хочет, чтобы ей поверили. Ладно, пусть-ка завтра с Сонечкой сядут и все приказы в книге приказов исправят. Те, что Малышева с Птицыным касаются. Там в приказах нигде не говорится, что они приняты как временные. А надо, чтоб говорилось. Они ведь сейчас уволены как временные. Надо, чтоб и в приказах было так. Она позвонила Алешиной и все объяснила. <<Да я сама, сама, Галина Дмитриевна, все сделаю!>> — <<Нет, с Сонечкой!>> — поднажала на голос Медяница. <<Понимаю, понимаю...>> — сразу в трубку зашептала Кира Игнатьевна.

Невелик в наш век криминал — подделка приказов, но на безрыбье и рак рыба. Сделает—можно будет Алешину поощрить... деньгами пока рано, а вот пусть платье себе тоже закажет у портнихи — это дело. А той, что три, что четыре, — один шут!

Вечером генерал Медяница расхаживает перед ней строевым шагом.

— Ты вот доделикатничалась со своими кочегарами, Галина! Давно пора их было в шею гнать!

Продолжает строевым расхаживать вокруг стола, на котором поднос с кофе и пирожками.

— Меня, Галь, что-то этот Лебедев беспокоит... очень беспокоит! Ты позвонила бы Баркову, а? Все ж он председатель контроля... человек вроде б не глупый...

— Позвонить?

— Позвони, позвони... куй железо, пока горячо.

— А что? Пожалуй... — Она набирает номер — Илья Федорович? Медяница Галина Дмитриевна. И я,

и я — рада. Как отдохнули? На рыбалке? Чудненько! Все наши? И Тимофей Сергеевич? И даже сам Григорий Иванович? Да что вы говорите?! Нет, честно, я вам завидую... А я вот по какому поводу... Вы назначили для разбора нашего з-э... недоразумения с кочегарами этого коммунара Лебедева... Да, да - я понимаю, по распоряжению КНК СССР... но знаете, что-то уж слишком рьяно взялся... копает? Да нет... с кочегаркой-то как раз все в порядке... Да, да, Кондратюк из управления на днях комиссию пришлет... да, да, я понимаю — один из лучших ваших инспекторов... но, видимо, возраст уже сказывается... тут вам и карты в руки... это ж такая нагрузка на старого человека... я очень рада, очень... что? Не заменяете?.. А как?.. Пока на время его болезни?.. Ну, и на этом спасибо... ну, особо-то ничего за ним не замечено... а вот это замечено — слишком много времени проводит с кочегарами... ходил с ними по аллее... туда-сюда вокруг цветника ходил... по-видимому, и дома был... насчет того, пил ли чай, выясним, все выясним... да, да... вот это и беспокоит... выводы могут оказаться предвзятыми... ну, я так и думала... всегда пойдем друг друга... ну, и отлично... до скорого!

— Ну, а теперь, Василий, ты как хочешь, а я выпью еще чашечку! Ешь пирожки, твои любимые.... с капустой.... Катюша с пищеблока специально для тебя пекла.

Генерал берет один, жует:

— Н-да... вкусно, но никакого сравнения с теми, что в прошлый раз...

— Еще бы — в прошлый раз пекла сама Анна Николаевна.

— Ну так в чем же дело? Откуда взялась эта Катюша? Неужели нельзя позаботиться, чтоб пирожки хотя бы были настоящие?! Уж это-то, надеюсь, мы с тобой заслужили?! Работаешь, работаешь... — швыряет пирожок в корзину для бумаг.

— Не капризничай, Вася. Просто Анна Николаевна бюллетенит, а Катюша.... в общем-то... — слегка надкусывает пирожок — нет, ничего... вполне-вполне...

Генерал присаживается к столу, раскрывает газету и тут же вскакивает:

— Е-мое! Вот скотобаза! Вот дурдом!. Опять разоблачили!!

— Кого? — Медяница испуганно глядит на мужа.

— Да не пугайся ты... неврастеничка. Это не у нас, это совсем в другом городе.

— А где?

— Да не все ли равно — в Рязани, в Казани, у чукчи на Чукотке! Когда-то должен кончиться весь этот бред! Не могут же порядочные люди.... да, порядочные люди каждый день читать в газетах одно и то же.... Тут разоблачили, там разоблачили, здесь разоблачили.... в Грузии... в Армении.... в Азербайджане... — ходит по комнате, взад-вперед, — слева разоблачили, справа... спереди, сзади... у меня такое ощущение, что катится сверху какая-то лавина, что уже и сам в вилку попал, вот-вот накроют...

— Тебя, что ли, накроют?

— Дура! Ах, какая же ты дура! Ты что, забыла, кто я? Что я? Где я? На мне ж ни пылинки не должно быть! Ни соринки! А ты всю ж жизнь одно лишь знала — хапать! хапать! Дача, машина, баня с бассейном, камин... а на хрена попу гармонь! На хрена мне все это?! — бьет с размаху кулаком по ладони. — И ведь говорила мне маманя, не женись, Васька, на красивой, женись на умной! Не послушался, красотой прельстился генерал! А теперь расхлебывай! Генерал.

— Генерал! Ха! Я смеюсь и заливаюсь! Ты что, забыл, когда расписывались, голоштаным старлеем был всего-то! Генерал! Это ведь я, я, я! Жилы надрывала, тебя тянула во всякие институты-академии. Я!! И никто больше. Это я встречала-привечала всех твоих друзей-начальничков! Для того чтобы путь твой, Васенька, наверх безоблачным был... Хапала? Да! А для чего? Для чего! Ты бы спросил. А для того, чтоб твоих дружков кормить-поить, спать укладывать!

— Вот именно — спать укладывать!

— Глупец ты!

— Да, глупец — верил тебе!

— Брось ты — ничему давно ты не веришь! Просто генералом быть захотелось, потому и глаза закрывал на все!

— Да не об этом я. Дура! По мне — спи хоть с дворником! Верил, что не засыплешься... а теперь вот в каждой газете... и не такие, как ты... засыпаются...

— Прекрати, Вася. Это все нервы, одни нервы, никто никого не накроет... а вся эта бодяга, поверь мне, скоро кончится. Вот увидишь, сколько уж было таких вот кампаний, реформ, постановлений. Ну и что? Примут, поговорят, галочку поставят где надо, и опять все по-старому пойдет... Разве ж не так?

— Так да не так — ты вон говоришь, что все же этот Лебедев добился своего — едет корреспондент из <<Труда>>.

— Завтра. Но ведь и у нас, Вася, все готово к его приезду. Пусть, пусть приезжает — пусть послушает, что люди будут говорить...

На другой день Медяница на крыльце конторы с утра встречала корреспондента. Молодой стройный человек в сером костюме спокойно подходил вместе с Лебедевым.

— Это очень хорошо, что вы приехали, — с улыбкой говорила Медяница, — <<Труд>> — очень популярная у нас в Здравнице газета... сейчас пройдем на собрание, и-и... вам сразу все станет ясно...

В небольшом зале клуба Здравницы уже было битком. Лишь первый ряд свободен. Это для гостей, для Лебедева и для корреспондента.

Проходя в президиум, Медяница кивнула Алешиной, чтоб начинала.

Алешина тут же встала.

— Общее собрание работников Здравницы считаю открытым, — она сказала. — Повестка дня, я думаю, всем известна — недостойное поведение кочегаров... бывших кочегаров — Шишкина, Малышева, Рыбака и Птицына.

— Скажите, — вставил Лебедев, — а почему их нет на собрании?

— А потому, товарищ Лебедев, что вышеназванные товарищи — Шишкин, Малышев, Рыбак и Птицын — уже не члены нашей профсоюзной организации, поскольку давно уволены из здравницы... так... на чем я остановилась? Да, товарищи, кто будет вести протокол?

— Предлагаю Соню, — сказала Наташа-секретарша.

— Соню... Конечно, Соню! — поддерживают из зала.

Соня поднялась на сцену, села рядом с Алешиной.

— Слово предоставляется профгору Осинке Фаине Борисовне!

— Товарищи! — начала Осинка, еще не дойдя до трибуны. — Все вы знаете, что у нас происходит в последнее время. Все так или иначе пострадали от создавшегося положения. Поэтому много говорить не буду. Сейчас у нас новые кочегары. Все мы сразу вздохнули с облегчением. Есть и сейчас свои проблемы, но все они решаются, так сказать, в рабочем порядке... без провокаций... то есть как и должно быть в здоровом коллективе. Но ведь бывшие кочегары, товарищи, не успокаиваются! Урок им впрок не пошел! Они продолжают усугублять созданную ими ж нездоровую обстановку! Письма, жалобы... провокации в котельной... да, да, я не оговорила, товарищи, — именно провокации! Слишком уж часто по неизвестной причине стали обнаруживать закрытые задвижки. Кто их закрывает?! Все вы знаете, что недавно затопило подвал рабочего дома. Была кем-то закрыта задвижка! А там ведь живет всем известный Малышев!

— Там и Рыбак живет, — измененным голосом кто-то крикнул из зала.

И Сонечка быстро склонилась над протоколом.

— Так вот, — продолжала Осинка, бросив выразительный взгляд на Сонечку, — я что хочу сказать, товарищи, я хочу сказать, что это все не случайно. Нет! Продолжается планомерное, хорошо продуманное вредительство! Да, да — я не оговорила...

Медяница — начеку: слушает Осинку, следит за залом, но главное — не спускает глаз с первой скамейки. Все видит, все слышит. Герман Петрович кричит, морщится, бедный, от слов Осинки. Корреспондент спокоен, ничего не записывает, на лице отсутствующее выражение, правда, ерзает слегка, справа пиджак оттопыривается — уж не магнитофон ли там?!

— И я хочу спросить, — Осинка продолжает. — До каких же пор потерявшие человеческий облик люди будут мешать нам жить и работать?! Пора кончать с их вредительством! Потому что, прикрываясь высокими словами, они занимаются обыкновенным вредительством! Пора кончать с этим! Прошу, товарищи, высказываться.

Алешина ищет глазами Петю Воропаева. Он это видит, тянет руку.

— Разрешите мне! — решительно встает. — Я сейчас на смене, работаю в котельной. Я во всем рабочем, вот, — для убедительности похлопывает себя по груди и бокам, — я к трибуне не пойду, я отсюда... да... так вот... я что хочу сказать... я хочу сказать, товарищи, в нашей кочегарке работать можно. Кочегарка, товарищи, у нас хорошая, котлы исправные. Да... значит, так... работать можно, котлы исправные. А они ведь в шахматы играли, они ведь там книжки разные читали... вот и упускали котлы... да, а теперь и сваливают все на администрацию, оправдаться-то как-то надо... вот и сваливают... я все сказал...

— Слово предоставляется председателю народного контроля здравницы — Гусаковой.

Плотная, коренастая медсестра Гусакова в белом халате косолапо, как-то тяжело даже для тридцатипятилетнего возраста поднялась на трибуну, в руке зажата бумажка.

— Я как народный контроль официально заявляю — их никогда на смене не было! Я специально занималась кочегаркой. Мне сама Галина Дмитриевна дала такое поручение...

Герман Петрович, усмехнувшись, что-то негромко говорит корреспонденту, тот в ответ кивает.

Медяница морщится, бросает на Гусакову выразительный взгляд, слегка постукивает пальцем по листочку, что лежит перед нею, но Гусакова ничего не видит, глядит на потолок.

— Нам необходимо было зафиксировать все нарушения кочегарами трудовой и производственной дисциплины. Так вот, бывало, стучишься к ним ночью — ни за что не достучишься. Не пускают! А если и откроют, то лишь для того, чтоб... послать куда подальше! И особенно этот Малышев всегда изгалялся!

— А зимой что творилось, — вскакивает женщина в белой шапочке с красным крестиком. — Я здесь живу — воды горячей нет! И холодной, бывает, нету! А у нас у всех дети грудные. А батареи чуть теплые! Даже иней в углу выступал! Ей-богу! И они еще после этого говорить что-то будут!! У-у... умники. Умники-бездельники! Топить надо, а не в газету писать!

— Топить, — раздается с разных сторон. — Не писать! Ишь чего — в газету!

— Товарищ Салапуров, — шум перекрывая, громко позвала Алешина

Салапуров, в последний раз глянув в бумажку, нерешительно выходит к трибуне, солидно откашливается:

— Как дежурный электрик... да, да, как дежурный электрик, а не как начальник кочегарки... хотя я, конечно, начальник... э-э... так вот, как дежурный электрик — они, эти Шишкин, Малышев... этот Птицын ну и Рыбак в том числе... они довели кочегарку до такого состояния... до такого состояния, что... да... ну и теперь хотят, значит, с больной головы свалить, значит, на Галину Дмитриевну... А им бы самим ответить за все это... за все, значит... вот так-то, голубчики... попались! Не им вообще говорить об администрации. Администрация она... ого-го!.. а им бы лучше на себя обратить внимание... сами тут все развалили и еще хотят чего-то! Они все лампочки разбили, ставишь им, ставишь новые — никогда нет!.. Вот они какие... — В конце концов, достав бумажку, трибуной прикрываясь, Салапуров скороговоркой заканчивает: — И я считаю,

что деятельность кочегаров Шишкина, Малышева, Птицына и Рыбака несовместима со званием советских граждан. Я лично расцениваю их деятельность как самый настоящий саботаж, направленный на подрыв работы нашей здравницы в гуманном деле восстановления здоровья наших советских граждан! И поэтому...

— Бросить работу! — кричит Воропаев с места, — Ведь это ж надо! Умники какие!

— Умники! — раздаются голоса. — Умники-трезвенники! Топить надо было! А не книжки читать! не в газеты писать! Ишь — писатели!

— И поэтому, — дочитывает Салапуров, — за клевету на администрацию в суд на них подать надо!

Ничего не слышно. Медяница кивает Алешиной. Та встает, стучит по графину, шум стихает.

— Тихо, товарищи... Салапуров! Повтори, пожалуйста, ничего ведь не слышно было... что ты там сейчас говорил?

— Я? Я, Кира Игнатьевна, сейчас говорил, что в суд бы их надо... а?

- Правильно, Салапуров, за клевету надо в суд, а теперь слово посудомойке Волковой, выходи, Волкова.

— Не-е, я уж лучше отсюда, — Волкова встает и протягивает в президиум руки, — вот, полюбуйте, красные — потому что не топят никогда. Они и главврача оскорбляют всячески! И меня недавно называли душой!

— Скажи про пятьсот тарелок, — подсказывают ей.

— Скажу! Я все скажу! Они ничего не делали! У меня руки через них болеть все стали! Они там книжки разные читают... а у меня пятьсот тарелок... конечно, я дура, — горько плачет неслышными слезами, — а они умные... — и садится, уткнувшись в колени.

— Я — медсестра водолечебницы! — тут же вскочила рыженькая, с мелкими остренькими зубками, на белочку похожая. — Вот так они, паразиты, всех тут и доводят. И меня не раз доводили.

— Я думаю, — Медяница постучала по графину, и шум стих. — Я думаю, что за оскорбление сотрудников их можно привлечь к ответственности. Как, Иван Семеныч?

— Я думаю, — Семеныч делает задумчивое лицо. — Да, я думаю Галина Дмитриевна, что можно. Более того — нужно.

— А вы как думаете, Кира Игнатьевна? Медяница строго смотрит на Алешину.

— Я думаю, Галина Дмитриевна, надо обязательно дать отпор этим распоясавшимся хамам, то есть, привлечь за клевету в суд!

— За саботаж!

— За вредительство!

Кричали, топали ногами... кто-то свистнул.

— Попрошу слова, — Лебедев решительно поднимается.

— Пожалуйста, — Медяница улыбается, приглашает на сцену. — Товарищи, Герман Петрович занимается по поручению городского народного контроля этим делом. Пожалуйста, Герман Петрович...

— Товарищи! — Лебедев останавливается, не дойдя до трибуны, поворачивается к залу. — Товарищи, давайте все же ближе к делу. Вот вы говорите, что не было часто воды. Но, если у них выходил из строя последний насос, что же, прикажете им ведрами воду вам в посудомойку доставлять, а? А насос у них часто выходил, я сам читал их кочегарный журнал и...

— Да они вам что хошь напишут! Хватит! Умники!

— Да нет же, товарищи, я сам журнал читал! Подписанный и начальником кочегарки, и замом по АХЧ Иван Семенычем, и...

— Да чего там — хватит. Надоело! — из зала кричали. — Лишить слова! Пожил бы в наших домах! Помыл бы пятьсот тарелок! Ишь, защитник какой нашелся! Лишить слова... ишь защитничек, а ху-ху не хо...

— Товарищи, но, товарищи... они тут пишут о процентовках...

— Да при чем тут процентовки! — подпрыгнул на месте Семеныч, бросил быстрый взгляд на Медяницу, та — сама невозмутимость, Семеныч и сам тогда успокаивается, — ну, какие еще тут процентовки, — уже весело кричит он. — И так все в порядке!

— Лишить, лишить слова!

— Но, товарищи...

— Нет. Что ж это такое делается, — плачущим голосом говорила посудомойка Волкова, толкая в бок соседку Шуру. — И защищает, и защищает! Ишь, защитник какой нашелся! Шура, а?

Шура, много лет проработавшая в кочегарке, только вздыхала.

— Лишить его слова! — уже стоя, кричал Салапуров.

— Лишить, лишить! — со всех сторон кричали.

— Но, товарищи, — Лебедев поднимает руку.

Зал в ответ стучит ногами, кричит, свистит. И, махнув рукой, Лебедев садится на место.

— Ну, кто хочет выступить еще? — ласково говорит Алешина.

— Шура, ну ты чего? — толкает Волкова Шуру.

— Ты ж с этим Шишкиным топила.

— Топила.

— А сейчас сама в аптеке моешь посуду холодной водой.

— Мою.

— Ну так скажи.

— Это не ихняя вина.

— А чья же, чья же?!

— Это начальства вина.

Вокруг спорящих начинают раздаваться голоса: <<Они виноваты!>> — <<Нет, не они виноваты!>> Медяница слышит это и кивает Алешиной, мол, закругляйся поскорее.

— Ну, что ж, товарищи, — поднимается Алешина и разворачивает листочек, — я предлагаю такую вот резолюцию. Общее профсоюзное собрание Здравницы единогласно осуждает клеветническую враждебную деятельность бывших кочегаров Шиш-

кина, Малышева, Птицына и Рыбака. Общее собрание предлагает местному комитету подготовить текст письма в газету <<Труд>> для разъяснения создавшегося положения. Ну, а также подготовить все документы для передачи дела о их враждебной и клеветнической деятельности в народный городской суд. Кто — за?

— Вот это — да! — раздался растерянный чей-то голос в притихшем сразу зале.

— Ну! — строго повторила Алешина и высоко подняла руку.

Стали поднимать. Первым поднял президиум. Сонечка, правда, немного подзадержалась. Но Медяница так на нее глянула, что и Сонечка подняла локоток, как в школе еще недавно учили, от стола не отрывая, не выпячиваясь... Стали и в зале тогда поднимать. Большинство, по крайней мере, подняло...

Когда дверь после собрания отворилась, первой Шура появилась. Она торопилась. Хотя торопиться было некуда, в аптеке в субботу выходной. Она почти бежала, она бормотала: <<Суд! Ну, надо же - суд! Людей засудить хотят! Нет, это уж все! Нет, никто никого не любит... не любит... не любит... Нет, не буду я в ихней аптеке работать. Не хочу!>>

Шишкину о собрании рассказала теща. Собрание очень ее напугало. <<Допрыгались, судить вас будут!>> Хорошо, хоть дочки в школе. Да и жены дома не было. <<А что — корреспондент?>> — спрашивал Шишкин, стараясь выглядеть спокойным. <<Молчал ваш корреспондент, как рыба. И Лебедеву сразу рот заткнули. Так что все плохо, очень-очень плохо...>>

Шишкин пошел в рабочий дом к Рыбаку. Там уже Соня все мужу рассказала. Рыбак был взбудоражен, ошарашен, увидев Шишкина, вскричал: <<И зачем тебе надо было писать в заявлении, что она только двадцать батарей отремонтировала?! Она же не двадцать, а двадцать пять отремонтировала! Сонечка сама справку видела. И теперь за клевету судить будут.>>

Напрасно Шишкин убеждал его, что отремонтированные двадцать или двадцать пять из ста батарей

общей картины не меняют. В любом случае — семьдесят пять остаются неотремонтированными. А ведь деньги-то за все сто получены сполна! Так кого же все-таки судить! Рыбак вроде бы и соглашался, но Сонечка до того насупленная сидела в углу, что Рыбак тут же возвращался к тем двадцати пяти батареям, что Медяница все же отремонтировала.

Тут Малышев заглянул: <<Пошли покурим, мужики!>> Они вышли в чахлый садик перед рабочим домом. Настроение было на тройку с минусом. Кто-то в беседке <<козла>> забивал, кто-то на велосипеде гонял — весело звенел звоночек, — живут же люди! А стоило этим троим на свет божий выйти, как все стали глядеть в их сторону. Пошли тогда к реке, на бережок сели.

<<Ну, и что будем делать?>>

Конфликт затягивался. Ощущение было, что он выходит на какие-то все более высокие верхи.

Лебедев считал, что до суда вряд ли дойдет. Лебедев был оптимист и надеялся, что <<Труд>> все же опубликует статью в защиту кочегаров. И все встанет наконец на свое место. Но на <<Труд>> уже давили со всех сторон. А на самого корреспондента написали такие <<телеги>>, что ему теперь отмываться и отмываться. Наступила осень, зима пришла, а статьи, которую так ждали кочегары, все не было и не было.

Кочегары писали письма-заявления в самые высокие инстанции. А те письма-заявления с этих высоких инстанций, как по ступенькам, скатывались все ниже, ниже, чтоб в конце концов оказаться у Медяницы на столе.

На зиму устроились в кочегарку подсобного хозяйства. Подсобное хозяйство на собственном балансе, но парторганизация со Здравницей у него одна. И поэтому власти потихоньку начали трясти уже директора подсобного хозяйства, комиссии зачастили, проверки...

Как-то Шишкин был на смене, к подсобному подкатили две черные <<Волги>>, стали выходить из них чины немалые, военные.

— Военный прокурор второго ранга...

— Шишкин, — осторожно пожимал Егор холечную руку, — кочегар Шишкин.

Подъехали насчет заявления бригады кочегаров в Военную Прокуратуру: использовал ли генерал Медяница солдат?

— Использовал.

— А вы, товарищ Шишкин, не догадались спросить номер части, фамилию?

— Не догадался.

— А жаль...

С этим и уехали...

В подсобном им платят меньше, три ставки здесь на четверых. Но дело не только в этом. Все настойчивее предлагает Медяница — через Сонечку, естественно, через Рыбака, значит, — предлагает вернуться, забрать заявления да и начать нормально работать опять в Здравнице. Все же опытная они бригада, а насосов теперь четыре, как и положено... премии теперь регулярно кочегары получают... А то ведь — ей-ей — до суда дойдет! Сонечка сама видела — материал для суда весь собран, все справки, все заявления, заключения... и все говорит о саботаже, о вредительстве... ужас какой-то!

А Птицыну уже в третьем детсаду отказали. На Вику в Ташкент письмо пришло. Малышева в институте уже два раза разбирали. Ну, а о Рыбаке и говорить нечего — спит и видит, как бы к Медянице вернуться... Да ведь и директор подсобного, который взял их сгоряча, теперь не против, если вернуться они опять в Здравницу.

Вот такое складывалось положение.

*Но сущее рождается во мгле
Неистребимо на пути к рассвету...*

Ю. Андропов

Часть II
ЧТО ТЕБЕ
СНИТСЯ,
КРЕЙСЕР
«АНДРОПОВ»

Шишкин в феврале летал на Север, хоронил товарища. Простыл. Вернее, простыл на обратном пути, когда завернул в Ярославль, решил сестру Лизавету навестить. Сестра жила за городом. Долго ждал автобуса. Приехал, а Лизаветы нет. Льготную путевку пробила на работе и уехала в Ессентуки, гастрит подлечить. Часа два покрутившись среди племянников, Шишкин решил сходить в монастырь, до которого по тропке было километра два, не больше. От племянников он уже знал, что колонию для малолеток там прикрыли, собираются монастырь возвращать церкви. Короче, сейчас там межвластие, нет никого, можно пойти глянуть. Попил он чаю, собрался и пошел.

Тропа в белоснежном поле была похожа на пунктир. Сам же монастырь безжизненно громоздился на самом конце тропы-пунктира. Он лежал перед Шишкиным подобно обшарпанной, обломанной со всех сторон глыбе, скатившейся с большой горы. И чем ближе Шишкин подходил, тем больше наваливалась эта черно-белая громада. Колочая проволока, дозорные будки, покосившиеся наблюдательные вышки встретили его. Было тихо и пустынно. Поскрипывала дверь какого-то мрачно-бетонного сооружения, повсюду свалки, развалины. Белый снег, плотно летящий, все же не смог до конца прикрыть неприглядность и наготу недавнего обитания сотен и сотен на годы вырванных из обычной жизни подростков. Было тихо и пустынно. Но казалось, что все они здесь еще, попрятались, наблюдают за Шишкиным через <<глазок>>, который подмигивал Шишкину то с одной, то с другой двери, обитой тяжелым железом... И охранные собаки еще здесь где-то, и сами краснорожие охранники отлучились лишь на минуту.

Шишкин поскорее пересек огромный двор, подгоняла мысль, что на таком огромном дворе он сейчас замечен более всего. Быстрыми шагами направился

он к сохранившемуся собору. Рядом еще был один — огромный, округлый, но с провалившейся крышей. Шишкин зашел, разумеется, в тот, что поцелее, крыша, по крайней мере, была. Ну, а внутри, когда он проник туда, после колонии мало чего осталось. Ни икон, ни крестов, конечно, ни алтаря — все с корнем повыдрано, повыломано, испохаблено. Выколоты у ангелов глаза, крылья пообломаны у архангелов. Золотые нимбы у святых расписаны позорными кличками: Чмырь, Цыган, Гапка-вошь... повсюду остатки кострищ, пустые бутылки... скабрезные рисунки, примитивная похабщина про <<девушек с толстыми ляжками>>. То есть в пределах досягаемости, которой располагали современные пакостники, Шишкина окружал глум и непотребство. Но вот выше, метров с трех, с четырех и до самого купола, сохранились старинные фрески. Поэтому собор поразил сразу Шишкина. Поразил тем, что показался огромным до неправдоподобия, он и вокзалов-то таких не припомнит — настолько огромен был собор! А с другой стороны — от сохранившихся фресок весь он был в ярко-теплых пятнах: золотистых, оранжевых, коричневых, сочно-зеленых и опять золотисто-радостных тонов. Какой-то уют охватил сразу Шишкина со всех сторон. На улице стужа, через оконные проемы ветер то и дело швыряет колкой снежной пылью, а на душе у Шишкина тепло и уютно, охота радоваться, смеяться чему-то.

И все это фрески! А их вокруг Шишкина такое невероятное изобилие, просто нет вокруг свободного места. Понятно, что сам-то Шишкин, к сожалению, не очень разбирается во всех этих библейских тонкостях, да просто необразован в этом. Но какие-то сцены все же узнает: вот — тайная вечеря, а вот — Иисус у колодца... ну, а это наверняка — Иисус на ослиати... А рядом с библейскими сценами, с апостолами, ангелами, архангелами мирно соседствуют сцены из жизни мирской — купцы, монахи, ремесленники, воины... ополченцы куда-то на бой собираются... кажется, отсюда Минин и Пожарский вели ополчение Москву от Лжедмитрия выручать... а вот, наверное, и

сам князь — руку с мечом поднял... хотя меч, пожалуй, был у другого князя: у Александра Невского... жаль, конечно, что Шишкин неважно знает историю... но все равно чувствует, что вот вся она тут перед ним — на этих стенах, на куполе, в который так плавно, так незаметно стены переходят... Вокруг было не просто изобилие фигур и сцен, вокруг был какой-то пир не прекращающейся во все времена жизни. И стоило Шишкину сделать лишь шаг — как все это изобилие, вся эта уйма народа, все эти временные слои тотчас начинали и свое собственное движение, по своим собственным непонятным спиральям... Кто-то словно по зеленой тропке спускался с самого купола... вон Христос во ад спускается... кто-то, наоборот, наверх устремлялся... кого-то направо невидимая спираль разворачивала, кто-то налево невольно клонился. История тела и духа в своей прекрасной нерасчлененности оживать перед Шишкиным все больше начинала, библейское перепутывалось все больше с бытовым, все внушительнее разворачивалась перед Шишкиным запредельная и все-таки единая какая-то панорама... уже и мысль лепилась какая-то... до которой умом, конечно же, не добраться... ку-уда! Одно лишь радостное ощущение, что вот оно — рядом — есть... было, есть и будет... и даже эти три-четыре метра, до которых рукой достать, испохабленной нашей истории затихающей досадой доживали в Шишкине теперь свои несерьезные какие-то претензии. Потому что с самого верха, с недостижимой высоты, сиял, все сиял ему кто-то. Кого Шишкин по причине религиозной неразвитости не смог бы точно назвать. Может, апостол Петр, а может, Павел... Просто он видел, что это было совершенно незамутненное лицо, лик наверное, потому что — без единого пятнышка, и с таким необыкновенным душевным здоровьем в сияющих глазах, что на ум, конечно же, одно только и пришло, что надо бы лечить весь этот нервный двадцатый век простым созерцанием таких вот незамутненных лиц. Просто стоять и глядеть.

Когда покинул он собор, смерклось по-настоящему. Колючая проволока, сторожевые будки, вышки,

железобетонные мрачные казармы — все это загустело вместе с ранней февральской синевою, зашевелилось с усилившейся поземкой, закрипело, застонало, зашептало. Десятки каторжных лет, сотни, тысячи несчастных глаз, бездонные омуты мутного человеческого отчаяния — все вдруг собралось в такой отчетливый монолит... что Шишкин невольно оглянулся — только что покинутый собор был рядом, можно вернуться. Под расписным его куполом Шишкину было надежно, как под куполом парашюта.

И эти два отстраненных монолита настолько ясно ощущались, что, заметив впереди фигуру, Шишкин несколько удивлен был, скорее, раздосадован даже: на тропе не разойтись, придется теперь отвлекаться от того, чем переполнен он сейчас, чем не хотел ни с кем делиться. А надо будет что-то говорить, потому что ведь не пройдешь мимо, встретив в такой обстановке человека. Оказалось — мужик, и в годах уже. В телогрейке, в шапке, валенках. Из местных. Сергей Петрович, несмотря на астматическую одышку, человеком оказался разговорчивым. И Шишкин вскоре знал уже, что Сергей Петрович всю жизнь здесь прожил, на войну лишь отлучался. До пенсии работал воспитателем в колонии. А до этого сам в ней лет восемь пробыл, потому что из беспризорников.

Но в те довоенные еще годы колония была больше похожа на коммуны. Да и воспитателями были коммунары из Болшевской трудкоммун. <<Сам товарищ Погребинский из Болшева сюда приезжал!>> — гудел-сипел в одышке Сергей Петрович. Шишкин что-то слышал, конечно, о Болшевской трудкоммуне, но особенно-то ею никогда не интересовался, а тут даже и возгордился слегка: это надо же — за сотни верст знают об их Болшеве! Никаких заграждений тогда не было и в помине, — задыхаясь, широко открытым ртом хватая снежный воздух, рассказывал Сергей Петрович, — на месте были ориентиры, за которые без разрешения колонистам нельзя было заходить. Большой белый камень, ручей, липовая аллея, которая вела от Царских ворот к Волге... вот такие ориентиры. Где-то на стенах монастыря, в башнях, сидели

с подозрными трубами наблюдатели, вели наблюдение за нарушителями. И если нарушал, тебя не брали на спектакль в Волковский театр, сладкого на ужин лишали. То есть все было похоже больше на какую-то интересную игру. Был свой фотокружок, драмкружок... вообще-то было здесь двадцать четыре кружка... оркестр, футбольная команда. Сергей Петрович сам выучился в кружке на киномеханика, крутил фильмы в клубе.

— Клуб был здесь... — с каким-то всхлипом махнул рукою в сторону обвалившегося храма, — в самом главном храме клуб у нас был... в Крестовоздвиженском... ему бы стоять да стоять...

— Рухнул, — поддерживал разговор Шишкин.

— Стяжка мешала... — на колючем ветру задыхался Сергей Петрович, — понимаешь ли, родимый, там под самым куполом крест-накрест были две металлические стяжки... на них все и держалось... Представляешь, собор... пять тысяч вмещает — и ни одной опоры! Ни одного столба внутри! Огромный купол всего на двух стяжках держится... Нет, умели строить, чего уж тут... Купол над головою... красотища... — сипел, хрипел Сергей Петрович, — в разноцветных звездах... ангелы там всякие летают, херувимы, серафимы шестикрылые... благодать! Ну, небо, целое небо — можешь ли представить, родимый ты мой! А на чем держится... если ни одной под этим небом опоры? На чем?

— На чем? — поддерживал разговор Шишкин.

— А на двух стяжках всего-то! — натажно хохотал сквозь пургу, кашлял и плевался странный человек рядом, Шишкина родимым называл.

— А тут на первое мая как раз новую аппаратуру привезли, экран, родимый, не поверишь — во-о! В два раза больше, чем до этого. Экран-то и не помещается, стяжка мешает. Я — к начальнику, так, мол, и так — давай спилим, и можно будет экран всюю установить. А он мне — пили. Ну я — ж-жих, ж-жих... — ножовочкой — и нет больше стяжки. Кто ж знал, что на одной стяжке долго не продержится... Да

и так с двадцатых, считай, до пятидесятых продержалось... после Сталина только и рухнуло.

— Да, долго продержалось.

— Одна стяжка уже не могла больше сдерживать, купол стало все больше распирать в те стороны, где стяжки-то не было... уж и не купол это был, а... не поймешь и что. И вот в пятидесятых, после Сталина, после Берии уже, как раз, родимый, перед двадцатым съездом все и рухнуло.

— Да-а... — говорит Шишкин.

— Моя вина, — под вой пурги стонет, в кашле заходится случайный шишкинский спутник Сергей Петрович.

— Ну, вы-то тут при чем, — несколько отстраняясь, успокаивает Шишкин человека.

— Да нет, чего там — я пилил...

И Шишкин понимает, что человек по-настоящему удручен этим.

— Вам приказали.

— Да нет — я сам... к начальнику ходил... молодой был, хотел на новой аппаратуре поработать... экран в два раза больше... вот и перепилил стяжку... на мне грех...

— Ну — грех... грех... кто же знал...

— Да и я, и я... — со всхлипом подхватывается Сергей Петрович, — и я ведь думал, что ерунда, что ничего такого больше не будет, а его опять церкви отдают, возвращается ведь все — вот в чем, родимый, дело-то.

— Да, может, еще, и не отдадут, может, еще и не будет тут никакого монастыря.

— Да нет, сам Яковлев приезжал... ну, тот, что в Политбюро... Александр Николаевич Яковлев сам за это взялся... приезжал, а как же... он же наш, ярославский... восстанавливать, говорит, будем...

— Трудно.

— Еще бы не трудно. Такой купол был... весь в цветах, весь в птицах... истинное небо... а теперь — яма... помойная яма... понимаешь, стяжку, дурак, перепилил, а на одной никак не устоять... две, обяза-

тельно две надо, родимый... чтоб в разные стороны растягивали...

— Наверное.

— Да задним-то умом мы все сильны, — с плачем хохотнул, летящим снегом захлебнулся Сергей Петрович, — а кабы знать тогда-то... молодой был, смелый... ж-жих, ж-жих... ни хрена ведь не боялся... я и на войне... у меня ведь шесть орденов, десять медалей... у меня грамота от самого генералиссимуса, от Сталина, веришь ли, родимый?

— Ну почему же...

— Нет, нет — вижу не доверяешь ты мне, родимый, до конца. Идем покажу.

И, как ни упирался Шишкин, минут через пятнадцать сидел уже в небольшой светлой горнице, заставленной горшками и кадками с цветами, сидел за столом, застеленным скатертью. Сергей Петрович по добром у на жену покрикивал: <<Родимая, поставь-ка нам чайку поскорее!>> Жена его, странно-румяная, пухленькая старушка, примерно такого же возраста, лет семидесяти, грустно покачивая головой, улыбнулась Шишкину и вперевалочку отправилась на кухню ставить чайник.

Сам же Сергей Петрович, раздевшись, оказался худым до изнеможения, с землисто-зеленоватым лицом, изборожденным глубокими морщинами. Тоска в открытую сжигала человека. Ноги не гнулись, волочились, половики сбивая, а ему хотелось побыстрее из шкафов, из ящичков доставать, перед Шишкиным на стол вываливать... ордена, медали, грамоты, письма, открытки с остроконечными немецкими кирхами. И наконец торжественно положить перед Шишкиным грамоту, подписанную самим Сталиным. Вот положил и несколько отошел в сторонку, скрестил руки на груди, стал дожидаться, пока Шишкин внимательно прочтет, пока не скажет: <<Да-а...>>

— Понимаешь, родимый, как колонию прикрыли, почитай, каждый день и хожу... по ночам все больше, чтоб не увидели... обойду раз-другой... и ужаснусь... а потом вернусь, разложу вот так-то все награды... и сижусь, сижусь...

— Да не томи ты так-то себя, Петрович, — ставила жена на стол кипящий чайник.

— Нет, с войны вернулся героем... опять работать в колонию пошел, опять воспитателем. Только народ уже другой там был... да, другой, не то что в наше время, когда, по существу, коммуна была... в театр каждую субботу ездили, в походы ходили, в лодочные походы... в лесу, родимый, как Робинзон Крузо какой-нибудь, жили... благодать. А теперь — шалишь, брат, — теперь тюрьма уже была... А знаешь ли, родимый, что тут у нас срок отбывал сын самого Андропова?

— Который в КГБ?!

— Ну-у...

— И-и...

— И ничего... как все, от звоночка до звоночка... хороший парень, между прочим, был Володька... про отца не знаю, ничего не скажу, за все время ни разу не приехал... мать с сестрой приезжали часто, а они ни разу... пост, должность... понимаю, все понимаю, но ни разу... а Володька хороший... чистый, бесхитростный такой... весь на виду, и рентгена никакого не надо — насквозь виден... Это уж было после того, как купол рухнул, порядки, родимый, сам понимаешь, другие были. Хотя, конечно, еще и старые кадры оставались. Да, еще много нас было из той, довоенной еще поры, из коммунарской, считай... да не ко двору пришлись, с молодыми воспитателями споры пошли всякие — в театр отпускать или в карцер лучше... вот я на пенсию и ушел... да многие тогда поуходили. Ну, а молодые новые порядки заводили, вот Володька-то Андропов и попал как раз на то время... кто кого перетянет... а так-то парень хороший, хороший... Ну, теперь уж кто кого перетянет.

— Опять, значит, две стяжки?

— Стяжки... что ж стяжки... — старый человек на другой стороне стола на ордена, на медали совсем головою никнет, — молодой был, смелый... а ума-то...

— Да не убивайся уж так-то, отец, — с новым чайником появляется жена его, — ты позабыл, что ли, как всей деревней сбегались, как колокола-то с коло-

колен сбрасывали... прямо как на праздник люди бежали, — говорит она Шишкину, — а он, родимый, как полетит... как загудит... как брякнется об землю-то... кто ж знал, что этого делать нельзя... никто не знал... теперь вот обратно, говорят, поднимать будут...

На другой день, электричкой в Москву возвращаясь, Егор Шишкин вспоминал это и никак не мог стянуть все воедино.

Да еще — когда уходил уже Шишкин и хозяин, накинув ватник, вышел в сени проводить... Шишкин руку жал на прощание, говорил о том, что не стоит уж так слишком близко к сердцу принимать все, еще говорил что-то. И тут Сергей Петрович, перед тем как захлопнуть дверь за Шишкиным, со всхлипом скороговоркой прошептал над самым ухом: <<Не принимать-то можно, родимый... да только фамилия у меня — Боголюбский, и сам я сын священника... отца-то в двадцатом расстреляли, конечно, ну, а фамилия... все та же, родимый, все та же...>>

И вот теперь в постукивающей электричке сидел у окна, а в голове постукивало: похороны друга, монастырь... коммуна... колония для малолетних преступников... член Политбюро Яковлев, занимающийся возрождением монастыря... сын самого Андропова среди обычных заключенных... генералиссимус Сталин, подписывающий собственноручно грамоту сыну попа... нет, не соединялось, какой-то стяжки явно не хватало, может, всего-то одной извилины в мозгу и не хватало... по-прежнему на недосыгаемой высоте находился Андропов... на какой-то устрашающей глубине, почти что в бездне, находился сын его родной... ни с того ни с сего мелькнул паровичок Уатта, закопанный у них в кочегарке под седьмым котлом, мелькнул и исчез... и уж совсем из какого-то непонятного угла выглядывал член Политбюро товарищ Яковлев... ну, а про Сталина, лично подписывающего грамоту Сергею Петровичу, и говорить нечего... И собственная возможность всей бригадой в тюрьму угодить впервые представилась неуловимо-странной реальностью, от которой, как говорится, лучше не зарекаться... но и бояться, как Рыбак, тоже не стоит.

И вот, домой добравшись, слег с простудой. Словно перегорел Шишкин. Да и на самом деле после смерти друга что-то оборвалось. Лежал под двумя одеялами, потел, напившись чаю с вареньем. Зарывался с головою в одеяла, поглубже в теплый, мягкий полумрак, хоть на какое-то время хотелось закрыться, отгородиться от всего на свете. А из головы не выходила эта странная встреча в монастыре. Разумеется, человеку уже за семьдесят, Егору на четверть века поменьше. Но ведь, в сущности, возраст значения тут не имеет... когда у человека позади такое. А у Сергея Петровича позади такое... и грамота от Сталина, и ордена-медали... и эта стяжка... навсегда обрушившая что-то... да нет — собор-то, может быть, и восстановят когда-нибудь, а вот в самой душе у Сергея Петровича уж не восстановится что-то главное, уж никогда... фамилия... да не только в фамилии, наверное, дело... помнится, хотел он все Шишкину о каком-то древнем ярославском князе рассказать... зачем?... Федор Темный... или Черный... вроде с татарами ходил в походы на города русские... церкви разорял... ну, да, как и Сергей Петрович, значит... вот, значит, зачем он это Шишкину все рассказывал!.. да только Шишкин не очень-то и прислушивался — какой-то князь из тринадцатого века... зачем? — в общем, жаль человека — да и всё. А что у самого Егора позади? Ну, если оглянуться... с дедов начать хотя бы, то... то, скорей всего, Егору повезло. Да, повезло. Ну, у кого еще три деда? А у Егора — три! Цыган, морской офицер-белогвардеец да революционер-подпольщик. Так уж получилось... И это, наверное, что-то в его жизни значит...

Завтрак приготовив, жена в магазин ушла. Егор еще полежал-полежал и встал неизвестно зачем. Сунул ноги в валенки, свитер натянул и походил немного по квартире. Дочки в школе, жена в магазине. Вообще-то можно и в поликлинику сходить, взять бюллетень, хотя и недолюбливает Егор больницы, поликлиники всякие, тошнотворный запах лекарств ему противен с детства, ему свежий ветер привычнее, дым костра, тяжелый рюкзак... луна над головою и

тени от деревьев под ногами, как ступеньки... Ну, да ладно, это все в прошлом, сейчас кочегарка, шлак и уголь... одышка-задышка, потливость-сонливость — ну и видок! Егор подходит поближе к зеркалу, в трусах и валенках, свитере, лохматый, заспанный, небритый. опухший... да... совсем старик, сорок четыре перевалило, старик и есть старик. <<Эх-хе-хе >>, — говорит Егор своему изображению. А в разводах зеркала солнечные лучи морозного дня радужно мельтешат, в слезящихся глазах Егора это мельтешение усиливается, исторгая не то стон, не то вздох. Короче, он начинает потихоньку собираться-одеваться. Старшей дочери лыжные ботинки ему в самый раз. <<Вот как дети-то выросли!>> — вздыхает он, согнувшись над ботинком. Мысль эта уже не раз удивляет Егора. Но удивляет как раз тем, что нет у него никакого отношения, приличествующего такой серьезной мысли, что ведь его дети действительно выросли, вот так штука! Уже и лыжные ботинки подходят! Ну, не совсем подходят, конечно, чуть маловаты, а дочке, наоборот, чуть великоваты, на вырост взяты, но все же...

Уже в лыжных брюках он, в шапке, свитере. Вспомнил, что лыжи натереть надо, нашел мазь подходящую, натирать стал. Пробки не было — не беда, Егор и рукой натереть может. Он так втирал, что лыжа нагрелась, а о нем самом и говорить нечего, в шапке ведь был, в свитере. Присел на стул, даже ноги чего-то ослабли, отдышался, сомневался теперь: может, лучше в поликлинику... Потом решил все же ехать. Года два-три последних вообще не стоял на лыжах. Не вспоминал даже. А тут как-то сразу захотелось в лес, на лыжню, на подъемчики, на спуски, на занудный <<тягун>> у шестого километра, который с ходу одолеть — много надо палками поработать. <<Да куда мне тягун, я потихоньку, — думал он, — какой такой тягун в мои-то годы!>> — Егор зло ухмыльнулся, дело в том, что годы действительно были немалые, и, когда кто-нибудь говорил ему про них, он понимал, что годы не то что бы большие, но и немалые, — но дело-то в том, что не ощущал он их — и всё тут! И еще долго, наверное, не ощущал бы, если б не эта

простуда. Вот и залег в постель, как медведь в берлогу, чай пил с малиной, растирать себя позволил... лечиться приятно оказалось, тем более нет-нет да под видом борьбы с простудой ухитрялся он на ночь принимать по полстакана водки. Но, когда жена заикнулась о горчичниках, таблетках, прочей ерунде, тут уж Егор возмутился: <<Тебе, жена, дай волю — ты и клизму мне поставишь!>> — <<И поставлю! — жена отвечала. — Всем ставят, а ты что — других лучше?!>> Он не стал с женою спорить, не стоит из-за этого мелочиться, но крепко задумался, стал под одеялом ноги то вытягивать, то, наоборот, сгибать, гнуть тело начал то в одну, то в другую сторону, словом, что-то вроде зарядки сделал там, под одеялом. Конечно, задохнулся почти, но разминочка неплохая получилась. А главное, жена не заметила, а то бы опять высмеяла.

Теперь хорошо, что она в магазине, от этого лес казался совсем близким, доступным, как и раньше. В этот час он пустынный, можно будет не спешить, катить и катить в свое удовольствие.

Поверх свитера, немного поколебавшись, он надел черный бушлат. Бушлат был великоват, зато теперь уж не продует никогда. Жарко может быть, а чтоб продуть — ни-ни! Надежный бушлат! Бушлат товарища, Генахи Чудакова, которого десять дней назад хоронить летал Егор на Север. Это жена товарища отдала совсем еще новый бушлат Егору. Товарищ был немного постарше Егора, и вот уже нет его больше. Надевая бушлат, с горечью Егор вспоминает о том, что вот и нет больше товарища, с которым они в молодые годы немало и лиха хлебнули, немало и счастливых дней прожили, и, когда изредка встречались потом, им было что вспомнить. Они так и говорили друг о друге: <<Нам есть что вспомнить!>>. Но только, изредка встречаясь, они ничего не вспоминали. У них было так много чего вспомнить, что легче заново прожить все. А поэтому выпивали первую чарку за встречу, садились друг против друга, закидывали по привычке ногу на ногу, поспешно закуривали (это у них называлось: <<закусить курятиной!>>

— они любили шуточки). Так вот, закуривали и поспешно, и радостно, глядя друг другу в глаза, перебивая друг друга, спрашивали: <<Ну, ты-то, ты-то, брат, как?!>> — <<Да я-то-ничего, а вот ты-то — как?!>>. И, выпив по второй чарке, поспешно <<закусывали курятиной>>, и, еще более радостные, еще более друг к другу расположенные, перебивая друг друга, радостно вопрошали: <<Ну, ты-то, ты-то, брат, как?! — <<Да я-то — ничего, а вот ты-то — как?!>>.И так весь вечер.

Вот так они изредка встречались, когда жизнь их разбросала лет пятнадцать тому назад: Егор оказался в средней полосе, в Подмосковье, в НИИ, потом в кочегарке, а друг по-прежнему на Севере, среди сопки, озер, белых ночей и полярных сияний... и вот нет его больше. Семь дней долбили могилу в каменной сопке... далеко с сопки видно...

... А Егор скользит не спеша по лыжне. Он одет, конечно, не очень по-спортивному шапка-ушанка, черный бушлат, который явно великоват, лыжи коротковаты, ботинки маловаты — да ему-то что! В лесу пусто. Да хотя б и встретился кто — сам ему уступит. Только глянет в небритое лицо, глянет на нелепого коренастого дядю на коротких лыжах, в длиннополом бушлате — и... лучше уж обойти стороной.

За речкой лыжня пошла под уклон, и Егор палками замахал, покатил побыстрее, задышал поглубже. Сердце отвыкло, конечно, билось неровно, слышал даже, как оно билось, но уж больно уклон был хорош! Уж больно лыжня была хороша! Так на одних палках весь спуск и отмахал, только ветер в ушах позабыто и сладко свистел. Устал, конечно, еще бы — года три на лыжи не вставал. Дальше лыжня на подъем пошла, и Егор на подъем пошел <<русским попеременным>> — это был его любимый стиль. Бывало, он на таких затяжных подъемах-тягунах своим <<русским попеременным>> мастеров даже доставал. Хотя сам выше первого разряда никогда не поднимался. Да, когда-то у него на <<тридцатке>> — любимой дистанции — был первый разряд. Как давно все это было... четверть века назад. Четверть века! А

вообще-то, он лыжи любил просто так, без всяких разрядов, и лет до сорока регулярно бегал километров по десять-пятнадцать. Это года два-три последних он сдавать начал. Да нет, лет пять-шесть как уже пошел на убыль. Теперь почти каждый вечер он дома, в кругу семьи, так сказать. Ну, а дома известно чем занимаешься: всё больше — пивцо, винцо, телевизор; сейчас в домах все удобства — мужик не нужен, вот и обленился, вот и одышка, и потливость, да и работа в кочегарке здоровью не способствует, а вот уж малейший ветерок северный подул — и простуда привязалась, ломота, притирания-полоскания. Нет, так действительно и до клизмы дойдет! Егор — мужик грубоватый, закаленный, вообще-то мало чего на свете боится, и вот в эту малость страхов почему-то входит клизма, он и сам не знает — почему, с детства, что ли, осталось?.. Нет, надо не поддаваться, думал он, одолевая с изрядною одышкой, но и с радостью немалой длиннющий тягун, надо хоть изредка вот так в лес выбираться. Конечно, годы есть годы, конфликты конфликтами, но, если хоть иногда вот так в лес выбираться, можно потихоньку и дальше... скрипеть... и безо всяких там клизм!

Тут его кто-то стал нагонять. Егор краем глаза разглядел: высокий; длинноногий парнишка лет семнадцати. Парнишка был в обтягивающем костюме небесного цвета, в такой же ярко-синей шапочке с кокетливым помпончиком. Вот и нагнал он Егора, а чего же не нагнать — спортсмен! Егор прямо-таки спиной чувствовал, как парнишка в своем ярко-небесном костюме сопит рядом, как все в нем рвется вперед, вперед, к победе! Эх-хе-хе... молодость... Егор сам когда-то был таким... четверть века назад. Но он не позавидовал этому парнишке в небесном костюмчике. Он шагу не прибавил, хотя тот совсем рядом был, в затылок дышал. Егор даже взял демонстративно обе палки в одну руку и дальше пошел совсем без палок одним ножным скольжением. И то не слишком широким скольжением. Он, разумеется, мог и пошире сделать шаг, мог посильнее толчок ногою дать, он мог, если б захотел, сразу накат раза в два увеличить, он,

такой накат отработывая, десятки и сотни километров когда-то пробежал без палок. Но зачем? Выпендриваться перед сопляком, который ему в сыны годится? Да он лучше, наоборот, вообще снизит темп. И Егор снизил темп так, что парнишка совсем ему в спину уперся, раза два даже наступил на задники лыж.

Ну, а дальше спуск был, и Егор волей-неволей быстрее покатил, а тот — в небесном костюмчике — нарочно перед спуском остановился. Это для того, Егор догадался, чтоб путь перед ним — спортсменом — свободным был, чтоб на спуске спортсмен мог без помех всласть разогнаться. Егор и сам в свое время так же делал. Егор понимал его и не обижался... Только в свое время Егор никогда не стал бы отсиживаться у старика за спиной, он без лишних слов обошел бы и, не оглядываясь, умчался по своей лыжне. А то тут пыхтит-пыхтит, настроение портит. Егор шагу не прибавил, хотя краем глаза опять-таки видел, как быстро под уклон приближается к нему сейчас парнишка. Скосивши глаз, Егор видел голубой вихрь какой-то, так у парнишки мелькали руки-ноги. Ну, что ж — у них у каждого своя дорога. Вот и лыжи разглядел Егор, и лыжи тоже разные. У Егора обычная <<карелия>>, а у того — отличный пластик, да и гетры хоть куда! А вот палочки у тебя, малец, подкачали: и тяжелы, и коротки, мельтешить ими приходится, а пусти тебя на <<тридцатку>> — руки ведь отвалятся с такими палками.

Ну, а пока была не <<тридцатка>>, а всего-то детский накатанный спуск, и парнишка разогнался на нем, ему самому было радостно от такой скорости, от зимнего, слепящего глаза поля, от простора, от синевы (Егор хорошо понимал его) — и вот, переполненный всяческими силами, которые распирают столь юный возраст, догнав Егора, он звонко крикнул: <<А ну, папаша, посторонись!>> — <<Еще чего! — не очень даже и грубо буркнул Егор. — Не на соревнованиях ведь!>> И парнишке ничего другого не оставалось, как обогнать Егора прямо по целине. А впрочем, в феврале ведь крепкий наст уже и сделать это совсем не трудно.

Ну, обогнал он и дальше замахал коротенькими палочками, довольно резво удаляясь от Егора. На спине его, оказывается, висел зачем-то баульчик красного цвета. Баульчик наверняка был пуст (и тогда зачем?), так как очень легко болтался из стороны в сторону вроде флажка.

Ну, побежал он и побежал. Резво палочками помахивая, резво ногами перебирая, Егор еще подумал, что так резво далеко не убежишь. Хотя от Егора теперь любой убежит. И на <<папашу>> он не обиделся. Вполне Егор ему в отцы годится... Чего тут обижаться: папаша и есть. Лет пять бы назад они б еще потягались. Да, лет пять назад Егор пятнадцать километров за час пробегал, у него накат — ого-го-го — какой был! Да, пять лет тому назад Егор на таком вот спуске разве ж так неэкономично шел, как этот, красненьким баульчиком впереди размахивающий?! Нет, Егор бы сперва разогнался, вот так... вот так! А теперь палочки под мышки и слегка присесть... вот так... можно совсем в комок собраться, чтоб сопротивление уменьшить... и тебя несет, несет... а ты отдыхаешь, а ты дышишь ритмично, ты дышалку на таком спуске полностью восстанавливаешь... Ну, а теперь подъемчик, что следует за спуском, уже и на одних руках пройти можно... взять его одним махом... Взять-то взял, но дыхание опять сбил... и сильно, вот что значит — без тренировок. Но что это? За подъемом поворот, повернул он и всего-то метрах в пятидесяти-шестидесяти красный баульчик увидел. <<Эге! — тогда сказал Егор сам себе. — Да ты, паря, недалеко ушел! Ну, а если тебя на прочность проверить? А если поднажать?>> И поднажал, естественно. Побежал расчетливо, вспомнив все тактические уловки бега на лыжах по сильно пересеченной местности. Красный баульчик стал приближаться на глазах. Баульчик раскачивался изо всех сил, сам же обладатель баульчика шел совсем не быстро. Это, значит, лишь для форсу он вырвался, старика обогнал, но за душой-то на такой вот обгон ничего не имел. Нет, Егор в двадцать лет был другим! И уж если кого-то обгонял в двадцать лет, то не скисал так быстро... а поддавал

своему бегу, поддавал так, что свитер на спине был весь в инее... Да, уж если кого и обгонял Егор в двадцать лет, то не кричал... ничего такого про <<папаш>>!. Ишь ты, сынуля какой выискался!.. И, так распаяя себя все больше и больше, поддавал да поддавал Егор и вскоре нагнал совсем парнишку. Тот шел действительно не очень быстро, куцым каким-то шагом, и руки, по всему, от таких коротких палок стали уставать. Но тут парнишка оглянулся, что-то дернулось у него на лице, помпон на шапочке крутанулся, баульчик завалился, и он не то чтобы побежал, а вроде бы как поскакал наподобие зайца. <<Ну, это ты так далеко не уйдешь!>> — рассмеялся Егор, остановился, снял рукавицы, уши у шапки-ушанки завязал наверх, чтоб не так жарко было, пожалел он, что бушлат взял, но делать нечего, расстегнулся только и уже теперь всерьез пустился в погоню.

А так и получилось, той прытью, что побежал парнишка, далеко не уйти, конечно, и Егор метров через триста-четырееста уже разглядел меж деревьев красный баульчик. Баульчик мелькал, деревья то скрывали его, то вновь открывали, но куда он денется — дальше ведь лыжня выходит на раскатанную дорогу. И действительно, минут через пятнадцать они выскочили на дорогу. Сначала парнишка, потом Егор, метров пятьдесят между ними было. Егор хватал воздух широко открытым ртом, но и тому, что впереди него, было не лучше.

А бушлат, конечно, здорово теперь мешал, пот заливал не только лицо, Егор под бушлатом был весь мокрый. Бушлат мешал, но он же был памятью о товарище, памятью о том, что связано с товарищем верным, а связано так много... что не вспомнить и не описать, а только заново прожить. Но кто ж даст заново прожить, одного уж нет, вот бушлат только ... и Егор, закусив губу, по ледяной дороге пошел на одних только палках. Тот, впереди, шел по-современному, красивым, модным <<конькобежным>> ходом. Егор хотел крикнуть: <<Конькобежным — не по правилам!>> Но сил не было ни грамма, и он не крикнул, только палками, палками отталкивался все сильнее и

сильнее, он с такой силой вбивал палки в лед, что лыжи несли его все быстрее и быстрее, он догонял этого <<конькобежца>>. Красиво тот, конечно, шел, но только Егор догонял его.

А тот на повороте оглянулся и все понял. И сразу бросил форсить, помчался так, как и подсказывала обледеневшая дорога, то есть на одних палках. Но тут уж и Егор нажал, нажать было уже нечем, он воздух хватал, хватал, хватал... а в груди было пусто, в груди было каменно, не продохнуть... И все ж не отстал Егор, наоборот догнал почти совсем у насыпи, которую перевалив лыжня в поле выйдет. С десятков метров их всего-то теперь и разделяло. Егор махнул рукой на все, он словно бы решил, помирить, так с музыкой! Да и парень, выпустив пар, на последнем рывке, на насыпь взбирался хоть и елочкой, но очень медленно. Егору елочкой такую насыпь не одолеть, он вообще остановился внизу, как загнанная лошадь дышал, слюни текли, глаза остекленели, он был мокрый от пота с головы до ног, и вот, остановившись и остановившимся взором провожая медленно карабкающуюся на насыпь фигуру, он понял — уйдет тот от него. Но тут вспомнился дед Васильевич, слабый, больной, уже перед смертью, — как с яростью: <<А-а... с ним!>> — бросался он ошкуривать огромное бревно. <<А-а... с ним!>> — бормотнул под нос Егор и полез на насыпь.

Он лез расчетливо, лесенкой, на елочку не потянет. А парнишка был уже наверху. <<Уйдет!>> И в ту же секунду у парнишки вдруг вырвалась палка и вниз поехала, впереди себя взбивая легкий снежок. Злорадно kloкотнуло в самом сердце у Егора: <<Так тебе и надо, щенок!>> И тут же: <<Позвольте, позвольте, нет — это уж совсем никуда не годится!>> — и, отодвигая деда Васильевича в сторонку, дед Петровский, тот, что морским офицером был, возник, — приосанился Егор, пот смахнул, рот прикрыл и с благодарной усмешкой принял чужую палку. И не спеша стал подниматься. Парнишка же стоял и ждал, а что еще ему оставалось делать? И несчастнее человека Егор в жизни не видел.

Он поднимался не спеша, а чего спешить — без палки ж не уйдет. <<Держи, сынок!>> — протянул Егор палку. А тот вспыхнул, вскинулся как-то, щеки еще в девственном пушку заалели, двадцати, конечно, не было. Схватив палку, парнишка через силу, полупешотом выдавил: <<Спасибо>>, — и, нагнув голову, покотил не оглядываясь.

Егор еще какое-то время шел за ним. Но шел уже больше по инерции. От страшной перегрузки организм не мог прийти в себя, воздух, который хватал Егор, как загнанная лошадь, почти не проникал в легкие, туман застилал глаза, его шатало, тянуло прилечь, но этого-то как раз и нельзя было делать. Все что надо в таких случаях — никоим образом резко не прекращать начатого напряжения. Вот он и шел еще какое-то время за парнем, по инерции. Потом свернул в чистое поле и поехал куда глаза глядят. А ехать было так же, как и по лыжне, в феврале повсюду крепкий наст... Ну, а о том, что будет с ним после такой <<прогулки>>, он не думал...

А Сергей Наумов в этот день в пэтзу не пошел. Вчера они хорошо отметили день рождения Кузнечика — Оли Кузнецовой. Потом решили к Нинке Медянице пойти продолжить. У Нинки малопулька есть. В прошлом году они из окна дедов пугали из этой малопульки — вот смеху-то было! Когда к Нинке всей компанией ввалились, оказалось, что малопульки давно нет, зато есть отличный ликер. У Нинель долго не задержались, предки могли нагрнуть. Часов до двух куролесили по поселку, пели под гитару, в санаторном парке из беседки прогнали чужаков из совхоза. Короче, было что вспомнить. И вот утром вставать не хотелось, он матери сказал, что в училище не пойдет, потому что от физрука получил специальное задание — готовиться к лыжным соревнованиям. Мать только головой покачала, но ничего не сказала. И Серега валялся часов до одиннадцати. Потом встал, вяло походил, покурил. Без отца он курит открыто. Отца ж Серега слегка побаивается. Хотя с месяц назад, помогая матери раздевать отца после полочки, толкнул

его несильно на кровать и очень удивился, как легко полетел его отец. Тот самый, что лет до тринадцати-четырнадцати казался Сереге очень сильным и смелым, а теперь Сереге восемнадцать с половиной, отец в его глазах давно уже не сильный и не смелый. А о матери и говорить нечего. На нее стоит прикрикнуть (в отсутствие отца), она и притихнет. Нет, предки есть предки — отжили, конечно, свое. Серегу непонятно раздражает, как это они в такие-то годы еще о любви рассуждают, еще ревновать могут друг друга... еще и запираются иногда у себя в комнате! Им ведь по сорок лет уже! Песок же сыплется... а туда же — в любовь играют, ха-ха!.. Он как-то рассказал об этом Витьке Мотылю. Мотыль - это кличка, конечно, из-за большого роста. Так Мотыль сказал, что они все такие, у него тоже не лучше. Его папаша недавно матушке такую сцену ревности закатил, что смех и грех! Серега очень уважает Мотыля, тот уже курит дома всюю. Мотыль в автобусе с неподражаемым шиком говорит кому-нибудь, кому за тридцать: <<Папаша, а вы б в сторонку отошли, а то люди выходить будут (это он себя в виду имеет), ненароком толкнуть могут!>> Людям, которым за сорок, Мотыль всегда говорит: <<Дедуля>> или <<Бабуля>>. <<Дедуля, а вы-то куда на ночь глядя, претесь?>> — <<На танцы, небось!>> — холодея от восторга, подыгрывал Серега Мотылю. <<Ага! — кричал-на весь автобус Мотыль. — С него ж песок сыплется, а он, вместо того, чтобы со своей бабулей на печке сидеть, на танцы прется!>> И, конечно, все девчонки в бешеном восторге, от смеха покатываются, нет, с Мотылем не заскучаешь!

Весь мир теперь для Сереги делится на молодых, радующих душу, где Мотыль, Оля Кузнечик, Нинель Медяница, другие такие же, где гитара, розовый портвейн, кайф. С другой стороны мира — папаши и дедули, которые только путаются под ногами.

Итак, протолкавшись без толку по квартире до двенадцати, еще раз перекулив, плотно позавтракав, Серега решил все ж съездить на лыжах. Мать все поглядывала с укоризною, что ж, мол, дома-то остался, коль тебя на соревнования выдвинули. Да и

отец вот-вот подойти мог. Лишней ругани Серега не хотел. Да и денек был яркий, солнечный, а костюм у Сереги что надо. Он долго вертелся перед зеркалом, все решал — надеть шапочку или нет. Без шапочки у Сереги пышные кудри, как у Леонтьева-певца. Это Мотыль научил его, как на ночь бигуди закручивать, научить-то научил, а у Сереги кудри получаются лучше, чем у Мотыля! Почти как у Леонтьева, так Кузнечик сама сказала, Мотыль даже обиделся немного, Мотыль хочет, чтоб только у него все было самое лучшее. А тут у Сереги вдруг что-то лучше! Да, кудри что надо, глянешь - закачаешься. Но с шапочкой тоже было очень хорошо, особенно радовал Серегу помпон, такой пышный, на такой длинной нитке, нет, Серега решил все же ехать в шапочке. Сейчас в лесу знакомых девчонок, конечно, не будет. Да и откуда им взяться, они ж давно забыли про всякие там коньки да лыжи! Он бы еще перед зеркалом постоял, и так и этак шапочку примеривая, но надо торопиться, вот-вот отец придет. А как придет, обязательно нудеть будет о том, как в их время жилось всем простым людям очень плохо, ничего не было, учиться мало пришлось, а сейчас открыты все пути-дороги, а учиться никто не хочет! Вспомнил бы еще довоенную жизнь! Ха-ха... Или еще лучше, — дореволюционную какую-нибудь вспомнил! С ума сойти! Не дом, а музей воспоминаний! Пыль музейная! Когда вокруг жизнь сверкает во всех красках молодости... друг Мотыль, Нинель Медяница, Оля Кузнечик, которой так нравится его завивка! Нет, пора и ему, Сереге, курить открыто дома, как Мотыль. Что отец? — Да толкни его посильней — он и полетит вверх тормашками.

Они тут недавно у винного магазина с Мотылем у одного чувака отняли бутылку вина. Да просто денег не было, а выпить перед танцами надо, не идти же в клуб трезвыми. Вот Мотыль и говорит: <<Есть выход! Давай подкараулим в темном переулке за магазином какого-нибудь дедулю, вон их сколько в магазин шастает!>> — <<А чего ж им не шастать! — Серега друга поддержал, — у них же у всех пенсия сто двадцать, каждый день пей — не хочуй!>> — <<Ну, так давай

подкараулим, — Мотыль говорит, — и отнимем, он еще себе купит, а?>> — <<Давай!>> — <<А будет возникать — вырубим!>> У Мотыля для этой цели, оказывается, уже припасен ключ разводной, в рукаве. Серега, как ключ увидел, похолодел от страха, потом его захлестнула какая-то жаркая волна, даже дышать трудно стало — ведь они с Мотылем идут на настоящее дело! Будет что девчонкам рассказать. Он только представил лихорадочно-блестящие глаза Оли Кузнецика, как его захлестнула нестерпимо-горячая волна радости, все мускулы так и напряглись, скорей, скорей с Мотылем в темный переулок за винным магазином... Единственное, что он хотел, это чтобы дедуля не очень возникал, не начал бы, дурак, орать в темном переулке, чтоб Мотыль не пустил в ход разводной ключ, который у него в рукаве... К счастью, мужик им попался нормальный, то есть не стал возникать. Мотыль даже пинка ему дал на прощанье. Со злости. Уж очень хотелось Мотылю применить разводной ключ, вот и пинка дал мужику, хотя тот и не думал сопротивляться. И ничего — пошел как миленький, даже не выматерился.

Да, пора и Сереге уже курить открыто, а если отец что скажет, послать его подальше... как Мотыль своего. Да, вообще-то, прав Мотыль, им, настоящим парням, пора, давно пора всем этим предкам - папашам, дедулям — показать свою силу по-настоящему. Мотыль по страшному секрету рассказал Сереге, что в этом году... в апреле где-то, да, где-то ближе к весне, соберутся ровно в двенадцать часов ночи на площади у стадиона настоящие ребята. <<Там такие ребята, Серый, будут — не нам чета, сам Вадька будет — ну, знаешь, сын второго секретаря горкома партии, еще будут... короче, сан-кци-о-нировано на самом высшем уровне... секешь? То-то...>> И каждый, конечно, что-то прихватит в руку потяжелее. Или нет, помнится, Мотыль про какие-то факелы говорил. Факелы зажгут и в двенадцать ночи пройдутся по площади с зажженными факелами... тесными колоннами, плечом к плечу... только вот зачем? Чего-то Серега не понял... или Мотыль не сказал. Ну, вообще-то, по-

нятно зачем... чтоб кой-кому... этим папашкам, дедкам, свой век отжившим, показать, что наступил черед их, молодых, что в жизнь вступают такие сильные, отчаянные ребята, как Мотыль, как вот он, Сережка Наумов, которому Олечка Кузнечик недавно подмигнула так, что Сережке все сразу стало ясно — на самом деле с кем она... Да, именно так, печатая шаг по мостовой, плечом к плечу, с зажженными факелами. Вы, дедули со своими бабулями, спите в теплых постельках. Вы, разбуженные грозным маршем и мерцающим светом факелов, вскочили в своих халатах, в своих ночных колпаках, прильнули в ужасе к окнам, а мы идем, идем... суровые, таинственные, молчаливые, плечом к плечу... у Мотыля железное плечо... Вернее, разводной ключ в рукаве. У Сережки тоже... что-нибудь такое, одним словом — железное плечо. Нет, куда там всяким папашам... им пора убираться восвояси, не портить жизнь, не портить, одним словом, пейзаж...

Серега уже давно видит впереди себя на лыжне какую-то нелепую фигуру, которая явно портит пейзаж. А подъехав ближе, убедился: ну, так и есть — папаша! Очередной папаша, невесть как оказавшийся в лесу на лыжне. Среди сверкающего снега, солнечных лучей особенно нелеп был вид папаша: шапка-ушанка, длиннополый черный бушлат, поднятый воротник... К тому же, когда Серега почти уткнулся в спину папаша, то разглядел с изнанки поднятого воротника бушлата какие-то цифры, номер какой-то, пятизначный или даже шестизначный, Серега не стал уточнять — просто номер такой большой стал моментально ассоциироваться в Серегинном воображении с той громадной армией папаш и дедуль, которые мешают жить ему, Сереге Наумову, мешают даже открыто курить в собственном доме. Этот нелепый папаша в ушанке, в каком-то черном, длиннополом бушлате выглядел совсем уж по-дурацки, если иметь в виду все это великолепие вокруг: лыжню, кристаллы сверкающего снега на ветках, солнце... если иметь в виду его, Сережку, в небесно-голубом, красиво облегающем фигуру, костюме, пластиковые лыжи. А у па-

паши, которого Сережка сразу окрестил Бушлатом, — смех и грех — не лыжи, а гробы, и сам Бушлат еле-еле ползет по лыжне. С него песок сыплется, а он, видите ли, на лыжню выехал, ему дома со старухой сидеть, а он, как и Серега, видно, решил с ветерком промчаться, солнцу, снегу, лесному миру порадоваться... может быть, самим собою мир обрадовать! Может, лыжниц нарядных встретить и им обрадоваться?! А заодно уж и лыжниц обрадовать... ха-ха... Серега-то обязательно встретит нарядных лыжниц, он им обрадуется, они ему обрадуются — вот какой должен быть расклад жизни, вот какая должна быть настоящая жизнь! А этот нелепый Бушлат лыжню теперь загораживает, плетется еле-еле... вот совсем, видно, устал — обе палки взял в одну руку, совсем тихо поехал...тоска зеленая. Нет, Серега так не может, он уж лучше подождет, пока это чучело не отъедет подальше, не освободит лыжню, чтоб Сереге потом можно было с горки разогнаться... вот так! вот так! И Серега понесся под уклон. Ветер запел, засвистел в ушах: вот так! вот так! Красота! Скорость! Энергия! Движение! Блеск!.. Нет, а собственно, кто может помешать им, молодым, энергичным?! Нет, да он завтра же закурит дома при папаше! А чего тянуть до завтра — сегодня же! Хватит, пора! А в апреле с факелами! Мы им покажем! Мы им... <<Эй, папаша, а ну, посторонись!>> Папаша слегка обернулся, хмуро глянул на Серегу, равнодушно буркнул: <<Еще чего! Не на соревнованиях ведь!>> Ну и рожа! — ахнул Серега, бег невольно приостановив, — опухшая какая-то, зеленоватая, заросшая... и опять в глаза бросился многозначный номер на воротнике... А с другой стороны, действительно, не на соревнованиях, и с какой стати этому Бушлату лыжню Сереге освободить. Серега не гордый, объедет и по целине. Тем более Бушлат плетется еле-еле, обежать его по целине Сереге раз плюнуть. Раз-два — и вот уже Серега обежал папашу, опять на лыжню выбрался, уже впереди Бушлата. И почти не запыхался. Впереди не было никакого Бушлата! Впереди была свобода! И Серега покатыл. Никто ему теперь не мешает! Бушлат

остался где-то позади Сереги. Бушлата больше нет, и быть не может, Серега о нем сразу и позабыл, а чего о нем думать — обогнал — и всё, нечего о них думать... сплоченными колоннами, плечом к плечу... железным плечом к железному плечу...

Он пробежал еще метров двести-триста, и ему почему-то захотелось оглянуться. Оглянулся и увидел... Бушлат. Его догонял Бушлат! Подобно черной разлапистой росомaxe с какой-то железной ритмичностью перебирал он короткими ножками, помахивал палочками ... одним словом, явно догонял ... всего-то метров сто и было до него. Серега-то думал, что, по крайней мере, с километр между ними, а тут... Серега энергично заработал руками и ногами, стал стремительно удаляться от ненавистного Бушлата. Он в лес вбежал и тут же скрылся меж деревьями. Опять светило солнышко, тишина была, сверканье, счастье скрывалось где-то совсем рядом, Серега чувствовал, как оно близко... возможно, за этим вот кустиком... вполне ж могло быть, что этот страхолюдный Бушлат ему приснился!.. Но все ж Серега еще и по лесу бежал минут десять-пятнадцать, чтоб теперь уж наверняка распрощаться с Бушлатом навеки. Потом он оставил бег, поехал нормально, успокоил дыхание, спину, онемевшую от быстрого бега, разогнул. Он опять поглядывать начал по сторонам: а далеко ль нарядные лыжницы, куда попрятались от Сережки Наумова? Да они обязательно где-то тут, недалеко. А может, встретится ему какая-нибудь одна, без этих дурашливых подружек, как-нибудь Серега завяжет с ней разговор, они поедут куда глаза глядят, в самую глубь леса... От сладких видений Серегу отвлекло какое-то судорожное пыхтенье за спиной. Серега быстро оглянулся и похолодел — к нему несли на всех парах Бушлат! Несся так целенаправленно, так энергично, так пыхтел, хрипел, потом заливался, что можно было подумать: хочет передать Сереге какую-то важную весть, уж такую важную, словно речь идет о жизни и смерти! Ну, тут уж Серега помчался без оглядки, без зыркания по сторонам, нарядные лыжницы были сейчас совсем ни к чему. Он бежал теперь

так, словно дело действительно шло о жизни и смерти. Да он сам не понимал, почему теперь надо было бежать так, словно дело шло о жизни и смерти.

Он бежал и краем глаза все назад оглядывался. Бушлат сразу же отстал, старый же, больной, усталый... Серега же прекрасно видел, какой он весь старый, как страшно устал, ну, куда ж ему теперь выдержать за отдохнувшим Серегой! Отстал... но отстал не так далеко, как хотелось Сереге. <<Ай, мамочка!>> — похолодело все в Сереге, он включил третью скорость, а когда выбежал на раскатанную машинами дорогу, пошел конькобежным шагом. Он видел по телевизору, как лучшие мастера во всем мире с успехом используют теперь конькобежный шаг. И вот сам теперь пошел так же красиво. У него как-то сразу стало получаться. Да у Сереги все всегда получается — он такой! — за что ни возьмется, все сразу получится! Мотыль всего один раз ему показал, как бигуди на ночь закручивать, и сразу стало получаться. Да как! Получше, чем у самого Мотыля. Вот и сейчас: — попробовал он конькобежным шагом и сразу же получилось! И покатил, покатил, широко разбрасывая ноги... благо дороги хватало. Нет, здесь на скоростных пластиковых лыжах скорость он набрал приличную, куда теперь Бушлату на своих недомерках! А главное, красиво Серега идет! Он словно бы себя со стороны видел. Красиво и быстро! Бушлата не было позади, отстал безнадежно. Серега уже и до поворота добежал, а тот еще и не показался. Ку-уда, уж все теперь... теперь Серегу не догнать! А за поворотом он пошел еще размашистее, еще красивее, еще конькобежнее.

Дорога перед ним была гладко-обледенелая, лыжи скользили отлично. Серега устал, конечно, но зато почти всю эту широкую дорогу, гладко-раскатанную машинами, прошел красивым конькобежным ходом. Впереди уже виднелась довольно крутая насыпь, а за ней будет широкое поле, лыжня... лес... А все ж тянуло оглянуться... так, последний раз, что ли, чтоб уж окончательно убедиться. Серега оглянулся и чуть не заплакал. Бушлат несся по обледенелой дороге на

одних только палках, но так ими махал! <<Да он же больной!>> — мелькнуло у Сереги в голове. Но легче не стало. Короткие лыжи Бушлата, тесно поставленные рядом, неслись как санки, палки врубались в лед с железной ритмичностью, с каждым взмахом ускоряя и без того ужасное движение. Серега невольно загляделся, ведь Бушлат на такой сумасшедшей скорости не может вписаться в поворот, его ж обязательно выбросит сейчас на обочину. Но Бушлат, в поворот войдя, как-то резко присел, собрался весь в точку, в черное пятно, набок сильно наклонился, почти лег, вроде мотоциклиста на льду. И поворот проскочил. На прямую вылетел. Черной тучей надвигался. Серега расслышал хрипкое какое-то дыхание, залитое потом лицо разглядел, совсем близко увидел дикие какие-то глаза. <<Мамочка!>> — непроизвольно всхлипнуло в Сереге, без всякого стилия добежал он до насыпи и, всем телом вихляясь, елочкой, как заяц, поскакал вверх. Скорей, скорей, через насыпь, а там, полем, Серега ж наверняка уйдет, ведь этот чокнутый Бушлат при последнем издыхании, поле ему никак не осилить, да ему и насыпь эту не осилить, Серега ж слышал, как он дышит, видел лицо, глаза, все видел, все запомнил... ему б только через насыпь перебраться. Серега и сам устал безмерно, сам, можно сказать, при последнем издыхании, еще рывок, еще рывочек... и он оторвется, обязательно уйдет от погони... Но елочкой получалось не очень, все ж крута была насыпь, и Серега устало оглянулся: <<Неужели и перед насыпью Бушлат не отдохнет хоть чуть-чуть?!>> Ну, что ты будешь делать! Нет, не хочет отдыхать. — <<Да железный ты, что ли?!>> Вот и боком поворачивается, изготавливается, значит, лесенкой насыпь проходить. Ну, конечно же, такую насыпь и надо лесенкой проходить. Серега и сам тогда лесенкой запрыгал, и на последнем дыхании вверх выбрался, как рыба живительного воздуха глотнул, впереди поле открывалось, хорошая лыжня, а Бушлат еще только-только подъем начал. Вяло так, медленно начинает, да его же шатает из стороны в сторону, да он же пьяный, наверное! Пьяный или больной! Серега

внутренне хохотнул от этой злой мысли... уйдет, уйдет теперь Серега... хоть и трудно ему, дыханья нет совсем, пот глаза заливаает. Но уйдет, потому что не пьяный и не больной... он опять внутренне хохотнул, еще энергичнее взмахнул палками, еще раз лесенкой прыгнул и уже совсем наверху был, как вдруг одна из палок вырвалась, описала красивый полукруг и вниз по склону поехала. Прямо под ноги Бушлату. Как в замедленной съемке, все вокруг и в Сереге остановилось, он и сам двигаться дальше перестал, а палка была уже у Бушлата в руках, и он не спеша с Сережиной палкой наверх поднимается. Ну, а Серега стоит и ждет. А собственно, что ему еще оставалось делать? Не бежать же вниз за палкой! Он стоял, ему было стыдно. Но было и хорошо, так как он чувствовал, что отдыхает, быстро сил набирается. Ты стоишь, а кто-то твою палочку тебе несет. Конечно, стыдно было, но и отдохнул он за это время неплохо.... И все же, принимая палку от Бушлата, покраснел Серега как рак и тихо сказал: <<Спасибо>>.

А Бушлат, когда его Серега вблизи рассмотрел, был просто страшен, он еле на ногах стоял, вот-вот развалится... или прямо на снег упадет. <<Ну, куда ж тебе дальше бежать, папаша! Поимей же совесть! У тебя ж сердце лопнет!>> — Серега почти уговаривал его, каким-то замедленным движением принимая из рук Бушлата палку. Он умолял Бушлата не догонять больше его, Серегу Наумова, — молодого, на красивых пластиковых лыжах, отдохнувшего на насыпи в ожидании палки. Ну, а стремительно ринувшись с насыпи на лыжню, с потрясающей неизбежностью понимал, что будут его догонять! Обязательно будут! Да еще как!! Потому что это не просто Бушлат, не просто некий папаша в нелепом черном одеянии, старый, нелепый человек, отягощенный семьей и болезнями, нет! Это не человек, это вообще нечто нечеловеческое — дыхание нечеловеческое, глаза ведь нечеловеческие, и не лицо было перед Серегой, когда он палку принимал, а нечто... черное... с белыми точками, с воспаленными такими точками невидящих глаз... страх божий! Да это была сама чернота... это

был огромный номер на воротнике... это было в сущности-то огромное количество вот таких безымянных, черненьких, катящихся лавиной бушлатов... кажется, в войну их еще называли <<черной смертью>> ... как-то еще их в войну называли, дай Бог памяти... Серега поднапрягся... кажись, <<братишками>>... нет, братишками их называли не в войну, а еще в революцию, смотрел он как-то фильм про эту революцию. А-а, да не все ли равно, как их там называли, лично Сереге Наумову как-то безразлично.

И отчаяние в Сереге уступило место тупой безнадежности, захотелось сделаться маленьким-маленьким, куда-то юркнуть в темное, теплое, в мамину перину, что ли, забиться от всех и от всего... И, увидев впереди нарядных лыжниц, почти не понимая, что делает, он свернул в лес, забежал в кусты, присел и для убедительности сбросил штаны. <<Ну, не поедет ж он в самом-то деле проверять, зачем так быстро Серега в кусты подался!>> Конечно, не поедет... но штаны на всякий случай лучше приспустить. Для убедительности. Вдруг поедет!

А Егор ехал вечерним полем, медленно остывал, уже чувствовал озноб, уже бушлат застегнул, — радовался, что бушлат был что надо, надежный. Он думал о том, зачем загнал себя так, зачем загнал парнишку. Парнишка как парнишка, в сущности-то — неплохой. Невинный. А о том, что он невинный, поведали его беспомощные глаза, когда принимал он от Егора палку. Ну, крикнул: <<Эй, посторонись, папаша!>> Ну, так и что?.. Вообще-то, было в этом крике что-то, но не обидное, конечно. Егор давно уже папаша, на что тут обижаться! А вот была в том крике помимо смысла какая-то бессмысленность, какая-то жестокость, жестокость бессмысленного торжества. Только вот — чего? над чем? Наверное, все же молодости над старостью. Да так и должно быть, конечно, и над этим не стоило б так долго размышлять, если б это не конкретизировалось в уме Егора каким-то железным кулаком, которым когда-нибудь в темном переулке ему заедут меж глаз. Возникшая конкретиза-

ция была вполне спокойна, под стать вечеряющему небу, первым холодным звездам, остыванию собственному, совпавшему с общим остыванием в природе. Егор вообще был человек уравновешенный, и этот железный кулак, почти доставший его лба, не вызвал в нем каких-то обильных эмоций. Он только спросил: <<За что?>> И сам себе ответил: <<Да ни за что. Просто за то, что ты, Егор, уже старый >>. Вот и товарищ, от которого теплый бушлат остался, уже умер. Умер так рано, и не сам, конечно, по себе, ведь если дать волю горьким мыслям, понятно будет, что изрядную долю к его бедам-несчастьям добавили родные детки, сыновья. И унижали батьку, и ... толкали.... железным плечом, как говорится. Да так толкали, что в угол летел, об стенку головой бился, да... Так вот и Егору когда-нибудь в темном переулке железным кулаком — меж глаз! Вот что было в этом юном, энергичном крике: <<А ну, посторонись, папаша!>> Знать, отжил свое, пора на свалку истории! А Егор не отжил, ему на свалку истории не пора. Товарищ, правда, умер — это плохо. Это как корень подрубленный. Но Егор еще постоит, и за себя, и за него, и за бригаду сегодняшнюю. Тепло Егору, бредущему вечерней долиной под редкими звездами в теплом бушлате товарища. Да, загнал он себя, загнал парнишку. За что? Ведь, в сущности, тот неплохой. Как и все они, наверное. Как большинство из них. А Егор загнал его. И вины не чувствует. Загнал как бы авансом, как бы в ответ за тот железный кулак меж глаз, который со временем получит обязательно в темном переулке. Загнал, чтоб не обидно было, чтоб получить меж глаз, так уж получить за дело!

Да нет, конечно же, другое здесь было. Не примитивная биология, нет. А здесь была обидная горечь за товарища, так рано умершего из-за сыновей. Была тут боль и за собственного отца, сгоревшего в танке. Из-за чего, собственно, дочери теперь без родного деда растут. Обидно было и за всех дедов, которым вообще досталось самое трудное — революция... И чем дальше ехал Егор уже почти ночным холодным полем, тем больше обида вырастала, тем темнее

становилась она, неконкретнее, как и это поле, уже слившееся с лесом, с ночью... И собственного деда, конокрада-цыгана, вспомнил. Наверное, таким же полем ночью уводил коней горячих. А потом убили... обидно... обида была за всех отцов, дедов, прадедов, за революцию, за войну, так много горя принесшую, за свою жизнь северных изысканий, открытий, надежд... а оно в итоге вон как получилось. Не то получилось, не те дети. Слабаки. Вспомнился опять сегоднешний парнишка, поспешно нырнувший от него под куст, затаившийся там, как мышь. Слабак! И Егор смачно сплюнул в темноту. Да, слабаки и наглецы. Или, наоборот, сперва — наглецы, потом — слабаки. Такие же, наверное, слабаки и наглецы испохабили четыре метра стен в соборе, у ангелов глаза повыкололи, у архангелов крылья пообломали. Громили-то соборы не они, а их начальники-воспитатели: такие, как этот несчастный Сергей Петрович. Эти же трусливо по проторенному следу ринулись... На четыре метра поднялись-вскарабкались в стометровом соборе... И все же обидно Шишкину даже за эти четыре метра испохабленной нашей истории.

Мысль потихоньку уже возвращалась к бригаде: к Малышеву, к Птицыну, Рыбаку — эти, конечно, крепче. Но и эти насторожились, выжидают, на Шишкина поглядывают... как он решит, как он скажет...

И еще Егор знал почти наверняка, что это, скорее всего, его последний всплеск, глубокоководный нырок в затянувшуюся юность, где все так заманчиво начиналось. Грудь как окаменела, так и не проходила. Да и легкие не согревались, ледяная пыль в них осела, закрепились. Егор знал, что отныне — болеть, стареть ему, но был спокоен. Надо вот только решить: что ему делать с бригадой. Все сходится к тому, что пора борьбу прекращать, на поклон идти к Медянице... Желание такое на всех лицах явно проступает... даже у Малышева... Ну нет... стал отталкиваться Шишкин палками посильнее... задышал... задышал... повоюем еще, еще ведь и в КГБ написать можно... ну, конечно же, в КГБ! Куда же еще-то! Везде ведь писали, в КГБ осталось только. А что? — пусть

чекиста присылают, пускай разбирается... повоюем.... в КГБ, в КГБ...

Озноб после страшной гонки почти прошел, тепло возвращалось, Егор даже бушлат расстегнул — бушлат был то, что надо. Егор запел: <<Что тебе снится, крейсер "Аврора"?..>> Как всегда, без голоса, без слуха, но кто ж его услышит в чистом поле.

В чистом поле в час ночной далеко раздавалось:

.... или, как прежде,
в черных бушлатах
дружно проходят
твои патрули...

В тот же вечер, собравшись у Малышева, четверо кочегаров долго писали письмо в КГБ, на имя самого Андропова. Но почтой решили не отправлять, побоялись, что такое важное письмо перехватят! И на другой день вчетвером отправились в Москву, зашли в приемную КГБ и передали письмо дежурному офицеру.

Так-то надежнее.

Глава 2

К празднику, как обычно, вместе с поздравлениями Юрию Владимировичу прислали подарки. Конфеты и фрукты, вино и коньяк... Кое-кто к вину в виде невинного приложения присовокупил хрустальный сервиз на двадцать персон. Кто-то добавил рюмки из малахита. На подоконнике едва разместилось огромное серебряное блюдо с фруктами — это Средняя Азия приветствует и поздравляет отважных сотрудников КГБ, лично его, Юрия Владимировича, с 23 февраля — Днем Советской Армии.

Утром, прежде чем пройти в кабинет, долго стоял, глядел на это искрящееся, серебрящееся изобилие. Грузия, Молдавия, Крым, Средняя Азия, Урал, Сахалин, Чукотка... наверняка вот эта плетеная из

бамбука ваза доставлена с Сахалина. А эти костяные шахматы с тонкой северной резьбой — с Чукотки... ну, конечно же, оттуда — вон как прекрасно инкрустированы сусальным чукотским золотом!.. Все глядел, глядел... при таком богатстве, при таких умельцах... живем как-то.... наперекосяк. Прав Тютчев — умом тут не понять.

— Володя? — полуобернулся к помощнику, сидящему за столом. — И откуда больше всего сейчас шлют?

— Да, как всегда, из Грузии, Юрий Владимирович... хотя, нет... из Узбекистана... да, похоже, все же больше всего шлют сейчас из Узбекистана. Вы только гляньте, виноград какой! А хурма?!

— Фрукты, конфеты, Володя, — в подшефный детдом.

— Как всегда, Юрий Владимирович... а посуду, сервизы?

— В буфет, куда ж еще...

Помощник повертел пузатую бутылку, понюхал, языком поцокал.

— А это, Юрий Владимирович, вас приветствует Араратская долина... а может, и Нагорный Карабах — коньячок-то двадцатилетней давности!.. стоило вам на день-другой туда заглянуть — и-и... порядок... двадцать лет выдержки, а? Вот что значит наша марка.

— Ты про какую это марку?

— Да про коньячную, Юрий Владимирович... про коньячную...

— А-а... да я ж не пью, Володя... отпил свое.

— Может, кто из домашних... сын или дочь...

— Володя! — с полупрозрачной усмешкой угрозил пальцем.

— Извините, Юрий Владимирович, пошутил. Просто подумал — шлют же от чистого сердца.

— От чистого?

— Так ведь в каждой телеграмме — лично вас поздравляют, желают... вон какое цветастое поздравление от Эдуарда Амвросиевича! Юрий Владимирович, все хотел спросить, почему вы за все эти годы

ничего из подарков не взяли себе на память? Ну, хоть что-нибудь, а то — ничего!

— Ты не прав, Володя... один раз взял. Помнишь, когда из Рыбинского училища тельняшку прислали... с наградой поздравляли.

— Это когда Героя присваивали? Помню, конечно.

— Ну вот и не смог устоять — взял тельняшку... ношу.

— Понимаю — морская душа, а?

— Да просто память, Володя... память о том, что было, что навсегда осталось в человеке... вот и взял.

Как-то с год назад Юрий Владимирович просматривал подшивки за тридцатые годы и в газете <<Рабочая Москва>> прочитал об удивительных часах. Оказывается, те часы Болшевская трудовая коммуна ОГПУ имени Г. Г. Ягоды подарила НКВД. В связи с каким-то юбилеем.

О Болшевской трудкоммуне, конечно, знал давно. А фильм <<Путевка в жизнь>>, прославивший Болшевскую коммуну на весь мир, был одно время самым любимым его фильмом. Без конца крутил его, когда работал киномехаником в Моздоке.

И вот попалась заметка в старой газете. Тогда же пришла хорошая мысль разыскать эти часы, ведь наверняка где-то хранятся среди музейных экспонатов. Разыскать и поставить вот здесь, в приемной, при входе справа... Часов тогда отыскать не удалось. Но, пока искали, узнал он об этой истории немало интересного.

Изготовил часы мастер Серебряков Петр Алексеевич, помогали ему два коммунара: Лебедев и Бурашов. Делали их несколько лет. На увеличенной фотографии хорошо видно, что это огромные напольные часы, в высоту более полутора метров. В верхней части, естественно, большой портрет Ленина. Чуть ниже — Маркс, Энгельс, Сталин. А по всем часам лепится множество тщательно выточенных серебряных фигурок. Примечательные даты. Призывы.

Лозунги. <<Войны не хотим, но готовы!>> — <<Будем работать по-стахановски!>> — <<НКВД>> — <<Интернационал>> — <<Ленинизм>>.

Некоторые фигуры на часах скомпонованы в сцены, отражающие тогдашние полумифы - полу-реалии. А в целом наверняка соответствуют тогдашней обстановке, тогдашней атмосфере. Вот шахтер с отбойным молотком, рядом почему-то нефтяная вышка. Снизу к шахтеру, занятому созидательным трудом, подкрадывается фашист с искаженной физиономией. С другого боку часов стоит пограничник у пограничного столба, а снизу по лестнице к нему карабкается японский самурай. И понятно, что самурай в страшном самурайском оскале.

Сами часы внушительно покоятся на мраморном постаменте фиолетового цвета. На постаменте выгравирована серебряная надпись: <<Жить стало лучше, жить стало веселее!>> — <<Кадры решают все!>> — <<Вождю народов Сталину!>> — <<ЦК, НКВД, 1936 год>>. По всему ощущалось, что мастер Серебряков П. А. задумал воплощение в часах всей нашей тогдашней действительности, со всеми ее мечтами, со всеми достижениями, трудностями.

Ровно в 12 ночи часы играли <<Интернационал>>, над часами взмывал в небо серебристый азростат, на азростате надпись: <<СССР>>.

Понятно, что каждый час эти удивительные часы отбивали время. И то время, разумеется, было не обычным житейским, а временем эпохальным — ведь каждый час под мелодичный звон часов распахивались внизу в мраморе серебряные двери и торжественно выезжал сверкающий вагон метрополитена. Через гребень Днепрогэса начинала стекать самая настоящая вода.

Каждый час славная наша эпоха в тех уникальных часах начинала оживать: пограничник замахивался штыком над самураем, азростат взмывал победоносно, <<Интернационал>> в 12 ночи гремел как настоящий...

Мало того, поскольку мастер Серебряков был человеком курящим, независимо от времени, стоило нажать тайную кнопку — и пожалуйста — из небольшого отверстия вылезала папироса. То есть часы те удивительные демонстрировали к тому же явную связь великих эпохальных свершений с личной судьбой каждого человека, отдельно взятого, с комфортом даже. По крайней мере, так они задумывались мастером Серебряковым, так воспитывали тех, кто их разглядывал, кто ими восхищался.

Более трех лет мастер с учениками из Болшевской трудкомунны создавали эти замечательные часы. И все для того, чтобы подарить НКВД! Разумеется, по сегодняшним меркам громоздкие. Как там у поэта: <<Я планов наших люблю громадь!>> — нескладные, все это так. Но ведь с какой тщательностью, с какой продуманностью подошли создатели к воплощению идеи в металл и камень! С каким пониманием величия и уникальности той эпохи. С какой любовью, в конце-то концов!

Ко всему, когда рассматривал увеличенную фотографию часов, примешивалось явное ощущение, что создатели часов хотели выразить и еще что-то. Уж так старались... словно бы хотели отдать какой-то долг, отблагодарить словно бы хотели за что-то... Да скорее всего, просто за то, что из бродяг, воров, мошенников — стали в коммуне людьми, творцами таких вот замечательных часов, вообще творцами новой жизни.

А в коммуну, действительно, тогда были собраны люди, выброшенные за борт жизни, списанные... а в общем-то, преступники, на которых в других странах, в других эпохах ставили крест, несмываемое ставили клеймо. Здесь же они попали, как в воронку, в эксперимент по созданию небывалого в мире советского человека. Кремлевские фантазеры задумали небывалый в истории эксперимент... И по крайней мере, в экспериментальном масштабе коммуны имени Г. Г. Ягоды он им определенно удался — вот доказательство: вместо бывших преступников — создатели таких удивительных часов.

Наверняка приятно было получать в подарок такие вот часы. Потому что дарили, действительно, тогда от чистого сердца. Это ж так ясно видно по той любовной тщательности, с которой сделаны те уникальные часы... А это... Юрий Владимирович еще раз окидывает холодновато-насмешливым взглядом аляповато-шикарное изобилие пакетов, бутылок, коробок, что окружает со всех сторон... Значит, так — одни несколько лет своими руками... творили, выдумывали, фантазировали... радовались... Другие — просто сходили, купили, отправили... галочкой отметили такое важное мероприятие, как поздравление КГБ, лично товарища Андропова. Между этими и теми — пропасть. Эти, сегодняшние, — почти неприкрытая надежда разжиться дополнительным капиталом... вроде той самой соломки, которую при случае не худо бы заранее подстелить. И до того скучно ему от этого однообразия сегодняшних подарков... Вот те бы разыскать часы, исчезнувшие...

Да, эта Болшевская коммуна - первая ласточка того эксперимента. За которым стояла партия. А точнее, как всегда, душа и мозг партии — ВЧК, лично Дзержинский. <<Железный>> Феликс писал:

<<... я хочу бросить часть моих сил, а главное - сил ВЧК на борьбу с детской беспризорностью... сколько же их искалечено борьбой и нуждой! Я хочу реально включить в работу аппарат ВЧК... наш аппарат — один из наиболее четко работающих. Его разветвленная сеть есть повсюду. С ним считаются. Его побаиваются... Мы все больше переходим к мирному строительству, отчего бы не использовать наш боевой аппарат для борьбы с такой бедой, как беспризорность. Ведь когда смотришь на детей, так не можешь не думать, — все для них — плоды революции, не нам, а им...>>

А уже туберкулез разрушал <<железного>> Феликса, жить оставалось все меньше... да, первые революционеры сгорали, сознательно себя сжигали во имя небывалого в истории эксперимента по созданию нового человека. Все, что делали они тогда, — разумеется, было — не для себя... Все, что он делает

сейчас, — тоже не для себя, ему ничего не надо. Вся эта сегодняшняя грязь, кровь, компромиссы — всё это временное, преходящее. Впереди обязательно новый человек, лишенный недостатков. <<Светящиеся человеки>> Циолковского — это наверняка еще оттуда, из той бурной эпохи, из того подъема, которым была охвачена, как пожаром, страна.

Горький, столько сил отдавший Болшевской коммуне, писал: <<Как бывший социально опасный искренне свидетельствую: здесь создается совершенно изумительное, глубоко важное дело>>.

Эта идея создания принципиально нового человека выходила за рамки обыкновенного человеческого понимания, по существу же приобретала планетарный масштаб. Генри Форд, автомобильный магнат, выступая в 1930 году на Конгрессе в Америке, говорил: <<Коммунистические вожди взялись за осуществление плана, который по своему объему и значению превосходит все, что знала история в области великих и смелых предприятий. Проекты Петра Великого по сравнению с планами Сталина меркнут в своей незначительности...>>

Генри Форд был близок к истине. Размах эпохи становился не просто планетарным, размаху уже было тесно на планете... И мастер Серебряков со своими помощниками из Болшевской трудкоммуны задумывает вторые часы — к 60-летию Сталина — уже поистине с космическим размахом.

Космическая идея вторых часов одобрена самим наркомом Ежовым. Он только что занял кресло расстрелянного Генриха Ягоды, полон сил, дерзаний, мечтаний, он так похож на молодого артиста Крючкова. Большие светлые глаза на худощавом интеллигентном лице чаще всего смотрят куда-то вдаль... в будущее. Через год его расстреляют, ну, а пока Николай Иванович Ежов вполне одобряет мысль мастера Серебрякова: воплотить в новых часах не только эпоху страны Советов, но и обязательно спроецировать ее на весь земной шар. И даже по возможности расширить ее до космоса.

И вот уже в новых часах под звуки <<Интернационала>> ровно в 12 часов начинают движение по мраморному пьедесталу сами часы-эпоха. Со Стахановым, Чкаловым, пограничником, прокалывающим штыком самурая. Часы-эпоха под звуки <<Интернационала>> наезжают на земной шар. Земной шар со всеми странами крутится на своей оси, а часы-эпоха медленно, неотвратно наезжают... И понятно, что земной при этом шар плавно замедляет свое движение.

Но самое главное не в этом. За пять минут до двенадцати в верхней части экрана поочередно появляются члены Политбюро. И к каждому возникает освещенный изнутри слайд. Появляется, скажем, Климент Ефремович Ворошилов — и тут же красивый слайд — непобедимая и сокрушительная Красная Армия. С Кагановичем — возникает наш стремительный железнодорожный транспорт, то есть паровоз, который вперед летит и остановится только в коммунизме. С Калининным — цветущее сельское хозяйство, с Молотовым — тяжелая промышленность.

Сам Сталин появлялся ровно в 12 часов ночи. Тут же раздавались звуки <<Интернационала>>, часы-эпоха полностью наезжали на земной шар, и он останавливался на том полушарии, где по красному серебром шли буквы: <<СССР>>. Наступала тишина.

Ежову, осматривающему изделие, все очень понравилось. Единственное, чего, на его взгляд, не хватало в этом размахе, — его портрета. Мастер Серебряков растерялся, не знал, что и сказать. Ведь задуманы были лишь портреты членов Политбюро, Ежов — пока лишь кандидат в члены. С другой стороны — нарком НКВД. А это, пожалуй, будет повыше рядового кандидата. Что тут будешь делать? А главное, как должен выглядеть соответствующий слайд?!

— Думайте, — просто сказал нарком Ежов, хлопывая мастера по плечу, — год еще у вас есть до юбилея, товарищ Серебряков... думайте.

Пока думали, наступил 1939 год, Ежова расстреляли... Дело не в этом, конечно, часов вот пока никак не удается отыскать. Ни первых, ни вторых.

А жаль. Вторые часы определенно переносили всю нашу жизнь уже в некоторое другое измерение, в космические просторы... Чкалов уже кружил над полюсом... уже целеустремленно приближали мы свою жизнь к чему-то запредельному. От чего заранее начинала радостно кружиться голова.

Совпадение или нет — специальная пластинка с «Интернационалом» изготовлялась в Берлине. Часы готовились к 60-летию вождя. Самые теплые телеграммы юбиляру опять же пришли из Берлина. Но, как бы то ни было, этот явный порыв к запредельности, несомненно, так согласованно и наиболее впечатляюще наметился тогда именно в этих двух странах: в СССР и Германии. Из века в век — это странное совпадение и тяготение...

Подарки... в одних прекрасная запредельность высокой идеи, ради которой, в сущности, только и стоит жить. В других — эта казенная, пыльная усталость, утилитарность, за которой почти что и не скрывается испорченность сегодняшних функционеров. Нет, надо обязательно разыскать хотя бы одни часы и водрузить вот здесь, в приемной. И обязательно к ним красивую надпись: <<ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ — от бывших изгоев-преступников, ставших настоящими гражданами своей великой страны>>.

Разумеется, лучше бы, конечно, вторые часы разыскать. Еще раз проверить по всем музеям, подвалам, запасникам. Впечатляющие часы! Даже по описанию так и веет от них сокрушительной энергией той эпохи. А выделяемая тогда энергия была настолько сильна, — он-то помнит это хорошо... годы-то, годы какие! — что триумфально захватывала страну за страной, захватывала весь мир. Столько гостей тогда к нам приезжало! И почти все с радостным ошеломлением воспринимали эту глобальную нашу идею — создание принципиально нового коммунистического человека. А энергии той становилось все теснее, она завораживала, увлекала своим устремлением ввысь, только ввысь. Российские космисты — Циолковский, Вернадский, Чижевский — они же все кругами ходили вокруг одной и той же захватывающей

идеи — нового, просветленного человека. Который наверняка и появится, так предполагалось, в результате преобразовательного пафоса, охватившего так глубоко всю страну.

И ведь действительно за Болшевской коммуной, за новыми людьми из Болшева, как грибы растут коммуны: в Люберцах и в Нижнем Новгороде, в Кунгуре и в Сибири. Островки коммунаров уже начинают соединяться друг с другом, передавать свой опыт, выступать на общих Всероссийских концертах в Колонном зале Дома Союзов. Острова коммунаров уже возникают на Украине, в Белоруссии. Острова все целеустремленнее вытягиваются в Архипелаг... — вот о чем бы тоже написать надо! Архипелаг Коммуна! Контуры Архипелага все четче, все реальнее. Осталось, по мысли преобразователей, решить единственную сверхзадачу: сделать Архипелаг — Сушей, Материком, Земным Шаром, в конце-то концов!

И сразу во всем мире к этим необыкновенным островам новой жизни, к этим новым людям с горячими, вдаль устремленными глазами, возникает самое пристальное внимание, необычайное притяжение. Все эти годы существования коммун идет сюда непрерывный поток людей со всех стран мира. Писатели, ученые, артисты: Ромен Роллан, Анри Барбюс, Андре Жид, — этот скептик и ругатель Сталина, побывав в Болшевской трудкоммуне, не смог сдержать восхищения.

В Болшеве я был, — пишет он, — сначала это была только деревня, выросшая из земли, как по команде, шесть лет тому назад, кажется, по инициативе Горького. Сегодня это довольно большой город.

У него есть одна очень важная особенность: все его жители — бывшие уголовники, даже убийцы... Этой мыслью руководствовались, когда проектировали и строили город: дескать, это жертвы отверженные и разумное перевоспитание может сделать из них отличных советских граждан. Чему и является доказательством Болшево.

Город процветает. Здесь были построены заводы, которые вскорости стали образцовыми.

Все жители Большева, исправившиеся сами по себе, без какого-либо стороннего влияния, усердно трудятся, любят спокойствие и порядок, отличаются исключительным добронравием и стремлением к знаниям. Все средства для этого в их распоряжении. И я восхищался не только фабриками, они приглашали меня в залы для собраний, клубы, библиотеки — всюду, где они бывают, — и лучшего нельзя ничего желать. Напрасно вы стали бы искать на лицах этих бывших преступников, в их повадках, языке какие-либо следы их прошлой жизни. Трудно представить что-нибудь более поучительное, успокаивающее, обнадеживающее, чем эта встреча. Она позволяет думать, что вина за преступление ложится не на человека, его свершившего, а на общество, вынудившее его к этому.

Мы попросили сначала одного из них, потом другого рассказать о прошлых своих преступлениях, о том, как они меняли свою жизнь, как пришли к пониманию справедливости новой власти, какие она лично у них вызывает чувства. И странно — мне это напомнило поучительные исповеди, которые я слышал два года тому назад в Тауне на собраниях сторонников Оксфордского движения: <<Я был грешный и несчастный, я делал зло, но теперь я понял, я спасен, я счастлив>>. Все это немного грубовато, немного наивно, психолог этим бы не удовлетворился. Как бы там ни было, а Большево остается одним из самых замечательных достижений, которыми может похвастаться Советское государство. Не знаю, настолько ли податлив человек в других странах.

Позднее на базе большевских образцовых заводов как-то вполне естественно возникла отечественная космическая промышленность. А впрочем, только ли на базе образцовых заводов? Может, притягательнее были сами люди, сам дух устремленности в запредельность? Не случайно же такой странный инте-

рес к болшевской коммуны со стороны физиков, лауреатов Нобелевской премии.

В библиотеке Болшевской трудкоммуны, наряду с книгами, подаренными Горьким, есть, казалось бы, совсем уж случайная книга — <<Современная квантовая механика. Три нобелевских доклада>>. Авторы — Гейзенберг, Шредингер, Дирак. А Дирак был в Болшеве в августе в 35-м году. Скорее всего, тогда и подарил эту книгу коммуны. Тогда здесь же в Болшеве был и наш физик П. А. Капица, тоже лауреат Нобелевской премии. И опять, как ни странно, уже здесь в Болшеве пересекаются советские и германские устремления, встречаются ученые, стоявшие у истоков термоядерного синтеза, у начала космической эры стоявшие.

Вряд ли после всего этого покажется случайным, что на болшевской земле, на одном из сверкающих островов Архипелага Коммуна, возникает космический Королевский комплекс. Герберт Уэллс оказался неправ — начинали сбываться самые смелые замыслы <<кремлевского мечтателя>>, началось практическое воплощение новой духовности, начался практический выход в ноосферу, как и предсказывали Вернадский, Циолковский, другие мощные умы, которые, несомненно, свой творческий взлет, свой масштабный замах счастливо поймали на том подъеме, на том замахе, которым была охвачена вся страна... только что разрушившая свою старую духовность и уже взалхлеб мечтающая о какой-то новой.

Так кто же они эти люди — уже не раз такая мысль на ум приходит — сумасшедшие?.. гении?.. Или все-таки правы арабы, объединившие тех и других в одно слово — Навин.

Но, как бы то ни было, — эти люди были на знамени устремленной в будущее страны. И наверняка большинство населения их поддерживало. Хотя, понятно, что оставались, и до сих пор остаются, люди, не исчезнувшие под обломками старого мира. Отстаивали и до сих пор отстаивают старую духовность. Да те же церковники. Теперь уже ясно, что искоренить их до конца не удастся. Да и надо ли? Ведь Юрий

Владимирович и сам уже далеко не тот, каким распевал когда-то:

Залезем мы на небо —

Разгоним всех богов...

По роду службы ему приходится и с этими людьми встречаться. Фанатики. Да это, пожалуй, и не плохо. Знают древних религиозных писателей. И это хорошо. Но вот Юрий Владимирович сильно сомневается, да попросту не согласен, когда они утверждают, что есть большой грех в мечтательности. Но как же без мечты? Без большой мечты! Нет, это Юрию Владимировичу понять трудно... И совсем странно было услышать ему от них о грехе воспитания человека, освобожденного полностью от чувства собственной вины.

Настораживало и в то же время как-то понадежнее укрепляло стену между Андроповым и церковниками то, что они слишком уж много, на его взгляд, и велеречиво говорили о Боге. <<Тут о любви к близкому человеку не всегда легко высказаться, — несколько раздражался при этом Юрий Владимирович, — а они о Боге>>. Ему казалось, что если действительно существует это нечто, великое, то оно требует каких-то особенных форм выражения. Ну, хотя бы как на картине его любимого Сурикова <<Боярыня Морозова>>. А тут, в общении его с церковниками, очень уж было все похоже на коммунистические методы, на какого-нибудь типичного лектора-агитатора. Только агитировали они не за Царствие земное — коммунизм, а за Царствие Божие. Слишком уж напрашивалась эта банальная параллель. Конечно, впечатление это усиливалось еще и обстановкой — речь шла о Боге под портретом Феликса Дзержинского, но все равно Юрию Владимировичу было скучно и несколько неприятно. Лениво поддерживал он разговор, чаю предлагал, а сам невольно все ждал, ждал чего-то. Каких-то особых слов, знаков, выражений особых на лице говорящих — хоть чего-нибудь необычного. Нет, все было буднично, обычно. Скучно, одним словом. Сам когда-то так же агитировал за коммунизм. Но ведь коммунизм-то — нереален! Реален социализм. Коммунизм — всего лишь

символ, мечта, путь для исправления несовершенного человека. Моральный кодекс строителя коммунизма, конечно, нужен, но совсем не для того, чтобы достигнуть коммунизма, а для того, чтобы бесконечно двигаться к нему, чтобы было куда двигаться... Но с Богом же не может быть такого! Бог не может быть нереальностью! Если, конечно, есть что-то такое — Великое... Если же он Реальность — то тогда все, все должно перевернуться. Тогда не может быть никаких параллелей, тогда сам Юрий Владимирович должен перевернуться. Тогда это... тогда это страшновато как-то. Это словно бы тотчас отнять у него, у Андропова, весь ум. И что ж тогда останется?!

И все-таки, так уж устроена человеческая природа, будоражили слегка эти разговоры, притягивали мысль и чувство к говорящему о Боге. Да Юрий Владимирович особенно-то и не противился, расслабленно слушая человека из другого как бы мира. Но нет, нет же доказательств! Вот твердят тоже все о летающих тарелках. Заманчиво, конечно. Так нет же до сих пор прямых доказательств. А поэтому Юрий Владимирович в них и не верит. Так и здесь — доказательств не было. Вот что главное для Юрия Владимировича.

Ну, а насчет греха воспитания нового человека, освобожденного полностью от чувства собственной вины, то тут он поостерегся бы вот так безапелляционно утверждать. Юрий Владимирович, разумеется, не может себе представить такого человека, ибо и сам, понятно, далеко не безгрешен. Теоретически это, наверное, нечто парящее, сверху взирающее на греховный наш мир. Нет, не может представить. А ведь именно о таких людях писал Андре Жид, посетивший болшевскую коммуны, где снимали с человека все грехи, все преступления и перекладывали с него вину на несовершенное общество. Ты же — безгрешный, абсолютно чистый, можно сказать <<светящийся>> — иди гуляй! Вернее, иди строй такое же чистое, светящееся общество...

Вообще-то Юрия Владимировича привлекает такой рациональный, чисто деловой подход. Он не

может согласиться здесь с церковниками. Потому что считает, что новое будущее — за новыми людьми. Это же аксиома для Юрия Владимировича. А греховный человек, без конца чувствующий вину, а значит, закомплексованный, несвободный, — ну что он может построить?! Он же собственного ребенка полноценным не родит. Наверняка же неполноценная его психология на потомстве скажется. Так считает Юрий Владимирович.

Лично сам он уверен — новое будущее строить новым людям... с чистой совестью, с чистыми руками, да, да — *<<с горячим сердцем, с чистыми руками>>* — по Дзержинскому. Да, было бы, конечно, здорово воспитать, мобилизовать, одним словом, подтянуть большинство людей до уровня хотя бы рядового чекиста. И тогда, с таким огромным количеством помощников, не трудно будет почистить страну. Вернее, прогнившую, проворовавшуюся ее верхушку, этих казнокрадов-начальников всех мастей и рангов, о которых ежедневно приходит в КГБ сотни и тысячи писем.

Да, а часы неплохо бы все-таки отыскать... хотя бы одни... И поставить вот сюда, при входе справа. Как самый первый, самый дорогой подарок. Для сравнения с сегодняшними лукавыми.

Архипелаг Коммуна ждет, конечно, своего исследователя. Понятно — от самого Архипелага мало что осталось. Рушили, арестовывали, расстреливали. Слишком уж бурно Архипелаг набирал силу. В той же Большевской трудкоммуне к 35-му году было больше пяти тысяч коммунаров. Одухотворенные люди — творцы новой жизни. По существу, все больше проступала в этом странном Архипелаге какая-то новая неслыханная цивилизация. Кого же тогда, в тридцать девятом, так сильно перепугала эта цивилизация — сочно-зеленые, день ото дня набирающие сокрушительную силу ростки ее? В несколько дней, словно ураган пронесся, ликвидирована была коммуна. А кто уцелел, тот, конечно, все помнит и хранит, потому что такое не забывается. Коммунар останется коммунаром. Юрий Владимирович сам встречал таких. Тоже

фанатики. Но фанатики в хорошем смысле. В сегодняшнем приземленном бытии то там, то здесь до сих пор еще изредка сверкают они незатухающими звездами. Надо бы собрать это все по крохам, обобщить как-то...

Юрий Владимирович вспомнил, что и сын Володи в последнюю встречу вскользь обмолвился, что у них в колонии был один хороший воспитатель — бывший коммунар из Болшева, фамилию даже называл... Жаль — тогда не придавал значения, не запомнил. Теперь-то с большим опозданием видит Юрий Владимирович, что и в сыне был тот знакомый фанатизм, бескомпромиссность... из-за чего так нелегко и пришлось ему в жизни. Может быть, в сыне прекраснодушный тот фанатизм и возник под влиянием этого воспитателя-коммунара, о котором обмолвился он в последнюю встречу. А Юрий Владимирович посчитал это не очень важным, разговор перевел на поступление в институт...

Вспоминая это, он внутренне поражен — насколько же тесно мы все живем, оказывается. Насколько ж верх-низ взаимосвязаны. Несмотря на внешнюю разобщенность, так все переплетено-запутано, причина со следствием то и дело меняются местами:

*Мы бренны в этом мире под луной,
Жизнь — только миг, небытие — навеки,
Кружится во Вселенной шар земной,
Живут и умирают человеки...*

Смерть сына 4 июня 1975 года внешне как бы и не коснулась. Собственное рассудочное поведение самого неприятно поразило. Словно бы то и не сын, а какой-то дальний знакомый. Дал телеграмму в Ярославль бывшей жене Нине Ивановне: <<Похороны Володи в Бендерах 5 июня>>. Понятно, что, конечно, распорядился, — везде ж свои люди, — чтоб организовали, похоронили, семье чтоб помогли... чтоб как-то облегчить близких в такой горе. Сам же, сколько в себя ни заглядывал, видел какую-то странную, рассеянную отчужденность. Короче, сделал все, что было надо. На похороны не поехал. Побоялся превращать обыкновенные похороны во встречу с Председателем

КГБ. Так, по крайней мере, тактически оправдывал свое решение.

Время идет. Все дальше отдаляются и похороны, и сам сын Володя. А нет-нет да вот так совсем без повода вдруг и кольнет... Ведь, действительно, называл фамилию воспитателя, говорил, что много сделал тот воспитатель для него... а Юрий Владимирович разговор все на другое переводил — на институт. Или, по крайней мере, в техникум сын должен поступить. Вон у Игоря и у Ирины — высшее образование, за них спокоен Юрий Владимирович. А вот Володя...

Да что вспоминать? Сына не вернуть. Болел. И печень. И почки. Это у них наследственное. Старший сын был похож на него. Игорь — уже другой. А тот — даже болезни общие. Много чего общего, но главное — это неумно-страстное отношение к жизни, сжигание себя. А нужен был режим. Диета нужна. А какая диета, когда мотался по стране. И характер был... огого... какой характер! Юрий Владимирович знает хорошо этот характер... максималист, чего уж там. Да Юрий Владимирович сам такой. Просто он умный... жизнь заставила быть умным...

И все-таки, все-таки... жизнь-смерть... ну, конечно же, жалко до слез... первенец... сын. В честь деда назвали. А дочь — в честь бабушки. Вот, собственно, и все, чем отблагодарил он своих родителей. Да, собирались с Ниной жить долго, детей воспитывать хорошими людьми — не получилось... И большой вопрос, а изменилось бы хоть что-то, если б тогда, в 57-м, повел себя Юрий Владимирович по-другому... пошел бы, со следователем, ведущим Володино дело, поговорил бы... как и обещал тогда Нине... сгоряча, разумеется, обещал.. очень уж ошеломил неожиданный ее звонок... Да, дело не в том, что обещал... а вообще интересно — изменилось бы хоть что-то или нет?.. Четверть века почти прошло с тех пор, а Юрий Владимирович и сейчас уверен, что поступил он все же правильно тогда. Да и сейчас... Володиной семье регулярно помогает, Татьяна Филипповна регулярно посылает деньги, в гости Марину-

невестку приглашает... так что, наверное, все нормально. На могилу бы надо, конечно, съездить.

В задумчивости, сутулясь больше обычного, в окружении ярких, вкусно пахнущих подарков, заваливших приемную, наконец направился к себе в кабинет. На столе двумя аккуратными стопками ждали уже письма. В той, что поменьше, справа, — указы от избирателей. Юрий Владимирович — депутат Верховного Совета от Ступинского района. Район не совсем благополучный по части жилья, в основном о жилье и пишут в наказах. Здесь уже были подготовлены ответы в разные инстанции. Ответы, как всегда, помощник составил толково, четко, оставалось лишь подписать. Скорее всего, здесь многим можно помочь, подпись его, наверное, что-то значит.

Покончив с наказами избирателей, он взялся просматривать огромную пачку слева. Этим помочь потруднее. По крайней мере, отсюда, из Москвы. Эти пересылаются в соответствующие местные органы с вежливой просьбой КГБ — разобраться. Письма идут со всех сторон Союза, из всех республик... десятками, сотнями ежедневно. То, что у него на столе — ничтожная часть. Юрий Владимирович распорядился, чтоб какая-то часть лавины этих писем еженедельно была у него на столе. Чтоб держать руку на пульсе — как недавно выразился начальник отдела писем. Вот и держит. А пульс все тревожнее...

Собственно, письма можно и не читать — сплошной крик и стон: <<Начальство ворует — пришлите чекиста!>>

Бисмарк о России сказал когда-то одно лишь слово: <<Воруют!>>

Воровали всегда. Даже при Сталине. Все дело в масштабе. Сейчас это вышло за всякие рамки разумного. Юрий Владимирович рассыпал, развалил стопку, взял наугад... вернее, рука сама потянулась к письму, написанному почему-то стихами:

*В четвертый раз меня ограбили,
В четвертый раз проникли в дом,
Нет, коммунисты, вы не сладили
В борьбе со злом и воровством!*

Спекуляция, черный рынок — давно уже все превратилось в теневую экономику. Эти вторые, параллельные экономики — настоящие джунгли. Там жестокие неписанные правила, там идет борьба на выживание, как в настоящих африканских джунглях. И самое поганое, что уже многие госпредприятия воспринимают эти нечеловеческие законы как нечто нормальное, уже вступают во взаимодействие с теневой экономикой. А ведь большинство руководителей — коммунисты...

<<Нет, коммунисты, вы не сладили...>> — мельком глянул подпись: <<Поэт из народа — Шибаяев>>.

Уже не о заурядном взяточничестве речь идет, не просто о воровстве — речь идет о грязной коррупции, поразившей, словно поганая короста, целые отрасли, целые республики... Не случайно же Узбекистан в последнее время шлет самые богатые подарки. Каждое пятое письмо из этих, что у него на столе, из Узбекистана.

Ну, хорошо — по Ташкентскому делу уже начали чистить, человек тридцать проходит. Да и не Ташкентское это вовсе дело, и даже не Узбекское. Все нити идут сюда, в МВД, в ЦК... И чем больше разворашивает он этот муравейник ... Щелоков... зам Щелокова — Чурбанов. Чурбанов — любимый зять Брежнева... Брежнев приглашает сегодня на полтретьего... Юрий Владимирович догадывается — скорее всего, вызывает, чтоб предложить место Суслова, умершего неделю назад...

Да, только-только тронул он этот муравейник — забегали, засуетились...стали осыпаться целые пласты годами налаженных коррумпированных связей... как не забегать...

И что странно — пожимает он, сидя над письмами, плечами — вся эта теневая экономика, все это сегодняшнее разложение комверхов началось с реформ, задуманных честнейшим Косыгиным. Это ж несомненно. Только-только слегка дали послабление, испорченная человеческая природа тут же прояв-

ляться стала. Гайки вовремя не подкрутили, а значит, страх у ворюг пропал, ну, и покатилося все, и все катится, катится, год от году набирая силу. Ну, почему? Почему любое самое хорошее начинание — хрущевская ли оттепель, косыгинские ли реформы — деформируется у нас обязательно в какого-то... монстра?!

Да, Брежнев, скорее всего, будет предлагать место Сулова... А может, просто таким вот путем убирают из КГБ?.. Метастазы разложения затронули всю систему, до самого верха. Кому-кому, а уж ему-то известно лучше других об этом. Собственно, из-за этого — рыба тухнет с головы — и наглеют все больше проворовавшиеся начальнички. О которых говорят — да что там говорят — кричат, вопят все эти письма.

Юрий Владимирович взял верхнее письмо, оно было из Подмосковья, от бригады кочегаров. Глянул на конверт: <<Болшево>> — удивился. Это ведь там, где трудкоммуна была когда-то! Стал быстро пробегать, — разумеется, о том же, о чем пишут от Бреста до Сахалина, от Таймыра и до Памира. Кочегары писали о главвраче Здравницы, которая уже много лет присваивает деньги, отпускаемые на капремонт кочегарки. А все неполадки валит на кочегаров. До оскомины знакомая картина. Он хотел уж было отложить письмо, взять следующее, но перевернул страницу и обнаружил нечто новенькое. Кочегары писали, что главврач совместно с <<треугольником>> — куда ж в наше время от <<треугольника>> денешься! — обвиняет бригаду в групповом вредительстве, с целью дискредитации советского строя. Кочегары просят, чтобы срочно прибыл чекист и во всем разобрался. А иначе им — тюрьма. По статье за групповое вредительство.

<<Так... — скрестив пальцы, откинулся он в кресле, — значит, там на местах обнаглели уже до того, что ничего не боятся...>>

А чего ж бояться, если само МВД увязло в коррупции, если само МВД их прикрывает... Вот и сами уже переходят в нападение, сами уже травят тех, кто мешает спокойно воровать... И ведь вот наглецы!—

нападают по такой, вобщем-то, скользкой линии — лепят вредительство. Всё как в 30-е, всё повторяется... уговорят местного кзгэбиста, поставит подпись где надо — и мужиков упрячут... судя по письму — терпенье лопнуло... и вот теперь вполне могут в тюрьме ни за что оказаться. У этой врачихи — как ее там — Медяница — ну и ну! — еще и муж генерал. Понятно — в районе все свои люди: и в милиции, и в прокуратуре, в райкоме, в райисполкоме... Юрий Владимирович вполне представляет, как это делается на местах. Упрячут ребят, упрячут ни за что.

Нет, Юрий Владимирович, вообще-то, уверен в своих людях. Которые на местах. Особенно на местах, в провинции, у него хорошие кадры. Молодые, энергичные ребята, патриотически настроенные... Пожалуй, не дадут кочегаров в обиду...

Он отложил письмо, взял другое, повертел и опять вернулся к кочегарам. Но почему же главврач хочет упечь кочегаров в тюрьму именно по этой скользкой статье — вредительство? Неужели и впрямь полностью уверена, что местный кзгэбист подпишет ее вранье?.. И людей упекут, как в старые добрые времена... Так что же тогда вокруг творится? И что в конце концов построили мы тогда? Социализм? Или, как придумал недавно умерший Сулов, — пусть земля будет пухом! — развитой социализм? И тогда — куда ж развивался он все эти годы?.. Если какая-то врачиха из подмосковной Здравницы может упечь в тюрьму целую бригаду кочегаров?.. Да еще и по такой статье?!

В партийных программах 1917-1918 годов было много прекрасных слов: <<Вся власть Советам!>>, <<Рабочий контроль на заводах!>>. Кто же в нынешней ситуации отыщет этот самый рабочий контроль на заводах? А ведь именно об этом мечтали первые революционеры, первые чекисты... железный Феликс... большевские коммунары те же самые... И хватит ли сил у него самого довести до конца начатое дело? Почистить эти авгиевы конюшни?.. Оставаясь в кресле Председателя КГБ — вряд ли. Да теперь, по-

сле смерти Суслова, и остаться-то в этом кресле не получится. Даже если б он этого и сам захотел.

Юрий Владимирович понимал, что дело не столько в нем самом — у него-то сил и желания хватит... дело зависит даже и не от Центра, не от Москвы, а от тех, кто на местах, кто профессионально, <<с горячим сердцем и чистыми руками>>, выполняет свое незаметное дело. Он прекрасно знает эти кадры, опереться есть на кого...

И все-таки, все-таки... кризис настолько обширен... он, по существу, охватил уже всю страну... другие соцстраны. По существу же СССР окружен сейчас не очень надежным кольцом соцстран. А после ввода войск в Афганистан — кольцо явно полувраждебным стало уже. Кризис становится каким-то тотальным.

И тогда вопрос вопросов — а может ли в этом тотальном кризисе его служба остаться единственно безупречной? Юрий Владимирович считал и считает, что может! КГБ есть КГБ. Потому что это не обычная служба. Это нечто большее.

Но почему же тогда так уверена эта... как ее там — Медяница? Кстати, — еще раз глянул на конверт — а письмецо-то действительно из Болшева! Невероятно тесно все же мы живем... на таких огромных просторах и так тесно живем — Болшево... Коммуна... сын Володя... кочегары... проворовавшаяся Медяница... уверена, что местный гэбист подпишет ее вранье... именно в Болшеве? именно на земле коммунаров?! Искоренили в свое время, разумеется... но не с таким же размахом, не с таким же запасом, чтоб яма до сих пор... незарастающая яма, отстойник для таких вот медяниц... а может, все-таки хоть какие-то осколки сохранились... — того, прежнего, чистого, от грехов освобожденного, — и тогда ведь номер у нее не пройдет... нет, не пройдет... Да вообще Юрий Владимирович верит и в свои собственные сегодняшние кадры... зарвалась, наверняка зарвалась эта Медяница, барынька, — всё нипочем. Но муж-то генерал! Он-то наверняка знает, что такое КГБ! Да-а... облаглели!

Он вызвал помощника:

— Володя, вот письмо из Подмосковья, от бригады кочегаров. Прочти — и все поймешь. Адрес на конверте. Глянь, кто там у нас за этот район отвечает. Свяжись, объясни, пусть проверит и доложит.

— Хорошо, Юрий Владимирович, сегодня и свяжусь.

— Нет, ты попробуй не сегодня, а сейчас, пока я дочитывать буду...

Ему почему-то хотелось получить ответ до двух часов, до встречи с Брежневым. Словно бы от этого сейчас зависело все остальное, к чему Юрий Владимирович в принципе уже готов. Давно готов.

Да, после смерти Суслова он уже прикидывал, что события будут развиваться именно так — Брежнев не сегодня-завтра пригласит его.

Так вот, если этот капитан безымянный или, скорей всего, старший лейтенант из Подмосковья не подведет, выдержит, — значит, и Юрий Владимирович взвалит на себя этот груз непомерный, который, судя по всему, его теперь ожидает. А не выдержит старлей, что ж, видно, пора и Юрию Владимировичу уходить на пенсию.

Ни для кого уже не секрет, что Брежнев сильно сдал за последние полгода. Уже ближайшее окружение почти в открытую готовится к приходу нового лидера. Юрий Владимирович и сам готовится, собирает потихоньку в Москву своих людей. Добился перевода Романова из Ленинграда, Лигачева из Томска. Ну, а самое главное — удалось пробить на Секретариате перевод в Москву Михаила Горбачева, который так помог с Медуновым разобраться. Еще бы Алиева сюда перетащить — вот тебе и команда! Алиев у себя в Азербайджане быстро порядок навел. Так быстро, что Брежнев при упоминании об Алиеве только головой вертит. В кандидаты в Политбюро Андропов Алиева протацил, еще бы — республика у Алиева сразу в передовые выходить стала. В кандидаты протацил, а вот дальше Брежнев уперся и стоит на своем. А, несомненно, алиевский опыт здесь, в Москве, весьма бы пригодился. Горбачев. Алиев... Шеварднадзе... с такой командой можно бы начинать

настоящую работу... Если, конечно, все пойдет так, как он рассчитывает... Суслов умер раньше Брежнева... некоторый сбой появился в расчетах... но это, может, и к лучшему... да, место преемника освободилось — вот в чем дело. Все сходится к тому, что другой кандидатуры вроде бы нет и не предвидится... и всё же...

И всё же, прежде чем ехать к Брежневу, хотелось бы выяснить.

Какой всё же невероятно долгий путь навверх!

Юрий Владимирович и припомнить не может, кто бы так долго шел на самый верх. Оглядываясь на лидеров, бывших до него, невольно припоминая всех царей-вождей, которые были на троне, Юрий Владимирович не видит, кто так бы долго провел в томительном ожидании своего звездного часа. Может быть, один лишь Павел?.. на долгие годы отстраненный от трона собственной матерью Екатериной... Но ведь и Павел в сорок три года уже был на троне. А он?..

Даже если взять с того времени, как в 67-м году он стал кандидатом в члены Политбюро. Когда КГБ возглавил. Казалось бы, ключевая должность, путь открыт. Ан нет — долгих шесть лет проходил в бесправных кандидатах. Да и в Политбюро когда вошел наконец, никто ж и тогда с ним не считался... годы и годы тихой, незаметной работы... точил и точил могучий ствол, что над ним возвышался, как тот жук-древоточец точил.

Наконец заметили, оценили как-то. Да и то сыграла здесь больше чисто внешняя сторона — всех поражала адская работоспособность нового Председателя КГБ. Сперва думали: это, мол, поначалу только. Но шел год за годом, а впечатление было такое, что Андропов в Комитете днем и ночью. Недаром же сухой педант Суслов при упоминании Андропова оттаивал, что-то вроде желчной улыбки засвечивалось на его тусклом, аскетическом лице. Суслов называл его ласково — <<наше недремлющее око>>.

Суслов первый и оценил, и поддержал по-настоящему в борьбе с коррупцией. Понятно, что в ра-

зумных пределах, пока борьба эта шла на окраинах Союза, в Грузии, Азербайджане, Узбекистане. Но, стоило выйти на Сергея Медунова, Суслов первым же и насторожился. Осторожен, ох осторожен был Михаил Андреевич Суслов.

А еще что перевесило в конце концов симпатии большинства членов Политбюро, так это личный такт нового Председателя КГБ, выдержка, интеллектуальность, скромность. Дипломатическая служба в Венгрии даром не прошла.

А еще импонировал многим подчеркнутый нейтралитет Андропова. Он же ни к одной из группировок, что боролись между собой в Политбюро, так до конца и не примкнул, никого явно не поддержал.

Во-первых, если честно, ни одна из группировок на него тогда и внимания не обратила. Темной, незаметной лошадкой он пробыл там годы и годы. Не изгой, конечно, но и не фигура, сколько-нибудь значащая для азартных политических пасьянсов.

Во-вторых, сам пост, который он занимал, требовал такой корректности. И эта выдержка во многом поспособствовала ровному отношению к нему большинства в Политбюро, которые так до конца и не разглядели в нем соперника.

Хотя, возможно, поставь он сразу на какую-то группировку: на Днепропетровскую, Белорусскую или Ленинградскую — и намного быстрее, пожалуй, стал бы таскать жареные каштаны.

А может быть, и сгорел бы уже... как Шелепин, как Семичастный... кто знает... кто знает... А еще привлекало многих в Андропове, что никогда не приглашал на разговор к себе на Лубянку. Если надо, он лучше сам всегда заедет. И в МИД к Андрею Андреевичу Громыко. И к Устинову Дмитрию Федоровичу... ко всем. Не заискивал при этом, но и сам не чинился, не чванился грозной жандармской должностью. Серьезный, исполнительный товарищ. Много работает. ВПШ заканчивает, пополняет явные пробелы образования — так все вокруг считали. Не очень ловкий, считали, скорее неуклюжий, не очень далекий, по всему... но ведь и должность такая. Так что по всему выходило:

человек на своем месте и вверх рваться никогда не будет.

И это все в конце концов зачлось ему, лет пять-семь, ну, десять от силы, и понадобилось всего-то для этого. И ему разрешили по-настоящему коррупцией заняться. Вывели борьбу с коррупцией из МВД от Щелокова и окончательно Андропову передали.

Ну, а уж тут он был на коне. И люди уже были. Да какие люди — красавцы! — генерал Алиев, генерал Шеварднадзе... головы горячие, сила бродит, в груди все кипит, душа на подвиги рвется. А самолюбия! А честолюбия! А самоотверженности и бесстрашия! Как кони в стойлах застоялись, выпускай Андропов поскорее... выпустил.

Борьба с коррупцией — вот, собственно, тот трамплин, с которого начал он свой безмоторный полет. Стал быстро силу набирать, стал расчищать авгиевы конюшни, коррупцией загаженные. А параллельно расчищался все больше и путь наверх. Потому что кумовство, землячество, родственность высшего эшелона власти настолько всех повязали, что, где ни потряси комверхи — в Грузии, Казахстане, Узбекистане, Краснодарском крае, — в Москве тут же откликнется.

Но расчищался, потихоньку уже расчищался путь наверх, редели сплоченные шеренги, те, что выстроились на то время между ним и Брежневым. Самого-то Брежнева еще и видно не было за теми шеренгами, но расчищались.

Что это были за люди? Разные — молодые и старые, образованные или, как и сам Андропов, не очень. Но всех их объединяло то, что они были наследниками престола, так сказать.

Потенциальными, конечно. Потому что их было слишком много для одного престола. Понятно, что кое-кто уже и сам сошел с марафонской этой дистанции... тот же Шелепин, тот же Яковлев... Но ступенек наверх не убавлялось, все те же двадцать... двадцать пять...

Прежде всего сам триумvirат — Брежнев-Косыгин-Подгорный. И где-то очень близко к ним — Су-

слов, возглавлявший тогда Ленинградскую группировку. Дальнобойный ферзь Суслов...

А Юрий Владимирович шахмат не любил. Играть — играл, конечно. И совсем неплохо. Можно сказать, весьма хорошо получалось и в шахматы. Как, впрочем, и во всем, за что ни брался этот одаренный от природы человек... Однажды попалась на глаза молодежная газета, где какой-то остряк упражнялся в коверкании нормальных слов и словосочетаний. Скажем, было вполне нормальное слово: <<опечатки>>. У остряка получилось — <<очепятки>>. И таких <<очепяток>> молодежная газета напечатала с десятков, а то и побольше. <<Очепятки>> показались несколько натужными, решил, однако, сам попробовать, дело-то было в отпуске, в Кисловодске, в санатории <<Красные камни>>. В тот день как раз приезжал его попроведать сам хозяин Ставрополя — Михаил Горбачев. На соседа — Медунова — успешно у Михаила досье собирается. Вот и было в тот день несколько игривое настроение, вот и решил Председатель немного на досуге в <<очепятки>> поиграть, а ну-ка... взял карандаш, бумагу... — <<однокашники>>... <<рододендроновский мыслитель>>... <<Сенбернар Шоу>>... — приятно пощелкивать стало в каком-то уголке правого полушария — <<кесарю кесарево... сечение>>... и так далее, и тому подобное. Хоть сейчас в газету штатным юмористом... Так и в шахматы... Отец научил, еще шести лет не было, играл... но никогда не привлекала сама идея шахматной игры, ее правила, принципы.

Хотя вот парадокс, к шахматам по долгу службы имел непосредственное отношение. Вот ведь какая служба ему досталась — до всего ей есть дело! Да, долгие годы Комитет, лично Юрий Владимирович, насколько это было в его силах, учитывая деликатность предмета, способствовал успехам чемпиона мира Анатолия Карпова. Не раз встречался с ним, не за шахматной доской, конечно, за дружеской беседой. Поощрял дружбу сына Игоря с прославленным чемпионом. А сын к этому времени полностью избавился от юношеского театрального комплекса, сын у него —

человек серьезный, дипломат. А вот дочь Ирина — даже в мужья актера выбрала. Из того же театра на Таганке, который боготворит до сих пор.

Так вот, скучновато было за шахматной доскою. Всего шестьдесят четыре клетки — не разбежишься. А разбежаться так всегда хотелось. Конем хотелось ходить не только буквой Г, но и буквой И, другими буквами. И даже целыми словами. Хотелось спрыгнуть с игральной доски, уйти как бы на время... как бы в дальнюю ссылку, все позабудут про тебя... маленькой пешке хотелось на каком-нибудь опасном поле провалиться... скрыться от прицела черного офицера...

Когда изредка поигрывал все же в шахматы, мелькали перед внутренним взором невероятные, прямо-таки изощренные новые правила, которые, несомненно, обогатили бы эту древнюю игру... Скажем, те же проваливающиеся, исчезающие неожиданно фигуры. Они ж не просто исчезают, они ж на той стороне доски обязательно ведут свою какую-то игру... или этот конь, с доски спрыгнувший, он ведь тоже... ого-го...

Одно время даже собирался об этих фантазиях, или, лучше сказать, фантазмагориях, поговорить с самим Карповым. А вдруг да и стоит за всем этим хоть какой-то смысл... Но устыдился чего-то, взрослый человек, отец семейства... пост... дело не в этом, конечно, а просто необузданную свою мечтательность, неудержимый полет фантазии всю жизнь скрывал. Изредка, в самом усеченном виде, в редких стихотворных упражнениях лишь прорывалось:

Скрыться от прицела черного офицера

Пешке хотелось — перехотелось...

А когда изобрели шахматный компьютер — и совсем потерял к ним всякий интерес.

Жизнь вокруг все больше захлестывала, поражала своими небывалыми возможностями.. да какой тут справится компьютер!..

Разве ж только этот, что изредка звездной ночью в отпусках на Кавказе распахивался над головою, поражая воображение красотой и недостижимостью:

Кружится во Вселенной шар земной...

Да, жизнь все больше изощряла и без того прощательный ум. И от этой непрерывной работы ума, от этой постоянной нагрузки был счастлив. Карпов как-то заметил в разговоре, что без шахмат не представляет свою жизнь уже. Так и он — уже не мог, чтоб постоянно не просчитывать на пять, на десять ходов вперед.

Ну, а самое главное, о чем он даже жене не расскажет, заключалось в том, что в шахматах двое играют: ты да соперник. Вернее, между вами всего тридцать две фигуры. Высчитать, предсказать все ходы, все комбинации — дело техники, компьютеров, то есть. В реальной же жизни всегда есть нечто непредсказуемое. Именно оно — таинственное — и делает Большую Игру Жизни невероятно захватывающей, порою, смертельной... для тебя, для твоих близких... Но уж если побеждаешь, какие шахматы тут могут сравниться!

Все меркнет в этой предметной обыденности, которой заполнена жизнь многих и многих, перед Большой Игрой. Потому что только здесь у тебя за спиной появляется что-то вроде крыльев... да, да — что-то непонятное, которое ощущает с некоторых пор он. То ласково, празднично оно тебя пригреет. И вот уже, спокойный, импозантный, идешь по ковру со стаканом красного бордо, идешь говорить комплимент прелестной леди. А то вдруг волосы на голове поднимет дыбом, ужасом обожжет... когда железным сачком тебя накроет какое-нибудь Ленинградское дело... или дело врачей-вредителей... когда и справа берут по ночам и слева берут... и выше тебя уже взяли, и ниже... и каждую ночь ждешь, ждешь, чуть ли сам ни кричишь в остервенении: <<Да скоро ли вы там!>>.

А то таинственное и могущественное, что постоянно за спиною, оказывается, уже выводит тебя из-под обстрела, лавирует тобою меж взрывами, как бешеным слаломистом на обледенелой трассе... и вот уже ты, без единой царапины, за пределами мелкочейистой сетки... ты уже опять с успокоенным дыханием в зеленом кресле, под мягким светом на-

стольной лампы на старофранцузском читаешь <<Опыты>> своего любимого Монтеня.

А наутро опять — Большая Игра, страстно увлекательная, сладостная...

И опять в голове расклады, расчеты, варианты... основные, запасные...

В голове постоянно было только это, немигающий взгляд при этом выражал слабую привычную доброжелательность, бледно светился. Внутри же порою разворачивались такие удивительные картины, что, воспроизведи их на холсте какой-нибудь гений, мир был бы потрясен. Мечта и фантазия уносили иной раз так далеко, что самому хотелось трудиться еще много и много лет, чтобы дожить наконец до такой прекрасной жизни. Сквозь беспокойно-прекрасные миражи его — полубеспольными тенями с некоторых пор сновали тени, тени близких. Приходилось изредка общаться, говорить какие-то слова, чтобы поддерживать видимость общения. Видимость отца и мужа, семьянина. Подходила дочь — говорила, что муж-красавец, что женщины засматриваются в метро. Отвечал, что было бы намного хуже, если бы было наоборот. Сын подходил, жаловался на сантехников, ремонт в квартире сделали тяп-ляп.<<А ты обратись в ЖЭК, пусть их вызовут на собрание и пропесочат как следует.>> Говорил первое попавшееся... чтоб поскорее — в расклады, в расчеты, варианты... Даже, если и не удастся прорваться на самый-самый верх — а он уверен, что удастся! — даже в этом случае он счастлив. Прожить такую невероятно заполненную жизнь

Ну, а главное теперь — это то, что постоянно за спиной: непознаваемое... страшное...он не один...

В этом — единственном — нет у него теперь сомнения.

Кто-то, может быть, скажет, что за всю жизнь у него не было настоящего друга, что всю жизнь, в сущности-то, был одиноким он человеком.

Во-первых, были — Крючков, Удальцов... другие. Немного, конечно, но были верные друзья. Татьяна Филипповна в первую очередь.

Но главное — это то, что впервые робко ощутил он еще в Ярославле, еще с юности, с комсомола еще. Когда вдруг понял, что не один он в этом странном мире, что всегда есть это... сзади, со спины (вот только не поймет Юрий Владимирович - справа или слева), что и позволяет делать ему почти безошибочные ходы...

Итак, перед ним на то время был непробиваемый триумvirат: Брежнев, Косыгин, Подгорный.

В 77-м Брежнев серьезно заболел, а Подгорный собрался в командировку по Африке. Брежнев был, конечно, болен, но не настолько же, чтобы Подгорному так уж сильно расслабляться, так всякий контроль терять. Он же, будучи за границей, повел себя самоуверенно, менял заранее согласованный в Комитете маршрут, выступал где надо и не надо. Короче, вел себя не как третье лицо в государстве, а как вполне полноправный хозяин уже.

Понятно, что подробный доклад о его поездке лежал перед Брежневым. И после доклада с Подгорным было решено в полчаса. Сразу же по возвращении в Москву он был лишен всех постов.

Мало того, чтобы хоть как-то после доклада успокоить разбушевавшегося, оскорбленного до глубины души Брежнева, Юрию Владимировичу пришла в голову неплохая мысль — предложить занять освободившийся пост — Председателя Президиума Верховного Совета — самому Леониду Ильичу, хлопот будет меньше. От поста Брежнев не сумел отказаться. Он к этому времени так полюбил посты, награды.... а к Андропову за это проникся дополнительным доверием, жал руку, благодарил, приобнять все пытался.

Ну, а в голове у Юрия Владимировича приятно вспыхнул огонек, отложилось на случай дальний, что, заняв столь декоративный пост, по существу же, должность для почетных пенсионеров, Брежнев и сам незаметно все больше соскальзывает в стариковскую маразматическую ипостась. И это в отдаленной перспективе обязательно пригодится.

А еще через два года умирает Косыгин, и от мощного триумvirата не осталось и следа.

На место умирающего Косыгина Юрий Владимирович порекомендовал тогда Брежневу взять Тихонова. Человек проверенный, хорошо известный ему еще по Днепропетровску. Хлопот не будет, не то что с Косыгиным. Брежнев тут же согласился, в который раз полагая, что Андропов на его стороне: мало того что сам ни на что не претендует, так еще и Днепропетровскую группировку укрепляет. Андропов же думал, что Тихонову уже за восемьдесят, будущим претендентом он быть не может. А укреплять — пусть укрепляет. В борьбе с группировками это даже и лучше — пусть одна начнет побеждать, с одной потом легче справиться.

А в Ленинградской группировке после смерти Косыгина на то время оставалось двое: Суслов и Романов. Она явно проигрывала днепропетровцам. У тех четыре было голоса: Брежнев, Тихонов, Черненко, Кириленко. А у этих только два.

Дело не только в голосах, конечно. Яркая была группировка в целом. Над всей этой тройкой - Суслов, Косыгин, Романов — постоянно витало нечто объединяющее их вне всякой примитивной логики. В чем-то несомненно, правы были листовки, гулявшие в то время по Москве, в которых писалось, что именно эти трое — единственные русские во всем Политбюро.

В ноябре 1978-го — еще жив был Косыгин — в Москве была американская делегация во главе с сенатором Рибиковым. Ее в Кремле принимали Косыгин с Романовым. И Романов на встрече повел себя так по-хозяйски, что заговорили и у нас, и за рубежом о нем, как о единственном преемнике Брежнева. А ведь, действительно, Романов — самый молодой во всем Политбюро... Да и фамилия...

Белорусская группировка всегда представлялась Андропову послабее. Хотя и здесь, конечно, такие люди, что пальца в рот не кладут. Один Кирилл Мазуров чего стоит, знает он Кирилла, вместе летали в Чехословакию, вместе готовили зеленую улицу спецназу маршала Огаркова.

Да и протезе Мазурова — партбосса Белоруссии Машерова — со счетов, разумеется, не сбросишь: умен, энергичен и не стар еще.

Да, много впереди камней подводных, и все-таки особую заботу вызывает Андрей Кириленко, который в отсутствие Брежнева, когда тот болен или в командировке, исполняет обязанности Генерального секретаря. Тут уже готовый преемник, выделен самим Брежневым.

Правда, вот тут Брежнев и сам, пожалуй, перестарался — ведь он еще и Черненко из Днепропетровска перетянул. Ну вот они вдвоем с Кириленко теперь и борются, кто же из них к Брежневу ближе. Кириленко, по-видимому, поближе все же, поопаснее. Да, несомненно, опаснее всех — Кириленко.

Были и другие люди в Политбюро, не входящие ни в какие группировки, но со временем могущие при стечении обстоятельств претендовать на самый высокий пост: Пельше, Кунаев, Щербицкий, Гришин, Устинов, Громыко. Не мешает и к ним, конечно, приглядеться.

Пригляделся и видит, что Громыко и Устинова можно тут же с доски снимать — сугубо узкий профессионализм сразу ограничивал их возможные претензии.

Брежнев понимал это не хуже Андропова. Потому позднее и передал им всю власть. Понимал, что эти не скинут, дадут дожить. Хоть и с оглядкой, добавил к ним потом Андропова. По-видимому, тоже посчитал его узким специалистом. Но ведь Андропов-то в отличие от дипломата Громыко, от военспеца Устинова за плечами имел столько разных профессий. И комсомольская, и партийная, и военная, и дипломатическая. А теперь еще и такая профессия — что до всего ей есть дело. Хоть армию возьми, хоть дипломатию... хоть шахматы... кочегарку какую-нибудь.... Заложен, начал уже строиться самый мощный в мире атомный крейсер — и до этого Андропову дело есть, самое прямое, между прочим. Собственно, это уже и не профессия, не служба, а скорее всего — идеологическая основа любой профессии, любой службы. Это,

по существу, уже философия всей державы, всей системы социалистической. А ведь, действительно, за что ни возьмись... за шахматы, за Афганистан, за строительство БАМа... за строительство атомного крейсера... за какую-нибудь Богом забытую кочегарку, — без КГБ не обойтись.

Итак, разложив карты или расставив фигуры по своим местам, увидел, что самых сильных перед ним — двое: Андрей Кириленко и ленинградец Григорий Романов. Если один брал тем, что уже вовсю обкатывает кресло Генерального секретаря, то второй брал молодостью, прямо-таки вызывающей среди весьма почтенных старцев. Лет на 15-20 Романов помоложе остальных. Едва за пятьдесят.

И это тревожило. Собственных годков, а их шестьдесят пять незаметно набежало, не убавить при всем старании. Тупик.

Ночью не спал, ворочался... <<тупик... тупик...>> — в голове постукивало. Под утро задремал все же, и тупик померк как-то, вернее, каким-то до боли знакомым пятном закрылся. А когда проснулся, светило такое яркое солнце... что сразу и вспомнилось все — Кавказ, отпуска, санаторий <<Красные камни>>, Горбачев Михаил... Повеселел; бреясь перед зеркалом, напевал, мурлыкал что-то... <<Ну, конечно же, Михаила поскорее переводить сюда надо!>> И все мурлыкал при этом: <<Нам года — не беда... трам-пам-пам...>> Жена в ванную комнату заглянула: <<Ты чего это — всю ночь стонал, ворочался, я уж хотела капель накапать... а сейчас гляжу — распелся... Поберег бы себя немножко, а то с работой загнал себя совсем... И когда отдохнешь только!>> А он в зеркало ей улыбается, про года, которые не беда, все поет...

В 1979 году Горбачев уже в Москве, он уже кандидат в члены Политбюро. А всего через год — полноправный член Политбюро.

По-царски отблагодарил Юрий Владимирович человека, который собрал на Сергея Медунова — первого секретаря Краснодарского края — такое досье! Медунов теперь со всеми потрохами у Андропова в руках.

А главное — Горбачеву сорок девять лет, теперь он, самый молодой в Политбюро. И Романов сразу поблек, потерялся. И это сразу заметили все. Ну, а когда у Романова обнаружались неприятности в связи со свадьбой дочери и Суслов дал ему строгий выговор, когда об этих неприятностях станут писать за границей, — перевод в Москву для Романова будет закрыт надолго. И на Григории Романове можно будет ставить жирную точку.

И браться за Андрея Кириленко.

А как браться, когда не подступиться. Когда без Романова теперь еще сильнее выглядит.

Все взвесив, все прокрутив, понял — прямой атакой не взять. На этот раз придется идти долгим окружным путем дискредитации через родственников. Путь долгий, сложный, но беспроигрышный. Хорошо бы сыграть через ближайших родственников, но и дальние могут сработать. Да, здесь все дело в степени дискредитации. Раскрыл заветную папочку с инициалами Кириленко: <<А-К>>, долго листал, наконец нашел одного человечка... так себе... родственник, конечно... хотя и не близкий.

И тут же стала выстраиваться многоходовая комбинация, громоздкая пока еще, шатающаяся пирамида... В основание пирамиды обязательно заложить арест изменников — Щаранского и Любмана... всего-то два еврея, а какую добрую службу сослужить могут! Заложил обоих — и сразу пирамида крепче встала. Теперь смело можно нагружать мифическим Василием Розановым, то есть усилить по Москве гуляющий поток писем за его подписью: <<Сионисты засели в ЦК и Политбюро, где всего двое русских...>> Русская партия срочно откликнется на это, в ней, правда, раскол недавно произошел... Андропов не был против... даже помог, чем мог... А в результате - правое крыло оформилось во вполне организованную профашистскую организацию. Устав, литература - все есть у них. <<Майн Кампф>>, <<Протоколы сионских мудрецов>>.. В свое время он не стал преследовать, и вот проросло, оформилось, уже и на площадь выхо-

дить не стыдно, им бы еще о форме одежды подумать... ну да ладно — это потом...

Многоходовка развивалась, пирамида все больше выстраивалась. Тут же попутно реализовывались и какие-то частные задачи. В письмах, что всю гуляли по Москве, по-прежнему было и про жену Брежнева. Был и привлекательный камуфляж, что Василий Розанов никакой не монстр, а возглавляет <<Русское либеральное движение>>.. Все это, несомненно, пригодится, когда дойдет Андропов до самого короля... Ну, а пока под пристальным вниманием держать самую верхушку пирамиды, самого родственника Кириленко. Который, понятно, и сам пока не знает, что 20 апреля пройдет с товарищами в демонстрации фашистов по Пушкинской площади. Пройдет и тем самым со скандалом обрушит всю пирамиду. Под обломками которой и окажется Андрей Кириленко. И папочку тогда с инициалами А. К. можно будет сдавать в архив.

Ну, а пока многоходовка раскручивалась, судьба, как уже не раз бывало, пошла сама навстречу. Другой родственник Кириленко - и как это Андропов просмотрел! - попросил убежища в Англии. И вот уже исчезли портреты Андрея Кириленко. И на первомайской демонстрации их нет, и на 7-е ноября. И под некрологами не стоит его подписи больше...

Играть в Большую Игру становилось с каждым днем все увлекательнее, все интереснее. Все дальше отступал быт, обиденщина, сами люди. Как-то терялся весь интерес, если человек перед тобою не из Большой Игры. Что-то говорил, конечно, откликался сдержанной улыбочкой... но все остальное, вне Большой Игры, бледнело, растворялось.

Самым острым ощущением при этом были даже и не тщательно-рассчитанные многоходовки, яркие, блестящие головоломки, которые ни за что не отгадать соперникам. Эти расчеты, как и ежедневное чтение, были обычным состоянием днем и ночью работающего, ума, ежедневной интеллектуальной потребностью, чем-то вроде освежающей физзарядки.

С годами другое уже все больше притягивало - то странное, тяжелое, ледяное и одновременно кипящее, как лава, что все определеннее за спиной ощущалось. Что изредка, как ни скрывал, выплескивалось все же через глаза. И тогда становились они совсем немигающими, ледяными и горящими, как уголь. И страшно становилось человеку под этим гипнотизирующим взглядом. <<Удав!>> - невольно на ум приходило тогда. Хотя, чаще, конечно, окружающие сослуживцы называют его: <<Папа Юра>>.

Но вот это — за спиной — определяй его как хочешь: Рок, Судьба, Провидение, Смысл или Промысел, — да и не разбирается он особо в этих названиях — всю жизнь атеистом был — дело не в названии. Оно ведь есть у каждого. С Ярославля, когда так опрометчиво после Брусникина возглавил обком комсомола, у него эта твердая уверенность, что он не один... обязательно что-то есть такое... за спиной.

А так-то, разумеется, материалист он, атеист. Но сказал же как-то Бердяев: <<Атеизм — путь к Богу через черный ход>>. Да какой там путь, скорее всего, у человека с годами набирается такой опыт, такой багаж невероятных жизненных метаморфоз... что к старости он становится не то чтобы верующим... Нет, он, конечно, по-прежнему атеист-материалист. Просто его атеизм и материализм теперь совсем другого качества, скажем, так — на порядок, на два порядка выше, чем в юности, когда бесшабашно пели в училище про то, что когда-нибудь залезут они на небо и разгонят всех богов. Материализм и атеизм его с годами стали какого-то неисчерпаемого качества. Он даже темы эти не хочет ни с кем обсуждать — неисчерпаемость ведь в принципе не поддается обсуждению... Как, скажем, та же Вселенная... <<кружится во Вселенной шар земной... живут и умирают человеки...>> — опять вспомнилась строчка из собственного юношеского стихотворения.

Ведь что такое — бесконечная Вселенная? Никто же по-настоящему не задумывается. А если задуматься — страшно станет. Ибо бесконечность — это, значит, что там все есть, ну, буквально... а если чего-

то в ней нет, пусть самой малости, тогда нельзя считать ее бесконечностью, тогда она будет считаться чем-то ограниченной. Вот ведь в чем штука! Там обязательно есть еще одна такая же планета, как наша. Такой же есть еще Союз... Юрий Владимирович такой же обязательно есть... запредельный, конечно, но где-то есть наверняка... А иначе какая же это Бесконечность.

Впрочем, этот двойник, может быть, и не такой уж запредельный, может, всего-то за спиной. Уж что-то слишком часто решения в нем принимаются спонтанно. Да целые периоды проглядывают, когда вместо логики, долгих расчетов шел на одной интуиции. А расчеты все равно бы ни к чему не привели, запутали бы все еще больше. А куда уж больше, когда и так порой была не жизнь, а сплошной клубок страстей и смертельных неожиданностей. Так было и в Ярославле, когда Брусникина с первых секретарей снимали, так было и в Венгрии с Имре Надем... еще где-то.

Так что процентов пятьдесят его жизни принадлежит лично ему: Ю. Андропову. А остальные пятьдесят — за тем, кто за спиной. К какому-то плечу поближе... только вот к какому?.. К правому или к левому? Никак не поймет Юрий Владимирович.

Так и шло. И года через три-четыре в Большой Игре попросторнее стало, вздохнуть с облегчением можно. Поредела шеренга перед ним, до короля рукой подать. Поглядел он в зеркало тогда, виски седые пригладил и... видит, что и сам постарел за эти годы. И сам прихварывать все больше начал... особенно после того как в Афганистане побывал...отдохнуть бы. Но ведь Большая Игра... И достал когда-то грозный список, и видит: Пельше, Тихонов, Черненко. Кому под восемьдесят, а кому и больше — не бойцы уже.

Косыгин, Суслов... пусть земля им будет пухом, многому у обоих научился...

Петр Машеров — погиб в автомобильной катастрофе...

Кириленко и Романов с такой подмоченной репутацией... что даже жаль по-человечески. Особенно

Романова, которому Юрий Владимирович всегда симпатизировал... Романову бы родиться лет на десять пораньше... Ладно, если все сложится так, как он рассчитывает, надо Романова в Москву забирать... Алиева забирать обязательно. И Шеварднадзе... Обязательно Воротникова... эти не ради желудка существуют, у этих идея на первом месте, мечта... правда, у каждого мечта своя.

Кирилл Мазуров — в опале. С этим, пожалуй, не стоит торопиться, надо подумать — возвращать ли... Юрий Владимирович присмотрелся к Кириллу еще в Чехословакии — надо крепко подумать.

Ну, а кто тут еще... в этом списке? Щербицкий, Кунаев - эти за тысячу километров от Москвы, погоды не делают.

Горбачев? Ну Миша еще не дорос до Больших Игр... но опереться можно, свой паренек... от сохи, то есть от комбайна.

А больше и нет никого. Пора на сцену самому выходить.

Все! — встал, распрямился, отряхнулся - можно ехать к Брежневу.

Разговор с Брежневым был недолгим. Леонид Ильич предложил собрать Политбюро и решить вопрос о переходе Андропова на другую работу, а именно — секретарем ЦК.

— Так что с понедельника или со вторника и перебирайтесь, Юрий Владимирович, на пятый этаж, в кабинет Сулова.

— Спасибо за доверие, Леонид Ильич. Но только ведь секретарей Политбюро не назначает, их избирают на Пленуме.

— Соберем Пленум, делов-то... В понедельник или во вторник и соберем.

— Ну, зачем собирать специальный пленум, давайте уж дождемся очередного — в мае.

— Да я ведь хотел как лучше, — недовольно говорил Брежнев, — хочешь в мае, давай в мае... Кого после себя оставишь?

— Я думаю, Леонид Ильич, — Чебрикова. Профессионал, с достаточно широким кругозором. Потянет.

Брежнев пожевал нижнюю губу, без энтузиазма переспросил:

— Говоришь, потянет...

И не дождавшись ответа, сказал:

— А может, Цвигун? Или вон Федорчука с Украины, просится — возьмем?

— Чебриков на голову выше и того, и другого.

— Ну, ладно, ладно... выше-ниже... подумаем, посоветуемся...

На этом и расстались...

И все-таки жаль было уходить из КГБ — 15 лет, да каких! Из жизни не выбросишь. Уходить не хотелось. Но Юрий Владимирович понимал, что болезнь Брежнева прогрессирует, смена руководства страной неизбежна и все равно вот-вот наступит. Полгода, год... да нет, Юрий Владимирович, понятно, проконсультировался с кем надо — это произойдет между октябрём и декабрём, ориентировочно — в ноябре. И будет новый генсек. При новом генсеке его положение, как Председателя КГБ, сразу станет весьма двусмысленным... Разумеется, на сегодня наиболее подходящая кандидатура на этот высший пост — Андропов. Это понимают почти все. Но вот одобряют... одобряют далеко не все. А поэтому почти наверняка на Пленуме не получится — сделать главу столь грозного ведомства первым лицом партии и государства. Значит, если досидит в КГБ, генсеком наверняка будет не он, кто-то другой. Черненко, Романов... неважно. И этот другой — кто бы ни был — в первую очередь сменит главу КГБ. Чтоб иметь здесь своего человека.

Так что нужен переходный период — через кресло Сулова. Потруднее было бы, переживи Сулов Брежнева. Тогда пришлось бы запускать запасной вариант нейтрализации самого уже Сулова — был, конечно, и такой — а так сама судьба идет навстречу. И все-таки хотелось выяснить до конца: а что же стоит в действительности за предложением Бреж-

нева? Точно ли он хочет, чтобы Андропов переходил в ЦК... как будущий его преемник. Или впереди опять борьба? Или все это — закамуфлированное отстранение от КГБ? Основания у Брежнева для этого есть. И, надо понимать, основания немалые.

Да, сказал, чтобы занимал кабинет Суслова, знаменитый тем, что только из этого кабинета на пятом этаже по традиции перебираются в кресло генерального секретаря. Все так. Ну, а вдруг есть все же какая-то связь с усилением активности КГБ?.. Медунов, Щелоков, Чурбанов... Юрий Владимирович понимал, что на каком-то этапе Брежнев, несомненно, попытается перехватить инициативу, не допустить раскручивания преступной спирали... ведь за Чурбановым автоматически идет Галина Брежнева — кто ж допустит!

Ну, понятно, на сегодня Чурбанова никто и трогать не собирается. На сегодня задача, взять Медунова и Щелокова. А это почти что и невозможно. Первый секретарь Краснодарского крайкома партии — Медунов — практически неуязвим, пока остается на таком высоком посту. В Москву бы его... <<на повышение...>> каким-нибудь министром легкой или пищевой промышленности... а пока в Краснодаре — ку-уда... ни за что не взять. Там в Краснодаре он царь и бог.

С Щелоковым еще труднее — член Политбюро. Сперва из Политбюро надо вывести. Но главное не это. И не таких из Политбюро выводили. Главное, что первый зам у него — любимый зять Брежнева. Чурбанов с Щелоковым так склеились, что если брать, так уж обоих!

В невеселых раздумьях наступил апрель. До Пленума месяц. Кажется, все предусмотрел. И все-таки неожиданности никогда не исключаются. Решил не ждать. Многолетняя подготовительная работа проведена настолько основательно, что, пожалуй, уже до Пленума пора заявлять о себе как о первом человеке в государстве. Долго ходил в темных лошадках, пора на свет наконец выбираться. Пусть привыкают к <<Ю. Андропову>>. И 22 апреля в 112-ю годовщину со дня

рождения В. И. Ленина на торжественном заседании неожиданно для большинства сидящих в зале главным докладчиком объявлен Юрий Владимирович Андропов.

В мае после Пленума занял кабинет Суслова. Стал секретарем ЦК. Вот только каким? Это еще предстояло выяснить. Ведь был еще и Черненко. Тоже вроде бы второй секретарь.

Вообще эта интересная практика держать двух человек на должности второго секретаря пошла еще с Хрущева. Первому наверняка так было удобнее, потому что эти двое так никогда до конца и не могли быть уверены, а кто же из них ближе к первому, кто главнее. Сегодня — ты, завтра — он, а послезавтра — кто? Черненко стар и болен, и у Юрия Владимировича все основания считать себя вторым лицом в партии и государстве. С другой стороны, Черненко и Брежнева связывает очень многое. Да обычная мужская дружба связывает, воспоминания, а это уже немало, когда людям по столько лет.

Сразу после майского Пленума Черненко с Брежневым укатили в отпуск. И, по существу, Юрий Владимирович на какое-то время был предоставлен самому себе. На время отпуска Брежнева и Черненко Андропов формально стал первым лицом. Пусть негласно, но первым. Во всяком случае, появился повод проверить: кто же он в настоящее время на самом деле — бывший, уже опальный Председатель КГБ, которого потихоньку убрали с этой беспокойной должности, или он все-таки действительно что-то значит.

Срочно проверить неопределенность собственного двусмысленного положения подстегивало еще и то, что Брежнев во главе КГБ поставил все же не Чебрикова, а Федорчука с Украины. Дал ясно понять Андропову расстановку сил на сегодня. В КГБ теперь у него свой человек. А вернее, два уже: Цвигуна со счета не надо сбрасывать. И, по всей видимости, цепочка — Щелоков-Чурбанов-Галина Брежнева — надолго заморожена. А другие цепочки?

Решил проверить. Решил проверку боем провести. По сути — пошел ва-банк. Собрал Секретариат

и пробил решение о переводе первого секретаря Краснодарского крайкома партии товарища Медунова в Москву. На повышение. За хорошую работу. Министром легкой промышленности. Ну, а будет в Москве...

Отпускники отреагировали недовольными телефонными звонками. Но отреагировали как-то вяло. Юрий Владимирович ожидал совсем другой реакции, спокойно выдержал недовольное похмыкивание Брежнева... тем более что с самим Леонидом Ильичом перед отпуском был разговор о Медунове. В общих словах, почти что на бегу, но был.

Медунов его теперь не беспокоил. Всесильный Медунов у него в руках. Летом 82-го беспокоил больше Федорчук, занявший его кресло в КГБ. Затеял какие-то странные преобразования... понятно, что сразу забуксовала линия — Щелоков-Чурбанов.... на глазах разваливаться стала. Но этого, в общем-то, Юрий Владимирович и сам ожидал: кто ж собственную дочь отдаст на растерзание! Или сына... как он в 57-м... Неужели своих детей он любит меньше, чем Брежнев? Интересный вопрос... надо будет как-то на досуге обдумать.

Собственно, не раз уже невольно обдумывал, сравнивал как-то дочь Брежнева со своей Ириной. Хотя что тут сравнивать — Ирина — скромная, воспитанная, тонкая душевно, очень женственная.

А вот Галя... это Галя... Брежневу нелегко с такой дочерью. Когда-то жаловался даже на то, что дочь не хочет платить комсомольских взносов. Это когда она еще училась в Кишиневском университете. И это дочь-то Генерального секретаря! Бурная молодость была. А повзрослела — совсем неуправляемая стала. Вокруг нее какие-то артисты, верховые наездники... певцы... цыгане... компании такие, что всё, как говорится, на грани фола. Как-то однажды исчезла... нашли, конечно, быстро... не иголка ведь... оказалось, что с цирком тайно на гастроли отправилась... переоделась, маскарад какой-то устроили... и опять отцу одни переживания. Брежнева он вполне понимает. Да

что там — яркая женщина, конечно. Во всех отношениях — яркая. И талантами Бог не обидел. И Чурбанова он хорошо понимает — эта кому хошь голову вскружит... Да, на цепочке Щелоков — Чурбанов — дочь — отец, пожалуй, надо ставить точку. Жирную такую.... пока.

А пока... пока что-то непонятное творилось и по другим уже законченным разработкам. Проведена же колоссальная работа, собран интереснейший материал — и всё коту под хвост?! Он тут же позвонил Цвигуну. Семен оказался в командировке.

Да, по всему получалось, что КГБ у него окончательно отобрали. Да и здесь, в ЦК, положение какое-то сомнительное. Вон и Черненко вышел из отпуска отдохнувший, сразу включился в работу, а в аппарате ЦК у него позиция исключительно крепкая, можно только позавидовать. И остался Андропов как бы совсем не у дел. Пошел к Брежневу.

— Леонид Ильич, я все-таки хотел бы знать, чего добивалось Политбюро, лично вы, переводя меня на новую работу? Отстранить от КГБ? Так я и сам бы ушел, возраст пенсионный... Мы ж не первый год знаем друг друга. Намекнули бы — и все дела... Ну, а если действительно собирались поручить какие-то важные дела в ЦК, то... это делается как-то по-другому...

— Ты что — предлагаешь мне написать завещание?.. А может, Юра, обойдемся без формальности. Ты — второй человек в партии и государстве, вот и действуй... Будут трудности — ссылайся на меня... пока я жив — поддержу.

— Спасибо, Леонид Ильич.

— И еще...

Брежнев с трудом стал медленно выбираться из-за стола, косноязычие усилилось:

— Е-ешшо...

Уже привычное за долгие годы косноязычие на этот раз поразило тем, что шло словно бы уже из-под земли. В косноязычии, несомненно, проступала тяжелая нестигаемость. Восемнадцатилетний брежневский период впервые откликнулся, отозвался в нем

мыслью, что в целом Брежнев был и остался верен самому себе. Это, несомненно, личность, которую когда-нибудь оценят.

Тут же вспомнился хрущевский дефект речи, когда произносил он слово <<коммунизм>>. Почему-то обязательно с мягким знаком — <<коммунизм>>. Юрия Владимировича всегда коробило это. Всегда почему-то мелькала при этом картинка, как колхозный парень, тракторист, тискает грудастую колхозницу-доярку... Так вот и Хрущев тогда по-свойски тискал <<коммунизм>>, по-простецки, по-казацки примеривался к нему... Вообще-то, он был себе на уме, этот украинский парубок в широченных шароварах, когда вытанцовывал у Сталина на даче гопака... Да, тискал, примеривался... срок свадьбы устанавливал: двадцать лет-и мы в <<коммунизме>>... Эпоха Хрущева сменилась брежневской... а страна словно бы и не вперед идет, а назад пятится...

Брежнев наконец выбрался из-за стола, вытер платком лицо и, тяжело дыша, пошел провожать до двери. Ступал неуверенно, медленно, словно на палубе во время сильной качки. У Юрия Владимировича рука сама потянулась взять под локоть. Даже через рукав пиджака почувствовал он такую небывалую старость и немощь, что про себя воскликнул: <<Как же он держится еще?!>>

— Я вот о чем хотел попросить... — забормотал вполголоса Брежнев, второй рукой то и дело вытирая платком лицо, — рука об руку... вот как сейчас... столько лет.. ты, Громыко, Устинов... вы трое... самых близких мне людей... не ссорьтесь, помогайте друг другу... Помнишь, Устинов и Громыко входили в <<тридцатку>>, еще в ту сталинскую <<тридцатку>>, — что-то значит это... и тебя самого сюда из Карелии он забрал... помнишь его знаменитое: <<Кадры решают все!>> — помни... кадры...

Юрий Владимирович был уверен, что Брежнев сейчас будет просить не выносить сор из избы. И решил, что пообещает это. Но умирающий Брежнев оказался выше этого.

—... Не ссорьтесь, помогайте друг другу... а я.... если что и было не так за эти годы... простите старика...

— Да вы что, Леонид Ильич!

— Похороните по-человечески... Виктория хочет... чтоб по-человечески...

— Леонид Ильич!

— Ну, иди, иди, — подтолкнул к двери, — принимай хозяйство...

Вот таким было прощание. А через две недели Брежнева не стало.

Глава 3

Утром теща вернулась из конторы, заглянула в комнату:

— Брежнев умер!

— Вот это да! — ахнули Шишкин с женою. — Может, жив еще?

— Да нет, — покачала Надежда Петровна головой, — вчера поэтому и концерт отменили... Радио надо включить, будут передавать.

— И кто же теперь будет? — спрашивал Шишкин. — Может, Романов?

— Нет, скомпрометировал себя, свадьбу дочери закатил в Таврическом дворце, посуду взяли в Эрмитаже.

— Пойду телевизор включу, — жена сказала.

— Тогда, может, Пельше? — спрашивал тещу Шишкин.

— Пропал.

— Как пропал?

— А вот так — никто и не знает где.

— А Черненко?

— Застрелился.

— Да ну?!

— Из-за сына, сын за кордон удрал.

— Тогда, может, Устинов?

— Староват.

— А Шеварднадзе?

— Этот слишком молод, горяч.

— Тогда кто же, кто же? Кто там у нас еще остался?

— Никто ничего не знает, будут решать.

Теща ушла в другую комнату, где телевизор, уселась, стала слезой наливать, Шишкину и самому не по себе как-то стало, сходил в магазин, взял бутылку, пошел в рабочий дом, к Малышеву. Там уже были и Рыбак, и Птицын.

— Давай, мужики, по рюмке, — сказал Шишкин, — помянем. Все ж восемнадцать лет...

<<Как же так, — мысль сверлила, — жил, жил и вот умер. Плохо ли, хорошо ли жили, но все-таки жили, а что теперь...>>

— Ну, помянем, — говорил Шишкин, по второй наливая.

И еще раз выпили, не чокаясь.

— Да-а... — сказал Малышев, — жили... и Лебедев болеет...

— Обидели, обидели Германа Петровича, — сказал Птицын, — теперь какой-то Давыдов вместо него в комиссии.

— Не Яков ли Семеныч? — спросил принахмурился Шишкин.

— Вроде бы Яков...

— Яков, Яков, — подтвердил Рыбак, — Сонечка вчера звонила в народный контроль, просила позвать — Якова Семеныча.

— Ну, все ясно, — расстроенным голосом произнес Шишкин, — он же в Здравнице до сих пор консультантом числится... на полставки.

— Я счастлив как чернослив! Этот уж точно разберется!

— Ну нет у них ни стыда, ни совести! — Птицын встал, снова сел. — А вы знаете, какой у меня вчера, мужики, интересный разговор с Алешиной был? Интимный. <<Не хочешь ли ты, Птицын, чтоб твоя дочка завтра же в детский садик ходить начала?>> — <<Хочу, конечно!>> — <<Так нет ничего проще — прекращай всякие отношения с этими садистами. Ты

ведь другой человек — тихий... стихи пишешь...>> — и про стихи знают! Так вот, мы, мол, устраиваем твою дочку в садик, а тебя чуть позже опять возьмем на работу... все шито-крыто... и на сессию удобно ездить, и то и се... где, мол, такую удобную работу найдешь....

— Ну, и ты — что? — спросил Рыбак.

— Я? Я — ничего. Я к ним на поклон не пойду. Я, может быть, в это дело вообще не стал бы ввязываться. Я действительно тихий. Но я не могу забыть, как Медяница меня в коридоре встретила. Наедине. Она всегда наедине гадости говорит. Умная женщина. Подошла ко мне близко-близко и сказала... нет — прошипела, жутко усмехаясь: <<Слушай, Птицын, против кого ты собираешься идти?! Ты ж козьявка, Птицын! Я жизнь тебе оставшуюся могу так испортить! Ты ж ничтожество! Помни, кто ты и кто я! Медяница!>> Так вот этого я ей никогда не прощу! Я себя уважать перестану, если прощу.

— Да-а... — взволновавшись непонятно от чего, стал вытирать под мышками Рыбак, — да-а...—повторял он,— это простить нельзя... тут уж чего... тут уж ... да-а...

— Ладно, — сказал Малышев, доставая из тумбочки бутылку, — давайте-ка еще по рюмке... чтоб земля ему была пухом... я, как узнал, в магазин сбегал... кто теперь будет? Может, Романов?

— Да нет, — сказал Шишкин, — чего-то там наворотил со свадьбой дочки... какая-то посуда из Эрмитажа...

— Может, Черненко?

— Староват...

— Ладно... вздрогнули, не чокаясь... пусть земля будет пухом.

— Я почему-то только сейчас, мужики, — луком закусывая, говорил Шишкин, — после смерти Брежнева, понял, что нам надо вместе держаться... до конца. Бригада мы все-таки или не бригада? Птицын прав, когда говорит, что и не ввязывался бы, если б это его одного касалось. Я, например, — хотите верьте, хотите нет, — не о кочегарке думаю, а о своих детях. Да, да... между прочим, о них! Хотя они вроде

бы еще и ничего не понимают, приглядываются только. Особенно старшая.

Малышев хмыкнул.

— Ты чего?

— Да вчера иду, счастлив как чернослив. На встречу Осинка — профорг наш уважаемый. <<Дай сигаретку>>. — Ну, дал, разговорились, она и говорит: <<Ребята, я ж за вас, я ж вас так понимаю... Работа у вас не мед. Кочегарка из прошлого века еще, я ж все вижу... но что я могу поделатъ, мне ж на пенсию через пять лет... у меня сарай тут новый, только что дали... может, квартиру дадут... я ж не могу пойти против Медяницы, она мне ничего тогда не даст... а потом, мне ее жалко, она женщина, а вы четыре мужика здоровых... как-то все это не по-джентльменски... связались с женщиной, как вам не стыдно, она больная, снова на бюллетене сидит, головные боли мучают... неужели вам ее не жалко?>>

— Рыбак? — спросил Шишкин. — Тебе ее жалко?

— Она Соне сказала, что все равно нас засудит.

— А за что?

— За все... за клевету, за вредительство... за все.

— А что, — развеселился после третьей Малышев. — Зам. прокурора — лучший друг, семьями дружат! О-о... у нее много друзей. Есть кому вступить за слабую, больную женщину. Сунут от восьми до двенадцати и — пишите письма.

— От восьми до двенадцати?!

— Да не пугайся ты, Рыба! На зоне тоже люди попадают неплохие, не пропадешь!

— Нет уж... лучше не надо... от восьми ... это что же - когда выйдешь, ой-ой-ой... дочка первый класс уже закончит?!

— Да брось ты, Рыба!

— Тебе хорошо — ни кола ни двора!

— Может, все же КГБ поможет, — тихо Птицын произнес.

— Что КГБ?! — вскричал вспотевший Рыбак. — Что КГБ? Ведь везде уже писали. Одному Богу только не писали! А толку! Чуть!!

— Ну, КГБ есть КГБ, — сказал серьезно Шишкин, — вон как чистит! Вон какие хмыри с постов слетают!

— Ладно, — сказал Малышев, — посмотрим что к чему, действительно... КГБ все ж!

— А пока с подсобного уходить надо, — заметил Птицын, — совсем директора затравили... может, в пансионат перейдем топить?

— Не-е, в пансионат не возьмут, — Рыбак покачал головой. — Я заглянул как-то... чтоб почву прозондировать, как узнали, что из Здравницы и разговаривать не хотят — нам такие не нужны.

— Медяница позвонила? — Малышев спросил.

— Ну, а кто ж другой, — вздохнул Птицын, — да-а... дела...

Слесаря Воропаев и Прутов с утра в кочегарке меняли <<пальцы>> в насосе. Вернее, покуривая, стояли перед насосом, поплевывали. <<Пальцы>> лежали на грязном полу.

— На <<двадцать бы два>> поискать, — согнутым пальцем, почесывая висок, говорил Прутов, — на <<восемнадцать>> опять через час срежутся.

— Ну, где их на двадцать два найдешь, — отвечал Воропаев. — Хорошо, что хоть такие есть. Часов до пяти простоят и ладно. А в пять пошабашим, а?

— Срежутся, — подумав, Прутов отвечал.

— Да хрен с ними, тебе-то что? Пусть начальство думает, оно у нас умное. До пяти простоят... чтоб нас сегодня больше не дергали, а? Я Салапурову говорил — ищи на двадцать два. А он — где я тебе их найду! Ну, а раз так, и я не буду!

— В перекачке, — подумав, сказал Прутов, — можно со старого насоса взять.

— Да ну его... пускай обеспечивают... давай, давай ставить, — Воропаев решительно раздавил сапо-

гом окурков, поддернул рукава, — поставим, да и в магазин пора... Даст Катька с утра?

— Должна бы, — подумав, сказал Прутов. — А так — кто его знает.

Они опустились на четвереньки у замолкнувшего ночью насоса, стали выбивать срезанные <<пальцы>>, поставленные накануне, стали ставить новые, которые тоже много не наработают, потому что на восемнадцать миллиметров, а надо на двадцать два. Прутов на глазок выбирал потолще, хотя это все равно не поможет. Оба понимали, что <<пальцы>> много не наработают. Но Воропаев при этом испытывал нечто вроде удовольствия, так как знал наверняка, что это добавит очередную ядовитую каплю в конфликт между кочегарами и Медяницей. А всегда ведь приятно добавить и собственную ядовитую каплю. А что — пускай Салапуров шустрит — обеспечивает... раз начальником поставлен.

Прутов ничего такого не думал, ему до конфликта как до луны, ему просто хочется сделать так, как надо, у него такой инстинкт. И если бы он ставил <<пальцы>> один, то обязательно отправился бы в перекачку выбивать <<пальцы>> со старого насоса. Конечно, мороки много, но ведь все надо делать, как надо. А тут, чтобы как надо, надо на <<двадцать два>>, так какой же может быть разговор!

Прутов до семнадцати лет пас коров, жил не очень задумываясь. Потому что верил в Бога, как и многие в их деревеньке, затерявшейся между Тульской и Тамбовской областями, на границе где-то. Жизнь хоть и была не очень сытной, но было как-то полегче, когда веришь-то. А потому и про все знаешь — что оно и как. Что надо делать. А что не надо делать. Что сейчас есть. А что будет потом. Война все перелопатила, все переворошила, все смешала с кровью и грязью, все низвергла в такое недоумение от страшной бессмысленной гибели таких же деревенских подростков-несмышленишек, как и он сам. Война для тех, кто уцелел, в то же время странно подтвердила-породила эту самую правильность, с которой он теперь и живет. А точнее — это уже пра-

ведность. Но это уже из области веры. Не религии, а веры. Поэтому Прутов и сам сейчас точно не знает — верит в Бога или нет. Церковные праздники, конечно, все помнит, по-своему соблюдает. С детства ж запали. Потому что для пастуха в праздник всегда перепадал кусок получше, пожирнее.

А сейчас праздников никто не помнит, не соблюдает. Прутов — единственный в Здравнице — заранее ждет, о каждом помнит, при встрече обязательно скажет: <<Сегодня Спас — большой праздник! Грех не выпить!>> Или: <<Сегодня Никола — большой праздник! Грех не выпить!>> Праздники надо соблюдать, на то и праздники. И в этом тоже была правильность... Он вот, Прутов, на фронте неправильно побежал, когда «юнкерс» на них, желторотых, спикировал... пули и попали в плечо, в локоть... в нескольких сантиметрах от головы прошли. Им бы надо всем от вагона в поле разбежаться, а они-то в кучу, как бараны... почти все там и остались в той куче лежать... Вот что бывает, когда неправильно. Прутов и бутылки собирает так, что все они у него в сарае находятся в отличном порядке. Он даже с винтовым горлышком собирает. Которые никто не берет. Собирает и аккуратно укладывает в отдельные картонные ящики. Раз есть такие бутылки, то и они должны быть приведены в какой-то порядок. Чтоб все было правильно. С годами ощущение правильности стало инстинктом. Он, например, специально грибов никогда не ищет. Бутылки — да, а грибы — нет. Они ему сами в кустах попадают. Еще и семи нет, а Прутов уже с полной охапкой грибов! И сотрудницы Здравницы, его встречая, кто с завистью, кто с сожалением, говорят: <<Ишь ты! И в лес ходить не надо. И где ты, Коля, их только ищешь?!>>

И к выпивке, а выпивает он каждый день, Прутов относится очень серьезно. Да это почти что та же работа, такая же нелегкая, как и слесарка. Собрать, помыть, бутылки сдать Катьке... сетку или две, а взамен получить бутылку или две, на обед выделить столько-то, на ужин столько-то, в перекачке на ночь (задвигку менять ночью будет) оставить стакан-пол-

тора, в противопожарном ящике на утро полстакана оставить — это когда домой уже будет идти — все у него распланировано правильно. И если это удавалось сделать, а к этому всегда душа его стремилась, спокойным доброжелательством светилось его лицо при встрече с Шишкиным, с которым долгое время жили они в одном доме. Светилось и при встрече с кем-то другим, остановившим Прутова, чтоб прикурить, парой слов перекинуться. Прутов неизбежно говорил при этом: <<Скоро Никола зимний...— или Никола летний... или Троица, Сретенье и т. д и т. п. — Бо-ольшой праздник — грех не выпить!>>

Так что он лично ставил бы <<пальцы>> на двадцать два. Но в данном случае он не один, он с Воропаевым, он как бы временно не только в своем, прutowском, мире, где все у него — правильно. Он уже наполовину и в мире Воропаева, а это уже мир совсем другой. Катька, например, у Воропаева всегда пересчитывает бутылки, а если видит Прутова, то говорит: <<Проходи, Коля, в подсобку, ставь в пустые ящики>>. А когда он выйдет из подсобки, спросит: <<Сколько?>> — <<Двадцать>>,— скажет Прутов. Или двадцать пять, или тридцать... И Катька тут же выдаст соответствующее количество вина. А у Воропаева она всегда пересчитает, другой человек Петя Воропаев.

Воропаев представляет основную массу сегодняшнего дня. Он, можно сказать, умнее Прутова, сообразительнее — десятилетка, военное училище, вообще соображает четко: раз начальство не обеспечило нужными <<пальцами>>, ставь какие есть! И кто тут скажет, кто разберет — что правильно, что неправильно. Прутов не хочет и задумываться — он ведь сейчас в их мире, в чужом. Вот если бы он сам работал, обязательно пошел бы в перекачку, стал, сбивая в кровь руки, выбивать заржавевшие, прикипевшие <<пальцы>> со старого насоса. Зачем? Чтоб кочегары спокойно работали? Да нет. Может, чтоб Медяница не дергалась из-за этих самых <<пальцев>>? Тоже нет! Как до кочегаров, так и до Медяницы — ему как до луны, как те, так и другие все

ведь не о том думают, не о том пекутся. О чем?.. О чем конкретно думать надо, печься надо, Прутов и сам пока не знает. Но он-то уверен, что именно об этом само собой как-то узнается попозже... потом... когда-нибудь... ну, а пока надо просто жить всем правильно, то есть серьезно.

Его сегодняшнюю жизнь определяют две вещи — вино и работа. У Воропаева, как и большинства сегодняшних работяг, тоже как будто две вещи все в жизни и определяют — вино и работа. Но почему-то всегда у них при этом какие-то лишние мысли бьются... суетливые, мелкие... Так, по крайней мере, Прутову кажется. Например, матерятся. А спроси — зачем? И сами не знают... Или вот о Медянице, о кочегарах языки чешут... косточки перебивают... а <<пальцы>>, между прочим, ставят не те...

Да, вроде бы те же две вещи — вино и работа. Но отношение к ним не то — небрежное, расчетливое какое-то... А настоящая-то жизнь — штука тяжелая... ох, какая тяжелая! Если в виду иметь настоящую жизнь. И надо эту тяжесть нести в себе, никому не жаловаться. Надо лишь постоянно делать так, чтоб все вокруг было правильно. А эти, дай волю, готовы совсем не работать. Но тогда как жить?.. А главное — зачем? .. Вот этого Прутов никогда понять не мог. Да и не старался — это их мир. Зачем они живут, зачем все время облегчаются как бы, упрощаются как бы?.. Наверное, чего-то тяжелого в них все-таки нет... В очень немногих людях он эту тяжесть невидимую замечает... вон разве что в Шуре только. Лет двадцать проработала в кочегарке, как же без тяжести-то.

Да, очень немногие так же истово, как он, пьют и работают. А Прутов в любом состоянии может работать профессионально. И это в Здравнице всем давно известно. Главное — найти его, доставить к месту работы, главное — в руки ключ вложить. А как ключ он сожмет, как рука его родное почувствует, сразу глаз сам собой начнет приоткрываться, моргать начнет, слезиться. А как приоткроется, как увидит какой-нибудь старый насос... сразу мысль в нем забрезжит... пусть слабенькая, пусть подобная утреннему туманцу,

по которому так хорошо в кустах грибки обнаруживать... а все же мысль — надо <<пальцы>> на двадцать два выколачивать...

Конечно, он мог и упасть по пути к работе в грязь или в снег. Но если его поднимут, а пока Бог миловал — всегда находилась какая-нибудь добрая душа — поднимала, притаскивала полузамерзшего Прутова в тепло... Так вот, если Прутова поднять, до дому дотащить, или хотя бы до теплой кочегарки, он за час-два отлежится и опять работать может. Да, он мог упасть, на час, на два отключиться от всего земного, в том числе и от работы. Но через час или два какая-то могучая сила вырывала его из забытийного состояния и мощно толкала вперед: <<Иди, Коля, меняй задвижку! А то совсем дерьмом затопит кочегарку!>> Он поднимался и шел. Страшно и больно было смотреть, как мотало его, бедолагу, при этом, какое нечеловеческое напряжение являла вся его подсушенная фигура. Глаза то и дело закрывались, синело лицо, ключ выпадал из рук... два совсем противоположных мира в эту минуту цеплялись изо всех сил за Прутова... Прутов ползал на коленях по склизкому полу перекачки, искал ключ на ощупь... прицеливался им к ускользающей в сторону гайке...

Но ведь, в конце-то концов, менял он все же задвижку, перекачка начинала работать нормально, а вся Здравница вздыхала облегченно: <<Коля налазил!>>

Сам же Прутов, на следующее утро куда-то спешащий, с неизбежно зажатой меж пальцев сигаретой, мог даже и не знать, каких героических усилий стоила ему вчерашняя эпопея по замене задвижки в перекачке.

Да, уж настолько крепко вбит в Прутова сверкающий какой-то стержень, что теперь в любой темноте можно полностью довериться его сверканию. Такое это сверкание, что года идут и идут, но, стоит лишь о войне заговорить, Прутов свою недолгую войну вспоминает: 72 часа на всю военную подготовку, марш-бросок на фронт в октябре сорок первого, пикирующий на них, пацанов необстрелянных, юн-

керс, пулеметную очередь, резанувшую по живому... <<Нам бы врассыпную... — рассказывает случайному собеседнику, — а мы как бараны в кучу... а он из пулемета... меня вот сюда... и сюда...>> — начинает показывать, рукав засучивать... под рукавом искалеченная рука...

А Воропаев не воевал, он офицер запаса. Он из тех офицеров, которым в конце шестидесятых так и не дал Хрущев по-настоящему поофицерствовать, распустил по домам — как хочешь, так и устраивайся. Для него, как и для Прутова, военная служба быстро закончилась. Но только ранен он по-другому — небрежением, оскорблением. Циником стал. С этим и живет... Посвистывая, ставит сейчас <<пальцы>> на восемнадцать, вместо двадцати двух по норме, сознательно добавляет и свою каплю в конфликт. С кем он, против кого — Воропаев и сам окончательно не знает. С одной стороны, вроде бы с кочегарами, сам рабочий человек. С другой — как-никак (хоть и в далеком прошлом) офицер... малость покомандовать даже успел, усладу успел почувствовать. То есть он и Медяницу понимает — как это обидно, когда не дают волю покомандовать... Ко всему еще он в глубине души и побаивается, она, Медяница, быстро скрутит в бараний рог. Не таких на его глазах скручивала. Конечно, всегда можно перейти в подсобное хозяйство, директор приглашал, хороший слесарь на дороге не валяется. Но ведь Воропаеву и здесь удобно, он привык, он на хорошем счету, нет-нет да и спиртшко перепадает. Так что лучше всего выждать, присмотреться... А вообще заварушка — это всегда на руку, в мутной водичке всегда легче... вон как сейчас вольготно, пока они между собой грызутся! Не до Воропаева. — Сейчас <<пальцы>> с Прутовым поставят — и в магазин.

— Эй, работнички, мать вас за ногу! — в насосную заглядывает посудомойка Волкова. — Вода-то скоро будет? Или мне цельный день в холодной барахтаться! А у меня ведь пятьсот...

— Будет, будет, — успокаивает Воропаев. — Сейчас <<пальцы>> набьем и... все тебе будет...

— Да ни хрена не будет! — тут же появляется кочегар из новых, с бельмом, парень, видно, жох. — Пальцы, тетка, все срезало, я ж в контору уже сбегал, объяснил — котлы притушил, без насоса мне, сама понимаешь, гнать котлы нет резона. Взорвать? А отвечать кто будет? То-то...

— Ну, дутье дашь, — говорит Воропаев, — и вся игра, раскочегаришь по-быстрому. Будет, будет тебе, Волкова, вода... ты иди... иди...

— Часа через три, — с хохотом кричит ей вслед кочегар с бельмом.

И они с Воропаевым начинают одинаково смеяться.

Волкова слышит, чертыхаясь идет от кочегарки по тропинке, на повороте у цветника шаг замедляет, — может, зайти ей в контору, пожаловаться на пятьсот тарелок, на жизнь такую собачью — так сама же и виноватой будешь... И она лишь в раздумье смотрит на руки опухшие, красные... смотрит на цветник — на красную звезду из тюльпанов на голубом незабудковом фоне и вздыхает. Тут видит она Наташу-секретаршу, от конторы перебегающую дорогу к лечебному корпусу.

— Наташ! — окликает Волкова. — Ну, как там у вас в конторе-то, все война?

— Ой, и не говори, Волкова, никак от этих бывших Галина Дмитриевна освободиться не может. Уж и уволены все, а не успокоятся никак, уж такие склочники, такие склочники!.. Да ведь ты и сама знаешь — всю зиму воды не было, тепла не было, а то вообще ищем их, ищем, а они ушли — чай пьют...

— Да, уж эту зиму намучились так намучались, не дай Бог! А сейчас-то чего воды нету? Не знаешь?

— Да, говорят, насосы новые ставят.

— Ну, дай Бог, дай Бог...

— Найдем, найдем, Волкова, и на них управу...

— Дай-то Бог, дай-то Бог...

Хоть и свой человек возглавляет комиссию, Медяница решила в грязь лицом не ударить, подготовиться получше. От заключения комиссии очень мно-

гое теперь зависело. Она говорила в конторе при Со-
нечке: <<Вот получим последнюю справку — и в
суд!>>

У себя дома в просторной гостиной собрала
нужных людей, с работы пораньше вытащила Васи-
лия. Чтоб усилить общее впечатление, небрежно
спрашивала его:

— Ну, ты — как? Подстраховал, чтоб статья в
<<Труде>> не вышла?

— Ну, разумеется, дорогая, — вальяжно отве-
чал муж, поблескивая генеральским погоном. — Один
известный космонавт звонить будет. Частным обра-
зом... пока... поинтересуется, подробности узнает...
порекомендует не спешить... Да я почти уверен, что
даже такой частный звонок... подействует. С Космо-
сом, дорогая, не шутят!

— Ну, хорошо, хорошо... а что у нас, товарищ
Гусакова?

— Я всем объяснила, что сказать на комиссии...

— Да не объяснить было надо, а ... — Медя-
ница взвинчивала свое раздражение, нанося беспо-
щадные удары по незримой линии, проходящей у нее
за спиной, где-то на уровне затылка. Линия связывала
мужа с этой чугунной Гусаковой. — Вот оно ваше
школьно-педагогическое образование, товарищ Гуса-
кова! Написать надо было каждому. Написать! Напи-
сать — и пусть прочтут все по бумажке: ведь все
официально будет протоколироваться! Ведь начнут
нести отсебятину — позора не оберешься! Сколько ж
можно вас учить, товарищ Гусакова?!

— Век живи, век учись, Галочка, — из-за ее
спины весело говорил генерал, она угадала, что он
сейчас ласково улыбается этой противной Гусако-
вой...

— Слушай, помолчал бы! — резко повернулась
к мужу и успела-таки захватить его врасплох с этой
ласковой улыбкой. — Хы-ы... — выразительно-хищно
выдохнула прямо в лицо мужу.

— Да вы не беспокойтесь, Галина Дмитриевна,
— наливаясь краской, сдержанно произнесла Гуса-
кова, — я, как народный контроль, просто уверена,

что народ понял... коллектив сплоченный... люди возмущены до глубины души, так что все будет хорошо...

— Ну, ладно... список выступающих у вас с собой? Дайте-ка...

Почти вырвала из рук. Стала быстро пробежать глазами список.

— А где же Прутов?

— Категорически отказался, Галина Дмитриевна, никогда, говорит, не выступал, никогда, говорит, ничего не подписывал...

— Ну, хорошо — мог бы и не выступать, но общее заявление от коллектива Здравницы — почему не подписал? А? Да объясните вы этому чучелу... подписать всего-то! А?

— А ему все равно, Галина Дмитриевна, — сказал Салапуров. — Дег... это... как это... деградировался... ну да... совсем деградировался наш уважаемый Коля Прутов... совсем... то есть не просыхает...

— Ладно, с Прутовым сама займусь... а почему нет Волковой?

— Да Волкова не хочет, говорит — одна шайка-лейка.

— То есть как это — шайка-лейка?! Что она в виду имеет?

— Да ничего она не имеет, — откашлялся Семеныч, — премию в прошлом месяце не дали, вот она и артачится.

— Так зачем же лишать ее премии? Нашли кого лишать!

— Так были ж жалобы, Галина Дмитриевна, на плохое мытье посуды, вот и...

— Идиоты. Ну, какие же вы, братцы, все идиоты! При чем здесь она, если воды горячей полмесяца не было! — Медяница отбросила список на стол. — Салапуров! — Тот вскочил, — Выступишь обязательно. Но не как начальник кочегарки, а как электрик. Об их халатности в противопожарном отношении и все такое-прочее. Ну знаешь сам...

— Да, Галина Дмитриевна, пожар был, но виноваты кочегары.

— Ты что?.. того?.. какой пожар?! Салапуров — золотце! Самоварное!

— А-а... все ясно. Есть. Могила. Молчу, молчу...

— Нет, вы только подумайте, люди добрые! — всплеснула руками Медяница. — Да при чем тут могила?! Могила-то при чем?! Тебе выступить надо. Ну, и народец... у-уф! Выступить, Салапуров, надо, рот надо, значит, открыть. И сказать... А что сказать-то?

— А что сказать-то? — как эхо повторил Салапуров.

Генерал захохотал, выгоревшая щетка усов заходила вверх-вниз, усиливая странное ощущение, что усики, скорей всего, капроновые. Медяница, поджав губы, глянула на него, он замолчал, она вернулась к Салапурову:

— Всего два слова — пожара не было. Запомнил?

— Пожара не было.

— Вот так!

Обговорив в деталях предстоящую встречу с комиссией, всех отпустила и, словом не обмолвившись с мужем, пошла принимать вечернюю ванну. Настоянную на семи травах. Рецепт дала ей бабушка с Алтая, та самая, что знает, где сейчас Гагарин.

Ванна на семи травах должна не только омолодить за полгода все тело, но и наполнить его какой-то особой эфирностью — так, во всяком случае, Медяница перевела для себя не очень вразумительные бабкины певучие фразы о каком-то сиянии или свечении в области головы и сердца. Но эфирность эфирностью, а, как всегда, после ванны на семи травах Медяница ощущает такой прилив сил — горы свернуть готова. Ей даже жаль слегка мужа, и нет в ней уже нестерпимого желания устроить ему хорошенькую головомойку за эту Гусакову. Ну, никакого вкуса у мужика! Никакого к себе уважения. Ее не волок — один потолок. И это в Здравнице всем известно. А он ведь генерал все же!

Вытираться после ванны из семи трав нельзя ни в коем случае, лишь хорошенько растереть тело ладонями, халатик набросить и все. И вот она в ком-

нате — свежая, с каплями воды на лице, благоухающая семью травами Алтая...

— Ты знаешь, Вася, все ж беспокоит меня этот Лебедев! Очень! Когда у второго секретаря собирались на прошлой неделе, он все-таки поднял вопрос о процентовках. Прямо в кабинете. Ты представляешь?! Нет, я должна ему немедленно позвонить!

— А стоит ли, Галя? Стоит ли клопа дразнить, клоп ведь и так...

— Стоит, стоит — не мешай! — Она решительно набирает номер. — Герман Петрович. С вами говорит Медяница. Главврач.

— Добрый день, вернее, вечер, Галина Дмитриевна, — слабо отозвалось на другом конце провода, — чем обязан?

— Процентовки, — срывающимся голосом заговорила Медяница. — Зачем вам процентовки? Вы же старый человек! Одной ногой в могиле. И встаете на сторону людей аморальных, лишенных обыкновенной человеческой жалости. Вы ж не такой, Герман Петрович! Не такой! Не такой! — едва сдерживая рыдания, кричала Медяница.

Генерал внимательно взгляделся в побелевшее лицо жены и на всякий случай пошел на кухню, накапал в стакан капель.

— ;! вы меня пожалейте! Я знаю, у вас есть дочь... моего возраста... — все больше распалась Медяница. — Разве ж вам не жалко собственную дочь?!

— Галина Дмитриевна, — пытался вставить хоть слово Лебедев.

— Нет, нет — это вы меня пожалейте! Герман Петрович. Вы — меня!! — тут у нее брызнули самые настоящие слезы.

Генерал перепугался не на шутку, засопел, подошел поближе, словно бы хотел защитить, стакан протянул.

— Я ж не выдержу этого позора. Этих процентовок! Как же вы не понимаете?! Это же унижительно!! Это просто унижительно!!!

— Галина Дмитриевна... ради бога...

— А я вам еще раз повторяю — я этого позора не - вы-не-су... — завывала вдруг Медяница так низко-низко.

И генерал, перепуганный донельзя, бросился к ней, расплескивая воду, она ж оттолкнула сильно, сверкнув зло глазами.

— Я отравлюсь! Или повешусь! И это будет на вашей совести! Я это сделаю, Герман Петрович... вы ж меня знаете!

Бросив трубку, она глянула на растерянного мужа, застывшего со стаканом в руках. Халат мокрый на животе от пролитой воды, капроновые усики подрагивают, ей жалко и смешно, она ободряюще говорит:

— Да, да, Васенька — этот Лебедев — комсомолец двадцатых годов. Из тех, что пели: <<Мой паровоз, вперед лети...>> И когда они только перемерут, а?

— Ну и ну... — бормотал генерал, возвращающийся на кухню, чтобы выплеснуть никому не нужную воду.

На следующее утро, подтянутая и бодрая, энергично прошла к себе в кабинет. Прутов и Воропаев уже ждали в приемной. Улыбнулась им: <<Проходите, проходите...>> А в кабинете сразу прошла к сейфу, распахнула, взяла бутылку и весело встряхнула. От взлетевших сразу к горлышку сверкающих пузырьков прибавилось света в кабинете — тотчас стало ясно, что это 95%-ный, неразбавленный. Продолжая улыбаться, Медяница медленно подошла к Прутову и протянула бутылку. Тот, застонав вожделенно и тем еще больше рассмешив ее, потянулся к бутылке обеими руками. Но Медяница была начеку и тут же бутылку отдернула.

— Не-е, Коля, сперва вон на столе бумажку подпиши, а уж потом и получишь... это... — и вновь встряхнула бутылкой, гипнотизируя Прутова с очень близкого расстояния, — подпишешь, а?

Прутов молчал и сопел, и Медяница принахмурилась.

— Ну, Коля, я жду, — уже нетерпение пробивалось в ее певуче-ласковом голосе, и Воропаев, услышав это, стал Прутова к столу, к бумаге, подталкивать, мол, соглашайся поскорее, подмахни, ведь пополам разбавить, и то литр будет!

— Ну, — уже поостроже сказала Медяница.

— Так это, — сглотнув слюну, сказал Прутов. — Я не могу.

— Хорошенькое дело! Все могут, а он, видите ли, не может! Делов-то! Вон бумажка, вон ручка — подмахивай и забирай! — И Медяница так взмахнула бутылкой, что Воропаев простонал утробно, а Прутов все молчал, молчал и на бутылку глядел.

— Ну, я жду... в чем дело? Прутов, а?

— Так это... не могу...

— Но почему? Почему? Или ты считаешь, что правы кочегары?

— Нет... — не сразу Прутов отвечал.

— Значит, тогда права я, ведь так же?

— Не знаю... — не сразу Прутов отвечал, не спуская глаз с бутылки.

— Ну, а раз ничего не знаешь — то вон ручка, подпиши — и получишь вот это? — Медяница медленным движением подвигала бутылкой перед лицом Прутова. Холодная, чистая, крепчайшая жидкость вновь заискрилась, заиграла, она обещала столько наслаждений, что Прутов глаз оторвать не мог, Воропаев изо всех сил толкал его под бок:

— Соглашайся, соглашайся... да я бы... да мне бы... да я бы... за стакан — башку кому хошь... а уж за бутылку!

— Ну, так что же, Коля! Я — что? — так и буду тут стоять перед тобою?! — Медяница сухо прищурилась, открыто-презрительно Прутова рассматривая, она уже почти приказывала. — Ну!

— Не могу... — не сразу Прутов отвечал.

— Эх ты! — скривя красивые яркие губы в насмешливую усмешку, Медяница медленно развернулась и медленно к сейфу пошла.

— Дурак! — зло крикнул Воропаев Прутову прямо в лицо. — Ну, и дурак же ты, Прутов! Да я не

знаю, что б сделал. Да я б за бутылку их всех с дерьмом смешал! Дайте, дайте мне, Галина Дмитриевна, я им покажу! Я им... — Воропаев сжал могучий кулак...

— Не-е, — певуче и зло сказала Медяница, — ты, Петя свое уже получил, — сунула бутылку в сейф, щелкнула замком, — идите... идите, и что б ни одна душа мне!

— Само собой, само собой, — говорил Воропаев, птясь из кабинета, Прутова за собой вытаскивая, — за меня уж будьте спокойны, а насчет Прутова... Прутов, как? — Прутов молчал, глядел в сторону сейфа, и Воропаев подмигнул Медянице, мол, видите, Галина Дмитриевна, и за Прутова можно быть спокойной, ему и мысль не придет рассказать о чем-либо, у него ж все мысли об одном...

Когда дверь за слесарями закрылась, Медяница какое-то время бездумно смотрит на эту дверь, потом мысль приходит, что Прутов, действительно, дурак... Воропаев тут, безусловно, прав... И что он там еще такое говорил... что за бутылку смог бы сделать?.. с дерьмом смешать... это, вообще-то, неплохо... бутылки есть...

На другой день в Здравницу прибыла комиссия народного контроля. Лебедева в комиссии не было, говорили, что сердце прихватило. Вместо Лебедева теперь Давыдов. Комиссия зашла в кочегарку. Минут на десять, поговорила с новыми кочегарами. Птицын хотел было тоже пройти с комиссией. Но ему вежливо сказали, что, поскольку он здесь уже не работает, то и нечего в кочегарке делать. Потом комиссия часа на два заперлась с главврачом в кабинете. Потом и бывших кочегаров пригласили. В кабинете уже были кроме комиссии — Семеныч, Алешина, Осинка, Гусаква, Салапуров, Воропаев, короче, все свои.

— Ну, что ж, — довольным голосом открывая заседание, сказал увешанный наградами товарищ Давыдов, — мы только что прошли по кочегарке здравницы, все осмотрели, и, надо сказать, впечатление отрадное. Стены, товарищи, хорошо покрашены, бытовка в прекрасном состоянии, просто в прекрасном, товарищи! На столе — цветы, на стене — кар-

тина <<Аленушка>>, мягкие кресла, чистота. Да товарищи, даже забываешь, что ты в кочегарке... Естественно, все котлы работают исправно... Ну и понятно, что опрошенные комиссией кочегары, из тех, кто сегодня на смене, подтверждают общее мнение комиссии, - а нас девять человек, нет лишь одного Лебедева, работать можно! Работать нужно! Сколько ж можно, товарищи, лишать отдыхающих Здравницы заслуженных водных процедур?! Сколько же можно, товарищи, лишать жильцов тепла и горячей воды?!

Товарищ Давыдов отпил воды из стакана и продолжил:

— Из всего сказанного вытекает вопрос к вам, товарищи бывшие кочегары. В чем дело? Почему после вашего увольнения кочегарка вдруг заработала нормально? И почему такая пачка жалоб, актов, — Давыдов выразительно потряс толстой пачкой бумажек, — накопилась за время вашей работы? Это оценка вашей, так называемой, деятельности! Вашего, так называемого, усердия и дисциплины! И поэтому, прежде чем разбирать вашу жалобу в народный контроль на работу администрации Здравницы, давайте-ка поговорим сперва вот об этом, — и Давыдов опять помахал пачкой бумажек.

— Разрешите мне, — встал Семеныч. — Я хочу сказать, что тон, каким говорят эти четверо со мною, с Кирой Игнатьевной, с Галиной Дмитриевной, — это, товарищи, не тон... это жаргон какой-то блатной. Ни уважения к женщине, ни элементарной сдержанности! Эти люди самого низкого морально-нравственного уровня. Да что с них взять, если один из них, вон, к примеру, Рыбак... гм... хм... взял жену на пятнадцать лет моложе. На семнадцать — мне тут подсказывают! Да, по уточненным данным — на семнадцать! Она же ему в дочки годится. А другой вообще, под следствием был! Это всем известный Малышев! Ну, а Шишкин — этот вообще... хотел меня железным ломом ударить! И это при исполнении служебных обязанностей. Одно это, товарищи, уже говорит о моральном облике этой так называемой бригады кочегаров!

Семеныч сел и тут же поднялся Салапуров.

— Я постоянно наблюдал, — начал по бумажке Салапуров, — как все они отлучались с рабочего места. И в этой пачке докладных — есть и мои докладные. По их вине насосы выходили из строя, ломался рабочий инвентарь, мебель в бытовке, около котлов подметали очень плохо, на смене играли в шахматы, читали разные книжки. И еще хотел бы сказать о грубости. Конечно, такая грубость, о которой и говорить стыдно. Я сам своими ушами слышал, как Малышев — здесь в конторе кричал на Галину Дмитриевну: <<Крутишься, как вошь на гребешке!>>

— Это я кричал, Салапуров! — перебил Шишкин. — А не Малышев.

— А-а... — отмахнулся Салапуров. — Одна шайка-лейка!

Салапуров сел и с облегчением вздохнул.

— А было, Салапуров, — тут же вскочил Малышев, — как ты сидел у кочегарки в кустах, по приказу главврача, ждал, когда я уйду в столовую за молоком, чтоб сразу настроичить на меня телегу?! И не один ведь раз сидел-выслеживал. Было?!

— Нет, Малышев, этого не было.

— Ах ты, гад, — Малышев бросился было к Салапурову, кочегары удержали его.

— Вот полюбуйтеесь, — показал пальцем изрядно струсивший Салапуров, — вот они все какие!

— Ка-акое безобразие! — выразительно поморщился Давыдов. — И как вы только терпели все это, Галина Дмитриевна. Ангельское, должно быть, сердце у вас.

— Вот так и жили, — скорбно покачала головой Медяница, — постоянно вот такие эксцессы, постоянно нарушение графика работы, хулиганство... разложение на бытовой почве... контакты с антисоциальными элементами и-и... теперь после такого нашего терпеливого к ним отношения они еще мутят воду! Мутят на чистом месте! Просто диву даешься!

— Позвольте все же мне, — встал Шишкин, — товарищ Давыдов? Дайте, я все-таки зачитаю наше заявление в народный контроль! Поданное нами туда после пожара.

— Но, товарищи! — Давыдов, представительный, при многих ярко начищенных значках на широкой груди, монументально возвышался над женским белоснежным окружением, он широко улыбался.

— Но, товарищи, какой пожар?! Какой пожар может быть в вашей образцовой кочегарке?! Это ж просто смешно — чему там гореть. Нереально!

— И все-таки. Дайте, я зачитаю наше заявление! Чтобы картина у комиссии несколько прояснилась, а то я вижу, что многие члены комиссии вообще не понимают, о чем тут речь... Галина Дмитриевна, позвольте наше заявление...

— Оно есть, оно есть... — Медяница деловито стала перекладывать бумаги на столе, — но только сейчас его нету, а так-то оно есть, конечно...

— Да не нужно оно, Галина Дмитриевна, не нужно, — отмахнулся Давыдов, — я думаю, товарищи, всем и так все ясно!

— Ну, хорошо, — сказал Шишкин, — заявление пропало. Но как комиссия оценивает тот факт, что кочегарка из года в год работает все хуже и хуже? И это, несмотря на то что в прошлом году мы сожгли в январе, к примеру, сто сорок тонн угля, а в этом январе — двести восемьдесят уже! То есть работали все же, не воду мутили, как тут пытаются нас обвинить. Наоборот, пытались воду нагреть! А вы знаете, что это такое — сжечь за месяц двести восемьдесят тонн?!

— Сто сорок, двести восемьдесят ... — вальяжно и небрежно отмахнулся орденосный Давыдов, — какая разница, вы же кочегары. Вы ж топить должны! Неужели это вам непонятно?! А сто сорок или двести сорок — нет вопроса!

— Да-а... — в наступившей тишине негромко произнес Птицын. — А в Голландии люди научились уже отапливаться парным молоком, пока оно по трубам идет из коровника, стараются, чтоб ничего не пропало... все бы шло на пользу, а у нас — что сто сорок, что двести восемьдесят — нет вопроса!

— Ну, ну, ну, — сделался очень строгим товарищ Давыдов. — Вы тут не очень-то... ишь, Голлан-

дией какой-то нас тут пугают! Нас не запугаешь! Не на тех напали!

И опять Давыдов с победоносной улыбкой оглядел бело-крахмальный медперсонал, что его окружал. И многие в ответ ему стали улыбаться.

— Ну, раз так, — Шишкин поднялся. — Совещание приняло окончательно неделовой характер, думаю, воду в ступе толочь нечего, — я пошел.

Тут же вскочил и Малышев, как-то неопределенно фыркнув при этом, побежал за Шишкиным. Не торопясь поднялся и вышел Птицын. В наступившей тишине негромко и жалостно прозвучал голос выходящего последним Рыбака:

— Я в этой кочегарке все жилы себе надорвал, сердце болеть по вечерам даже стало...

— Ах, бедненький! — зло произнесла Медяница вслед ему.

И Салапуров бездумно, с каким-то странным облегчением громко расхохотался.

Комиссия, возглавляемая Давыдовым, пришла к выводу, что во всем виноваты сами кочегары, что кочегарка в нормальном состоянии. Но, когда протокол повезли к Лебедеву, он отказался подписать. И теперь все должно было решиться у первого секретаря.

Алексей Борисович Шеламов — первый секретарь горкома партии — всех пригласил на десять. И по тому, как рассаживались приглашенные, отметил, что с Медяницей пришло раза в четыре больше. Да, собственно, с кочегарами на противоположном конце длинного стола сел один лишь Лебедев.

— Итак, Алексей Борисович, — Давыдов встал, решительно одернул пиджак и развернул листок. — Комиссия, которую я возглавил, закончила работу в срок. Вот заключение по конфликту бывших кочегаров Здравницы с главным врачом Медяницей Галиной Дмитриевной. Комиссия провела большую и серьезную работу, изучили сотни материалов, опрошены десятки свидетелей, заслушано заключение техниче-

ских экспертов. В результате чего комиссия пришла к выводу, что в возникшем конфликте неправы кочегары Шишкин, Малышев, Рыбак и Птицын, которые нарушали правила эксплуатации котельной. Со стороны же главного врача никаких нарушений не было. Прошлогодний ремонт, на который затрачено сто двенадцать тысяч рублей, проведен качественно, теплотрасса и котельная в хорошем состоянии, а все перебои с горячей водой и отоплением происходили только по вине кочегаров, которые работали плохо, о чем имеются соответствующие акты и документы дежурных врачей и местного комитета...

Пока Давыдов неторопливо и внушительно читает заключение, первый по старой привычке приглядывается к лицам. Лицо, если его не вспугнуть, застать в момент наибольшего своего выражения, может много поведать. Со стороны казалось, что первый лишь изредка скущаяще разок-другой взглянет, скользнет по чьему-то лицу. Но это не так. Одно из качеств настоящего партийного работника — вроде б и не глядеть, а все видеть.

Так вот, лицо Медяницы и лица с ней сидящих спокойны, спокойны и глаза. Лишь по самым краешкам глаз посверкивает несдерживаемое торжество. А лица кочегаров совсем другие. У одного взволнованно-недоуменное, у другого — нервно-страстное, у третьего — почти что обреченное. Четвертый, что был постарше и сидел рядом с Лебедевым, сжал губы крепче и не спускал наполненных презрением глаз с внушительной фигуры Давыдова.

— Разрешите ваше заключение... — Алексей Борисович взял из рук Давыдова листочек, стал быстро пробегать глазами. — Не вижу подписи Германа Петровича...

— Алексей Борисович, — Давыдов опять было начинает вставать, но первый машет, мол, вставать не надо, и Давыдову ничего не остается, как грузно вновь на стул опуститься, отчего вся его внушительность наполовину теряется, и сам он, по всему, обижен этой потерей внушительности, краснеет, вертит головой и, только прочистив горло негромким покаш-

ливанием, продолжает: — Алексей Борисович! Товарищ Лебедев игнорирует общее мнение, он пошел на поводу у кочегаров.

— Он спелся! — срывающимся голосом добавил Семеныч.

— Товарищ Лебедев? — первый поворачивается к Лебедеву.

— Не подпишу.

— Это почему же? Если все уже подписали?

— Потому что, Алексей Борисович, все это неправда!

— Неправда? У вас что — особое мнение?

— Да... особое.

— А именно?

— Алексей Борисович! — Лебедев вскакивает, с шумом отталкивая стул. — Ведь все, ну, буквально все поставлено с ног на голову! Кочегарка и сейчас в тяжелейшем состоянии, а впереди ведь зима. И все это следствие некачественных ремонтов. На последний же из них затрачено ни много ни мало, а сто двенадцать тысяч! Теплотрасса отвратительная! Я сам по ней прошел не раз — там парит, здесь течет, тут вообще не зарыто. Как так можно работать! И вот эти люди...

Маленький тщедушный Лебедев взмахивает рукою над головами кочегаров.

—... И вот эти люди, которые по заключению комиссии — лодыри! — за один только январь сожгли двести восемьдесят тонн угля! Вдумайтесь — двести восемьдесят тонн! Это, значит, по девять с лишним тонн за смену! Девять тонн! А их ведь надо во дворе кочегарки сперва надолбить, если мороз-то! Потом совковой лопатой в тачку накидать, — Лебедев выскакивает из-за стола, выбегает на серединку просторного кабинета, начинает показывать, как совковой лопатой кидают уголь в тачку, — вот так! вот так! Потом, — он распрямляется, — надо тачку отвезти в кочегарку, а это сорок два метра — я сам замерял, а зимой по снегу, по сугробам, — бежит на месте с воображаемой тачкой, широко расставив руки при этом, — у котлов все вывалить, — показывает-вываливает, — в

топку закидать, — показывает, в топку закидывает, — а потом ведь надо прогоревший шлак отодрать, обратно во двор вывезти, еще, значит, сколько-то тонн! — наконец, совсем запыхавшись, отряхивает руки. — А вы говорите — лодыри! Нет, не лодыри они! — и опять этот торжественно-величественный взмах немодным рукавом над головами кочегаров...

Первому даже немного и странно, какие все же лица у этой четверки внезапно присмиривших кочегаров. И в широком этом взмахе над их головами ему, по партийной привычке глядящему не прямо, а сбоку, чудится сейчас нечто... метафизическое нечто... нечто сродни взмаху какого-нибудь ангела-хранителя. Если, конечно, такие ангелы-хранители существовали на самом деле. Впрочем, для этой четверки Лебедев и есть тот самый ангел. Без него бы им точно — труба.

—... Так вот - не лодыри! — запыхавшись, продолжает Лебедев страстно, — а годами своей самоотверженной работой прикрывали чью-то расхлябанность, чью-то халтуру... Да не чью-то, а вот этих людей! — тычет пальцем в Медяницу, в Семеныча, в других...

— Это безобразие! — отшатнувшись от лебедевского пальца, воскликнула Медяница. — Я буду жаловаться. Клевета! Клевета!

— Ах, клевета! — подхватывает было успокоившийся Лебедев. — Хорошо. Процентки за последний капремонт — на стол! И будет видно — клеветем ли мы на главврача Медяницу или действительно из ста двенадцати тысяч, на ремонт отпущенных, дай бог, чтоб половина пошла на кочегарку.

— И половина не пошла, — не выдержал Малышев, хотя и давал ребятам слово не высовываться.

— Процентки! — прихлопнул Лебедев по столу. — Мы беремся доказать, что там и половины не сделано из того, что записано! А деньги, между прочим, получены сполна.

Наступило молчание.

— Спелись, — негромко всхлипнул Семеныч.

— Да, это — стена, — так же негромко добавила Медяница. — Просто стена.

— Но есть же акт — заключение по проверке комиссией народного контроля, — напористо и громко сказал Медяница-генерал, сидящий рядом с женой — Это же, Алексей Борисович, официальный документ!

— Да, да, — тут же подхватил и Давыдов, — наша комиссия, кстати, проверяла и процентовки по последнему капремонту... там все сходится... ну, буквально - все.

— Тогда почему же комиссия не допустила нас? — спросил Шишкин. — Когда мы хотели пройти с комиссией в кочегарку. Почему?

— Да, Алексей Борисович, — вставил и Лебедев, — никак нельзя верить такой комиссии, которая не допустила кочегаров! Надо было их обязательно допустить!

— И мы бы тогда конкретно показали, а что же не сделано только по последнему капремонту. А не сделано там очень и очень много! — с веселыми нотками в голосе заговорил Шишкин. — Так, например, записано, что батарей сто штук заменено, а заменили только двадцать пять! Там записано, что переложено семьсот метров трассы, а ее и не трогали! Там записано, что фундаменты под котлами новые, а они как старые стояли, так и стоят...

— Да, — подхватывает Лебедев, — там, Алексей Борисович, много чего понаписано. Давайте глянем процентовки, а ... а потом уж и судите меня за клевету... и меня, и кочегаров.

— Да, да, — весело зашумели кочегары. — Процентки — на стол! А потом уж и судите! А потом уж и от восьми до двенадцати!

— Процентки! Процентки!! А потом уж и судите!

— Да никто вас, Герман Петрович, судить не собирается, — рассудительно произнес прокурор города, сидящий особняком, возле кактуса на подоконнике, молчавший до сих пор.

Прокурор в форме, лицо слегка вытянуто книзу и от этого странно-печальное, полукружья залысин как-то к месту, как-то дополняют и мундир, и звезды. Глаза у прокурора глубоко спрятаны, по-видимому,

умные, хотя рассмотреть их почти невозможно. Даже имя соответствовало чему-то прокурорскому — Иван Иванович.

— Да, да, уважаемый, Герман Петрович, — глуховато продолжает прокурор, — никто судить вас не собирается... что же касается процентовок... то их, действительно, гм... хм... проверяли... был в комиссии и наш человек, специально ими занимался... так что я, как прокурор, считаю, что еще одна проверка смысла особого не имеет...

— Нет, имеет! — настаивали кочегары.

— Нет, не имеет! — на своем стояли члены комиссии.

— Процентовки — на стол! — требовал Лебедев.

— На стол. На стол! — Шишкин с явным уже злым смешком постукивал ладонью по столу, показывая, где бы он желал их немедленно видеть.

— О-о-ох... — вырвалось у Медяницы, и так она при этом глянула на слишком уж развеселившегося Шишкина, что у того вдруг все внутри похолодело.

Презрением, барской спесью так и обдало Шишкина с ног до головы, тысячетлетним, извечным разделением на слуг и господ. И тогда, охваченный неожиданно мстительно-жарким инстинктом, он без шутовства, уже срывающимся голосом, крикнул:

— Процентовки — на стол, Галина Дмитриевна!

— А ну, не ори тут на меня! — взвизгнула в ответ Медяница.

— Какое безобразие! — зашумела комиссия. — Да что тут они себе позволяют! Да что они тут о себе возомнили! Да разве ж раньше позволили б такое! В бараний рог бы раньше-то!

— А ну, прекратить! — первый поднял руку, и шум сразу затих. — Все свободны. А вы, Иван Иванович, задержитесь немного.

Когда вдвоем остались, не скрывая раздражения, спросил:

— Что за комедия, Иван Иванович, с этими процентовками? Кто от Прокуратуры был?

— Да Журавлев... домами дружат...

— Понятно... она — что... действительно... — первый поморщился, — половину в карман положила?

— Э-эх, Алексей Борисович... половину не половину, а... — и прокурор развел руками, печальное его лицо стало совсем унылым.

— То-то доходят тут слухи... и про дачу, и про баню с бассейном... Ай да генеральша. Только... только все это так некстати, если б вы только знали!

— Понимаю, — уныло сказал прокурор, — не маленький.

— Городу хотят присудить первое место... знаете?

— Знаю... дело хорошее...

— Знамя вручать будут... нет, некстати! Все так некстати!

— И генерал к тому же...

— Ну, генерал, генерал... при чем тут генерал?

— Да как же — из Военной Прокуратуры звонили уже ... и кэзэбэ уже проверяло...

— Ну?

— Да какое там вредительство, какой там саботаж! Чушь все собачья!

— Да-а... — Шеламов вздохнул. — Она что — не могла с этими кочегарами договориться как-то... по-человечески? В милицию потащила, в суд, довела конфликт до КНК СССР! Не могла на месте договориться как-то?! Она что — дура?

— Ну дура не дура... а вроде той барыньки спесивой, когда что хочу, то и ворочу... а в результате... влипла и мужу теперь неприятности.

— И главврачом работает!

— А муж-то? С космонавтом номер два или три, — а... неважно, какой номер, большой человек, — в одной машине ездит.

— Да-а... и все-таки, Иван Иванович, что-то делать надо, а? В принципе мы, наверное, можем послать ответ в КНК СССР и без подписи Лебедева, как?

— В принципе — да. Но ведь тогда Лебедев напишет особое мнение, а поскольку он в партии с двадцать седьмого года...

— С двадцать седьмого! Мы с вами, Иван Иванович, еще и не родились, а он уже в партии! Здорово!

— Здорово... — уныло усмехнулся прокурор, — но теперь вот... такой казус.

— Ну, поговорите с Лебедевым еще разок... осторожно, обо всем не надо... так сказать, в общих чертах — в какое глупое положение он ставит наш город, ведь без первого места остаться можем! В конце концов, он же патриот города. Он же, если мне не изменяет память, коммунарком тут был. Он что, действительно, воспитанник коммуны?

— Разумеется. С Лениным встречался, с Крупской... даже работал с ней одно время.

— Ну вот, можно сказать, золотой наш фонд... да-а, золотой фонд и... вот поди ж ты — уперся — и все!

— И еще как уперся-то, Алексей Борисович!

— Ну поговорите, поговорите... насчет квартиры выясните, может тесновата, или еще что там... может, нуждается в чем? А может, его за безупречную работу в народном контроле наградить?

— Да у него этих грамот, дипломов!

— Да нет, я в виду имею бесплатную путевку какую-нибудь в ГДР... вид не ахти... разволновался... поговорите с ним, а?

— Поговорить можно, — прокурор пожал плечами. — Но это же — Лебедев.

— И вы думаете, нельзя договориться... по-человечески?

— С двадцать седьмого года в партии...

— А партия с какого?! То-то! Ведь мы можем не только уговаривать, но и... но и крепить свое единство другим путем.

— Да понятно, понятно... сегодня же и поговорю...

В тот же вечер прокурор звонил Лебедеву и подробно объяснял ситуацию, в которую тот сам себя загнал.

— Герман Петрович, — говорил прокурор, — я считаю, что для нас с вами, как для членов одной партийной организации, важнее сейчас более широкий, так сказать, кругозор. А это — переходящее знамя, завоеванное городом во Всесоюзном соревновании. Его честно заработали тысячи тружеников нашего замечательного города. И никак нельзя лишать их такой награды. А поэтому, не дай бог, что-то всплывет сейчас не очень хорошее... с этой Медяницей, вы понимаете?! Прощай, знамя! Давайте хотя бы повременим? А? То есть на сегодня — никаких процентов, а? Пока, Герман Петрович, пока... пусть знамя вручат, а?.. И подпишите вы этот пресловутый акт... никакого криминала в этом не будет... кочегаров устроим потихоньку, найдем каждому хорошее место... в общем, компенсируем как-то недоразумение с этими дурацкими... ну, просто по-бабьи дурацкими их увольнениями по статье... Ну, не артачьтесь, Герман Петрович!

— Да нет, Иван Иванович. Я остаюсь при своем мнении. Процентówki — и доведение начатого дела до конца. А то что же получается, Иван Иванович? Получается, что на еще не полученное знамя мы с вами уже готовим большое грязное пятно. Нет, я так не могу...

— Герман Петрович. Играете с огнем! Говорю вам как член бюро — играете с огнем!

— Понимаю.

— Да ни шиша вы не понимаете! Ведь билет на стол положите!!

— Понимаю... но не могу... извините, Иван Иванович...

— Ох, Герман Петрович, Герман Петрович... А если подумать?

— Нет. Не могу.

После этого разговора Зоя Ивановна — жена Лебедева — уж думала, что придется опять вызывать

неотложку, но как-то Бог миловал. Был весь вечер задумчив Лебедев, не по-хорошему как-то задумчив. Старые бумаги перебирал, грамоты, награды, значки... ордена и медали... Потом пошел гулять с собаками — с Машкой и Данькой, беспородными дворнягами. Потом чай они пили с вареньем. Потом еще раз перед сном вышел подышать свежим воздухом. И тут звонок. Медяница: <<Германа Петровича можно?>> — <<Но его нет>>, — <<А он мне очень нужен>>. — <<К сожалению, нет...>> — <<Тогда передайте ему... впрочем, я сама лучше, сама...>> Зоя Ивановна про разговор с Медяницей мужу ничего не сказала.

Он с прогулки вернулся, в кладовку зачем-то отправился, стал перебирать разный хлам — ламповый старый приемник попался, рация еще военной поры... телефоны... детекторный приемник обнаружился — совсем уж рухлядь. Вспомнилось, сколько радости было в доме, когда собрал он этот первый в своей жизни детекторный приемничек... А теперь все это хлам ненужный... да и сам он старый, изношенный человек, под стать этим никому не нужным вещам.

И тут ему на глаза попала еще одна вещица. Она была в самом углу, в потемневшем от времени ящике, занимавшем весь угол. Собственно, это был тяжелый ларь для картошки. И вот, приподняв темную, пыльную крышку, он обнаружил под нею... часы, еще те — коммунарские. И вспомнил, конечно, все — мастера Серебрякова, юбилей, к которому часы они тогда мастерили... неожиданные аресты, за несколько дней уничтожившие коммуны... Он мог бы многое вспомнить... как зарывали в землю коммунарское знамя, ночью как часы везли сюда на тачке... глядел сейчас на них и думал, что, наверное, попади в хорошие руки, еще и сегодня можно было бы их запустить. Удивительные часы. Столько всего тут наворочено! Сколь велико желанье было — ничего не пропустить, закрепить в этих по-юбилейному нескладных часах, увековечить... Зоя Ивановна давно спала, угомонились псы, а он, пригорюнившись, все сидел и сидел. Какая-то концентрированная энергия, не-

смотря на пролетевшие годы, продолжала исходить от этих необыкновенных часов, на которые он все смотрел. Вещь, глядящая на Лебедева из темного ящика, похожего на гроб, явно, хоть и невнятно, вещала что-то на своем вещем языке. Вещь тянула Лебедева то ли вниз, туда — в 30-е годы, удивительно энергетические годы. То ли вещь, наоборот, распрямляла в сегодняшней день, влекла на самый верх. Где в эту самую минуту именно об этих самых часах думал человек, облеченный уже огромной властью, властью прямо-таки невероятной. И все-таки недостаточной, чтобы успеть найти и восстановить эти часы — эпоху пролетевшую...

Глава 4

В ноябре 1982-го после смерти Брежнева Юрий Владимирович стал Генеральным секретарем. Все произошло как-то буднично, слишком уж протокольно, по-деловому, под знаком того, что просто больше и некому занимать столь высокий пост. Не было ощущения, что свершалось необыкновенное, нечто харизматическое, что отныне он — глава всего, вершина, вождь. Не было даже обычного ощущения, что он теперь первый человек в государстве, в партии, во всей системе.

А тогда зачем все это? Зачем такой невообразимо долгий путь наверх?

Тем более что почти сразу после назначения, месяца через три-четыре, как-то уж очень заметно сдавать стал физически. Стал все чаще оказываться в Кунцевской больничной палате.

Наверное, в таком раздвоенном невнятном состоянии отвечал на письмо Арбатову. Да, с первых же дней стали доходить не очень приятные слухи, что бывшие сослуживцы по Отделу теперь налево и направо козыряют связями, чуть ли не дружбою с Генеральным. Понятно, хотят нажить и на этом дополни-

тельный капитал: политический, бытовой... Если так пойдет, все обернется брежневской кормушкой для родных и близких. Люди, проработавшие с ним так много лет, так ничего и не поняли. Он, за всю жизнь не воспользовавшийся ничем на тех немалых постах, которые занимал, он, проживший всю жизнь аскетом, семью, детей воспитавший такими же аскетами, — ну мог ли он в этом плане хоть как-то измениться, став вождем?

Нет, Юрий Владимирович решил сразу покончить с кривотолками, расставить все акценты, нужен был повод. И повод не заставил ждать.

Арбатов писал ему в своей записке о лекциях, с которыми в последнее время якобы гастролирует по крупнейшим академическим институтам заведующий сектором Отдела науки ЦК КПСС Волков М. И.

<<Лейтмотивом этих поучений Волкова, — писал Арбатов, — было следующее: вся беда, мол, в том, что увлеклись конкретными исследованиями — хозяйственным механизмом, управлением и т. д. А надо заниматься главными категориями политэкономии, ее предметом и методом, общими законами, формами собственности и пр. И везде как образец творчества и общественной полезности перевозится экономическая дискуссия 1951 года и связанная с нею работа И. В. Сталина, — по мнению экономистов, одна из самых неудачных его работ...>>

Разумеется, можно было бы обменяться с Арбатовым остроумными репликами... как в старые добрые времена... набрать номер телефона и обменяться, но... сейчас это уже невозможно, сейчас выстраивать, лепить надо что-то совсем другое... губы закусив, читал дальше.

<<... Вещал Волков и массу других нелепостей, — писал Арбатов, — весь же дух его выступлений до предела догматический и схоластический. А в целом выступление Волкова было воспринято как направленное против указаний о сближении экономической науки с практикой, против помощи науки в решении наиболее острых и сложных экономических проблем. Гул в этой связи идет большой — люди опять же не

понимают, куда идет поворот? И на сей раз не только деятели литературы и искусства, но люди очень деловые. Гадают и насчет запланированного совещания — не задумано ли оно как дубина против многих ученых и как закрепление догматических позиций. Словом, создается впечатление, что дело здесь вредное и нечистое... Параллельно, — так заканчивал Арбатов, — идет полоса снятия спектаклей в театрах...>>

Чуть отодвинув письмо Арбатова, накрыл рукой, прищурился, стал наполняться чем-то непонятным. Как это все чаще с ним случается, стал сам наполнять этим странным состоянием нечто столь же непонятное — не то ледяной какой-то сосуд, не то просто незримый объем какой-то. Одним словом, погасли последние крупницы чувств, которые еще минуту назад испытывал он к автору этих несправедливых листочков. <<Так, так, так... значит, "дело вредное и нечистое...", значит, два-три спектакля попридержали — и уже "полоса снятия..." так, так, так... ну-с, дочитаем все же...>>

<<... Идет полоса снятия... и все это уже породило в кругах интеллигенции пословицу: "Вот тебе и Юрьев день!">>

А вот этого Арбатову делать совсем бы не следовало. Потому что, если у интеллигенции <<Юрьев день!>>, то у народа на заборах (сам видел!): <<Да здравствует Андропов!>> Так что... так что смотрите...

Впрочем, досада была не столько на Арбатова. Что Арбатов? За столько лет он узнал его вдоль и поперек. Досада была на самого себя. Себя, оказывается, не знает до конца, так до конца и не понимает. Он — вождь, генсек, по существу император огромной империи, которая и не снилась ни Петру Первому, ни Ивану Грозному, а... как-то все мелочится, суетится... вот так подробно читает, отвечает, в общем-то, незначительному человечку. По-видимому, так не стоило бы вести себя... но ничего не мог поделать — дописывал ответ почти не изменившимся за время болезни почерком:

<<Я не знаю, что там мог “вещать” экономист Волков, но если даже взять на веру то, что Вы пишете, то оснований для паники нет. Надо поправить его там, где он ошибается, и всё. Вы пишете, что “гул в этой связи идет большой — люди опять же не понимают, куда поворот идет ... не задумано ли запланированное совещание как дубина”. На каком основании такие выводы? Разве ЦК “избил” кого-нибудь за последнее время?>>

Как же мелко плавают Арбатов. Если так видит предстоящее Совещание, Совещание, на котором будет обсуждаться <<проект рыночников>> — главный вопрос на сегодня. Куда идти дальше? Будем топтаться в арьергарде у капитализма, исторически с ним безнадежно опоздав. Или все-таки будем в авангарде, будем для всего мира завтрашним днем! Несмотря на все огрехи, на все недостатки — будем светлым будущим человечества. В чем сам Юрий Владимирович абсолютно уверен. Просто не хочет в этом самом главном вопросе бытия навязывать нечто личное. Хочет честно, объективно, с помощью дискуссий расставить наконец все точки над этим абсурдным проектом рыночников. Ведь это же вчерашний день России, это очевидный шаг назад, в отсталость, к лучине, лаптям... Нет, дело не в рынке, не в набитом брюхе. Настоящая потребность совсем в другом. Она вот в этих письмах, которые приходят каждый день. В них же вопль, стон сплошной... и не только по колбасе, не только по мясу... Если по большому счету — по оскорбленному чувству человеческого достоинства, по израненной, в грязь втопанной справедливости, по которой томится, несмотря на все наслоения, эта чувствительная русская душа. Наши люди, которые в массе принципиально отличаются от западных, — ах, как мелко все ж плавают Арбатов и ему подобные! — да, да, и страна, и люди наши совсем другой судьбы, изначально, другого будущего... Вспомнились слова императора Павла, сказанные в сердцах кому-то: <<Не на день, не на год я устрою Русь, но в долготу веков: и, что вдали провижу я, того

не видеть вам куриным вашим оком...>> Мелко, мелко плавают Арбатов, и быстро дописывал:

<<... вообще весь тон Вашего письма удивительно бесцеремонен и необъективен. Это не тот тон, в котором нам следует разговаривать с Вами... теперь>>.

А какой должен быть отныне этот самый тон? Да и должен ли быть вообще какой-то тон... между ним и Арбатовым...

Когда недомогания и болезни отпускали, выезжал в коллективы. Выступал. И в то же время вглядывался, вслушивался... И в очередной раз убеждался, что Арбатов неправ. В массе народа настроения совсем другие — противоположные. Говорил с людьми доверительно и просто. Говорил, что экономику надо поднимать с элементарного, не требующего никаких экономических затрат, — с дисциплины. Безалаберщине, разгильдяйству — бой! Пьяницам и прогульщикам — бой! Невзирая на чины и награды, невзирая ни на что. В рабочее время — наш человек должен быть на своем рабочем месте. Никаких оправданий. Ни для кого. Как это там в фильме про Чапаева — застал Чапаева на месте преступления — стреляй Чапаева!

— Правильно. Так и надо! — коллектив отвечал.

— Пьянство запрещать не будем! Сухой закон вводить не будем! Повышать цены на водку тоже не будем. Страна, народ в целом вышли на новый уровень сознательности. Наоборот — понизим цену на водку! Пей. Но знай — с кем! когда! и сколько!!

— Правильно, так и надо! — гудели многотысячные коллективы.

— Особенно строго будем подходить к руководству!

— Правильно. Рыба тухнет с головы! — одобряли повсюду.

Если когда-нибудь историк возьмет и раскроет подшивку газет за 83-й — андроповский — год, он наверняка почувствует эту бодряще-колкую атмосферу освежающего всеобщего обновления:

<<Крепить дисциплину — дело чести и рабочей совести!>>

<<Следует решительно поведи борьбу против любых нарушений партийной, государственной и трудовой дисциплины.>> (из Постановления ноябрьского Пленума).

<<Встреча Генерального секретаря с летчиками космонавтами...>>

<<Совещание Политического консультативного Комитета государств — участников Варшавского Договора>>.

<<Укреплять советский правопорядок!>>

<<О мерах по ускорению научно-технического прогресса.>>

<<США отвергли инициативу СССР, объявившего с трибуны ООН об одностороннем обязательстве не применять первыми ядерного оружия.>>

<<Ядерному оружию в Европе — нет. Миру — мир!>> — надписи на плакатах участников 800-тысячной демонстрации в Москве.

<<Об итогах выполнения Госплана за 9 месяцев 1983 года, где впервые за последние годы отмечен реальный рост производства>>.

<<Заявления ТАСС о сбитом самолете-нарушителе>>.

<<Заявление Генерального секретаря Андропова: "Пора бы понять всем, что безопасность нашей страны, безопасность наших друзей и союзников мы сумеем обеспечить при любых условиях. Советские люди могут быть уверены: обороноспособность нашей страны находится на таком уровне, что никому бы не советовали устраивать нам пробу сил">>.

<<Заявления товарища Андропова поддерживаем и одобряем!>>

<<Позор администрации Рейгана!>>

<<Появление в Западной Европе новых американских ракет — сделает невозможным продолжение ведущихся сейчас в Женеве переговоров о разоружении>>. (из ответа Генерального Секретаря корреспонденту <<Правды>>).

<<...оккупация Гренады... Позор администрации Рейгана.>>

<<... Так как Вашингтон все-таки начал размещение ракет в Европе, переговоры в Женеве прекращены... будут незамедлительно приняты ответные меры...>> (из заявления Генерального Секретаря).

Тут же в газетах можно прочесть о выводе из ЦК бывшего министра Щелокова, о лишении его всех званий и наград, можно прочесть о многом, что, несомненно, импонировало большинству, находило живой отклик в народе, в массах. Находило настолько естественно, что буквально с первых дней андроповского правления появились на заборах эти стихийные надписи: *<<Да здравствует Андропов! Ура!>>*

Вот когда стали покидать его последние сомнения — когда сам своими глазами увидел он эти корявые надписи на заборах. Подвезли на машине к забору, окружающему новостройку на юго-западе Москвы. Не выходил, лишь шторку отодвинул, и стало явственно так проникать э т о, что сразу и не определишь. Проникать в бронированную машину, через пуленепробиваемые стекла.

Ну, а там, внизу, когда люди убедились, что слова не расходятся с делами. Когда увидели, что не только цена на водку действительно снижена. Неправдоподобно — впервые за много лет на что-то снижена в стране цена! Когда увидели при этом, что, как ни странно, заметно поубавилось пьяниц на улицах, а с этим — автоматически снизилась преступность и травматизм... Когда люди увидели, что *<<Волги>>* у бань и ресторанов исчезли, как будто никогда их тут и не было в неположенные часы... Когда каждый день кого-то из начальства снимали-наказывали... тут уж не только возросла популярность Андропова — это уж само собой! — тут уж в людях стал меняться общий настрой, окрыленность появилась, блеск в глазах, энергия в движениях.

И отзывчивый народ поспешил навстречу, откликнулся народ. Внизу тоже вспоминали про *<<Юрьев день>>*. Но связывали это с тем, что

<<Юрий>> — он ведь <<Георгий>>. А Георгий — все-таки Победоносец! Такая уж своеобразная логика у народа. Народ был заодно со своим лидером, чего давно уже не испытывала страна. С войны не испытывала. С послевоенного энтузиазма. Любой шаг теперь Андропова воспринимался низом не просто с пониманием, а с какой-то наивно-восторженной верою, что только так и не иначе. Снимал ли он очередного проворовавшегося секретаря обкома, приговаривал ли к расстрелу казнокрада, сбивал ли самолет-нарушитель, нарушивший наше ненарушимое пространство, выступал ли в многотысячном коллективе — люди тотчас загорались ответным чувством.

А параллельно с этим — началась паника в прогнившей прослойке, отделявшей вождя от народа. Полуисторическое письмо Арбатова — один из примеров этой паники. Явная паника прослойки еще больше усилила чувство общности между двумя крайними полюсами нашего бытия. Страна очнулась от многолетней дремы, лени, тлена. Уже для всех было очевидным, что наступает новая эра истории. Это уже не просто угадывалось, ощущалось — это уже трезво понимали многие и многие. И если у кого-то были на этот счет иллюзии, теперь они исчезли. Другого не дано. Дан был Андропов. Одни тогда, как Цвигун, стреляться начали. Другие вдруг перестали пить — затаились. Третьи — перестали воровать, притихли, попрятались... Но большинство-то, засучив рукава, стало просто с настроением работать. Соскучились люди по настоящему общему делу.

Страна с трудом начала выкарабкиваться из затянувшегося кризиса. В 83-м наконец остановлено падение производства. Начался подъем. Медленный, еле заметный, но подъем.

Андропов делал историю. Организует в Госкомитете цен совещание по проекту <<рыночников>>. И проект в целом, как руководящая идея, отвергается.

Андропов делал историю. Но ведь история в свою очередь делала и Андропова. Вернее, к сожалению, уже заканчивала это действие. Все чаще оказывается он в этой кунцевской палате, в этом высоком,

таким удобным для чтения зубопротезном кресле. <<Вот твой трон>>, — посмеивался, устраиваясь с книжкой поудобнее. Много читал, принимал лекарства, на звонки отвечал. С каждым днем ограничивали посетителей. Теперь только самые близкие, самые необходимые. Устинов бывал почаще других. Только Чебриков, возглавивший КГБ, ежедневно не менее часа проводил с ним с глазу на глаз.

Его кололи, лечили глаз, подключали искусственную почку... Когда подключали это громоздкое сооружение — искусственную почку — охватывало неправдоподобно-льдистое ощущение: какой же непрочной пуповиной-паутиной связан человек с тем, что так непонятно называется <<человеческая жизнь>>. Легким движением, проходя мимо, невзначай... слегка коснись какой-то кнопки, краника какого-то... стрелку переведи на одно деление выше или ниже — и так незаметно порвется паутина, развеется мираж... Чтобы не думать, шутил, стихи с выражением декламировал. И для многих это казалось уж слишком, страшноватым казалось для многих, что, чем больше разваливается тело, тем голова работает лучше. А память...

Память вдруг обнаружила такое изобилие, что порою получалось интереснее чтения. Благодарностью иногда проникался к больному глазу, заставляющему все чаще откладывать книгу, откидываться на спинку кресла... Вот так откинуться, глаза прикрыть... и тут же понесутся чудесные картины... иногда это картины <<передвижников>>, которых любил всегда, потом собственной жизни картины... встречи с Фиделем Кастро... остроконечные хребты Афганистана... ночные полеты над заснеженной Карелией... полноводная Волга где-нибудь под Ярославлем, возле Толги, где так и не побывал, — все мимо, мимо.. жизнь его так пронеслась стремительно, что даже странно самому...

Юрий Владимирович читал, охранник переворачивал страницы. Одни страницы он по привычке пробегал, над другими задерживался. Но, как только

дочитывал он страницу, охранник тут же переворачивал ее. Когда в больном глазу зарябило, откинулся на высокую спинку зубопротезного кресла, в котором в последнее время полюбил читать, — такое удобное кресло для чтения. Слегка пошевелился, меняя позу. И тут же второй охранник у окна, обгоняя еще не до конца созревшее желание, налил боржоми. Налил, как всегда, ровно столько, сколько и захотелось выпить. На часах 11. 45, обычно в это время он пьет боржоми.

Стал читать дальше. Охранник в том же темпе переворачивал страницы. Второй, который у окна больничной палаты, спокойный, рыжеватый, расслабленно облокотясь, был готов отреагировать тут же на малейшее желание. Третий охранник сидит за дверью палаты. Четвертый — в конце коридора, пятый — где-то у ворот больницы. И все это воспринимается им вполне естественно, органично. Орган, которому он отдал столько лет жизни, давно уже слился с ним, с его собственными глазами, ушами... Кто-то незаметно проверит машину, в которую он садится, чтоб ехать в Кремль. Кто-то возьмет заказанные в библиотеке книги, сложит, вон как сейчас, аккуратной стопкой на подоконнике. А Юрий Владимирович даже в больнице ежедневно прочитывает две-три книги. Кто-то за посетителями присмотрит... кто-то — за лечащим врачом... Вчера спросил: <<Доктор, извините... а, собственно, сколько у меня еще осталось... в запасе... на что все-таки рассчитывать?>> <<Года три-четыре>>, — тот, не задумываясь, отвечал.

И этот четкий ответ еще раз убедил — Орган действует. Ему не в чем врача упрекнуть: врач сказал, как и должен был сказать... может, лишь слегка поторопился, врачу бы задуматься слегка, но это уж так... технические издержки. Взлелеянный, выпестованный им самим Орган действует безупречно. А вот сам Юрий Владимирович, к сожалению, становится все менее безупречным — за почками печень отказывает, за печенью легкие сдавать начали, все чаще он на кислородной подушке... вот и глаз почти ничего не видит...

Раскисать нет оснований. По быстроте ответа врача, по взгляду при этом какому-то ловко-вращательному все же понял, что какое-то время действительно есть у него, еще многое успеть можно... И Фиделю письмо написать, и в Бендеры на могилу сына съездить... и Брусникина разыскать... Да нет, сам-то Брусникин едва ли жив...но, может, кто из родственников... где-то в Тверицах, за Волгой, Брусникины жили. Разыскать... и сказать... Да просто сказать, что Брусникину помочь уже было нельзя, обречен уже был. Уже и в Москве, в ЦК, был снят он с первых секретарей... Им, ярославским комсомольцам, на конференции лишь узаконить это было надо... всего-то... А так-то Брусникин, теперь это окончательно ясно, был верным ленинцем, честным, преданным идеям коммунизма... да вообще хорошим парнем.. таким гордиться надо... Вот это и сказать, если кто из родственников остался... а помочь уже нельзя было... наоборот, надо было кому-то просто проявить инициативу, то есть взять и предложить — лишить Брусникина мандата, политического доверия лишить... Мгеладзе — представитель Москвы — ждал этого, специально из ЦК прибыл ... лишить Брусникина мандата, а там, за дверями, его ждали уже эти трое в серых габардиновых пальто... все ведь в те годы было обставлено с такой жутковатой сценарностью, что как-то по-другому уже и не мыслилось.

Да, кто-то из тех четырех сотен ярославских комсомольцев, которые собрались на четвертую областную конференцию в театре имени Волкова, должен был просто встать и лишить Брусникина мандата неприкосновенности. И Зимин — первый секретарь обкома партии — свой выбор остановил тогда на Андропове ... вот и все... все ведь заранее обговорено, роли распределены... тот, кто первый о мандате скажет, тот после Брусникина его место займет. Зимин просто Андропова тогда выбрал, сказал, что Брусникин обречен, троих первых до него уже взяли — чем же Брусникин лучше, такая уж, видно, у парня судьба... и все это понимают... и те, что в Москве, и те, что в этом старинном зале... никто не упрекнет,

наоборот — занимать кресло Брусникина некому... и это все понимают... Андропову занимать, такой расклад... Через год самого Зимина возьмут, как врага народа... это уже в 39-м будет... год, в общем-то, спокойный. Тогда всего двоих и взяли в Ярославле — Зимина и начальника НКВД... Козлова, кажется... да, начальник долго сопротивлялся, не хотел давать санкцию на арест студентки этой из техникума... как ее?... Попковой... все комсомольцы техникума ее к врагам отнесли, а НКВД сопротивляется... за это и взяли ... пришлось в Москву на ярославское НКВД писать... лихое время... разбираться некогда ... обязательно Брусникина разыскать...

В субботу была жена, принесла пирожков, варенья, с полчаса проговорили. Татьяна Филипповна выглядела усталой. Вернее, словно бы в томлении каком-то. Юрий Владимирович подумал, что она хочет что-то сказать наедине, и отослал охранника погулять в коридоре. Но Татьяна Филипповна ничего такого не сказала. У Иры в издательстве поручили ей редактировать интересную серию. Игорь собирается в Стокгольм на конференцию по разоружению, дома все хорошо. Юрий Владимирович видел, что жена что-то недоговаривает, и в легкой досаде отослал ее домой пораньше. Отослал и задремал. Прямо в этом кресле с такими удобными подлокотниками. Минут на пять и задремал всего-то, сна ведь в последнее время почти что и нет. Просто глаза закрыл, чтоб не рябило.

Вернее, дело было так: сперва после ухода жены он почитал немного из древнеперсидской поэзии... одно, другое стихотворение... над третьим остановился... как-то невпопад, совсем некстати, на ум пришло, что в южно-корейском боинге, недавно сбитом над мысом Терпения, было ровно двести шестьдесят девять человек... А стихотворение-то было совсем короткое: <<Мой колодец зарос плющом, пойду попрошу воды у соседа>>. В глазу зарябило, защипало, он отложил древнеперсидскую поэзию, откинулся в кресле, глаза прикрыл... стал уплывать, куда так сладко вдруг потянуло... в древнюю Персию, Египет, Палестину... Царство Урарту... где колодцы давно

плющом заросли... терпко-пыльно пахнет вечнозеленый плющ... бездонны ледяные колодцы... и у тех колодцев такие же гибкие, как плющ, прекрасно-терпкие женщины с огненным взором, которых он никогда не встречал... Жизнь прожил — и никогда не встречал... Да, да — он ведь и сам теперь, как тот плющ, древний, растрескавшийся... его собственные корни в этих жарких, страстных Палестинах. Просто он на девяносто девять процентов изменил самому себе. Один процент из тех бурных потоков древних кровей, что так слились при его рождении. И так много обещали когда-то... года в три-четыре... Да, так много обещали, когда кудрявым ясноглазым малышом танцевал под мамину музыку. Когда замороженно следил, как папа переворачивает страницу таинственного золотистого фолианта. А со страницы уже глядит загадочная Анаконда... неприступные горы Анды глядят... или Америка, оторвавшаяся от единого Материка, которая теперь и уперлась этими самыми Андами в нечто непреодолимое, остановившее наконец ее дрейф по бездонному Океану... Да, если фамилию матери перевести с древнееврейского, получится — Нежный Камень. А если взять фамилию отца — то это горы Анды, исчезнувшая цивилизация инков. Нежный Камень над сверкающими снежными Андами. Так задумано было... Один процент всего-то и остался. И этот единственный процент готов был теперь низвергнуть все остальные девяносто девять — так все вдруг страшно навалилось, вся жизнь... враз постаревшая, что-то недоговаривающая Татьяна Филипповна, сбитый боинг с живыми людьми... сын Володя, Брусникин, Имре Надь... еще столько всего, через что пришлось переступить, столько всего ... он сначала даже и не понял, что спит уже ... просто яркий свет из окна...

Да, рябь в глазу совсем прошла, он провалился в другое время, перед ним Павел во всем императорском блеске. Ну, надо же — только что была Татьяна Филипповна ... и... Павел! Павел, Павел... до сих пор неразгаданный, таинственно-трагический Павел... что бы это значило? И почему из девяти императоров, из

четырёх вождей до него — почему именно Павел? так странно... Петр Первый, Сталин... ну, хотя бы — Александр-реформатор, а тут — Павел, о котором Юрий Владимирович никогда особо и не думал... И так близко... морщит широковатый все-таки для императора нос, словно бы собирается чихнуть... в военном прусском мундире, мальтийский рыцарский крест на груди, хорошо напудрен, разумеется, с косою, с косы слегка просыпалась пудра на далматику из малинового бархата, которая наброшена поверх мундира. Эту далматику перед коронаванием возложил на плечи Павла Новгородский митрополит Гавриил... но почему же тогда Павел без короны? В больших, лучистых глазах грусть. И еще что-то не совсем понятное... какое-то объяснение? Играет легкая усмешка на полноватых губах, трепещут раздувающиеся ноздри, словно бы император собирается по привычке громко фыркнуть, перед тем как сказать очередную резкость, от которой распирает все его существо. А короны-то нет уже... словно бы лютая, позорная казнь уже свершилась, словно бы уже предан ближайшими сподвижниками во главе с собственным сыном — и это все Юрий Владимирович во сне так горько понимает, так поразительно ясно. Да, словно бы перед ним уже и не живой человек, а только, как и сам мальтийский крест, символ порядка, дисциплины, справедливости. Символ рыцарского духа. А вокруг головы разгорается что-то вроде лихорадочного сияния. Вернее, на лице, округло-мягком, проступает все больше и больше такая понятная и самому Юрию Владимировичу эта нравственная лихорадочность запоздалых стремлений... ну, а в руках, естественно, знаменитый манифест от 5 апреля 1797 года — <<золотая грамота>> народу о наполовину отмененном крепостничестве. Во сне приходит на ум так горько-горько мысль о том, что так тяжело, через кровь и предательство, одолевать очередную ступеньку, вернее полступеньки всего-то, может только Россия. Но куда, куда эти кровавые полступеньки? .. через шестьдесят с лишним лет внук Павла, Александр Второй, преодолеет вторые полступеньки... и

опять-таки - через кровь, и опять-таки — куда?.. В левой — манифест, в правой — скипетр, и все настолько близко, буквально в двух шагах. Юрий Владимирович запах пудры ощутил... еще чего-то необычно-сладостного... елей?.. он хотел еще было удивиться: елей-то при чем — раз короны нет уже... но и удивиться не успел. Все происходило слишком уж как-то буднично, ведь только что Татьяна Филипповна была, а тут уже Павел ... подходит, беседу словно бы затянувшуюся продолжает...

Ну, понятно, как и сам Андропов, засиделся в преддверии престола, намного позднее остальных царей-вождей его занял. Отсюда это нетерпение, этот напор все ломать, все переделывать... но учащаются приступы удушья — последствие давнишнего отравления, в котором, кажется, замешана собственная мать... До конца отравить не удалось... остались приступы, подозрительность ко всем... Что мерещилось ему в этих приступах?.. Тень любимого отца — императора Петра III, на которого очень похож... За которого выдавал себя Емельян Пугачев... А может, мерещилась первая любимая жена — Наталья Алексеевна? Из-за которой схватился однажды на шпагах с графом Разумовским. Рыцарь.

Рыцарь, конечно. Идеалист. Наверное, тем и близок сейчас во сне Андропову. Предлагал Наполеону не затевать войну, а решить все поединком. Один на один, по-рыцарски. Что это — анахронизм? Или прозорливость... куда не заглянуть куриным оком. Что провидел император в веках? Какой такой ответ прятался в грустных глазах?.. А этот нелепый поход его в Индию. Который окончательно и оформил заговор, расставил все точки в несчастной судьбе императора... А что же его, андроповский, — поход в Афганистан — чем лучше? Вот слетал всего-то на два дня туда, и сразу все обострилось: и диабет, и нефрит... непонятная слабость... удушье непонятное...

Впрочем, во сне все по-другому, Павел с улыбкой подходит, шевелятся по-женски полные губы его, он говорит: <<Иди, спасай!>>

Да, да, кажется, Суворова или Ушакова в поход отправляя, он именно так и сказал: <<Иди спасай царей!>> Флот при Павле, под командованием Ушакова, — сильнейший в мире, непобедимый Суворов — тоже при Павле.

А казна после матушки Екатерины пуста. Заставил перелить все дворцовые серебряные сервизы. <<Сам буду есть на олове, — сказал, — но русский рубль заставлю в мире уважать!>>

... Опять звонил телефон, а трубка после сна словно бы потяжелела...

— Да, да... Михаил Сергеевич... жив еще... жив...

Горбачев консультировался, как быть с памятником Победы. Смотри — шустрым каким земляк оказался: пока он, Андропов, в больнице, пробил на Секретариате строительство памятника Победы... очки набирает... нужные очки... мысль оставить после себя Горбачева приобретала все более конкретные очертания... как-то уж слишком естественно, словно бы все уже благополучно разрешилось... по-видимому, именно это вызывало поташнивание, досаду...

—... Ты же знаешь, Михаил, что лишних денег нет в казне... понимаю, понимаю, что все — за... но и ты пойми — денег нет... и нет сервизов... каких?... ну, каких-каких... серебряных... из которых деньги цари переливали... серебряные... ну, да ладно, ладно... я тоже — за... только пусть все члены Политбюро сдадут на памятник подарки... хотя бы полученные за последний год... мои, естественно, тоже возьмите...

Разумеется, при Павле, как и при нем, Андропове, речь идет о резкой смене господствующей идеологии. А это, конечно, выше всяких реформ. Речь идет о резком переворачивании всего сознания. Это осознание вдруг себя, всей страны, как бы с другой уже стороны, как бы на порядок выше. До Павла, скажем, веками — господа и холопы. С приходом Павла — холопы уже не холопы, а <<любезные подданные>>. Так в знаменитом манифесте писалось. До него, Андропова, — нечто похожее. Господа, ком-

верхи, зажравшиеся, обнаглевшие. А снизу — бесправная чернь, быдло, все те, кто никогда не найдет правды в суде и законе. С приходом Андропова чернь, быдло, да те же затравленные кочегары из Болшева, написавшие ему отчаянное письмо, вдруг подняли голову, ободрились, потому что стали наконец-то находить эту самую правду.

Павел внедрял вместо охватившего всю Россию яacobинского разврата дисциплину и порядок, равенство перед законом и бедного, и богатого. Это именно он ввел физическое наказание для дворян, уравнивая перед законом и бедного, и богатого. Хотя бы в наказании, но уравнивая. И Андропов на деле доказывает то же самое — казнокрада, преступника не спасет ни пост, ни должность, ни деньги, ни связи. Кому-то наверняка Андропов покажется со всеми своими начинаниями безнадежным идеалистом. Но разве Павел был меньшим идеалистом, когда вызывал на поединок Наполеона? Это ж так по-русски... один на один... разумеется, наивно... разумеется, идеалистически, но ведь, несомненно, это до сих пор витает над страной, над народом, витает, несмотря на пьянство, лень, тлен. Несомненна эта потребность в каких-то подвигах, каких-то смертельных крайностях. Ведь наверняка большинству импонировало, когда был сбит самолет-нарушитель. Вот парадокс в чем... Да и эти тысячи писем с наивной просьбой прислать неподкупного чекиста... они ведь все о том же, о том же — назрела потребность в решительной смене всего прогнившего духа, назрела потребность в смене господствующей идеологии. Нужна не коммунистическая. Она безнадежно извращена щелоковыми, чурбановыми... такими, как эта Медяница из Болшева. Теперь нужна по-рыцарски справедливая, непродажная... Во времена Павла это дух рыцарей Мальтийского ордена. А сейчас — это, конечно, чекист. Это — КГБ. Это — сам Андропов.

Вот в чем вопрос. Это ж так очевидно. Андропов — это единственно реальная перспектива, что дух народной жизни из продажно-прогнившего станет наконец по-рыцарски честным и справедливым, героиче-

ским, наконец-то. Когда только и можно по-настоящему уважать и себя, и собственную страну... Вот только почему так страшно кончил Павел?.. И что было в его грустных глазах, когда глядел он на Андропова... И что ждет самого Андропова... И опять спрашивал врача: <<Так все-таки, доктор, сколько у меня в запасе?>> — и опять тот отвечал поспешно: <<Да года три-четыре... три-то года наверняка есть >>. Тогда, значит, как у Павла, — холодно обмирало сердце — слишком уж много совпадений...

Глава 5

Лебедев после разговора с прокурором бодрился, перебирал по вечерам боевые награды, дребезжащим голосом напевал при этом старые песни и даже раза два садился писать мемуары. Медяница ежедневно звонила, закатывала истерики. Приближалось бюро, на котором будут рассматривать его вопрос. Он решил сам ехать к первому секретарю горкома и все объяснить.

Но, лишь добрался до кабинета, стало плохо. Отпаивали, откачивали, осторожно к машине выводили, чтоб отвезти старика домой. Первый секретарь сам, поддерживая под руку, выводил. И это так необычно. В коридоре при этом проносится что-то вроде сквознячка, вроде странного ощущения: сын поддерживает дряхлого, горячо любимого отца...

Возле машины первый отпускает Лебедева, слышит, как тот, с кряхтеньем в машину влезая, бормочет: <<Ну, неужели так уж важна какая-то подпись!>>

<<Разумеется, важна>>, — с раздражением думал первый, в кабинет вернувшись. Какое-то время он стоит, грузно упершись в стол руками; глядит на телефоны, словно бы собираясь звонить. Но не звонит, садится, слегка распускает галстук, начинает варианты прикидывать. Понятно, что ответ в Народ-

ный контроль СССР можно отправить и без подписи Лебедева, там и внимания-то не обратят. Но при этом копию ответа в <<Труд>> отсылать надо, а там — спецкор Кузнецов... настырный, однако, товарищ. И, несомненно, до сих пор не подписанный ветераном Лебедевым ответ подольет в огонь масла... Да в конце концов, — первый шумно вздыхает, — можно бы проигнорировать все: и Лебедева, и <<Труд>>... и кочегаров этих, если б КГБ не вмешался. А КГБ есть КГБ.

Да-а... А так-то статья в <<Труде>> уже полностью готова, в гранках уже. Первый и сам точно не знает, каким образом все это становится известным буквально на другой уже день. Да наверняка у этой Медяницы и в <<Труде>> есть свой человек. По крайней мере, в ВЦСПС есть точно, ну, а <<Труд>> — орган ВЦСПС. Так вот, статья готова, в гранках уже, но пока не печатается. Медяница ведь хорошо понимает, что значит выход статьи в такой газете, как <<Труд>>. Ну, и, конечно, нажимает на все возможные и невозможные рычаги. Уже подключены журналы <<Здоровье>>, <<Советские профсоюзы>>, <<Медицинская газета>> подключена. Уже была в <<Труде>> комиссия из Управления, возглавляемая самим Кондратюком. Была комиссия из ВЦСПС. Пишут, звонят, идут — и отдельные ходоки, и целые делегации. И все брошено на то, чтобы сорвать статью. Окружение Медяницы еще не знает, что вмешался КГБ, еще надеются, что такой массовой атакой можно будет сорвать статью или хотя бы отложить публикацию на неопределенный срок.

Самые убедительные письма в защиту главврача шли, конечно же, из самой Здравницы. Письма от <<треугольника>>, письма от вновь принятых кочегаров, возглавляемых ветераном труда слесарем-сантехником Петей Воропаевым. Письма от общественности подписывает Семеныч. Уже подготовлено одно письмо от отдыхающих. Но, как на зло, — заезд оказался слабеньким, доктора наук, кандидаты — и ни одного членкора, не говоря уж об академиках. А ведь

бывали здесь и академики, да еще какие! Был один довольно известный, даже за границей известный.... занимался всю жизнь реанимацией, то есть с того света людей возвращал, собрал огромный материал. Так он абсолютно уверен, что есть тот свет... Живет как божий одуванчик... он бы обязательно подписал, — думает Медяница, — жаль, что сейчас за границей, себя, что ли, демонстрировать повез! Но ничего, пусть письмо в <<Труд>> идет за подписью докторов, кандидатов, на безрыбье и рак — рыба. Капля за каплей — Медяница рассуждала — и камень точит. А <<Труд>> — не камень. <<Труд>> — орган ВЦСПС ... есть там у Медяницы один человек...

Однако через месяц донеслось невероятное — в защиту кочегаров каким-то боком подключился сам КГБ?.. Статья выходит. И, кажется, даже за подписью самих кочегаров! Ошеломляющее это известие, особенно та странность, что за подписью самих кочегаров, повергло Медяницу и ее приближенных в уныние. Но в тот же день в <<Труд>> позвонил известный космонавт с просьбой еще раз все проверить. И статья не вышла. Ее вроде бы задержали еще на несколько дней, и этого вполне хватило, чтобы предпринять новый штурм.

Теперь уже писали на самого спецкора Кузнецова, обвиняли его во всех мыслимых и немыслимых грехах. И в <<Труде>> опять заминка получилась.

Но через неделю-полторы слух прошел, что из КГБ вторично в газету позвонили, когда же наконец статья выходит? А главное, спецкора Кузнецова никто отстранять не собирается. Хотя в письме из Здравницы было черным по белому написано, что жена спецкора Кузнецова — двоюродная сестра кочегара Шишкина, то есть родственные связи налицо.

Это ведь легко доказать, кто у тебя жена, когда ты женат официально. А попробуй докажи, когда ты не женат вовсе! А вдруг ты был раньше все же женат? На двоюродной сестре какого-то Шишкина... А вот не клюнули на такой беспрониженный ход, придуманный неутомимым треугольником, проверять не стали, собираются все же печатать. Теперь уже сорвать ста-

тью стало для Медяницы чем-то принципиальным, стало чуть ли не главным смыслом всего... Она уговорила Давыдова подать в суд на кочегаров за клевету и оскорбление. Давыдов подал. Но статью все равно собирались печатать.

И все это время кочегары жили в каком-то лихорадочном нетерпении, подгоняли дни, часы, минуты. Они давно работали в кочегарке подсобного хозяйства, но жили по-прежнему в этом расщепленном нетерпении. Очень ждали статью... статья не выходила.

Статья обещала расставить все точки. Уже звонили из <<Труда>>: <<Читайте завтра в номере!>> Но наступало завтра, а статьи не было. Кто-то хорошо поставленным голосом звонил в газету, и ее опять убрали уже из готового номера.

И опять Медяница по утрам в конторе говорила, что скоро кочегаров возьмут, уже и повестки готовы... теперь уже возьмут за клевету на товарища Давыдова. Говорила при Сонечке, и это сразу становилось известно всем.

Глава 6

Когда охранник включил телевизор, торжественное собрание, посвященное 66-й годовщине Великого октября, уже началось. Григорий Романов читал доклад, Кремлевский дворец переполнен. Все как обычно, только на сцене, в президиуме, странно белело незанятое кресло. Единственное. В самом центре.

Камера оператора ненадолго задержалась на докладчике. Крупным планом показала Романова, волевое лицо которого так подходило энергичным, твердо выговариваемым словам доклада. Камера плавно заскользила по лицам сидящих в президиуме... дошла до пустого кресла и дернулась, в зал

метнулась, стала показывать огромную люстру. Вот успокоилась как бы на этом величественно играющем бесконечными огоньками светильнике и теперь профессионально, не быстро и не медленно, а насколько положено по ритуалу, показывала второстепенные лица на балконе. Мелькнул там кто-то в черных очках и пропал. Камера уже плавно скользила по стенам, портьерам... опять все по сценарию, который уже установился для таких вот торжественных мероприятий, проводящихся на главной сцене страны. Пора, уже пора бы опять показать Романова. Минуты две-три будут показывать его. Но камера, почему-то минувя главного докладчика, потянулась к сидящим в президиуме. Начала с самого края, с Пельше, с Кунаева... стала потихоньку двигаться к центру... Щербицкий, Алиев... камера к центру приближалась... Устинов, Черненко... но до Горбачева не дошла, и до Тихонова не дошла — споткнулась о пустое кресло. Камера подпрыгнула, задержалась, а в общем-то, явно очертила, оконтурила, то, что произвольно в пустоте ощутила рука оператора. Нервный зигзаг ее был столь очевиден, что камера сбилась с регламента окончательно. И теперь уж явно излишне уделяла внимание премьеру Тихонову, который сидел справа от пустого кресла. Камера как бы застыла у опасной черты — то так, то эдак показывала старое, без всякого выражения лицо. Так долго показывать, конечно же, не стоило. Тихонов не просто стар, а как бы замутнен уже, словно бы спит уже с открытыми глазами. Странно, но кажется, эта замутненность теперь и объединяла камеру и Тихонова, они были как бы заодно, успокоенные такие. И тут вдруг Тихонов отчего-то заерзал, лицо явно исказилось каким-то желанием. Чувствуя так долго направленную на него камеру, премьер хотел бы на всю страну продемонстрировать, что он еще в неплохой форме. Смотрите-ка, вот даже в такой торжественный вечер государственные мысли не покидают премьера, и он тут же, за столом президиума, делится этими государственными мыслями с генсеком. Для всех праздник, вечер отдыха, юбилей, тосты, а премьер о стране думает. И, по-

нятно, тут же каждой мыслью делится с сидящим справа. К соседу он повернулся, уже и рот приоткрыл да так с открытым ртом и замер. Камера тут же вспорхнула, унеслась невесть куда.

Да, она совсем сбилась, бесцельно, беспрограммно металась по залу: балкон, портьеры, пол, потолок... и все не попад как-то. Но, однако же, если сопоставить выражения глаз, между которыми сейчас металась эта камера, потерявшая окончательно всякий ориентир, сопоставить направление взглядов — в огромном кремлевском зале практически не было лиц, смотрящих на докладчика, почти все непроизвольно, но явно, остановили свой взор на этом так странно белеющем кресле в самом центре сцены. Такого на торжественных собраниях еще не бывало. И какой-то отзвук этого многоглазого напряжения, этой концентрации на пустом кресле докатился, проник в больничную палату, через все заслоны, непробиваемые стекла... Юрий Владимирович как-то непонятно хмыкнул, зашевелился, поудобнее упираясь в подлокотники полюбившегося за последнее время зубопротезного своего кресла. Тоже кресло как-никак...

Мысль оставить в такой день другое свое кресло, в президиуме, никем не занятым уже не казалась столь забавной, какой вчера еще ему представилась, когда окончательно стало ясно, что занять его не сможет, что будет наблюдать за торжеством отсюда, из кунцевской больничной палаты, из вот этого кресла, в котором сейчас и сидит, с виду такого зловещего, но такого удобного.

С прошлого ноября, когда умер Брежнев, не прошло и года. И вот он, Андропов, — новый вождь — по настоянию врачей оставлен в больничной палате... наблюдает за торжественным юбилеем по телевизору... А вот и опять показывают его кресло в самом центре президиума... как напряжены, однако, лица... и слева от него, и справа. И в то же время сколь многообразны микродвижения... и все для того, чтоб время от времени как бы вскользь, как бы невзначай взглядывать, все взглядывать на пустое кресло в самом центре этого президиумского монолита.

Кресло пустое. Хотя не прошло и получаса, но уже очевидно, что пустота эта мнимая. Иначе зачем бы большинству так пристально вглядываться в это пустое кресло. Огромный, до предела заполненный зал — и это пустое кресло в самом центре сцены... Да, теперь уж и ему самому ясно, что нарушил он какие-то традиции. И от этого получился перекосяк. Но, может быть, именно так уже и закрепляет он какие-то собственные традиции, именно так оформляет свое собственное время, собственную эпоху. И люди, с недоумением переглядываясь, поерзывая, уже принимают и эти новые, чисто андроповские традиции. Ну, что ж — как ни объясняй, а ведь, действительно, впервые вождь в стране стал руководителем тайной полиции. То, что не удалось Берии, что не удалось Шелепину, при нем свершилось. Свершилось как-то буднично, вполне естественно. И ничего ведь страшного. Ну, был, был... столько лет шефом КГБ, пятнадцать лет был. Ну и что?.. А теперь вот вам кресло... совсем пустое... Хотя — как посмотреть... Ничего, ничего — привыкайте. Ко многому теперь привыкать придется...

И уже привыкают, привыкли к ежедневным кортежам, которые по утрам из Кунцевской больницы на огромной скорости несутся по самому центру проспекта Калинина — Андропов едет на работу. А ровно в 5. 30 вечера, опять сигналивая и вертя разноцветными мигалками, кортеж несется из Кремля. Движение перекрыто, на тротуарах толпы москвичей, пытаются угадать: в которой же машине сам Андропов? По-видимому, в том великолепном лимузине с занавешенными окнами, который так сверкает в самом центре стремительной кавалькады, лимузине, вокруг которого так суетятся машины охраны. Пусть в машине с непробиваемыми, непроницаемыми окнами, пусть в сопровождении десятка охранных машин — но ведь вместе со всеми! Со всей страной, со всем народом, каждое утро — на работу. И каждый вечер — вместе со всеми — с работы.

И ведь так каждый день. Величественный и сверкающе стремительный выезд на работу. С за-

жонными фарами, сигнала вращающимися мигалками, на огромной скорости сметая все на своем пути.

Ну, а находится ли сам Андропов в центре этой сверкающей кавалькады — это, в сущности-то, и не важно. Потому что управлять страной вполне можно и не из Кремля, а вот из этой больничной палаты, где он сейчас, из этого вот кресла, которое, не употребляя его по прямому назначению, вполне приятно и удобно. Вот только ежедневные поездки в Кремль при этом — пустого сверкающего кортежа — обязательны. Главное ведь поддерживать в людях неукоснительно это незримое, но мощное свое присутствие, эту вездесущность свою. Да ведь, если вспомнить, то и Сталин в последнее время появлялся перед народом не более двух раз в году, по пролетарским праздникам. И этого было достаточно. Люди знали, что Сталин постоянно на своем посту. С трубкой в руке, в наглухо застегнутом френче, он постоянно думает, печется о стране, о каждом из нас. В любой момент спроси у любого: <<Где Сталин?>> Любой ответит: <<Сталин на своем посту!>>. Он потому и не менял все эти внешние атрибуты власти - величественную удаленность, монументальность, строго два раза в год общение с народом. Белоснежного кителя генералиссимуса не менял, золотого шитья, золотых лавров по околышку — постоянно поддерживал этот образ вождя, однажды подаренный народу. И все это, по-видимому, намного важнее того, что на самом-то деле реально скрывается за образом, однажды и навсегда закрепленным в народном сознании. А вот он, Андропов, даже в такой день, к сожалению, не смог явиться, и теперь совсем непонятной пустотой веет от его кресла в самом центре главной сцены.

Полувековой путь на самый верх оставил неизгладимый след в его душе. Она была настолько искорверкана многолетними интригами, притворствами, бесконечными играми, что уже и сам с трудом мог отыскать в себе то, что изначально было заложено создателем. Темной лошадкой, как и Павел - этот несчастный император Павел, — прожил он слишком долго. Сейчас вдруг оказался на самом верху, в осле-

питательном верховном сиянии. А глаза-то после многолетнего темного плена почти ничего не различают. Изощренным, каким-то ядовитым цинизмом уже давно, оказывается, пропитано все существо его, автоматически откликается, можно сказать, огрызается существо его. Вот умер недавно Суслов – и первая была мысль (он это точно запомнил): <<Одной заботой меньше стало!>> И лишь потом, лишь к вечеру того же дня: <<Пусть земля будет пухом, неплохой все же человек был Михаил Андреевич>>. Или, скажем, впадал перед смертью Брежнев все больше и больше в старческий маразм. Ну, чем не мишень для высмеивания? Чем не удобный рычаг для создания в народе через телевидение и прессу день ото дня крепнущего, такого естественного желания иметь на этом главном посту огромной страны ясную голову и твердую руку. Понятно же, не удержался, воспользовался для этого всей властью, которую имел. Теперь вот сам генсеком стал, сбылась, как сказал бы Остап Бендер, мечта идиота! Да, в сущности, и выбирать-то было некого. Единогласно проголосовали. А впрочем, попробовал бы кто-то против проголосовать. Все-таки за новым генсеком — 15 лет в КГБ, у которого, всем известно, какой длины руки.

И вот, оказавшись на самом верху, обнаружил во всей неприглядности это страшное опустошение, крошечное измельчание собственной души. Не душа, а нравственный оскал какой-то. И стало не по себе. Как бы рассыпался он на бесчисленное количество осколков, каждый теперь на все мгновенно реагировал. Богато задуманная душа теперь томилась под этим многолетним грузом циничных уловок, сарказма, какого-то радиоактивного проникновения во все более мелкие детали и частности. Душа никак не хотела собираться в то крупное, монументальное, к чему настойчиво пододвигал высший пост... Естественно, что ни в какие харизмы вождей-царей он никогда не верил. Какие еще харизмы-антихаризмы, если все они на Лубянке делаются! По одной и той же методике. А ему, как шефу Лубянки, достаточно было лишь определить градус этой самой харизмы или, как в случае с

Брежневым, антихаризмы. И всё. Дальше уж дело голый техники. Да всякая власть — дело голый техники... только вот это пустое кресло, так странно сейчас притягивающее сотни и тысячи взглядов. Пустое ведь... Ну, ясно же, для большинства неосознанно, — это не просто кресло, а один из незыблемых принципов настоящей власти. Трон? Раньше еще была и корона. Теперь остался только трон. И тогда тем более должен стоять незыблемо... никем посторонним не заниматься. Это же так очевидно. Это же в крови у нас, в подсознании. Какие бы эпохи, какие бы режимы ни проносились над страной... Это дремуче-реликтовое, неискоренимое... А он так легкомысленно к этому отнесся, пустым специально оставил — в самом центре, людей смущает, стоит.

Став вождем, получив неограниченную власть, вначале ощутил это лишь количественным как бы дополнением, прибавкой к той власти, которой, несомненно, обладал и до этого. Иное, похожее на обвал, на снежную лавину, качество власти явилось не сразу. И опять же — через самоиронию, через все эти внутренние гримасы, ужимки, чем давно уже поражена была его душа. В очередной раз опускаясь в зубопротезное это кресло, — а с весны 83-го, с посещения Афганистана, это происходит все чаще, — язвительно посмеивался над собою: <<Вот твой трон!>> А на ум помимо воли тут же приходило, что когда-то всесильному Меншикову достаточно было лишь однажды, во время освящения храма, занять царское кресло — и, казалось бы, ничего не значащий при могучем временщике малолетний царь Петр II тут же приказал арестовать светлейшего князя, лишит награды, богатств и всех званий, отправить в ссылку, в промозглую небытие российских лесов и снегов. Вот что значит так легкомысленно покуситься на это незыблемое, которое было, есть и будет — в мифологии нашей, в народном ощущении настоящей власти.

И вполне естественно, сам наконец оказавшись на том непонятном верху, выше которого уже и нет здесь на земле ничего, почувствовал какой-то нечеловеческий озноб, лихорадку какую-то — поскорее

проверить: а сам-то он... кто такой, откуда... случайно он здесь или не случайно? Есть все-таки эта пресловутая харизма, над которой смеялся, есть ли этот самый перст свыше... или все, действительно, можно сделать на Лубянке?..

По многолетней привычке заранее планировать каждый день и каждый час — не мысля уже себе жизни без этих детальнейших просчитываний, теперь, повинуясь какому-то безотчетному порыву, ни с кем не согласовывая, никого не предупреждая, вдруг заявился на завод станкостроителей. Прямо в цеха, к народу. Разумеется, были сомнения — а надо ли? Все-таки вождь, генсек. И вот так, ни с того ни с сего... заявляться прямо в цеха, к станкам, к этим промасленным спецовкам. Но дело сделано — приехал. И, отменяя последние сомнения, сразу повел разговор по-крупному: о жизни, о трудностях. О том, как всем вместе выходить к лучшей, к более достойной жизни. И тут же с радостью ощутил, увидел, что это спонтанное посещение многотысячного коллектива — попадание в десятку. Очередное его попадание в самую десятку. Что люди как бы именно этого и ждали, этого незапланированного приезда к ним самого Андропова.

Да, все больше, все яснее нащупывалось нечто важное, без чего, конечно же, все планы, все программы, намечаемые, разрабатываемые на самом верху, откровенно говоря, в сущности так мало значат. Все самые замечательные планы сверху — ничто, если они не одухотворены вот этим встречным движением снизу, потоком, который охватил его со всех сторон. Лишь только-только порог переступил цехов высоких, лишь только первые руки пожал, первым улыбкам стал отвечать. Этот встречный поток такого искреннего воодушевления был настолько очевиден, что не просто обрадовался, а как бы, наконец-то, легко всплыл на поверхность. Тут вырастать, выкристаллизовываться стал именно тот кристалл, которого до этого было днем с огнем не сыскать в измельченной, словно решето, душе его.

Это запоздалое укрупнение давалось нелегко. То, как Волга в половодье, необъятная ширь открывалась, то вновь все скукоживалось в нем до привычной скорлупы, до норки жука-древоточца, которым жизнь, в сущности-то, прожил... Через сомнения наполняло укрупнение, через бессонные ночи, через бесконечные прокручивания вариантов и вариантов... Жена не все понимала, лишь по-женски очень хорошо чувствовала, какая большая ломка в нем происходит. Это было так неожиданно, так неправдоподобно... ей ведь казалось, что за столько лет она узнала его очень хорошо. А тут... тут многолетние привычки, раз и навсегда заведенные правила не просто нарушались, они отбрасывались с такой небрежной откровенностью, с такой непредсказуемой необдуманностью, что она не знала, что и сказать. Три ложки сахара на стакан вместо одной до этого уже много-много лет. <<Юра! У тебя же диабет!>> — <<Да при чем тут, Таня, диабет! Когда...>> И крупными шагами начинал расхаживать, позабыв про чай, про фразу, которую так и не закончил, чего раньше никогда бы не позволил он себе, а сейчас... А сейчас зачем, когда и так для обоих было ясно, что время изо всех сил топчется, лепит из Андропова нечто такое неправдоподобное, но что, несомненно, для чего-то нужно, а для чего нужно — это не им, смертным, решать... и при чем тут тогда, скажите, какой-то диабет... ну, право же — смешно...

Прошел ровно год, как, поддерживая с двух сторон, словно куклу, на такое вот торжественное собрание, которое наблюдает он и сейчас по телевизору, выводили Брежнева. Всего год. И вот сам сейчас почти в таком же состоянии — без посторонней помощи практически не может передвигаться. Еще совсем недавно газеты, радио и телевидение — особенно телевидение — старческую немощь генсека Брежнева не просто не скрывали от народа — наоборот — почти сладострастно подчеркивали, крупным планом показывая мельчайшие детали этой немощи лидера. И вот в таком же положении сам Андропов. Занимать место в почетном президиуме, когда все

камеры направлены только на тебя и при этом с двух сторон тебя, словно куклу, поддерживают дюжие охранники... Нет, такой позор исключен... Страна окончательно за этот его единственный год проснулась, бодрящий холодок близких перемен разбудил померкшие было силы, у всех внизу непреодолимое желание поскорее взяться за большое дело. А самого вождя, всколыхнувшего огромную империю, вырвавшего ее из многолетнего пьянства, неверия, лени, выводят под руки, словно изъеденную молью декорацию. Нет, нет — только не это. Андропов — символ решительной, ни перед чем не останавливающейся энергии — он не может на всю страну, на весь мир выглядеть так нелепо и жалко. Да ведь это будет, в конце-то концов, просто несправедливо... исторически несправедливо, ведь за ним же страна, за ним Система.

И потом... за один только год сделано так много, так отчаянно дерзновенны все предприятия его. Да взять тот же сбитый боинг-нарушитель... или громогласный уход с переговоров в Женеве... когда американцы все-таки начали, несмотря на предупреждения, размещать свои <<першинги>> в Европе. Да все его шаги настолько непредсказуемы, и все настолько дерзко, что сразу пошатнулась, по швам затрещала вся эта хваленая западная политика. Все эти политические эксперты и советчики, окружающие администрацию Рейгана и Тэтчер, они же сразу сели в собственную лужу, а многие просто отставлены за ненадобностью. Зря хлеб едите, господа. Они-то советовали Рейгану поскорее размещать <<першинги>>, это, мол, сразу сделает Андропова сговорчивым. А тут — полное фиаско. Андропов не просто прервал все переговоры, Андропов тут же сделал громогласное заявление, пообещав позаботиться о безопасности не только СССР, но и друзей, которых никогда не бросит.

Справа от кресла, в котором сейчас сидит, — зубопротезного, — весь стол завален письмами. Письма идут со всех концов планеты, наугад берет одно. Оно от студентки Роберты Пакстон из Детройта:

<<... мне 19 лет. Я хочу заверить Вас, дорогой Генеральный секретарь, что многие граждане моей страны поддерживают вашу идею о двухстороннем замораживании ядерных арсеналов... Поэтому я молюсь каждый день, чтобы наша страна не начала разворачивать крылатые ракеты "першинг-2" в Европе...>> Эх, Роберта — не помогли твои молитвы, <<першинги>> уже в Европе, уже нацелены на наши города...

А вот еще одно — от Патриции Дилоузер, из штата Орегон: *<<Дорогой Генеральный секретарь, хотя я и американская гражданка, я не поддерживаю военно-стратегическую политику Рейгана и понимаю, что пришло время положить конец ядерному безумию и надо жить в мире и взаимопонимании... благодарю Вас, что вы возглавили марш к миру, свободному от ядерного оружия...>>*

Тут же газеты из Германии, США, Франции с фотографиями мощных манифестаций и митингов сторонников разоружения. И опять письма, письма... со всех концов земли.

И все эти письма, все демонстрации — они ведь все в поддержку курса, который твердо выдерживает он, Андропов... И все это происходит в ноябре, через два месяца после сбитого боинга. Значит, рейгановская истерия на весь мир по поводу сбитого боинга — это всего лишь мыльный пузырь, а в действительности все дело в том, что никому не позволено нарушать ненарушаемое наше пространство.

Да, так много успел он за один только год. А сколько намечено на следующий, на ближайшие два-три года... ему бы, как Павлу, года три-четыре — и не узнать бы тогда страну... И вот эта неожиданная немощь. Непростительная. Вопиющая. Ах, если бы в свое время не заострял он так внимания на немощи Брежнева! Если бы не привил в народе вкус к высмеиванию немощей у первого лица государства. Не поощрил своими действиями анекдотов про это... Но кто ж знал, что и года не пройдет — сам будет таким же... А так-то, не будь этого высмеивания, анекдотов этих, можно было бы потихоньку и свою собственную

физическую неполноценность ввести в какое-то приемлемое русло. Но ведь только он сам, сам, и больше никто, разрешил эту травлю. Да что там разрешил — возглавил, поручил, приказал верному Органу устроить на всю страну, на весь мир этот стриптиз с раздеванием, развенчиванием стареющего, со сцены сходящего генсека Брежнева. И вот надо же — теперь сам... полный идей и планов, полный уверенности, что выводит страну из зимней спячки... да что там страну — весь лагерь социализма разворачивает на 180 градусов... к достойной жизни, к достойному месту в мире, к тому положению, которого и заслуживает вся Система в целом, в силу своего неоспоримого нравственного, гуманистического преимущества.

Да, он сейчас переполнен небывалыми намерениями, которые десятилетиями как бы копились и копились невнятно в нем, как бы про запас. И вот тот час настал — он вождь, он император огромной социалистической Империи. Он — пятый вождь за всю советскую историю; императоров, конечно, за всю историю этой страны было побольше... кажется, десять. В конце концов, за всю историю двух десятков не набирается. Ну, и что из того, что он пришел к власти так поздно... Павел вон тоже засиделся до сорока трех лет... странный Павел... Юрию Владимировичу кажется, что он хорошо понимает этого Павла ... стоит вот откинуться легко на спинку кресла, письмо отложить, прикрыть глаза... и вот таким же, наверное, поздним ноябрьским вечером выходил Павел к ограде Зимнего дворца, где висел специальный ящик для писем и прошений, единственный ключ от которого только у императора. Он вынимает ворох писем, в кабинет возвращается, сидит над ними до утра, и горе тому, кто обидел слабого, беззащитного... вдову, сироту... горе судьям неправедным и жестоким... После недавнего столь неожиданного сна о Павле нашел у Тургенева любопытную страничку. Юрий Владимирович берет из стопки книг томик Тургенева, раскрывает на закладке: <<... первый любимец, первый сановник, знаменитый вельможа, царедворец и ничтожный раб, житель отдаленной страны от столицы —

равно страшились ящика... Правосудие и бескорыстие в первый раз после Петра I ступили через порог храмины, где творили суд и расправу верно-подданным... Народ был восхищен, приказания читил благодеяниями, с неба посланными...>>

Как все-таки точно сказано у Тургенева: <<... благодеяния, с неба посланные!>> Именно так в принципе, в идеале следует построить и свою собственную власть, все собственные начинания... чтоб там внизу... за этими больничными окнами все твои приказания воспринимались именно как благодеяния... с неба посланные... слева на виске все заметнее пульсировала тонкая жилка — предвестник рези в больном глазу. Но не стал подгонять, дочитывал с каким-то особым привкусом этих усиливающихся толчков на левом виске.

<<Народ был восхищен. В первый год царствования Павла народ блаженствовал, находил суд и расправу без лихоимства, никто не осмеливался грабить, угнетать его... все власти предержавшая страшились ящика...>>

Какого цвета ящик был?.. черного... сбитый бонг... и сразу колесо со сверкающими спицами... при чем тут колесо... ящик, ящик с письмами. Понятно, что сейчас для писем никакого ящика не хватит. И все-таки... скажет ли хоть кто-то, что народ был восхищен... про его первый год... берет письмо, оно из Ганы, от учителя А. Асамоа:

<<Я восхищен вашей деятельностью, направленной на сохранение мира...>>

А колесо со сверкающими спицами укатилось так далеко, что не видно. Со вздохом стал перебирать вялым движением письма, фотографии, разглядывал лица демонстрантов, протестующих против размещения <<першингов>> в Европе... совсем успокоился.

Подпитка, поддержка через все эти письма — несомненна. Он вполне мог управлять огромной империей из этой больничной палаты, из этого необычного кресла. Впрочем, нет ничего случайного. И скорее всего, кресло, из которого он управляет, соответствует чему-то такому, что, несомненно, есть в самом

Андропове. Да, зубопротезное кресло — это страх, но оно же — избавление от страданий. Человеку, практически каждому, чтобы почувствовать себя полноценным, надо пройти через это кресло. Так и всей стране надо пройти через Андропова. Только и всего.

А то — пустое — что до сих пор мелькает на экране, так это так... несерьезно... каприз всемогущего вождя... впрочем, игрушки, надо распорядиться, чтобы впредь не показывали, чтоб не торчало.... занозой, на мысли всякие не наводило, отвлекающие. Главное сейчас — не размышлять, а действовать. Главное — понимать, чувствовать, что хотят внизу. А это вполне можно и отсюда. Главное — поступать так, как ждут в стране и во всем мире. А это можно и отсюда. И никто не узнает, насколько же физически угнетен он сейчас, насколько же физически раздавлен. Да и зачем кому-то знать про это... даже самым близким не надо знать. Ведь голова-то, как всегда, работает безукоризненно. Воля железная. Характер все тот же... собственно, а какой же у него характер?.. Юрий Владимирович задумался, прикрыл глаза и увидел почему-то питона, который проглотил целиком козленка, проглотил и теперь медленно, неотвратимо переваривает, чтоб ни остатков, ни следов... чушь какая-то — глаза открыл. Уже дежурный врач позвякивал иголками, шприцами, ободряюще улыбался, успокаивал. Он руку врачу протянул — колите. Что? Сегодня — в ягодицу? Пожалуйста. Охранник перенес его на холодную кушетку у стены. И, пока врач смазывал спиртом место укола, разглядывал стену. Стена вблизи поразила мыслью, что жизнь прожита, а вот так близко-близко он ведь ни разу стену не разглядывал. Упущена очередная возможность. И сколько же таких — упущенных — за целую жизнь наберется. <<Будет немножко больно... уж потерпите...>> Боли не было, вернее, настолько была отдаленной боль, словно бы, действительно, все физические немощи — это окончательно лишь для врачей, для охранников, он тут совсем ни при чем. Ум и воля будут управлять страной. А немощи — это не для истории. Немощи — это всего лишь для тонкой специальной папочки:

<<История болезни Ю. В. Андропова>> — пациента больничного. Но не вождя. Вождь — безукоризнен. Вождь энергично и решительно ответит на все народные мечты и чаяния. Сбить самолет — нарушитель было надо?! Несомненно! И самолет сбит без промедления. Народные массы требовали реальных доказательств, что ни один чиновник — ворюга отныне не избежит справедливого возмездия — и вот уже приговорен к расстрелу директор Елисеевского магазина. Народ ждет суда над Щелоковым — и суд обязательно будет. Уже лишен генерал всех званий, всех наград. Скоро, очень скоро будет показательный на всю страну суд...

К нему сюда, на самый верх, даже в больничную палату по бесконечным, мельчайшим капиллярам идут и идут снизу эти энергичные подпитки, этот бесконечный поток писем... Он и сотой доли, конечно, не прочитывает. Это Павел прочитывал все, на все реагировал. Лично он, Андропов, может принять участие лишь в ничтожной доле всех этих обращений, которые приходят на его имя со всех концов страны. Письмо кочегаров из подмосковного Болшева, которое волею случая он взял под личный контроль, — это скорее исключение. Да и не его это дело — заниматься чьей-то конкретной судьбой. Его дело — судьба страны, судьба всего мира.

Из этого кресла, из этой наглухо зашторенной палаты, больше похожей на хорошо охраняемую тюрьму, из этой вопиющей беспомощности он внезапно осознал, что он ведь, действительно, на правильном наконец-то пути... Ибо главное сделано — созидаящая воля снизу пробуждена. И отныне, за что бы он ни брался, все будет получаться. Плохо, что сам он все больше впадает в беспомощность. Это не просто плохо, это отчаянно плохо. Это непонятно. Ибо зачем же тогда так долго было вести его на самый верх?! Чтобы теперь остановить? Но он ведь не может на полпути остановиться. Вот ведь в чем дело... Да и полпути еще не пройдено, пройден лишь год. А ему-то надо хотя бы года три-четыре... как Павлу хотя бы. За четыре года он, пожалуй, выполнит

то грандиозное, что задумал. То, что ему одному и предназначено. Он обязан выполнить это предназначение. Обязан! А иначе же будет ничем не оправдана его жизнь. В которой было столько всего... столько, что не хочется и вспоминать... Глаз слезился все больше, пустое кресло на экране превратилось в желтое пятно. Такое отчаяние охватило, что вырвался не то стон, не то всхлип. И сразу сдвинулся с места рыжий охранник от окна. Он взглядом остановил его, понять дал, что ничего не нужно, что это просто так, что просто вздохнул, меняя положение.

Но как жить ему дальше?

Нет, он совсем не собирался, как Брежнев, показываться где надо и не надо. Но два-то раза в год показываться надо. Даже Сталин дважды в год народу являлся. Два раза в год это и необходимо, и достаточно, поэтому он обязан был присутствовать на этом торжестве, которое сейчас транслируется на всю страну... И конечно же, без охранников. Он сам у всех на виду, у всего мира на виду, на виду у Рейгана, Тэтчер, особенно на виду у директора ЦРУ — Кейси, он сам должен был пройти до этого одинокого кресла в самом центре сегодняшнего торжества. Уже было измерено — семнадцать метров...тридцать четыре его сегодняшних шага. Не настолько же он слаб, чтобы не пройти самостоятельно тридцать четыре шага...

Однажды царь Александр ловил рыбу. Прибежали со срочной депешей, от которой вроде бы зависела судьба Европы. <<Европа может подождать, — ответил Александр, — когда русский царь ловит рыбу>>. <<Болезни могут подождать, — что-то похожее сказал он неделю тому назад, — когда советский вождь занимает свое место в центре торжественного президиума!>> И, отстранив охранников, решительно выбрался из кресла и сделал шаг... другой... и еще один — на дрожащих, сразу вспотевших ногах. Подавив привычное уже желание попридержаться за предметы, дошел сам до окна и только здесь дух перевел. Пять шагов. Теперь от окна до кушетки — еще семь. Пять — до двери. И еще два — до кресла. Итого

— девятнадцать. Всего два круга — и он будет там, где надо.

А еще неделя оставалась до торжественного собрания. И он трижды на день проходил эти два круга вокруг зубопротезного кресла. Вернее, пытался. Но получалось, что в среднем, по крайней мере, одна попытка из пяти заканчивалась неудачей. В глазах темнело, пол ускользал. Но ведь там, на главной кремлевской сцене не будет рядом верных охранников, которые вовремя подхватят на мощные руки, осторожно перенесут куда надо. И отказался, не рискнул... а может, стоило?.. Кресло почему-то попросил не занимать. Пусть будет у всех перед глазами это пустое кресло, в которое он может вернуться в любой момент. Ну и что из того, что его нет на сегодняшнем юбилее? На Первомайском будет обязательно. Должен быть. А кресло.. пока пусть постоит, пусть как-то напомнит, что ничего страшного... сейчас не занято, а, скажем, через пять минут вернется законный хозяин. Ведь, собственно, никто не знает, где сейчас Андропов — в больнице или совсем рядом... за портьерой... или вон на балконе кто-то второй раз мелькает в черных непроницаемых очках... Пусть ждут. А появиться в любой момент можно, кресло ждет.

И сам понимал, что жалкие уловки. И сам уже догадывался, что и на майские торжества вряд ли выберется отсюда. Что-то непонятное происходило. Обострились старые болезни: диабет, нефрит. Новые откуда-то навалились. Глаз почти ослеп, в груди хрипело и сипело, теперь без кислородной подушки — никуда. И хуже всего эти непонятные удушья, перекрывающие так страшно сознание. За что ж судьба несправедлива так к нему, за что? Четыре года всего и надо. Четыре — как Павлу. Чтоб жизнь оправдать как-то. Чтоб как-то оправдаться перед всеми, через кого переступил. Переступил, потому что так было надо, потому что судьба... Рок, судьба... провидение... Неужели все-таки случайно провидение вело его на самый верх? Так долго... через все перипетии... За чем? Чтоб сбросить теперь в физическое небытие? Но это же чушь! так просто не может быть! не может,

не может... потому что тогда все, абсолютно все будет бессмысленно, вся жизнь тогда — игра вслепую, что-то вроде <<русской рулетки>>. С полузакрытыми слезящимися глазами механически ворошил на столе груды писем, собирал в стопку, снова рассыпал...

Привычное недоверие ко всему порой заставляло сомневаться: а не устроено ли все это, все эти письма, Органом, который слишком уж хорошо он знал. Но ведь Орган никогда бы не стал готовить эту показуху с такой неправдоподобной избыточностью, которая, несомненно, присутствовала в этом ежедневном потоке доставляемых, вываливаемых ему на стол писем и телеграмм. И потом — эти письма, газеты, журналы из-за границы: из Америки, Австралии, Африки. Изощенный во всех мыслимых и немыслимых интригах ум старого разведчика сейчас усматривал десятки, сотни признаков, позволяющих убедить себя в том, что все эти письма, по крайней мере большинство из них, пришли естественным путем. И тотчас подозрительность резко слабела, совсем отступала перед тем несомненным укрупнением, которое приносили с собой эти тысячи и тысячи ежедневно приходящих писем, заставляющих впервые взглянуть на самого себя как-то со стороны. Ведь, действительно же, никто никого не заставлял писать эти письма, люди пишут сами. Так невероятно много их, ожидающих действий от него, — тьма. Эти тысячи, написавшие ему свои письма, — ничтожная часть, выделившаяся сейчас из этой тьмы. Но эта часть, как точный барометр, определяет настроение тьмы, которая под ним, внизу...

Но что же все-таки связывает эти полюса — низ и верх? Полюса, которые в реальной жизни непосредственно никогда не встретятся, не соединятся. Ведь это только в сказке дочь царя влюбляется в Иванушку-дурачка. В реальной жизни между ними всегда будут непроницаемые, непробиваемые стены. И все-таки — связь несомненная. Но что же так несомненно связывает сейчас его с поэтом из народа?.. с кочегарами из Болшева? Только время. Время, в котором они оказались волею providения. И это единственно

неповторимое время теперь формируют, строят они сообща. Только с разных сторон. И в этом времени они зависят друг от друга настолько, что это не сразу и не всякому понятно. Андропов, скажем, несомненно, зависит от того, как отнесутся к нему внизу... тот же поэт из народа, те же кочегары из Болшева. Воспримут его начинания, — значит, не случаен он в вождях.

Ну, а те, кто внизу, в свою очередь зависят от того, как поступит он — вождь и генсек — на этом самом верху. Кочегары, к примеру, никогда бы не написали, если бы не надеялись на верховное вмешательство. И он, естественно, вмешался. Раз уж волею провидения письмо попало в самые руки ему. Откликнулся, вмешался... по мере сил своих, к слову сказать, немалых. И тут же эта связь из символической, мифологической обрела свое практическое оформление. Он уверен, что в случае с кочегарами мифология станет реальностью. Хотя, по большому если счету, не его это дело вмешиваться в конкретные судьбы. Его дело это нечто большее — миф, безупречные, на долгие годы мифы. Ну, а реальная история взаимоотношения Андропова с кочегарами в свою очередь станет тем микробом, вокруг которого обязательно начнет расти новый миф о его времени.

Не так давно, да сразу после возвращения из Афганистана, куда летал на два дня, слег с обострившимся вдруг диабетом. И надо же, из Иванова приехала известная на весь мир ткачиха. Попросилась на прием. Из-за болезни не принял. Хотя в любое другое время, разумеется, не отказал бы себе в удовольствии побеседовать. Самородок. Прелюбопытный персонаж исключительно русско-советской действительности. Шалапин в ткацком деле. Прекрасно помнит, как Брежнев не раз вручал ей ордена и медали, целовал, обнимал. Крепкое, самобытное, народное начало, несомненно, присутствовало в этой со вкусом одетой молодой крепенькой женщине с одухотворенным, волевым и уже несколько капризным от наград лицом... И вот, обнимая, от всей души целуя, Брежнев, конечно же, что-то черпал, чем-то наполнялся из этого родника народной сути живи-

тельной. С явной неохотой выпускал он самородок из объятий. Да вот приехала некстати - и не принял Андропов. И тут же зародился очередной миф: Андропов не принял и сказал — раз ткачиха, так возвращайся в свое Иваново, делом занимайся, давай стране ткани, нечего по столицам разъезжать — это тебе не при Брежнев.

Да, миф и реальность уже при жизни настолько переплелись, что не разнять, не различить. Да и зачем. Если и то, и другое одинаково работают на время, которое за окном больничной палаты. Если и то, и другое пропитывает, окрашивает, как лакмусовую бумажку, это время законное скачущими непредсказуемо, громяющими, искры высекающими звуками — А-н-н-д-р-о-пов...

В конце концов, попади в руки кому-то из пишущей братии какой-то материал из его жизни и жизни тех же самых кочегаров из Болшева, — вполне возможно, написалась бы повесть или даже роман. Потому что это, в конечном счете, будет роман об одном и том же времени, в котором они все живут. Один из его документов. Ну, а какие-то художественные добавки могут быть при этом, а могут и не быть. Скажем, та же глава про часы из Болшевской трудкоммуны, которые он хотел когда-то разыскать, в приемной поставить, продемонстрировать как бы связь эпох. И, несомненно, это украсило бы и приемную, и роман. А могло такой главы там и не быть. Но это как раз большой роли и не играет. Главное, чтоб люди узнали себя. Люди, роман читающие, узнали бы это общее время...

Скорее всего, такой роман не будет написан никогда. А жаль... Как это там у этого поэта из народа? у Шибаяева: <<Нет, коммунисты, вы не справились в борьбе со злом и воровством...>> — подождите, товарищ Шибаяев, еще не вечер: годика три-четыре — и справимся, еще как справимся. Ведь уже вслед за директором Елисеевского магазина к расстрелу приговорен очередной бессовестный ворюга — председатель технопромэкспорта. За ним последуют еще... и еще...

<<Мне б только годика три-четыре, — шептал, стискивая бескровные губы, — и справимся, обязательно справимся...>>

А между тем получалось, как и в реальной жизни за окном. Как и в реальной системе, что за больничным окном всюю скрипела, дребезжала, хромала на обе ноги, на глазах разваливалась... где все давно прогнило, проржавело... все, кроме КГБ. Так и в нем самом теперь — человеке-системе — светлой оставалась только голова. Сильной, ничем не пораженной, оставалась только голова. А тела он почти и не замечал. Резали, кололи, аппараты подключали — он только посмеивался. Терял сознание, бредил, в бреду, смущая окружающих, разговаривал на разных языках. А в себя приходил — тут же шутить начинал. По шуткам и определяли, что в себя пришел.

Человек-система. А в систему всегда включал не только СССР, но и весь лагерь социализма. Он сейчас не просто понимал, анализировал все, что происходило в этой гигантской системе — он всеми фибрами, всеми клетками ощущал ее всю. Как сумерки за окном ощущает, как свежий воздух через форточку. Он воспринимал все, словно бы в самом деле стал ожившей системой. Хотя, разумеется, внешне при этом проявлялось и вполне человеческое — гордость или, наоборот, унижение... решительность или ненужная созерцательность... величественность или нервозность. Так по-человечески очень болезненно он перенес это явное в последнее время падение в мире популярности идей социализма. Он даже весь как-то насторожился, весь как-то подобрался, словно для большого прыжка через пропасть, когда проанализировал, прикинул то вражеское окружение, что все теснее сплывается вокруг СССР. Он с горечью и презрением перенес неприкрытый отход от социализма в ряде стран. Предателями обозвал друзей вчерашних. Отвернулся от них. Он Кубой все больше гордится. Да Фидель сам недавно парочку предателей к стенке поставил.

Когда южно-корейский <<боинг 747>> нарушил границы СССР, он оскорбился за всю систему. Человек-система — он, не колеблясь ни на минуту, отдал приказ. Слишком уж хорошо он знал почерк ЦРУ, слишком уж во всем этом проглядывала холодная самодовольная ограниченность его директора — Кейси, чтоб можно было поверить в трагическую случайность.

Понимая, что Андропов серьезно болен, там выбрали момент. Но они и не догадывались, что дело имеют не с больным человеком, а с больной системой. Больной, конечно, но не настолько же фатально, как реальный человек. Потому что не все в ней прогнило, продалось, пропилось, проворовалось. В системе, как ни странно, оставалась не только страдающая, созерцающая душа ее. В системе, для многих неожиданно, оставалась еще и воля... да, да — ум, воля и... совесть... своеобразная, конечно.

Маргарет Тэтчер — женским пронизательным умом — о многом догадывалась. Потому и боялась больного Андропова. Особенно больного и боялась. Эта <<железная леди>>.

И опять — <<железная>>! Метафизика преследует его всю жизнь. Низ-верх. Вода и почва. Всю жизнь его преследует нечто. Сначала в детстве — смутным ожиданием каких-то тайн прекрасных. Потом — эта поэтическая созерцательность. Когда, глядя на текущую воду, стихи сами собой писались. Затем на долгие-долгие годы это было упрятано под маской общественного деятеля, комсомольского, государственного вожака. Где он подписывался — Ю. Андропов. А что в душе у этого Ю. Андропова?.. Ю. А. — звали в Отделе. <<Папой Юрой>> — в Комитете. <<Могиқан>> — стояло под его шифровками в карельском подполье. Да в собственной семье давно называют — Юрий Владимирович.

А ведь под всеми этими масками до сих пор он ощущает, как по-прежнему бурлят, по-прежнему сливаются в нем два потока кровей этих древних — еврейской и армянской...

Всю-то жизнь чтением книг, самообразованием, общением с сотнями и тысячами людей совсем разных... женитьбой... и одной, и другой... рождением собственных детей... невероятным разнообразием всех этих нитей-связей — он постоянно разбавлял и разбавлял в себе эти древние потоки, заглушал... забыть хотел даже... в какой-то, помнится, анкете написал, что сирота. Что было не так уж далеко от действительности, потому что потерял родителей так рано... к сожалению, так рано. Отца почти не помнит. Мать, которая вышла за другого, помнит лучше. Но что-то мешает и ее помнить... может, эта странная обида за отца?.. Которого так быстро позабыла мать и вышла за другого...

И, чем быстрее жизнь проходит, чем меньше ее остается, тем все больше корни ощущает... царство Урарту, Палестину — корни уходят в такую глубь веков, что вот так задумаешься, заглянешь — сладким отзвуком глубь отзовется, благодарностью отзовется... тихой грустью, какой-то запредельной мудростью... запоздалой, конечно, уже. Вон, на подоконнике среди книг, — Ветхий Завет, — великая книга, сказал как-то Горький. А он вот до сих пор так и не осилил ее до конца. Армянский эпос только-только в больнице читать серьезно начал. Всю жизнь читает. Жадно, взахлеб, — словно бы, действительно, задался целью — в древнейшую кровь влить молодость стремительных свершений. И ведь удавалось! Очень часто удавалось. На годы, на десятилетия с головой уходил в окружающую грандиозность бытия — стройки, войны, послевоенное восстановление.

Да, комсомол, война и партия сформировали его на девяносто девять процентов. Может, всего лишь один процент и составляет в нем всего-то тот засушенный цветок, возвращенный древним царством. Но, повернись все по-другому, не пронесись над страной и над его жизнью все эти войны, революции, — он стал бы историком, учителем литературы... он стал бы, наверное, музыкантом, моряком... Он стал бы поэтом. Теперь-то поздно. Теперь с каждым днем уже

приближается это — нечто. Небытие? Тогда отчего ж он так спокоен? А что, собственно, это такое?

Вот написала ему студентка из Америки письмо, считает, что СССР — оплот мира во всем мире, а он, Андропов, — олицетворение этой надежности, благодарит... и это после сбитого боинга... в котором 269 человек ушли в небытие... Небытие ... что это такое?.. Сын Володя... Брусникин... Имре Надь... партизан Федя Тимоскайнен, радистка Люба Туманова... такие молодые, ничего не успевшие... засасывает и засасывает в эту бездонную воронку... небытие.

Было время, когда небытие воспринималось таким неправдоподобным, таким нереальным. Воспринималось простым полуабстрактным отрицанием бытия, не более. Лишь термином воспринималось всего-то, пригодным для схоластических споров философов. Потом, лет в пятьдесят уже, после инфаркта небытие выросло, вдруг ощущаться стало с большой буквы, таким же вдруг реальным стало, как и само бытие. А вот теперь — после кислородной подушки — когда сознание полностью вернулось — небытие в нем стало заметно перерастать бытие. Стало перерастать вообще всякую физику. Ибо физика — по-гречески всего лишь Природа. И уже вся Природа видится ему сейчас — после кислородной подушки — лишь как временное частное проявление небытия. Словно бы оно — Небытие — лишь на какое-то время предметно <<засветилось>> — собственная жизнь так быстро пролетела, что и не заметил! — засветилось небытие на мгновение в виде иллюзорного бытия, и вот уже готово вновь все исчезнуть, уйти в свою надфизическую, метафизическую сущность. Небытие настолько превосходит бытие... что даже странно... весьма... Да, странно Юрию Владимировичу — а для чего же, собственно, тогда оно <<засветилось-то>>?.. Для чего он сам тогда? Жил, любил, страдал... вождем стал — для чего?.. Вождь — народ... для чего все это?.. И что же все-таки хотел в том мимолетном сне сказать Павел? Что было в его печальных глазах?

В жизни было столько поступков больших и маленьких — и кто теперь возьмется определить их

знаки?.. У него странное чувство, что все, даже самые лучшие, наши поступки, самые наилучшие наши устремления — в конце концов приводят к обратному результату, вот ведь в чем истинная трагедия. Ибо все продвижения наши вперед, вся так называемая эволюция — ведь это же, в сущности-то, обязательно удаляет нас от собственной нашей первопричины. Удаляет... вот ведь в чем штука! В чем заключается первопричина наша, он, разумеется, не знает. Но это постоянное удаление от первопричины видится ему сейчас абсолютно трагическим... И тогда, по-видимому, чем выше пик сегодняшнего энтузиазма в массах, тем печальнее и стремительнее завтра будет скольжение вниз... Звонит телефон.

— Да, да... Михаил Сергеевич... жив... жив еще...

Горбачев звонил, советовался — какое же все-таки давать название самому мощному в мире атомному крейсеру, строительство вышло на плановые темпы, а названия нет до сих пор... <<Карл Маркс>> — название хорошее... но, может быть, <<Ленин>> — тоже ведь подходит...

За окном ранний февральский вечер. Юрий Владимирович ловит себя на мысли, что сознательно затаивает дыхание, придерживает пульс. Словно бы каждый вздох его теперь невольно порождает очередной фантом действительности. Той, что так стремительно густеет за февральским фиолетовым окном. Человек-система инстинктивно осторожничает, чтоб не навредить. Хотя бы напоследок — не навредить.

Но не дышать он не может, не может не функционировать, ведь он же до сих пор на посту, звонит телефон, он трубку берет:

— Да, да... Михаил Сергеевич... жив... жив еще...

Глава 7

Идет как-то Шишкин со смены, навстречу Прутов бежит из магазина. С бутылкой.

— Коля, у тебя же с утра не хватало!

— Так ведь <<андроповку>>, Егор завезли — хватило. Живем!

А ведь, действительно, живем! Оглянулся Шишкин — день-то какой прекрасный! И нетерпеливое ожидание статьи, вообще ожидание, подталкивание каких-то срочных перемен — вдруг внезапно отступило, оставило Шишкина. Мощное, властное ощущение неотвратимости бытия навалилось счастливо и сладко, и ахнул он — живем! Дочки-то как за это время подросли — невесты! Старшая кончила музыкальную школу. Пора обещанного щенка покупать. А в квартире есть уже одна собака — Альма, беспородная, а не выгонишь. Но обещанное надо выполнять. Он узнает по справочнику телефон клуба служебного собаководства, звонит по одному, по другому номеру, едут с дочкой куда-то далеко за щенком. И сколько ж радости в их доме в этот вечер! Щенку выделен угол в комнате дочек, у него свой рацион, прогулки, витамины... жизнь. И Шишкин на какое-то время весь в этой жизни. Всей семьей выбирается имя щенку — Майя, Герда... Лада... А есть и другие в жизни вещи... листопад, тихая поздняя осень, в сумерках неясное движение уток в камышах... Хорошо гулять с женой вдоль реки, когда уснули дочери, когда уснул уже щенок в своем углу. Теща ушла в первый корпус померить давление. Шишкин с женою гуляют у реки.

—... У Малышева с Викой завтра экзамены, — говорит жена.

— Ты что, мысли читаешь? Я же только что подумал про Малышева.

У Малышева закончилась сессия, они с Викторией заходят к Шишкину. У них торт. Сядутся пить чай. И опять все о том же, о том же... Разговор о письмах, которые треугольником написаны на Малышева не только в институт, но и по месту жительства Вики.

ОБРАЗ ТИПА СОВЕТСКИЙ

История, пожалуй, не знает столь стремительного взлета от состояния отсталости, бедности и разлуки и могучеству современной великой державы с высочайшим уровнем культуры и постоянно растущим благосостоянием народа".

Ю. В. Андропов



ЭМОЦИЯ И МЕРИДУ
зачает интере

ПРАВ
и Центрального А
ВЛЕН
го секретаря Ц
и Президиума В
СР Ю. В. АНДР



**ПРИЕМ Ю. В. АНДРОПОВЫМ
Х. ПЕРЕСА ДЕ КУЭЛЬЯРА**

Встреча в Кремле состоялась в среду, 11 октября. Ю. В. Андропов принял в своем кабинете в Кремле Хосе Луиса Переса де Куэльяра, первого заместителя председателя правительства Испании. В беседе Андропов подчеркнул, что СССР поддерживает дружественные отношения с Испанией и готов к дальнейшему развитию сотрудничества.

**Наша страна ведет борьбу за сохранение и упрочение
в тесном союзе с братскими социалистическими странами**

ЗАЯВЛЕНИЕ

Ю. В. Андропова
Первого заместителя
Президиума Верховного
Совета СССР

Вопросы внешней политики СССР...



В августе 1978 года член Политбюро ЦК КПСС, председатель Комитета государственной безопасности СССР генерал армии Ю. В. Андропов и член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь Ленинградского областного КПСС посетили в составе делегации в отряд милиции





*Ю. В. Андропов – член Политбюро ЦК КПСС,
Председатель Комитета государственной
безопасности – у галереи Героев Советского Союза
Петрозаводск. 1978 г.*



*Ю. В. Андропов беседует с рабочим Онежского тракторного
завода – Н. Я. Горожанкиным. Петрозаводск. 1978 г.*



Ю. В. Андропов — Председатель КГБ — в своем рабочем кабинете



*Ю. В. Андропов —
Генеральный секретарь
ЦК КПСС — с соратниками
по партии
Москва. 1982 г.*

*Ю. В. Андропов
в окружении ближайших
сподвижников, рядом —
М. С. Горбачев*





Ю. В. Андропов — Генеральный секретарь
ЦК КПСС — у себя в кабинете. Москва. 1982 г.



Ю. В. Андропов — Генеральный секретарь
ЦК КПСС — во время встречи с рабочими завода
им. Орджоникидзе. Москва. 1982 г.



Ю. В. Андропов во время посещения Горьковского
завода им. Ульянова. Горький. 1980 г.



*Ю. В. Андропов на трибуне Мавзолея
Москва. Первое мая 1983 года*





*Рыбинское речное училище
Февраль 1984 года*

Теплоход «Юрий Андропов» на Волге

*Сын Ю. В. Андропова Игорь
с командой теплохода
«Юрий Андропов»*

*«Счастливого плавания!» Теплоход
«Юрий Андропов»*





*В музее Рыбинского речного училища
Открыт в день 70-летия Ю. В. Андропова
Рыбинск. 1984 г.*

ФОТОГРАФИИ СО СТЕНДОВ МУЗЕЯ

*Зимний и летний клубы судоверфи
им. Володарского, где был
комсоргом Ю. В. Андропов в 1936–
1938 годах*

*Профсоюзная библиотека в поселке
судоверфи им. Володарского*



Зимний и летний клубы верфи



Профсоюзная библиотека в поселке



Ворота в летний сад и футбольное поле



Дом №16 в поселке построен в 1936 году

Дом в поселке судовой верфи им. Володарского,
в котором жил Ю. В. Андропов в 1936–1938 годах

←

Летний сад судоверфи им. Володарского



Ю. В. АНДРОПОВ
1936 ГОДАХ



Юрий Владимирович
АНДРОПОВ
КОМСОРГ ЦК ВЛКСМ СУДОВЕРФИ
1936 - 1938 гг.



ДОМ № 10 В ПОСЕЛКЕ



Ю. В. Андропов — комсорг судоверфи
им. Володарского. Музей Рыбинского речного
училища



*Школа № 108 в г. Моздоке, носящая имя
Ю. В. Андропова*

Когда, проводив Вику и Малышева в рабочий дом, возвращался к себе, встретил Надю — жену Прутова, легонькая, сухонькая, бежала-семенила по своим делам бесконечным.

— А Коля-то болеет... да, Егор, болеет..

— Да я слышал... а что с ним?

— Застудился... да, очень застудился, мерзнет, ноги опухли... а лечиться не хочет...

— Зайду как-нибудь... привет передавай.

— Передам, передам... Сколько ты его, Егор, с земли поднимал, спасибо тебе! Сколько ты его на себе таскал, все равно застудился — лежит, опухает...

— Хорошо, зайду как-нибудь...

— Лежит, лежит... а лечиться не хочет, его в больницу ложат, а он не хочет, чего я там не видел, говорит...

— Привет ему передавай. Я зайду... поговорю с ним, как это в больницу не хочет, там что-нибудь дадут, обязательно надо, я зайду, ты так и передавай... вот разберемся немного с этими повестками — и зайду...

Разбирались долго. Раз пять их в суд вызывали. И по одному. И всех вместе. Давыдов садился напротив кочегаров во всем блеске многочисленных значков. И на все доводы с одним и тем же многозначительным выражением на полном лице говорил: <<А я все же настаиваю на привлечении за коллективную клевету>>. Полное лицо его от этой многозначительности каким-то полноправным становилось. Малышев, когда из здания суда выходили, предлагал: встретить Давыдова в темном месте и... <<Дурак ты, Малышев! — Шишкин отвечал. — Они только и ждут этого, и тогда-то уж в суд потащат по-настоящему. А сейчас — что? Ну, что такое — Давыдов? Тьфу! Пешка в большой игре. Они рассчитывают, что мы всерьез клюнем на него, увлечемся, в спор вступим, на него самого подадим в суд. И позабудем о главном — о статье, о процентовках. Так?>>

Так — соглашались с Шишкиным. Но от этих бесконечных вызовов в суд всех уже тошнило. И только после Нового года в возбуждении дела против кочегаров Давыдову было отказано окончательно.

И можно было опять к статье вернуться. К статье вернулись. Перспектива ее опубликования крепла, день ото дня обростала реальностью. Медяница поехала в <<Труд>>. На ней был строгий темно-синий костюм, никаких побрякушек, один депутатский значок. С ней — генерал Медяница, при всем параде. Начали вежливо. Но, видя непреклонность спецкора, вскоре сорвались в каприз.

— Я коммунист! Я депутат! — подступая все ближе к спецкору, кричала Медяница. — Да я женщина, в конце концов! И не позволю тут всякому себя оскорблять!

— Но я и не...

— Молчать! — пристукнул кулаком по столу генерал Медяница. — Не перебивать женщину! Развелось тут одно хамье!

Ощетинившись капроновыми усиками, генерал сказал сквозь зубы:

— Ну, что с ним разговаривать, Галя! Идем к главному редактору, в конце концов, пусть наведет порядок в своей газетке!

И ушли, громко хлопнув дверью. А спецкор Кузнецов провел рукой по взмокшему лбу и с кривой улыбкой, бормоча: <<С волками жить — по-волчьи выть!>> — выключил портативный магнитофон, который включил, как только появились незваные гости. Мера, отнюдь не лишняя — Медяницы потом официально заявляли, что спецкор Кузнецов выражений не выбирал, позволял грязные намеки, вообще вел себя разнузданно и по-хамски. Они столько на него наговорили, что вполне хватило бы выгнать пяток таких спецкоров... если б не включил магнитофончик он вовремя...

Да, много пришлось пережить спецкору. Да и всей газете, до главного редактора включительно. Но из КГБ еще раз позвонили.

И хотя звонок был по-прежнему вежлив, настойчиво напомнили, что прошли все сроки, то есть, по-видимому, нет никаких оснований статью не печатать, так в чем же дело, товарищи?

Будут печатать! Свой человек срочно известил Медяницу. У нее оставалась еще слабая надежда на официальный отчет в <<Труд>> городского народного контроля о том, что <<во всем виноваты эти бездельники кочегары>>. Но ведь подпись Лебедева в этом случае — обязательна! А старый, больной, израненный на войне, порезанный хулиганами в мирной жизни человек ни за что не хотел подписывать. И даже первый секретарь не смог ничем помочь Медянице. Еще поднажать на Лебедева? Так ведь ему и так пригрозили исключением из партии. Что может быть страшнее для таких, как Лебедев?! Нет, и первый, и второй секретари сделали все, чтобы замять конфликт... <<Туши свечи!>> — так сказал генерал Медяница. Уныние охватило сторонников главного врача, паника началась.

Только сама Медяница считала, что еще не вечер. Она инсценировала попытку самоубийства, и ее на скорой увезли в больницу. Генерал Медяница с общественностью Здравницы срочно явился на квартиру Лебедева, поднажали, а тот и так лежал с кислородной подушкой. Совсем плохо Лебедеву стало. Все хором стали умолять его, чтобы он спас бедную женщину, которая наверняка позора не переживет, если выйдет статья. Старый, больной человек ото всего, что свалилось на его бедную головушку, совсем потерялся, бессвязно что-то бормотал, ему на глазах становилось хуже и хуже, пришедшие трусливо сбежали, однако неразборчивое бормотание было истолковано, что Лебедев подумает. С тем и была послана в <<Труд>> целая делегация. И еще на неделю-другую статью отложили, стали ждать, когда Лебедев поправится... подумает... Или уж не поправится?.. Поправился. И на этот раз приступ пережил. И опять твердо сказал: <<Нет!>>.

И вот она вышла!

Это произвело в Здравнице эффект разорвавшейся бомбы. Бежал Семеныч к телефонной будке звонить срочно Медянице, бежал и бормотал: <<Теперь понятно, чья волосатая лапа сильнее!>> Медяница не появлялась, как всегда прикинулась больной, из дома звонила Лебедеву...

Точно она и сама не знала, о чем бы хотела говорить с Лебедевым. Ей просто надо было услышать его голос, снять окончательно какую-то тягостную неопределенность. До сих пор ей было все ясно — борьба на сей раз предстоит нелегкая, но в результате нет и не может быть никаких сомнений. Низ, как всегда, будет повержен, останется там, где ему и положено, у ее ног. А вот теперь, после выхода статьи, ей впервые приоткрылась холодноватая безграничность и почти нечеловеческая безжалостность того, с чем так опрометчиво затеяла она борьбу. Слишком глубоко на этот раз нырнула Медяница. В этот страшный и отвратительный в своей непонятности низ. И как-то все будет на этот раз...

Вечер. Она одна в огромной квартире. Муж, статью швырнув на стол: <<В тюрьму захотела, дура! Меня за собой потащить захотела! Время-то, время-то на дворе у нас какое? Андроповщина!! Допрыгалась, дура!!>> — газету швырнул, на полигон улетел.

Медяница ходит, и так, и эдак прокручивает сложившееся положение, посеявшее в душе непереносимую тягость. Статья вышла — открыт путь к процентовкам. Процентовки — значит, тюрьма. Вот такой расклад на сегодня. Семеныч уже лежит с кризом, понимает, что статья у них одна — групповуха...

И опять непонятно как-то мелькнуло лицо Воропаева, глаза его выжидательные... это когда полгода назад в Здравнице комиссия Давыдова была, когда все так удачно складывалось... вскользь бросила: <<Хорошо, Петя, выступил, зайди-ка...>> В кабинете отдала бутылку, приготовленную для Прутова. И Воропаев тут же упрятал ее в боковой карман, пятясь, бормотал какие-то слова (жаль, не прислушалась тогда), как-то странно кивал головой при этом... головой и рукой одновременно, в такт, помахивая, мол,

все в порядке, мол, ни одна живая душа не узнает (это он про бутылку), а ведь что-то и еще говорил при этом... что?.. жаль, не прислушалась! Осталось лишь явное ощущение, что вроде бы он ее в сообщники приглашает или сам напрашивается... а-а... вот по какому поводу? .. непонятно... И тогда зачем бутылку отдала?.. Тоже не совсем понятно. Ведь за выступление Воропаеву была обещана внеочередная премия, и он уже получил ее. И при чем тут тогда бутылка? Ни при чем. Могла бы бутылку на какое-то другое дело. Но отдала... надо... надо было еще раз ей увидеть эти бегающие, заискивающие глаза, эту готовность к общничеству с нею, надо было еще раз услышать этот заговорщицкий шепот, увидеть, как, пятясь, этот здоровенный мужик Петя Воропаев одной спиной, как-то уж очень ловко, откидывает массивную дверь кабинета, ловко выскальзывает... За этим и отдала?.. А может, для того, чтобы неделю спустя уже в другом кабинете, у первого секретаря, увидеть глаза совсем другие — шишкинские?.. Глаза непримиримого врага. И враг упрямый. Вот это самое неприятное. От этого и навалилась полуночная тягомотина. Неужели на этот раз все кончится плохо? Да, нет же, нет — этого просто не может быть. Да нет же, это просто и в голове не укладывается! Чтоб она и ... в камере, в какой-то вонючей камере... б-р-р...

Медяница одна в большой квартире. Ходит, все внимательно разглядывает — ковры, картины, гобелены... да нет, плохо — это не для нее, плохо — это для других. Распахнула гардероб, провела рукою по мехам... мелькнуло такое уютное желаньице нырнуть в меха, затаиться как мышка-норушка, переждать... С верхней полки достала шкатулочку с драгоценностями, повернула ключик, прослушала мелодию, которую сыграл потайной замочек, стала рассеянно перебирать золото, камушки, дорогие безделушки... В руке оказался кулончик из красного, с сильным блеском, гиацинта — подарок Кондратюка — даже где-то есть надпись мелкими буквами: <<Что наша жизнь — игра!>> Заигрались, что ли... И неужели, со всем этим придется расстаться?! А ведь есть еще дача,

даже две, машина, дом в деревне, сберкнижки... И вместо всего этого — позор? Злокачественный шепоток по углам и за спиной: <<Медяница — под следствием!>> Да нет же — никогда! Быстро заходила по комнате... Какой-то Шишкин! Да нет, чушь собачья! Да просто мерзавец! Вот он кто... вспомнились крепко сжатые губы, глаза... да, да — все дело в нем, конечно... глаза такие, что... вдвоем на белом свете они существовать не могут... Это теперь ей ясно... на кроваво-красном гиацинте не случайно маленькие буквы: <<Что наша жизнь — игра!>> Просто-напросто придется Шишкина вывести из игры... и всё... так что там Воропаев, пятясь задом, говорил, что он там бормотал, легко дверь отшвыривая? Что там за бутылку-то он сделает?... Всё?! Ну, это так всегда говорится — всё, — а вот хотя бы... вот хотя бы где-то в темном месте встретить Шишкина... да как следует, как следует его... чтобы утром он уже в больнице... чтобы разговоры пошли: <<А-а... один уже доигрался, в лоб получил, уже один в больнице!>> И чтоб подольше там провалялся... возможно, с переломом переносицы (вон у Воропаева кулачище какой!)... а еще лучше пусть будет перелом предплечья... кулаком вряд ли сломать, пусть возьмет в кулак что-нибудь потяжелее (его дело!), — перелом предплечья долго не заживает, она-то, врач, знает, очень болезненно... а пусть! пусть и ему будет больно... чтоб знал, мерзавец! Да кто он такой, этот Шишкин?! Да он, видно, совсем охамел, что на самую Медяницу замахнулся. Да, да... пусть будет сотрясение мозга... легкое такое... он же этого вполне заслуживает... хам... А собственно, почему легкое? Пусть среднее, даже пусть тяжелое! Так, мерзавцу, и надо! Чтоб она из-за какого-то мерзавца так сейчас переживала, муж на полигон удрал... трус несчастный! С кровоизлиянием пусть! С остаточными даже явлениями! Чтобы потом, мерзавец, всю жизнь со справкой жил. Выбить из игры! Да, да — совсем из игры! Тогда и другие распадутся... они ж без Шишкина обязательно распадутся. Нет, бутылкой здесь не обойдешься. Так ведь она как знала — сняла деньги с книжки... на всякий случай... И вот пригоди-

лись... Нет, Воропаев, конечно, не подходит. Вот-вот, надо все обмозговать... взад-вперед расхаживала по квартире... все надо продумать... во всех деталях...

Ей вдруг стало страшно по-настоящему. Непонятно даже и от чего. Вспомнилось, как года четыре назад была с мужем в ГДР по путевке, а Нинка с компанией устроила в квартире небольшой сабантуй, достали с антресолей малокалиберную винтовку, муж ее там всегда хранил. И стали из окна прохожих пугать. Правда, ни в кого не попали, стреляли над головами. Но у генерала были большие неприятности, винтовку сдать пришлось... поэтому мужа ни во что посвящать нельзя. Ни слова. Раскричится, разволнуется... вон он каким бледным, общипанным на полигон улетал, трус несчастный! Да был бы рядом настоящий мужчина! Разве ж она занималась бы сейчас этим неженским делом?! Ужас — какое дело. Нет, нет, все обмозговать хорошенько надо. Страшно. Тут пахнет... а-а, не надо уточнять, и так страшно. Две тысячи, наверное, маловато. Три? Три, пожалуй, много. Ё-моё! Никто не знает, сколько за это полагается давать. Был бы мужчина рядом... Кондратюк?.. Да если сразу дать три, заподозрят, что для нее это крайне важно ликвидировать какого-то Шишкина. Да вообще, кто он такой?.. Хам и саботажник. Всего-то... Тогда почему ликвидировать? А кто сказал, что ликвидировать?.. Именно ликвидировать? Может, просто вломить как следует... пусть перелом рук и ног, травма черепа или даже позвоночника.. но чтоб жил все-таки, а? Нет, нет — это исключено. Береженого и Бог бережет. Вдруг всплывет!.. Пусть все, пусть три с конфискацией, пусть пять... но только не до конца... а то ведь — вышка! Да нет — никакой такой вышки ей не надо! Что такое? Я жить хочу!! — вслух вырвалось у нее, и Медяница сама себя испугалась. Быстро к зеркалу подошла, потеряла бледные щеки. Да-а — головой покачала — знакомых много, а посоветоваться не с кем. Пить-есть — целая орава, а вот помочь — сволочи! Ну, кто, кто?! Семеныч — стар, песок сыплется. Салапуров — глуп, труслив. Воропаев? Нет, что-то не нравится ей этот Воропаев, что-то уж слишком себе

на уме, слишком уж понимающе как-то подмигивает... прямо на ходу подметки рвет, нет, этот и деньги возьмет, и-и... нет, ну его... Всё не то, не то, не то... К новым кочегарам приглядеться?.. Да, есть там один... с бельмом (как-то видела мельком), с каким-то голубовато-рассеянным взглядом, страшенький такой, словно б только что сам из-под котла вылез. Словно бы во сне убил кого и сам заспал... какой-то весь затуманенный... надо вызвать, приглядеться... две или сразу три предлагать?.. Две с половиной. Да, половина тысячи — это она хорошо придумала, это на таких затуманенных, с бельмом хорошо действует, внушает уверенность, конкретность, внушает, что именно две с половиной и стоят дела подобного сорта. Ни больше ни меньше. Это вам не какая-то там кругленькая цифра с потолка... когда и еноту ясно, что с потолка... то есть все непредсказуемо, то есть опасно, а значит, не стоит и браться. А здесь именно две с половиной, как в магазине здесь, значит, все продумано до мелочей... можно даже предложить две семьсот пятьдесят... она вслух произносит: <<Две семьсот пятьдесят>> — нет, это уже слишком, это уже мельтешение какое-то.... нервы, нервы, истерика — нет, твердо две пятьсот, а нет — пошел вон, одноглазый! Я тебя не знаю, ты меня... С Кондратюком, что ли, посоветоваться?.. Подошла к телефону, руку протянула и тут же отдернула — не по телефону же. Совсем дурой стала. Зарапортовалась. Какой Кондратюк — двенадцать ночи! Часы пробил полночь. Конфликт вступал в новую фазу... высшую, наверное... да, да, высшую ... вышка... какая еще вышка?! Статья — процентовки — тюрьма.... от трех до восьми... <<нам давай пять — никто не обидится!>> — да это дура Сарцева накаркала! Вот привязалось. А сколько ей дадут? Групповуха... бред какой-то... нет, нет, надо немедленно все остановить... Вспомнилось, что на даче в сарае среди рыбацкой снасти у мужа осталось немного взрывчатки, которой глушили рыбу на Дальнем озере... Собиралась веселая компания, ехали на Дальнее озеро, все свои... Вообще-то взрывчаткой это хорошо... подложить побольше и-и... но кто это

все грамотно устроит? Салапуров — электрик... А кстати, сама читала недавно где-то, как один соперника ликвидировал именно с помощью электричества... только ведь Салапуров—дурак и трус, никак нельзя с ним связываться. А с кем? А как?

Столько людей всегда было вокруг, а теперь — одна... Один фантастический проект другим сменялся, не менее фантастическим, — подложить под машину, под сиденье взрывчатку?.. Но у Шишкина и нет никакой машины. Голодранец же! Подвести в его мастерскую ток высокого напряжения, он приходит утром в мастерскую, сует ключ в замок, контакты замыкаются — и нет больше никакого Шишкина. Но только нет у него никакой мастерской. Нет никакого замка! Ничего нет! Одни штаны дырявые! И чем больший страх охватывал от все более фантастических проектов, тем больше она Шишкина ненавидела. Да и не его самого, конечно, — это уж слишком много чести для одного голодранца! Она в нем ненавидела весь класс голодранцев, всех тех, кто не дает жить умным людям, не дает умным людям быть всегда спокойными и счастливыми, а вместо этого подталкивает к чему-то страшному, заставляет по ночам вот так изнывать от ужасных проектов, доводит до какого-то неправдоподобного состояния, когда голова огнем горит и ни анальгин, ни тройчатка — ничего уже не помогает.

Только к утру и забылась в тяжком сне. И приснился ей академик — божий одуванчик. Тот, что реанимацией занимается. Собственно, во сне явился как бы и не сам академик, а один лишь божий одуванчик... под ярким солнышком. Но ощущение было, что это все же сам академик, как-то с ним все связано. Ибо она сама при этом как бы умерла. Да, да — совсем умерла. Нет больше Медяницы. И от этого так жаль себя, так жаль... ну, просто до слез. Проснулась — подушка вся в слезах, на душе невыразимая жалость к себе, такой красивой, молодой еще... а кто ее пожалует! такой вот сон. И еще — был там яркий, яркий свет. Даже, в общем-то, возможно, какого-то конкретного одуванчика там и вовсе не было, а вот сам свет — это уж точно. Свет необыкновенно яркий, всепро-

никающий, всезнающий, вся жизнь Медяницы как на ладони. В самых мельчайших подробностях. Даже такие мелочи на миг мелькнули, о которых она и думать позабыла. Например, лицо одной молоденькой секретарши, которую и брали-то на неделю, специально, чтоб устроить пропажу дочкиной трудовой... Надо было так... Чтобы позднее, с восстановлением трудовой, появилась у Нинки официальная запись об окончании медучилица... Дело прошлое, позабылось уже. А тут все так ярко вспомнилось-увиделось... даже два-три волоска на переносице невыщипанных... у той случайной секретарши.

Да, свет был до того всезнающ, всепроникающ... что какие тут процентовки! О них и мысль-то не возникла. Горько плакала — это да. Но не о процентах же! Много чести. Они, разумеется, до полного уничтожения три года хранятся, достать при желании всегда можно. И тут вряд ли что поможет. А поэтому самое лучшее — не стоит и суетиться, не стоит лицо терять. Да будь что будет!

И наутро, немного успокоившись после странного сна, она внезапно захотела увидеть, а что же будет на самом деле с ней... если, действительно, не суетиться, лицо не терять... то есть вообще ничего не предпринимать... Вот тогда — какой окажется ее судьба? Судьба не инкубаторская, а та, что свыше предназначена. Риск, конечно, велик. Ведь в этом случае вполне оказаться может, что твоя судьба такая, что не дай бог! Риск большой. Но кто сказал, что Медяница труслива. Она вон в детстве ничего не боялась. Она Волгу у Костромы переплывала. В юности с парашютом прыгала. А тут... в чем, в чем — только не в трусости упрекнуть ее можно. А-а... это Шишкин в кабинете у первого бросил ей в трусости упрек в лицо, мол, шкуру спасает, процентовки прячет. Так вот же — нет! Какому-то Шишкину она сто очков вперед даст. Да ее в школе дразнили Галька-оплеуха. У нее рука была — ого-го-го... Да она отныне палец о палец не ударит, чтоб шкуру спасти, пусть другие спасают, пусть будет как будет... Вряд ли кто заметил эту перемену в ней. Как и третью едва за-

метную морщину, что после страшного сна с одуванчиком появилась на переносице. А впрочем, если волосы посильнее стянуть, то морщины не видно вовсе. Чистый лоб, спокойные серо-зеленые глаза. Уверенное лицо главврача, сразу внушающее большое уважение. Так выглядит Медяница на новом месте работы главврачом в военном госпитале.

Да, статья в этой истории сыграла переломную роль. Неожиданно в поддержку кочегаров посыпались письма со всех концов страны. Воспрянул духом Лебедев, даже болезни немного отступили. Воспрянули духом многие в Здравнице. Воспрянул духом директор подсобного, на которого сыпались и сыпались неприятности, после того как взял кочегаров к себе. И, наоборот, приуныли другие. Ведь теперь на статью в <<Труде>> приходилось реагировать официально. Как? Из горкома уже звонили в Управление. Но, оказывается, Медяница сориентировалась раньше других — уволилась по состоянию здоровья, какую-то справку предъявила. <<Медяница покинула Здравницу!>> — невероятная весть стала известна в тот же день. У одних она вызвала уныние, у других ликование. И этих последних было намного больше. Хотя все понимали, что до окончательной победы еще далеко. И если подводить какие-то итоги, то пока — ничья. Да, суд отказался возбудить дело против кочегаров. Да, приходили письма, поддерживающие кочегаров. Одно пришло даже из Хабаровска: <<Держитесь, ребята!>> Но держаться было как бы уже и ни к чему. Их ведь никто не преследовал. Мало того, после выхода статьи они получили официальный ответ из милиции, что товарищ Коньков за превышение власти получил выговор. Выговор получил и товарищ Кондратюк. В письме сообщалось, что Управление собиралось очень строго наказать и Медяницу, но, поскольку она уже не работает в курортной системе, наказать ее не представляется возможным. А вот записи в трудовых книжках кочегарам исправлять никто не собирался. Сами виноваты — и всё тут.

А главврач Медяница опять работала главврачом. Уже по ведомству мужа. Говорят попритихла. Но ведь все равно — главврачом. За ней туда уже Алевтина перебралась, медсестра Гусакова уже собирается.

В Здравнице к своим обязанностям уже приступил новый главврач. Новому с кочегаркой одни хлопоты — то там лопнет, то здесь треснет. А главное — по-прежнему утечки... а дыру найти так и не смогли, куда же все это утекает. И с деньгами прижимать стали, слишком уж много их в свое время Медяница из Управления выкачала. На днях жители дома № 7 написали большую жалобу на нового главврача. По-прежнему мерзнут, по-прежнему воды горячей нет. Показали Шишкину, попросили, чтоб в Здравницу топить возвращался... <<А что ж вы раньше-то молчали? — так и взвился Шишкин. — Что ж говорили, что все в порядке? Медяницу поддерживали?>>. — <<Да так как-то, — ему отвечал народ, — до всего ведь сразу не додумаешься... Вот и не хотели писать на нее...>> — <<Ну, а я сейчас не хочу...>> Так и не подписал. Тоже, значит, гордость свою имеет, вы, мол, меня в тяжелую минуту не поддержали, и я вас не буду. И пошел в баню.

Сидит он в парилке, разговоры вокруг обычные... Какой-то мужик из Иванова рассказал, что их знаменитая ткачиха Голубева ездила к Андропову на прием, она ко всем Генсекам на прием ездит, так вот — не принял ее Андропов. Ткачиха — говорит — так иди и работай! Теперь, как миленькая, работает... как и все. Другой рассказал, что в какой-то бане банщики водку продавали и, конечно, директору отстегивали ежедневно рублей по сто. А недавно взяли того директора с поличным. В общем-то, обычная на сегодня история. Шишкин и внимания не обратил бы. Но тут его сосед, толстенный такой мужчина, яростно охлестывая себя веником, стал возмущаться: <<Жадность фраера губит! — с болью восклицал он. — Газеты ж читать надо! В каждом же номере — этого взяли, тому припаяли, ведь копают, копают, копают! Разве ж можно сейчас к себе так грести?! Да затаись ты на

год, на полтора, ну, схлынет же все. Ты же двадцать лет хапал, что ж ты, падло, год, полтора выждать не можешь! Ну, нет! Ну, гад! Ну, паразит! Ведь из-за таких, как ты, и умным житья нет. Ведь ты ж им, падло, только масла в огонь подливаешь>>.

В парилке как-то все оторопели, разговоры утихли. А толстяк, продолжая нахлестывать себя венником, ни на кого внимания не обращая, костерил и костерил того хапугу директора, которого жадность не вовремя сгубила. Эта банальная история так сильно задела толстяка, таким искренним было его возмущение, так вдохновенно-цинично оценивал он сегодняшнюю ситуацию, что все почувствовали: этот — оттуда, сверху, этот сам из хапуг начальников... И вместо расслабленно-благодарного состояния, которое неизменно в парилке возникает, всех охватило какое-то напряжение, все под разными предлогами стали отодвигаться от толстяка. А тот все нахлестывал и нахлестывал, силы в нем было хоть отбавляй. Лицо разъяренное. Глаза сверкают, боль, обида, самая настоящая обида на какую-то подспудную несправедливость, — все было на его розово горящем лице. И Шишкин увидел ясно: этот, уж точно, лет двадцать хапал. Как и Медяница... Зря не подписал он жалобу седьмого дома. Они к нему со всей душой, а он... зря. А вообще-то, и в кочегарку вернуться можно... чего там! Столько лет топил же...

А время шло. И Шишкин опять работал в Здравнице, в своей же кочегарке. Опять с Шурой.

Иногда думал о том, почему же бригада остановилась на полпути? Надо бы процентов добиваться, дело доводить до конца. А они разбрелись кто куда. Нет, бригада не распалась. Да так все в бригаде и считали. Еще намечали какие-то общие планы. В частности, и по процентам. Но закончился зимний сезон. Птицын занялся машиной, машина — отца, отец болеет, вот Птицын этим и занимается — продает машину. Рыбак с Сонечкой собираются дочь везти к ее родителям на Украину. У Малышева с Вики свои проблемы, муж Вики не дает развода, грозит

ребенка забрать. Малышев сейчас в Ташкенте... Перед отъездом написал красной краской на белой стене кочегарки: <<Да здравствует Андропов!>> — и в Ташкент укатил.

Да и в самом себе, как ни странно, не находит Шишкин того недавнего еще желания довести обязательно дело до конца. Еще недавно было, а вот сейчас — нет. Вместо желания какая-то расслабляющая мысль, что надо бы...

И особенно, он заметил, что все затормозилось в нем как-то после смерти Прутова. Умер Прутов тихо, незаметно, как и жил. Надо идти помянуть хорошего человека, девять дней уже. Девять дней уже нет Прутова... даже странно как-то...

Так много видит, слышит Шишкин, идущий на поминки к Коле Прутову. Шелест берез слышит, поскрипывание раскачивающихся макушек сосен, видит птиц, распевających среди ветвей, он чувствует, как замечательно сейчас мальчишкам в речке, какие брызги холодные, прозрачные, какая мягкая, теплая трава, когда вылезешь из речки... все, все уходит вместе со смертью... Даже этот яркий блеск коры, даже запах смолы... всё... А что же тогда остается? Да ничего. Ну, может, изредка кто-то вспомнит. Конечно, и это неплохо, если вспомнят... как там у Кобзаря: <<тихим незлым словом...>>. Кто ж против? Шишкин — только <<за>>.

Ну, а кто о тебе, Шишкин, вспомнит? Жена? Жена вон и так упрекает, что не довели дело до конца, куда-то разбежались, а еще бригада, говорит. И теща вдруг после ухода Медяницы осмелела. Теща упрекает. Да многие теперь в Здравнице осмелели, призывают довести дело до конца, говорят Шишкину при встрече, что она бы тебя, Шишкин, ни за что б не пожалела. Она б не пожалела — это факт... такая, из кривого-то зеркала, ни за что не пожалела бы... Ну, а ты? А вся ваша бригада? Почему всё же остановились в самый горячий момент? Почему, разогнавшись так, что дальше можно уже по инерции, сами всё на тормозах спускаете... Она ж тепленькая, поднажать — бери ее голыми руками. После статьи процентовок

добиться — ничего не стоит... И Медяница наверняка полетит... И вся их компания. А вы, ребята, разбрелись кто куда, делаете все что-то не то... Один машиной занялся, другой дочь собирается везти на Украину, третий вообще неизвестно где! А сейчас, как никогда, всем бы вместе быть, всем бы навалиться... А вы?! Зла не хватает! Да просто безалаберщина какая-то! Самая типичная... русская безалаберщина. Ну, как объяснить ваше необъяснимое поведение? Когда столько отдано сил, здоровья, энергии... и вот так нелепо остановиться перед финалом... чем объяснить? Да ничем.

И Шишкин, идущий к Прутову на поминки, согласен — ничем. Наверное, ленью-матушкой, безалаберностью... Солнышко пригрело, птички запели... Медяница исчезла с глаз долой... авось не появится больше. Вот именно этим <<авось>> все и объясняется, а что это такое — авось? Этого, конечно, никто точно не знает. Но только с ним полегче как-то жить, понадежнее как-то... Вот можно в чистой рубахе идти на поминки, не торопясь по сторонам посматривая, хорошо выбритые щеки солнышко ласкает. Сейчас за стол сядет, выпьет рюмку-другую... хорошего человека помянет, Колю Прутова: пусть земля ему будет пухом.

И на поминках пребывал в том же рассеянном отрешении, вроде б он и на поминках и еще как бы где-то.

А поминки как поминки — много еды, еще больше водки. После третьей рюмки уже шутят, уже гудят вокруг, уже и о Прутове то и дело забывают, у всех свое что-то. Уже Петя Воропаев пытается запеть: <<Щоб наша доля нас не чуралась!>> На него шикают. Тогда он с пьяной улыбкой тянется рюмкой к Шишкину, а тот, прикрыв свою рюмку, останавливает Воропаева: <<Петя, на поминках же не чокаются>>.

Напиваться не хотелось. И Шишкин под разговоры незаметно выбрался из прутовской квартиры. Домой пошел. Сейчас придет, чаю попьет и часа на два подушку придавит. А потом можно будет посидеть у открытого окна, покурить... можно в шахматы с же-

ной сыграть. <<Ты не прав, Шишкин, — жена говорить будет, — не прав. Любое начатое дело надо доводить до конца. А иначе, зачем было и затевать эту грандиозную бучу с Медяницей. Вы все же, Шишкин, на полпути остановились. Зло не искоренили...>>

Да и Блендер как-то на днях заходил, и Блендер о том же! <<Нет, разочаровал ты меня, старик, разочаровал. Зло до конца не искоренили вы, братцы-кролики. Лишь подломили эту прогнившую систему, но не разрушили ее до конца. Ей-ей, не разрушили до конца, до основания, так сказать>>.

— Ты так считаешь? — легко улыбаясь, говорил Шишкин.

<<Ну, разумеется, Шишкин. Искоренять, искоренять надо было до конца, раз уж взялись. Уж поверь ты мне! Четверть века как-никак искоренениями всяческими занимаюсь...>>

Искоренение — какое хорошее слово! Шишкин пробует его на звук, на тембр, принаравливая к своему неторопливому движению — ис-ко-ре-не-ние... Хорошее! В нем корни, глубокие, ветвистые... надежные, разные... и все они идут от одного нашего мощного ствола... Вот только надо ли вырывать?.. Жена говорит, что надо... И Блендер говорит, что за этим правда стоит. А правду надо всегда искать.

Обогнув гараж подсобного хозяйства, столкнулся с Рыбаком.

— Привет!

— Привет!

— Ну, и как там на поминках у Коли?

— Да как всегда, а ты чего же?..

— Да я, Егор, в завязке. Сонечка говорит: хватит расслабляться, надо и за ум когда-то браться.

— А-а... ну, тогда пошли, брат, по чаю ударим. Лизавета — сестра из Ярославля — варенья малинового привезла. Пошли?

— Да я Сонечку иду встречать... слушай, Шишкин, ты ж из Ярославля.

— Ну.

— Там у вас был князь... Федор Черный. Я в Истории Государства Российского прочел.

— Да был вроде, церкви разрушал, татар водил на города русские... одним словом, предатель.

— Вот, вот... а теперь, вернее уже пятьсот лет, его святым признали.

— Иди ты!

— Да, святой. И мощи святыя у вас в ярославском одном храме, точно не помню в котором, лежат под спудом.

— Ну, чего-нибудь здесь не так!

— А я тебе говорю, пятьсот лет уже лежат, написано. И у Ключевского, и у Соловьева. В Истории. Святой, святой...

После Рыбака домой идти расхотелось, спать расхотелось. Мало заметной тропкой через заросли малины Шишкин вышел на укромную поляну. Когда-то здесь между двух сосен был у него турник, бегал по утрам подтягиваться... давно это было, из НИИ только что ушел, в кочегарке работать начал... хорошее было время. Теперь уж одной сосны нет. Шишкин уселся на пенек, стал разглядывать каплю смолы на сосновой коре. На вид капля была такой мягкой, тягучей, что-то замороженно оттаивало еще в ней, притягивало Шишкина. Когда же он ковырнул ее ногтем, капля оказалась на удивление твердой и гладкой.

Он все сидел и глядел на нее. Высоко-высоко раскачивались ветви, осыпали Шишкина мягкими теплыми иголками. А он все разглядывал эту незамысловатую каплю, в сущности-то такую простую и, в то же время совершенную. Хотя вот так прямо и не скажешь — в чем ее совершенство. Так хорошо она пахла, светилась вся, как живая.

А главное, не было в ней никакого сомнения. Вот, вот — это было самым главным - никакого сомнения. Она была такая, какая-то вся такая... а впрочем, совсем ведь и не важны все выпренные определения, словесные дебри... капля была такая, как и надо. Тут сомнений не было и быть не могло. И наверняка замечательно, если б на душе у него почаще было вот так же хорошо, как сейчас... вот так же бы без малейших сомнений.

А ведь если оглянуться, наверняка увидишь, что было такое, и не раз. И дочкам имена когда с женой придумывали, и когда из НИИ ушел... Да мало ли чего хорошего было в жизни: Север, верные друзья... начни вспоминать только...

Только зачем все-таки Рыбак ему о Федоре Черном рассказал? Совсем непонятно. Себя оправдать захотел, что ли ... за прошлое. Или это он уже на сегодняшнее намекал, на то, что они — бригада — на полпути остановились. Надежд многих не оправдали. По существу, наверное, предали что-то... Геройство, предательство... благо... грех... насколько это все сложно. Да, в конце-то концов, ну на самом-то деле — разве они какие-нибудь мудрецы и пророки, чтоб вот так походя определять знак чьей-то жизни, чьей-то судьбы — хотя бы и Медяницы? А потом время пройдет, и ты же в дураках сам перед собой и людьми окажешься.

Нет, пожалуй, надо и Шишкину начать, как и Рыбак, историю читать. Впрочем, историй много, и все толкуют жизнь по-своему. Лучше уж он Ветхий Завет прочтет наконец-то. Или нет, он лучше с Нового начнет. Новый вроде бы потоньше.

Тут Шишкин даже вскочил, сосну обежал три раза. Так поразила пришедшая мысль. А мысль вот какая:

<<Да, правду, конечно же, надо искать, добиваться, если надо, жизнь за нее отдать. Но ведь горе тому, кто этой правдой конечной человеческой до конца соблазнится. До конца ее узнает. Тот ведь, в сущности-то, мертв уже, знающий всю эту правду человеческую до конца... Он как бы исчерпался до конца, дальше тупик... Да, как тот же Прутов, ею достигнутый помимо воли много лет тому назад...>>

Теперь, в волнении бегающий вокруг вековой сосны, Шишкин как бы все больше и больше проясняется. Вокруг сосны быстро, решительно вышагивает, на золотую каплю поглядывает, и ему так ясно все теперь. Ведь именно это, скорее всего, так непонятно и остановило их всех перед последним шагом. Остановила эта нерасчлененная отрешенность, до конца

не определяемая, ускользающая, но обязательно существующая в каждом из нас. Как вот эта самая капля, на которую все поглядывает Шишкин. Такая простая и прекрасная...

Да, конечно, всю правду знал Коля Прутов, узнал ее в первый день войны. Но ведь это всем известно, что он тогда и умер, в этот же первый день войны. Дальше уже мертвым жизнь прожил... живой воды не нашлось разморозить Колю Прутова. Он ее искал, всю жизнь тянулся к ней... а она оказалась обыкновенной русской водкой... все, как в кривом грустном зеркале... Да, да — всю жизнь от него исходило, что Прутов уже где-то там... что его уже и нет здесь больше... Оттого-то и фактическая смерть его мало что прибавила, не вызвала ни удивления, ни переполоха. Даже у близких. Перед самой смертью встретил его жену, Надя со свертком на электричку торопилась: <<Вот, Егор, в химчистку еду, хочу костюм Колин сдать, а то и в гроб положить не в чем>>. Тихая будничная смерть. Словно бы лишь зафиксировала то, что давно уже было в действительности.

Глава 8

Старый спортсмен умирал...

Уже заседала правительственная комиссия. И, учитывая, что Генеральный секретарь лично контролировал строительство самого мощного в мире атомного крейсера, интересовался им всегда, даже отдельные детали занимали его, искренне радовался каждой инженерной находке ученых, усиливающих несокрушимую мощь гиганта-крейсера, — так вот, учитывая все это, Большая Комиссия, еще раз проконсультировавшись с новым главой КГБ, единогласно присвоила самому мощному в мире атомному крейсеру имя — <<Юрий Андропов>>. Уже можно смело присваивать — такую вот справку дал при этом новый глава КГБ, потому что...

Старый спортсмен умирал...

Уже не в первый раз этот пятнистый бред...

Уже и детей, и жену впустили в палату...

Какое распухшее лицо у Татьяны Филипповны... что-то шепчут губы у детей... И опять все превращается в одно слезящееся пятно, опять в самое ухо Вонючка Мангышлет всех обзывает: <<Вон идет — вонючка — шляпа!>> — кричит в самое ухо Вонючка Мангышлет. <<Вон идет — вонючка-пузо!>> — <<Старый спортсмен умирал... добежал самые трудные метры сверхмарафона... в склеивающиеся легкие едва пробивался теплый воздух... <<Лейте, лейте воду на голову!>> — кричал он в немоте... зрители сплошной стеной стояли вдоль трассы, этих последних трудных метров его многолетней дистанции... размахивали флажками и трещотками... многих узнал бы он, присмотрись получше... не присматривался, силы берег... кричат, руками машут, что-то советуют... ничего он не слышит сейчас... страшное напряжение последних метров-дней... только Вонючка Мангышлет совсем рядом: <<Вон — вонючка легковая горкомовская!>> Старый спортсмен умирал... он уже ни на что не обращал внимания... берег слабые силы... всю жизнь вынашивал мечту — выиграть главный приз... только так и можно выиграть, ни на кого внимания не обращая... ни на-ко-го... боковым зрением, боковым слухом, словно бы из-под локтя, он видит, слышит, как тарачится на него, выпучив глаза свои подводные, Вонючка Мангышлет. С досадой он отпихивает, локтем все отпихивает Вонючку Мангышлета... потому что, так красиво... так благородно старый спортсмен умирал... лента асфальта, которую проталкивает он под себя деревянными ногами, горяча до предела, жжет... <<Лейте, лейте на голову!>> Широко раскрытый рот хватает воздух, нет воздуха... в легких хлюпает протяжно и ритмично... все слиплось там давно... а то вдруг асфальт начал твердеть, и тогда опять казалось, что добежит... и опять плавился асфальт, прогибался как воск, готовый сбросить в кювет, к врачам... и ... многие, очень многие сошли с этой сверхмарафонской дистанции, не пробежав и половины... Цвигун, сын Володя, Брусникин... Саманта Смит... совсем ребенок... Зимин, Имре Надь, Имре Мезо...

партизан Федя Тимоскайнен, студентка Попкова... все стоят сейчас на обочине, флажками размахивают, многих узнал бы, приглядишься получше... что-то кричат... радуются, приветствуют... или, наоборот, проклинают... <<Лейте, лейте на голову!>>

— Здравствуйте, товарищ Кадар! — звучит в притихшей палате по-венгерски. — Сталин посадил вас в тюрьму, а вы не в обиде на него — это хорошо, по-человечески как-то...

— Здравствуйте, товарищ Куусинен! — звучит по-фински. — Давно хотел отблагодарить вас за то, что выручили меня... по Ленинградскому делу, помните? Это вам обязательно зачтется...

— Но пассаран! — товарищ Кастро.

<<... Лейте, лейте на голову! Сейчас самое трудное - подъем>>. И сразу бег замедлился, сразу же догнал, оседлал Вонючка Мангышлет. <<Вон идет профсоюзная вонючка! — совсем близко занудный голос... — Вон военная вонючка!>>... <<Вонючка... вонючка... и ты, и он, и...>>

<<Откуда, по какому праву...>> — уже пробивается сквозь горячность мысль. Вяло, сонно, сумеречно, но пробивается... Вонючка Мангышлет давно в психушке. По картотеке проходит под номером двести шестьдесят девять... нет, нет — двести шестьдесят девять было как раз в южно-корейском боинге, а этот... этот... сразу за Новодворянской-диссиденткой...

И уже забрезжило, стало проясняться, комната сразу наполнилась стенами, окнами, людьми... А это...

Это сначала был просто мальчик Ванечка. Вонючкой он стал в школе, когда стал всех почему-то обзывать нехорошим словом, когда стал врать про бабушку — графиню якобы Мангышлет, которая живет во Франции и скоро своему любимому внуку пришлет мотоцикл Ява, легковушку БМВ и даже маленький двухместный самолетик — лети куда хочешь! С тех пор его стали звать не просто Вонючкой, но обязательно с этой иностранной приставкой — Вонючка Мангышлет.

Человек рос, мужал, если можно так выразиться, в виду имея постоянно подростковую фигуру.

Он старел, желтел, но так для всех и оставался — Вонючкой Мангышлетом. Потому что не переставал всех называть — вонючками. Однажды так осмелел, что, увидев генерала в полной форме, крикнул: <<Вон вонючка военная!>> Генерал оглянулся, хотел сразу пристрелить за оскорбление. Но разглядев, что это всего лишь Вонючка Мангышлет, плюнул и дальше пошел по своим генеральским делам.

Тогда Вонючка Мангышлет обиделся, взял телефонный справочник и против десяти тысяч фамилий, что были в городском справочнике, дописал одно слово — вонючка. От А до Я:

Абрамов — вонючка,
Абрикосов — вонючка,
Агафонов — вонючка.
И так далее, до:
Яковлев — вонючка.
Яценко — вонючка.

После этого случая на него обратили внимание зарубежные <<голоса>>. Даже американские. С уважением упомянули в своих передачах, что вот де в небольшом сибирском городке проживает совсем непримечательный внешне — удивительный человек Вонючка Мангышлет. Который не поленился и в телефонном справочнике десять тысяч раз написал свое любимое с детства слово — <<вонючка">>. И это будет занесено в книгу рекордов Гиннеса.

Именно после этого с Вонючкой Мангышлетом произошла удивительная метаморфоза; окрыленный, он целый день ходил по городу и ко всем приставал: <<Ну, ты, вонючка стоеросовая. Слышал, что обо мне в самой Америке думают?>>

Его уже и били не раз. Но он это воспринимал, как страдание за правду-матку. И эти страдания продвигали его на еще более грандиозные подвиги. Так в голову ему пришло: собрать все справочники, из всех больших и малых наших городов. И всем дописать <<вонючку>>. А еще лучше — тут он совсем ошалел — переписать все 250 миллионов, в стране живущих, и всех, всех без исключения сделать, как и он, вонючками.

Но, с горечью поняв, что это невозможно, потому что такие глобальные данные наверняка же у нас засекречены, пошел он, пошатываясь, на главную площадь и стал просто кричать, что весь народ - вонючка! Что вся страна — сплошная вонючка.

— Россия — вонючка! — завизжал он изо всех сил.

Упал, стал по площади кататься, в слепой ярости грызть камни...

В диссидентской картотеке КГБ у него свой собственный номер. Сразу за Новодворянской закреплены и навсегда Вонючка Мангышлет.

Сознание совсем вернулось, выпрямились зеркала, схлынуло с затылка липкое полотно, потный затылок теперь приятно остывал. Светлело вокруг все больше. Стопку газет разглядел, слабая рука дернулась было, к стопке сама потянулась и тут же бесильно упала. На этот раз не прочтет он ежедневных газет, о многом и не узнает. Не узнает и о статье про бригаду кочегаров из Подмосковья, в судьбе которых принял недавно участие. Да просто письмо попало лично в руки. Разумеется, отдал распоряжение, чтоб разобрались в этой на сегодня типичной истории, в которой честные люди противостоят хапугам-казнокрадам, бессовестно разворовавшим полстраны. Быстро разобрались, статья в газете и должна расставить все точки. Газет сегодня, к сожалению, не прочтет. Да и завтра, скорее всего, тоже. А впрочем, пожалуй, это уже не так и важно. Потому что вся эта жизнь за больничным окном от мала до велика отныне определяется тем, что удалось или не удалось ему, Андропову, за этот год. Да, да — все определяется этим. От атомного крейсера и до сбитого боинга, от расстрела хапуг до высылки диссидентов, от водки <<андроповки>>, от анекдотов до какой-нибудь бригады кочегарной, — вся жизнь теперь определяется той встряской, той чисткой, которую он так решительно устроил в стране. Да и во всей системе в целом.

Понятно, что разные люди к этому по-разному относятся. Большинство приветствует. Меньшинство

проклинаят. Но это всех коснулось без исключения. И это не ч т о уже явно задышало, задвигалось, обороты набирает. Новая реальность все более начинает прорисовывать свои остроугольные, холодно-ватно-сверкающие контуры. И как будто он сам все больше и больше перетекает в эту новую законную реальность, все меньше его остается в больничной палате... вот уже и руки не поднять, и глаз не открыть... И как же иногда охватит, к самому горлу подступит это дикое желание хоть одним глазком заглянуть сюда после, через год, через пять... через десять...

Давно за дверью ждали люди, человек пять-шесть, приглашенных накануне. К ним двое-трое еще присоединились. И еще один, с пятном на лысине, спешил, по-молодому перескакивал через две ступеньки. Но только перед самой дверью его обогнал некто стареющий, прокуренный и хрупкий, на полшага и опередивший всего-то. Пятнистый споткнулся в досаде на левую: плохой знак.

Эти, за дверью, что ждут они от него сейчас?.. Что сам ждал он от Павла?.. В том мимолетно-сверкающем сне...

Да, надо сказать тем, что за дверью, одно лишь слово — на чем все только и держится.

А впрочем, зачем — если Маркс уже сказал. На общине...

Маркс долго изучал Россию и вслед за Чернышевским считал, что в России все может лишь держаться на общине. Все наши советы, все коммуны — это та же община. Революция никогда бы не победила, измени она общинному духу.

В Европе община исчезла тысячу лет назад. В России сохранилась. В этом вся отгадка. Маркс говорил, что Россия с капитализмом безнадежно опоздала. Само Провидение в пику нашей национальной заторможенности перебрасывает Россию через целые эпохи. От общинно-первобытного, рабовладельческий минуя строй, сразу — к феодальному. А от него, капитализм минуя, к социализму сразу.

И все время через общину, обязательно через общину... А уж как назвать — колхоз, коммуна или совет — это как раз и не столь важно...

Недавно попала в руки проза Державина, споткнулся о слово — <<советский>>. Советская жизнь, советское устройство, советский образ мыслей — так легко, так привычно оперировал этим словом Державин, словно бы и не в XVIII столетии родился, а словно бы ровесник был самому Андропову. Слово это для России такое же древнее, как и <<община>>. Вече, Круг, Собор, Собрание, Община, Земство — чем бы Россия ни управлялась, главным всегда в ней оставался этот общий коллективный разум — Совет. А значит, никакой другой жизни, кроме советской, быть не должно — только советская.

Первые революционеры это хорошо понимали. Сбрасывая одних богов, они ставили других. Но дух общины, дух общего дела при этом обязательно сохранялся. Потому что без этого в России нельзя. Россия — это советское сознание. Можно сказать — соборное, как национал-патриоты, но Юрий Владимирович далек от религиозной терминологии.

Да и началось-то все с совета, на котором Рюрика призвали.

Ну, а эти, что за дверь? На что они способны? Хозрасчет ввести.... рыночные отношения... другое такое же убожество... Так, может, действительно, на нем, Андропове, что-то такое заканчивается? Так, может, действительно, — от Рюрика и ... до Юрика — привычно рифмовалось. Воздуха не хватало. Накатывали безвоздушные волны. Сразу же вспомнилось выражение на лице Сахарова, когда в последнюю встречу академик с жаром рассказывал о том, какой прекрасный воздух бывает после взрыва атомной бомбы. Воздух так переполнен, оказывается, озоном! Страшненькое все же было лицо у академика.

Вспомнив это, Юрий Владимирович непроизвольно задерживает дыхание. Но ведь легкие у него тоже больны, задержать дыхание не удастся... Лигачев, Горбачев, Черненко... кто там еще у него ... надо думать не о том, кто лучше из них, а о том, кто

меньше навредит... он словно бы всех сейчас видит в кривом зеркале их будущей вредоносности...

Ну, а что, если он все же ошибается?.. И это вовсе не пятнистые зеркала?.. Может, все идет так, как надо... Может, вот так странно-пятнисто и приближается эта новая для России Эпоха?

Может, все-таки за всем этим непонятным, что его сейчас окружает, все же стоит какая-то нормальная метафизика.. этой принципиально новой Эпохи. Да, непривычная... и в то же время — вполне нормальная... Ведь сам же писал в стихах когда-то... про что-то похожее: небытие.

Так, может быть, именно в этом метафизическом небытии, в непонятной нашей отрешенности ко всему на свете и заморожена до сих пор в нерасшифрованном виде хрустальная мечта нашего истинного бытия? По которому так тоскует всякий русский. Даже одной ногою стоящий в бездне уже... надолго задерживать дыхание никак не удавалось — с хрипом вдох, с хрипом выдох... и каждый вдох, и каждый выдох, он это ощутил с болью, порождали очередной фантом действительности. Потому что жизнь за окном — хорошо это или плохо — уже во многом была порождением жизни этого умирающего человека-системы. И очередной фантом — круглолицый, очкастый, — действительно, уже сидел в насосной подмосковной Здравницы, уже крутил глубинный насос...

* * *

Специалист по глубинным насосам из Управления Кондратюка подкручивал и подкручивал давление. Глубинный насос был мощным. Уже три атмосферы было на манометре, уже четыре... пять уже. Глаза у специалиста по глубинным насосам засветились, тело, руки — все напряглось, он, стиснув зубы, докрутил до шести атмосфер.

Мощный напор воды из таинственных земных глубин ворвался в водо-канализационную систему Здравницы. Злорадная усмешка вспыхивала и гасла на круглом лице, за круглыми очками. Уже шесть с

половиной было атмосфер на манометре. Уже во всех трубах гудело, свистело, визжало и ухало. Во всех котлах вдруг мощно забурлило, из всех задвижек вдруг закапало-заплакало, заструилось повсюду, потекло. Раздирая многолетнюю ржавчину, заструились весело глубинные воды.

Специалист, сидящий на корточках в бетонированной водокачке, еще поднапрягся и внезапно стал превращаться в личность, вобравшую, присвоившую всю небывалую мощь насоса. И дал, стиснув зубы, семь атмосфер!

Уже бежали люди со всех сторон к водокачке, кричали, вопили: <<Остановить! Прекратить! Уменьшить!>> Но рука у специалиста сама собой прикипела к насосу, властителю неведомых вод. <<Не подходи! — кричал он. — Без права допуска не имеете права!>> И люди Здравницы замерли, остановились. На глазах происходило невероятное — такая привычно-заржавевшая, от ржавчины окаменевшая система вдруг враз ожила, как губка впитывать стала что-то, стала дрожать, разваливаться, стонать и всхлипывать.

И темные, и светлые воды прорвались из почвы, вышли наконец на поверхность, перемешались...

Шишкин шел на смену, навстречу — Шура, из магазина с авоськой, вся просветленная, как серебряная денежка.

— Ну, слава Богу! Вышла все же вода на поверхность. Обнаружилась наша правда!

— Где?! — не поверил Шишкин.

— А как к седьмому дому идти, на самом перекрестке, в ложбинке... чуть левее... Раскопали, дырища — во-о! А главное, струя вниз била, а там в низинке песок сплошной зыбучий... вся вода, все старания наши в песок тот и уходили. Пока специалист этот — дай Бог ему здоровья! — давление в системе как следует не ахнул!

— Живем! — сказал доверчивый Шишкин.

А Шура вослед лишь головою покачала. Ее вдруг охватило непонятное желание перекрестить удаляющегося Шишкина. И вся подхватилась Шура, легко рукой уж было взмахнула, да позамешкалась как-то, смешалась: вот ведь беда-то — слева направо или справа налево — позабыла, всё начисто позабыла.

Эпилог

Со смертью Андропова чистка комверхов прекратилась. Перестроечное же настроение, страстное желание в массах немедленных перемен — сохранилось. Сохранилось и гигантское раскачивание маятника этих перемен. Забастовка кочегаров Здравницы тоже придала этому раскачиванию пусть небольшой, но несомненный импульс. Увы, голова у рыбы была уже не та... Времена Андропова кончились, никто уже не мешал рыбе тухнуть, как ей и положено, с головы. Все быстро пошло к логическому завершению. Так что... Здравницы давно уже нет. По аллеям бывшего парка фланирует местная шпана и проститутки. Грязь, помойка, не горит ни одного фонаря. Все разбито, растащено. В уникальном здании первого корпуса, памятнике архитектуры прошлого века, поселились какие-то дикие люди с гор. На месте знаменитого цветника — гаражи новых русских. О тепле, о горячей воде вообще забыли.

И вот идет Шишкин, видит всю эту мерзость запустения и задает себе вопрос: <<Так кто же все-таки победил десять-то лет тому назад?>> И вполне дикая мысль, под стать окружающей фантазмагии, приходит в голову ему: <<А может, надо было нам тогда не очень стараться, проиграть надо было... ну, отсидели бы десять лет, сейчас бы вышли уже. И попали бы опять в родной социализм. Пусть не идеальный, пусть далекий от совершенства, но ведь вода горячая была, пусть и через день. И было многое, многое другое, о чем сегодня мечтать только можно>>.

И думает Шишкин: <<Все-таки в сравнении с сегодняшней мерзостью довольно добрый оскал был у нашего несовершенного социализма!>>

Ну, а крейсер атомный <<Юрий Андропов>> в наше время переименован. Теперь он называется <<Петр Великий>>. Но, как и раньше, он остается

самым мощным в мире и настолько превосходит мировые аналоги, что еще долгие годы будет выделяться он среди остальных, еще надолго, если не навсегда, обречен в гордом одиночестве бороздить моря и океаны. Пока время не поглотит окончательно этот материальный символ эпохи, пока не растворит в своих безудержных волнах все, что стояло за ним, пока не превратит всю эту грандиозную эпоху в миф, в легенду, подобную легенде о Летучем голландце.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I

В фарватере развитого социализма3

Часть II

Что тебе снится, крейсер <<Андропов>>?.....259

Эпилог441

*Документально-художественное
издание*

Тёшкин Юрий Александрович

Андропов и другие

Роман в двух частях

Редакторы В. Д. Кутузов, Т. Н. Спирина

Художник В. Х. Янаев

Художественный редактор

Т. А. Ключарёва

Компьютерный набор и верстка

Н. Стельмах

OCR - Давид Титиевский, август 2017 г., Хайфа

ЛР №010008 от 30.12.96.

Сдано в набор 22.05.98. Подписано в печать 08.06.98. Формат 84×108^{1/32}. Бумага тип. № 2. Гарнитура журн.-русл. Усл. п. л. 23,52+1,68 вкл. Уч.-изд. л. 24,7. Тираж 7 500 экз. Заказ 1393.

В издании использованы архивные фотодокументы

**Издательство «Верхняя Волга» Государственного комитета РФ по печати.
150000, Ярославль, ул. Трефолева, 12. Коммерческий отдел 22-57-59**

**Отпечатано с оригинал-макета в
ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97**



ЮРИЙ ТЕШКИН

АНДРОПОВ

История



Разгоралась невиданная, неслыханная битва. Люди сгорали молниеносно. Как сухие, впрок заготовленные щепки. От маршала до девчонки-студентки. Сгорали с какой-то яростью, с какой-то серьезной предопределенностью своей роли в этом великом костре...

Люди возникали и исчезали, и это никого не удивляло. Все помнили слова товарища Сталина: «Здоровое недоверие — это хорошая основа для совместной работы!»

Люди исчезали, не оставив и следа. «Здоровое недоверие» всех ко всем росло, расцветало.

И скорее всего — недолго бы и ему [Андропову] оставаться в кресле 1-го секретаря, но судьба берегла его для чего-то другого.

88



XI.8

П

30,00

0.50